

Девушка,
КОТОРУЮ

ты
покинула



ДЖОДЖО МОЙЕС

Мастерски написанная книга для всех,
кому понравился роман «До встречи с тобой».

Elle

ИЗ

Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив Халстон. Но их объединяет решимость бороться до последнего за то, что им дороже всего в жизни.

Картина «Девушка, которую ты покинул» для Софи — напоминание о счастливых годах, прожитых с мужем, талантливым художником, в Париже начала XX века. Ведь на этом полотне супруг изобразил именно ее, молодую и прекрасную.

Для Лив Халстон, живущей в наши дни, портрет Софи — это свадебный подарок, сделанный незадолго до смерти ее горячо любимым мужем. Случайная встреча раскрывает глаза Лив на истинную ценность картины, а когда она узнает историю полотна, ее жизнь меняется навсегда...

Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, регулярно входят в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», а права на их экранизацию покупают ведущие киностудии Голливуда.

Впервые на русском языке!

- [Джоджо Мойес](#)
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)

- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [Эпилог](#)
- [Благодарности](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
-

Джоджо Мойес

ДЕВУШКА, КОТОРУЮ ТЫ ПОКИНУЛ

Сен-Перрон

Октябрь 1916 г.

Мне снилась еда. Хрустящие багеты, настоящий белый хлеб только что из печи, выдержанный сыр с промытой корочкой, расплывающийся по краям тарелки. Виноград и сливы в тазах, темные и ароматные, наполняющие благоуханием воздух в доме. Я протянула руку, чтобы взять тяжелую гроздь, но сестра меня остановила.

— Убирайся! — пробормотала я. — Я хочу есть!

— Софи, просыпайся!

От одного вида сыра у меня потекли слюнки. Я собиралась намазать реблошон на теплый белый хлеб и заесть виноградом. Во рту уже стоял его сладкий вкус, я вдыхала терпкий аромат.

И все испортила сестра, положившая руку мне на запястье. Запахи испарились, тарелки исчезли. Я пыталась дотянуться до них, но они лопались, как мыльные пузыри.

— Софи!

— Что?!

— Они взяли Орельена.

Я перевернулась на бок и недоуменно заморгала. У сестры на голове, так же как и у меня, был надет для тепла хлопковый чепец. Даже в неверном свете свечи я видела, что она бледна как смерть, а глаза расширены от ужаса.

— Они взяли Орельена. Там, внизу.

У меня в голове начало потихоньку проясняться. Снизу раздавались мужские крики, голоса гулко разносились по вымощенному камнем внутреннему двору, в курятнике громко квохтали куры. Несмотря на непроглядную темень, я чувствовала, как воздух прямо-таки дрожит от напряжения. Я села на кровати, поплотнее завернувшись в ночную рубашку, и попыталась зажечь свечу на прикроватном столике.

Потом бросилась мимо сестры к окну и увидела во дворе солдат, хорошо заметных в свете фар военного грузовика, и своего младшего брата, закрывавшего голову руками в напрасной попытке защититься от обрушивающихся на него со всех сторон ударов оружейных прикладов.

— Что происходит?

— Они узнали о свинье.

— Как?!

— Должно быть, месье Сюэль донес на нас. Я слышала их крики из своей комнаты. Они говорят, что заберут Орельена, если тот не скажет, где свинья.

— Орельен будет молчать, — ответила я.

Мы вздрогнули, точно от боли, услышав, как вскрикнул наш младший брат. Я посмотрела на сестру и с трудом узнала ее. Она выглядела на все сорок пять, хотя ей было двадцать четыре. Я прекрасно знала, что у меня на лице написан такой же страх. Случилось то, чего мы и боялись.

— С ними комендант. Если они найдут ее, — дрожащим голосом прошептала Элен, — нас всех арестуют. Ты ведь знаешь, что случилось в Аррасе. Они накажут нас, чтобы другим неповадно было. Что тогда будет с детьми?!

Мысли путались у меня в голове. Страх, что брат может заговорить, лишал возможности соображать здраво. Я набросила на плечи шаль и на цыпочках снова подошла к окну, чтобы еще раз посмотреть, что происходит во дворе. Приход коменданта говорил о том, что к нам забрели не просто пьяные солдаты, жаждущие дать выход чувству неудовлетворенности путем раздачи

тумаков и угроз. Нет, на сей раз мы действительно были в беде. Его присутствие свидетельствовало о том, что мы совершили серьезное преступление.

— Софи, они обязательно найдут ее. В считанные минуты. А тогда... — От ужаса голос Элен поднялся до крика.

Меня терзали мрачные мысли. Я закрыла глаза. И снова открыла.

— Ступай вниз, — твердо сказала я. — Сделай вид, будто ничего не знаешь. Спроси, в чем провинился Орельен. Поговори с комендантом. Постарайся его отвлечь. Тяни время, чтобы я все успела, до того как они ворвутся в дом.

— А что ты собираешься делать?

— Иди! — крепко схватила я ее за руку. — Иди. Но ничего им не говори. Поняла? И от всего *оттирайся!*

После секундного колебания сестра, подметая пол подолом ночной рубашки, побежала по коридору. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, как в те несколько секунд. Страх холодной рукой сжимал горло, а ответственность за судьбу семьи тяжелым бременем давила на плечи. Я бросилась в отцовский кабинет и принялась лихорадочно рыться в недрах массивного письменного стола, выбрасывая содержимое ящичков на пол: старые пишущие ручки, клочки бумаги, детали от сломанных часов и какие-то древние счета, — пока наконец, благодарение Господу, не нашла то, что искала. Затем сбежала вниз, открыла дверь в погреб и спустилась по холодным каменным ступеням, настолько родным и знакомым, что, несмотря на жуткую темень, я вполне могла бы обойтись без призрачного света свечи. Я подняла тяжелый засов на двери, ведущей в соседний погреб, который когда-то был до потолка заставлен бочонками пива и хорошего вина, откатила в сторону пустую бочку и открыла дверцу старой чугунной печи для выпечки хлеба.

Поросенок, лежавший на соломенной подстилке, сонно заморгал глазками. Он встал на ноги, посмотрел на меня и недовольно захрюкал. Я, наверное, уже рассказывала вам историю этой свиньи? Мы стянули ее во время реквизиции на ферме месье Жирара. Милостью Божьей он отбилсЯ от стада свиней, что немцы загоняли в кузов грузовика, и мгновенно нашел приют под пышными юбками старой мадам Полин. Мы неделями откармливали его желудями и обедками в надежде, что, когда он нагуляет вес, мы сможем пустить его на мясо. Весь прошлый месяц обитатели «Красного петуха» жили надеждой отведать сочной свининки с хрустящей корочкой.

Снаружи снова донесся короткий вопль брата, затем — торопливый умоляющий голос сестры и резкий окрик немецкого офицера. Поросенок вполне осмысленно посмотрел на меня умными глазками, словно уже знал, что его ждет.

— Прости, mon petit,^[1] — прошептала я. — Но у меня нет другого выхода. — И с этими словами опустила руку.

Затем я разбудила Мими, велев ей идти за мной, но только молча. Бедная девочка успела всего навидаться за последние месяцы, поэтому послушалась беспрекословно. Она посмотрела, как я беру на руки ее грудничка-братика, выскользнула из кровати и доверчиво вложила крошечную ручонку в мою руку.

В воздухе, в котором уже чувствовалось приближение зимы, стоял запах дыма от печи, слегка протопленной ранним вечером. Я выглянула из-под каменного свода задней двери и, увидев коменданта, заколебалась. Это был не господин Бекер, которого мы хорошо знали и глубоко презирали, а какой-то высокий стройный мужчина. Даже в темноте я сумела разглядеть на его чисто выбритом бесстрастном лице наличие интеллекта, а не воинствующей серости, и это меня страшно испугало.

Новый комендант с интересом смотрел на наши окна, возможно уже прикидывая в уме, не подойдет ли наше жилище для постоя. Оно было явно лучше, чем ферма Фурье, где квартировали

старшие офицеры. Комендант, похоже, хорошо понимал, что наш дом, расположенный на возвышенности, дает ему прекрасный обзор всего города. А кроме того, у нас имелись конюшни и десять спален. Остатки прежней роскоши с тех времен, когда дом был процветающим отелем.

Элен лежала на брусчатке и, раскинув руки, закрывала собой Орельена.

Один из солдат вскинул ружье, но комендант жестом остановил его.

— Встать! — приказал он.

Элен неловко отползла назад, подальше от коменданта. Ее лицо исказилось от ужаса.

Я почувствовала, как Мими, увидев мать, еще крепче сжала мою руку. И ответила ей легким пожатием, хотя почувствовала, что душа ушла в пятки. Тогда я сделала шаг вперед и произнесла звенящим голосом:

— Что, ради всего святого, здесь происходит?

Комендант, явно удивленный моим тоном, бросил взгляд в мою сторону. Он увидел вышедшую из-под свода двери молодую женщину с ребенком у подола и запеленутым младенцем на груди. Мой ночной чепец съехал набок, а белая ночная рубашка так прохудилась, что сквозь нее просвечивало тело. В душе я молилась, чтобы комендант не услышал, как громко стучит мое сердце.

— Ну а теперь за какой такой проступок ваши люди решили нас наказать? — обратилась я прямо к нему.

Наверняка ни одна женщина не осмеливалась с ним так разговаривать. Похоже, он не слышал ничего подобного с тех пор, как покинул дом. Все словно онемели от удивления, и во дворе повисло напряженное молчание. Брат и сестра, лежавшие на земле, посмотрели в мою сторону, так как оба прекрасно понимали, чем чревата для нас всех моя строптивость.

— Кто вы такая?

— Мадам Лефевр.

Я заметила, что он явно проверяет наличие у меня обручального кольца. Напрасный труд! Как и большинство местных женщин, я обменяла его на еду.

— Мадам, у нас имеется информация, что вы незаконно скрываете домашний скот.

Говорил он спокойно, французский его был вполне сносным, что свидетельствовало о продолжительном пребывании на оккупированной территории. Такого человека явно не возьмешь на испуг.

— Домашний скот?

— Мы узнали из надежного источника, что вы прячете в доме свинью. Вам, должно быть, известно, что, согласно постановлению командования, за укрывательство домашнего скота полагается тюремное заключение.

— Я точно знаю, кто именно вас информировал, — выдержав его взгляд, ответила я. — Месье Сюэль. *Non?*^[2]

Лицо у меня горело, волосы, заплетенные в длинную косу, были наэлектризованы так, что покалывало затылок.

Комендант повернулся к одному из своих подчиненных. У того забегали глаза, что только подтвердило мои подозрения.

— Господин комендант, месье Сюэль навещался к нам по крайней мере два раза в месяц, чтобы убедить нас, что в связи с отсутствием наших мужей мы нуждаемся в его заботе и внимании. Но поскольку мы пренебрегли его добротой, он отомстил нам, начав распускать сплетни и даже угрожать нашей жизни.

— Власти пользуются только заслуживающими доверия источниками.

— Посмею усомниться, господин комендант, поскольку ваш сегодняшний визит свидетельствует об обратном.

В ответ он как-то странно посмотрел на меня и, повернувшись на каблуках, направился к входной двери. Его шаги эхом отдавались по каменному двору. Путаясь в длинной рубашке, я с трудом поспевала за ним. Как мне было известно, сам факт, что я столь смело заговорила с ним, мог быть инкриминирован мне как преступление. И тем не менее в тот момент я больше не испытывала страха.

— Посмотрите на нас, господин комендант! Разве мы похожи на тех, кто объедается говядиной, или жареной бараниной, или свиным филе? — спросила я, и он уставился на мои костлявые запястья, торчащие из рукавов рубашки. Только за прошлый год моя талия уменьшилась на два дюйма. — Неужто мы так разжирели на доходах от нашего отеля? Из двух дюжин кур у нас остались только три. Три курицы, которые мы имеем счастье кормить и поить, чтобы отдавать вашим людям яйца. Мы же сидим на скудном пайке, определенном для нас немецкими властями: немного мяса и муки, которых раз от разу становится все меньше, да хлеб из зерна с отрубями, что даже на корм для свиней не годится.

Но он уже шел, печатая шаг, шел по коридору. Поколебавшись, он открыл дверь в бар и пролаял какой-то приказ. Выросший словно из-под земли солдат протянул ему лампу.

— У нас нет молока для младенцев, наши дети плачут от голода, мы болеем от недоедания. А вы тем временем заявляетесь посреди ночи, угрожаете двум беспомощным женщинам, жестоко обращаетесь с невинным мальчиком, бьете и запугиваете нас только потому, что бесчестный человек распустил слух, будто мы жируем!

У меня тряслись руки. Младенец извивался и дергался. Я поняла, что от нервного напряжения слишком сильно его сжала. Тогда я, слегка попятившись, поправила шаль и успокоила малыша. Затем подняла голову, не в силах скрыть звучащие в голосе горечь и злость.

— Тогда обыщите наш дом, господин комендант. Переверните его вверх дном и разруьте то немногое, что еще уцелело. Можете обшарить и надворные постройки — те, которые ваши солдаты пока не успели пустить на дрова для собственных нужд. Надеюсь, когда вы найдете свою мифическую свинью, они смогут хорошо пообедать.

Я стойко выдержала непроницаемый взгляд коменданта, чего он явно не ожидал. Посмотрев в окно, я увидела, что сестра в надежде остановить кровь промокает подолом раны Орельена. Над ними возвышались трое немецких солдат.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметила озадаченное выражение на лице коменданта. Опешившие солдаты ждали его распоряжений. Он, конечно, мог приказать им разобрать дом до основания и арестовать нас всех в наказание за внезапную вспышку моего гнева. Но я прекрасно понимала, что сейчас он думает о том, не ввел ли его в заблуждение месье Сюэль. Комендант был явно не тот человек, который любит, чтобы его ставили в дурацкое положение.

Когда мы с Эдуардом играли в покер, он всегда со смехом говорил, что со мной лучше не связываться, так как по моему лицу невозможно было ничего понять. И сейчас я напредила себе о его словах, поскольку вела самую важную игру в своей жизни. И вот так мы стояли, глядя друг другу прямо в глаза. Комендант и я. И казалось, весь мир на секунду застыл вокруг нас: я слышала отдаленные раскаты орудий, сухой кашель сестры, тихую возню наших тощих кур в курятнике. А потом все стихло. Мы сошлись лицом к лицу, и каждый из нас поставил на правду. Клянусь, что могла пересчитать удары своего сердца.

— Что это?

— Что именно?

Комендант поднял лампу повыше, и в тусклом бледно-золотом свете нашим глазам предстала картина: мой портрет, который Эдуард написал, когда мы только-только поженились. Именно такой я и была в наш первый год: густые волосы блестящей волной лежат на плечах,

кожа чистая и сияющая, уверенный взгляд женщины, которая знает, что любима. Несколько недель назад я принесла портрет из укромного места и повесила здесь, заявив, что будь я проклята, если позволю немцам решать, на что мне смотреть в моем доме, а на что — нет.

Комендант поднял лампу повыше, чтобы лучше разглядеть картину.

«Не вешай ее сюда! — предупреждала меня Элен. — Накличешь беду».

Наконец, с трудом оторвав глаза от портрета, он повернулся ко мне. Внимательно посмотрел на мое лицо, затем — снова на портрет.

— Портрет писал мой муж, — объяснила я, сама не понимая зачем.

Возможно, из-за желанья дать выход благородному гневу. Возможно, из-за разительного контраста между девушкой на портрете и той, что стояла сейчас перед комендантом. Возможно, из-за плачущей белокурой девчушки, что держалась за мою юбку. А может быть, за два года оккупации и самому коменданту надоело строжить нас за малейшую провинность.

Оторвав глаза от носков сапог, он задержал взгляд на картине:

— Мадам, полагаю, каждый из нас обозначил свою позицию. Но разговор еще не закончен.

Однако сегодня я вас больше не побеспокою.

Он заметил плохо скрытое изумление на моем лице и явно остался этим доволен. Видимо, ему было достаточно того, что я почувствовала себя обреченной. Да, в уме и проницательности ему не откажешь. Так что впредь мне следовало быть осторожней.

— Солдаты, кругом!

Солдаты послушно развернулись, промаршировали к грузовику и очень скоро превратились в неясные силуэты в свете фар. Я проследовала за комендантом, остановившись на пороге. Последнее, что я услышала, был его приказ водителю ехать в город.

Мы молча смотрели, как военный грузовик, освещая себе путь фарами, ползет обратно по разбитой дороге. Элен всю трясло. Она с трудом поднялась на ноги, поднесла сжатую в кулак руку ко лбу, глаза ее были закрыты. Орельен взял за руку Мими и теперь неловко топтался возле меня, явно стыдясь своих детских слез. Я терпеливо ждала, пока вдали не стихнет рев мотора. Наконец грузовик с протестующим воем взобрался на гору.

— Орельен, ты как? — ощупала я его голову.

Поверхностные раны. И кровоподтеки. Кем же надо быть, чтобы так наброситься на безоружного мальчика?!

— У меня ничего не болит, — скривившись, ответил он. — Им не удалось меня запугать.

— Я думала, он тебя арестует. Думала, нас всех арестуют, — подала голос сестра. Мне всегда становилось страшно, когда она выглядела вот так: словно шла по краю пропасти. Смахнув слезы, она с вымученной улыбкой наклонилась обнять дочь. — Глупые немцы! Пришли нас поугатать. Так ведь? А твоя глупая мамочка испугалась. — (Малышка очень серьезно, молча смотрела на мать. Интересно, услышу ли я еще когда-нибудь ее смех?) — Простите. Я уже в порядке, — продолжила Элен. — Пошли в дом. Мими, у нас еще осталось немного молока. Сейчас я тебе согрею. — Вытерев руки об окровавленную ночную рубашку, она протянула их ко мне, чтобы забрать младенца: — Давай я возьму у тебя Жана.

И тут я почувствовала, что вся дрожу, будто только теперь осознала, как все же, должно быть, тогда испугалась. Ноги сразу стали ватными, словно вся их сила ушла в бульжник, которым был вымощен двор. Мне срочно нужно было присесть.

— Да, — кивнула я. — Думаю, так будет лучше.

Сестра отдернула руки и вскрикнула. В одеяльце был аккуратно завернут поросенок, и только розовый пяточок с щетинками торчал наружу.

— Жан спит наверху, — сказала я. Чтобы не упасть, мне пришлось прислониться к стене.

Орельен заглянул сестре через плечо. Оба они, онемев, смотрели на поросенка.

— Mon Dieu!

— Он что, мертвый?

— Нет. Под хлороформом. Я вспомнила, что в кабинете сохранилась бутылочка. Осталась еще с тех времен, когда папа коллекционировал бабочек. Думаю, он скоро проснется. Но нам необходимо найти для него другое место, прежде чем они вернутся. А они непременно вернутся.

И тогда Орельен растянул губы в скупой улыбке. Элен наклонилась, чтобы показать Мими спящего поросенка, и та довольно улыбнулась. Элен трогала смешное рыльце и всплескивала руками, будто не могла поверить, что это и вправду он.

— Неужели ты все это время держала на руках поросенка? Прямо у них перед носом?! А потом еще и устроила им разнос за то, что *пришли сюда!* — словно не веря себе, воскликнула она.

— Прямо перед их свиными рылами, — вставил Орельен, к которому вернулась его обычная бравада. — Ха! Ты держала его прямо у них перед рылом.

Я опустила на холодный булыжник и захохотала так, что свело скулы, и я уже не знала, то ли смеюсь, то ли плачу. Брат, похоже решивший, что у меня истерика, взял меня за руку и сел рядом. Ему исполнилось четырнадцать. Он мог разозлиться совсем как взрослый мужчина, но иногда совсем по-детски нуждался в утешении.

Элен до сих пор пребывала в глубокой задумчивости.

— Если бы я только знала... — начала она. — Софи, как тебе удалось стать такой смелой? Сестричка ты моя младшая! Кто тебя такой сделал? Ведь когда мы были детьми, ты была тихой как мышка! Как мышка!

Но я не была уверена в том, что знаю ответ.

Потом, когда мы наконец вернулись в дом и Элен принялась возиться с кастрюлькой для молока, а Орельен — смывать кровь с разбитого лица, я застыла перед портретом.

Девушка... Девушка, на которой женился Эдуард, смотрела на меня с тем выражением, которое я перестала узнавать. Он заметил его у меня раньше других: эта улыбка говорила о тайном знании или об удовольствии, полученном или подаренном другому. Когда парижские друзья Эдуарда удивлялись, как тот мог влюбиться в простую продавщицу, он только улыбался в ответ, поскольку уже тогда разглядел во мне то, что не видели другие.

Но я так и не выяснила, знал ли он, что загадочным взглядом я обязана только ему.

Постояв перед портретом несколько секунд, я вспомнила, каково было быть той девушкой — не терзаемой голодом и страхом, а занятой исключительно мыслями о минутах, которые она проведет наедине с Эдуардом. Я вспомнила о том, что мир полон красоты и в нем существуют такие вещи, как искусство, радость и любовь, а не только страх, суп из крапивы и комендантский час. И глаза девушки на картине напомнили мне об Эдуарде, о том, что я стойкий оловянный солдатик и у меня еще осталось достаточно сил, чтобы воевать.

Клянусь тебе, Эдуард, когда ты вернешься, я снова стану той девушкой, портрет которой ты написал.

История о поросенке-младенце к обеду стала достоянием большинства жителей Сен-Перрона. Посетители шли в бар «Красного петуха» бесконечным потоком, хотя мы не могли предложить им ничего, кроме кофе из цикория; запасы пива пополнялись от случая к случаю, и у нас оставалось только несколько бутылок безумно дорогого вина. Поразительно, сколько людей зашло, просто чтобы пожелать нам хорошего дня.

— И ты устроила ему головомойку? Велела ему убираться? — Старик Рене усмехался в усы и, держась за спинку стула, вытирал с глаз выступившие от смеха слезы.

По его просьбе мы четырежды повторили эту историю, и с каждым разом Орельен расцвечивал ее новыми подробностями, договорившись до того, что самолично сражался с комендантом на саблях, а я в это время кричала:

— Der Kaiser ist Scheiss!^[3]

Я обменялась понимающей улыбкой с Элен, которая подметала пол в кафе. В принципе, мне было все равно. Ведь в последнее время в нашем городке было так мало поводов что-либо праздновать.

— Впредь следует быть осторожнее, — сказала Элен, когда Рене, приподняв шляпу в знак почтения, наконец ушел. Мы увидели, как, проходя мимо почтового отделения, Рене снова согнулся в приступе неудержимого веселья, а потом вытер глаза. — Эта история распространяется слишком быстро.

— Никто ничего не скажет. Все ненавидят бошей, — пожалала я плечами. — К тому же все хотят получить свой кусочек свинины. Вряд ли они станут доносить на нас прежде, чем им подадут на стол их еду.

Рано утром мы незаметно переместили поросенка к соседям. Несколько месяцев назад Орельен раскалывал на дрова старые бочки из-под пива. Именно тогда он обнаружил, что наш, состоящий из множества поворотов винный погреб отделяет от соседского, семьи Фубер, только стена толщиной в кирпич. С помощью Фуберов мы осторожно вынули несколько кирпичей, и образовавшаяся дыра стала дорогой к отступлению в последнее убежище. Когда Фуберы укрыли у себя молодого англичанина и к ним в сумерках неожиданно нагрянули немцы, мадам Фубер сделала вид, что не понимает, чего хочет от нее немецкий офицер, тем самым позволив парню незаметно проскользнуть в погреб и перебраться на нашу сторону. Боши перевернули вверх дном весь дом и даже обыскали погреб, но в тусклом свете ни один не заметил, что между кирпичами кое-где нет цемента.

Такова история нашей жизни: микроскопические мятежи, крошечные победы, мимолетная возможность высмеять наших угнетателей, утлое суденышко надежды в бушующем море неизвестности, лишений и страха.

— Ну как, познакомились с новым комендантом?

Мэр сидел за одним из столиков у окна. Когда я принесла ему кофе, он пригласил меня сесть рядом. Я часто думала о том, что оккупация осложнила ему жизнь, как никому другому: у него все время уходило на переговоры с немцами, чтобы выцыганить для города самое необходимое, но иногда они брали его в заложники с целью принудить непокорных горожан выполнять их требования.

— Ну, официально нас друг другу не представили, — поставив перед ним чашку, заметила я. Он наклонился ко мне и понизил голос:

— Бекера отправили обратно в Германию комендантом одного из лагерей для военнопленных. Похоже, в его бухгалтерских книгах был nepopядок.

— И немудрено. Это единственный человек в оккупированной Франции, который за два года стал вдвое толще.

Я, конечно, шутила, но в то же время испытывала смешанные чувства по поводу его отъезда. С одной стороны, Бекер был грубым солдафоном, а его наказания отличались излишней суровостью, что объяснялось его двойственным положением и страхом уронить свой авторитет в глазах солдат. Но с другой — он был достаточно тупым — в силу чего не замечал многочисленных актов сопротивления горожан, — чтобы установить нужные взаимоотношения для пользы дела.

— И что скажете?

— О новом коменданте? Не знаю. Полагаю, могло быть и хуже. Он не будет брать быка за рога, как сделал бы Бекер, просто чтобы продемонстрировать силу, — поморщилась я. — Но он умный. Мы должны быть крайне осторожны.

— И как всегда, мадам Лефевр, мы мыслим в одном направлении, — улыбнулся мне мэр, но глаза его оставались серьезными.

А я ведь помню время, когда он был веселым, буйным и очень добродушным: на всех городских собраниях его голос звучал громче других.

— На этой неделе что-нибудь предвидится?

— Думаю, немного бекона. И кофе. Чуть-чуть масла. Надеюсь узнать нормы продуктов сегодня чуть позже.

Мы посмотрели в окно. Старик Рене уже проходил мимо церкви, но остановился поговорить со священником. Нетрудно было угадать, что именно они обсуждали. Когда священник расхохотался, а Рене согнулся пополам уже в четвертый раз за утро, я не сдержалась и захихикала.

— Есть какие-нибудь известия от мужа?

— С августа, когда я получила от него открытку, ничего не было, — повернувшись к мэру, ответила я. — Он был под Амьеном. Но в открытке много не скажешь.

«Я думаю о тебе день и ночь, — писал он своим красивым затейливым почерком. — Ты моя путеводная звезда в этом безумном мире». Получив открытку, я две ночи не смыкала глаз от терзающего меня беспокойства, пока Элен не объяснила мне, что слова «этот безумный мир» можно в той же степени использовать применительно к миру, где приходится сидеть на одном хлебе, причем таком черством, что надо брать секач, чтобы его разрезать.

— В последний раз я получил весточку от старшего сына где-то около трех месяцев назад. Они выдвинулись по направлению к Камбре. Но он сказал, что не теряет бодрости духа.

— Надеюсь, с ними все в порядке. А как поживает Луиза?

— Неплохо, спасибо.

Его младшая дочь родилась парализованной, практически не росла, могла принимать только определенную пищу и в свои одиннадцать лет не вылезала из болезней. И все жители нашего городка как один пеклись о ее благополучии. Если у кого-то вдруг появлялось молоко или сушеные овощи, малая толика этих драгоценных продуктов обязательно попадала в дом мэра.

— Когда она снова окрепнет, передайте, что Мими справлялась о ней. Элен шьет ей куклу — точную копию куклы Мими. И малышка интересуется, не сёстры ли они.

— Твои девочки слишком добры ко мне, — похлопал мэр меня по руке. — Я благодарю Господа, что ты вернулась сюда, хотя могла остаться в Париже, где была бы в полной безопасности.

— Фу! А где гарантия того, что боши уже в ближайшее время не будут маршировать по Елисейским Полям? Кроме того, не могла же я бросить Элен здесь одну?!

— Да, без тебя она точно не выжила бы! Ты стала чудесной молодой женщиной. Париж явно

пошел тебе на пользу.

— Мне на пользу явно пошло замужество.

— Господи, спаси и сохрани твоего мужа! Спаси и сохрани всех нас! — Мэр, улыбнувшись, надел шляпу и раскланялся.

Сен-Перрон, где семья Бессетт из поколения в поколение держала отель «Красный петух», оказался одним из первых французских городов, оккупированных немцами осенью 1914-го. Нам с Элен, давным-давно осиротевшим и отправившим мужей на фронт, выпала нелегкая доля стараться сохранить отель на плаву. Но не мы одни взвалили себе на плечи мужскую работу: в магазинах, школе и на окрестных фермах управлялись в основном женщины; им помогали только старики и мальчишки. К 1915-му в городе практически не осталось мужчин.

В первые месяцы дела у нас шли отлично, поскольку через город проходили французские войска, а вслед за ними — англичане. Еды было вдоволь, солдаты маршировали под музыку и приветственные крики, и всем нам казалось, что война кончится в худшем случае через несколько месяцев. Практически ничего не напоминало об ужасах, что творились в сотнях миль от нас: мы подкармливали тащившихся через город бельгийских беженцев, их скудные пожитки тряслись на тележках; некоторые так и остались в чем были, когда им пришлось бежать из дома. Иногда, когда ветер дул с востока, мы слышали далекие раскаты орудий. И хотя мы прекрасно понимали, что война уже совсем близко, мало кто верил, что Сен-Перрон, наш гордый маленький город, может попасть в число тех, кто окажется под немецкой пятой.

Доказательство того, как жестоко мы заблуждались, пришло одним холодным тихим осенним утром вместе с ружейными выстрелами, когда мадам Фужер и мадам Дерин, как всегда без четверти семь отправившиеся в boulangerie,^[4] были убиты прямо посреди площади.

Я раздвинула шторы и не поверила своим глазам: на мостовой были распростерты тела двух женщин — двух семидесятилетних вдов, друживших всю свою сознательную жизнь, — головные платки съехали набок, пустые корзинки валялись возле их ног. Вокруг них расплылась густая красная лужа, образовавшая почти идеальный круг, словно брала начало из одного источника.

Позднее немецкие офицеры заявили, что их подстрелили снайперы, исключительно как акт устрашения. Похоже, они говорили одно и то же в каждой занятой ими деревне. Если боши хотели на корню пресечь все попытки к сопротивлению в нашем городе, то ничего лучшего, чем убить двух беззащитных старых дам, придумать не могли. Но зверства на этом не закончились. Они подожгли несколько амбаров и выстрелами разнесли памятник мэру Леклерку. Через двадцать четыре часа они уже шли строем по главной улице. Мы стояли в дверях наших домов и магазинчиков и в оцепенелом молчании смотрели, как блестят на холодном осеннем солнце их Pickel-haube.^[5] Немногим оставшимся в городе мужчинам немцы приказали выйти вперед, чтобы пересчитать их.

Владельцы магазинов и торговых палаток тут же закрыли свои лавочки, отказавшись обслуживать бошей. Большинство из нас запаслись продовольствием, а потому не сомневались, что сумеют выжить. Наверное, мы полагали, что подобная бескомпромиссность заставит их сдаться и уйти в другую деревню. Но затем комендант Бекер объявил, что каждый владелец магазина, заведение которого не откроется в обычное рабочее время, будет расстрелян на месте. И один за другим все лавки, boulangerie, boucherie,^[6] рыночные палатки и даже «Красный петух» снова открылись. Наш городок волей-неволей стал вести полную опасностей жизнь тайных мятежников.

Через восемнадцать месяцев покупать было уже нечего. Сен-Перрон был отрезан не только от соседних деревень, но и от новостей с воли и зависел исключительно от нерегулярных и весьма дорогостоящих поставок с черного рынка. Мы уже начали терять веру в то, что свободная

Франция знает о наших страданиях. Если кто и питался нормально, так это немцы; их (наши) лошади были лоснящимися и упитанными, поскольку на корм скоту пускали молотую пшеницу, из которой мы собирались печь хлеб. Немцы опустошали наши винные погреба и забирали все, что выращивалось на наших фермах.

Но дело было не только в еде. Каждую неделю раздавался зловещий стук в дверь одного из жителей нашего городка и предъявлялся новый список подлежащих реквизиции вещей, в который входили: чайные ложки, занавески, тарелки, кастрюли, одеяла. Иногда сперва приходил только офицер. Он брал на заметку все ценное, а затем возвращался уже вместе солдатами, чтобы огласить список приглянувшихся ему предметов. Они оставляли нам долговые обязательства, по которым предположительно можно было получить деньги. Но в Сен-Перроне не нашлось ни одного человека, слышавшего, чтобы хоть кто-нибудь получил деньги.

— Что ты делаешь?

— Хочу перевесить картину. — Я убрала портрет из бара и повесила его в маленьком коридоре, подальше от любопытных глаз.

— А кто это? — заинтересовался Орельен, внимательно следивший за тем, как я перевешивала и поправляла картину.

— Я! — повернулась я к нему. — Неужто не узнаешь?

— Ох! — растерянно заморгал он.

Орельен вовсе не хотел меня обидеть: девушка на картине разительно отличалась от худой суровой женщины с серым цветом лица и измученными, усталыми глазами, которую я каждый день видела в зеркале. Я старалась не слишком часто на нее смотреть.

— Это написал Эдуард?

— Да. Когда мы поженились.

— Никогда не видел его картин. Я... я ожидал чего-то другого.

— Что ты хочешь сказать?

— Ну, картина какая-то странная. Краски странные. Он нарисовал зеленые и синие пятна у тебя на коже. У людей не бывает сине-зеленой кожи! И посмотри, лицо все какое-то смазанное. Выходит за контуры рисунка.

— Орельен, иди сюда, — подойдя к окну, позвала я его. — Что ты видишь?

— Горгулью.

— Нет, — шлепнула я его. — Посмотри. Только внимательно. Какого цвета мое лицо?

— Просто бледное.

— Присмотрись повнимательнее. К теням под глазами, к ямке на шее. Но не говори то, что заранее собираешься увидеть. Только смотри. А потом скажи, какие краски видишь на самом деле.

Брат уставился на мою шею. Потом медленно обвел глазами мое лицо.

— Да, действительно, — согласился он. — У тебя под глазами кожа синяя. Сине-фиолетовая. А на шее действительно есть зеленая полоса. И оранжевая! Alors^[7] — срочно зови доктора! Твое лицо окрашено миллионом разных цветов. Ты что, клоун?

— Мы все клоуны, — ответила я. — Просто Эдуард видит это лучше других.

Орельен рысью помчался по лестнице, чтобы сперва обследовать свою физиономию в зеркале, а потом уж удивляться тому, откуда взялись синий и оранжевый цвета, которые он непременно найдет. Но оно и понятно. Орельен обхаживал по крайней мере сразу двух девушек и в тщетной попытке ускорить процесс взросления постоянно брил мягкую, почти детскую кожу на щеках и подбородке отцовской опасной бритвой.

— Портрет прелестный, — задумчиво произнесла Элен, чуть отступив назад. — Но...

— Но что?

— Это большой риск выставлять его напоказ. Когда немцы вошли в Лилль, то сожгли все картины, ниспровергающие основы. Картина Эдуарда... очень отличается от других. Откуда нам знать, что они не захотят ее уничтожить?

Она из-за всего волновалась, наша Элен. Волновалась из-за картин Эдуарда и вспыльчивого характера нашего брата; волновалась из-за писем и записей, которые я делала на клочках бумаги и засовывала в дырки в балках.

— Хочу, чтобы портрет был там, где я могу его видеть, — сказала я сестре, но, похоже, мне так и не удалось ее убедить. — Элен, я хочу ярких красок. Я хочу *жить*. Я не хочу любоваться изображениями Наполеона или унылыми папиными картинками с собачками. И я не позволю им, — кивнула я в сторону немецких солдат, кутивших у городского фонтана в свободное от дежурства время, — решать за меня, на что я могу смотреть в своем доме, а на что — нет.

Элен покачала головой, словно я была полной бестолочью, которую ей волей-неволей приходилось прощать. И отправилась обслуживать мадам Лувье и мадам Дюран, которые, хоть и говорили, что мой кофе из цикория на вкус напоминает помои, на сей раз специально пришли послушать рассказ о поросенке-младенце.

В ту ночь мы с Элен легли спать на одну кровать, положив между собой Мими и Жана. Иногда даже в октябре ночи бывали очень холодными, и мы боялись, что в своих рубашонках дети превратятся в ледышки, а потому старались тесней прижаться друг к другу. Было уже поздно, но я знала, что сестра не спит. Через щель в занавеске в спальню проникал лунный свет, и я видела, что она лежит с широко открытыми глазами, уставившись в одну точку. Наверное, думает о том, где сейчас ее муж, отдыхает ли на постое в чьем-то теплом доме или сидит в холодном окопе и так же, как она, смотрит на луну.

Приглушенные звуки орудий говорили о том, что вдалеке идет бой.

— Софи?

— Да? — Мы переговаривались осторожным шепотом.

— Ты когда-нибудь задумывалась о том, что будет... если они не вернуться?

— Нет, — солгала я, радуясь, что в темноте не видно моего лица. — Так как я твердо знаю: они обязательно вернуться. И я не позволю немцам держать меня в еще большем страхе, чем уже есть.

— А я да, — сказала сестра. — Иногда я начинаю забывать, как он выглядит. Гляжу на его фотографию и не узнаю.

— И все потому, что ты с ней не расстаешься. Иногда мне кажется, мы так часто смотрим на фотографии, что можем протереть в них дыру.

— Но я ничего не помню: ни его запаха, ни звука его голоса. Не помню его рук, его тела. Будто его и не существовало вовсе. И тогда я начинаю думать: а вдруг это все же случится? А вдруг он никогда не вернется? А вдруг нам придется провести остаток жизни, постоянно оглядываясь на людей, которые нас ненавидят? И я не знаю... не знаю, смогу ли...

Я приподнялась на локте и, перегнувшись через Мими и Жана, взяла сестру за руку.

— Нет, ты сможешь, — твердо произнесла я. — Обязательно сможешь. Жан Мишель вернется домой, и у тебя все наладится. Франция будет свободной, и жизнь будет такой же, как прежде. Еще лучше, чем прежде.

Элен лежала молча. Мне было очень холодно без одеяла, но я боялась пошевелиться. Сестра пугала меня, когда говорила подобные вещи. Мне казалось, что внутри ее бедной головы существует целый мир из самых разных страхов, на борьбу с которыми у нее уходит вдвое больше сил, чем у любого из нас.

Ее тихий голос дрожал, словно она с трудом сдерживала слезы.

— Знаешь, когда я вышла за Жана Мишеля, то была так счастлива. Впервые в жизни я почувствовала себя свободной.

Я понимала, о чем она. Наш отец был скор на расправу и чуть что пускал в ход ремень или кулаки. Но в городе его считали добрейшей души человеком, столпом общества и уважительно называли *старина Бессетт*, у которого всегда наготове добрая шутка и стаканчик вина. Но мы-то знали, какой необузданный у него нрав. И только сожалели о том, что наша бедная мать умерла раньше отца и ей не удалось прожить хотя бы несколько лет, не будучи в его тени.

— У меня такое чувство... такое чувство, словно мы поменяли одного тирана на другого. Иногда мне кажется, что всю оставшуюся жизнь мне придется подчиняться воле другого человека. Только, пожалуйста, не смейся, Софи. Я смотрю на тебя и вижу, какая ты решительная, какая смелая. Вешаешь картины, орешь на немцев, и откуда только что берется. А я уже и забыла, как это ничего не бояться.

Потом мы лежали в тишине. Я слышала, как бьется мое сердце. Она считает меня бесстрашной. Но ничто не пугает меня больше, чем страхи сестры. За последние месяцы она стала еще более ранимой, в глазах застыла неизбывная тревога. Я сжала ее руку, но она мне не ответила.

Мими беспокойно зашевелилась, выставив вперед локоть. Элен тотчас же разжала пальцы, перекатилась на бок и накрыла ручонку дочери одеялом. Как ни странно, но этот простой жест помог мне прийти в себя. Я снова легла, натянула одеяло до подбородка и перестала дрожать.

— Свинина, — произнесла я в полной тишине.

— Что?

— Только представь себе ее. Корочка смазана маслом с солью и зажарена до хруста. Подумай о мягких складках горячего белого жира, о розовом мясе, которое расплзается на волокна прямо под пальцами, о яблочном компоте, которым мы будем его запивать. Элен, вот что мы будем есть всего через несколько недель. Только представь себе, как это будет вкусно.

— Свинина?

— Да, свинина. Когда я чувствую, что вот-вот дрогну, то вспоминаю о нашей свинье с ее толстым животиком. Думаю о хрустящих ушках и о сочных ляжках. — Я буквально *слышала*, как сестра улыбается.

— Софи, ты ненормальная.

— Элен, только подумай! Разве это не здорово?! Представь, как у Мими по подбородку стекает свиной жир! Как будет сыто урчать ее маленькое пузико! С каким удовольствием она будет выковыривать из зубов кусочки поджаристой корочки!

— Не думаю, что она еще помнит вкус свинины, — не выдержав, рассмеялась Элен.

— Ну, ей не потребуется много времени, чтобы вспомнить, — ответила я. — Как и тебе — чтобы вспомнить Жана Мишеля. В один прекрасный день он войдет в эту дверь и ты бросишься ему на шею, и его запах, его руки на твоей талии будут тебе так же хорошо знакомы, как самый сокровенный уголок собственного тела.

Я почти физически ощущала, что ее мысли приняли другое направление. Ну вот, я вытащила ее из бездны отчаяния. Еще одна маленькая победа.

— Софи, а ты скучаешь по физической близости с мужчиной? — немного помолчав, спросила она.

— Каждый божий день. Думаю об этом в два раза чаще, чем о нашей свинье, — ответила я, и мы дружно захихикали. А затем, сама не знаю с чего, зашлись таким безудержным смехом, что пришлось зажать рот руками, чтобы не разбудить детей.

Я знала, что комендант обязательно вернется. На самом деле прошло четыре дня, прежде чем он это сделал. Дождь лил как из ведра, настоящий всемирный потоп, и наши немногочисленные посетители сидели перед пустыми чашками и смотрели невидящими глазами в запотевшие окна. В маленькой комнатке старик Рене и месье Пелье играли в домино; собака месье Пелье, которому приходилось платить немцам дань за привилегию держать ее, лежала у их ног. Днем люди специально приходили сюда, чтобы не оставаться один на один со своими страхами.

Я как раз восхищалась волосами мадам Арно, умело заколотыми моей сестрой, когда стеклянная дверь отворилась и в сопровождении двух офицеров в бар вошел он. В комнате, где царил теплая, дружеская обстановка, сразу стало тихо. Я вышла из-за стойки и вытерла руки о передник.

Немцы никогда не посещали наш отель, разве что с целью очередной реквизиции. Обычно они ходили в более просторный бар «Бланк» в верхней части города, где обстановка была дружелюбнее. Мы всегда однозначно давали понять, что наше заведение не место для развлечения оккупантов. И я уже начала гадать, что они собираются забрать на этот раз. Если у нас будет еще меньше чашек и тарелок, то придется просить посетителей пользоваться ими по очереди.

— Мадам Лефевр! — (В ответ я сухо кивнула, чувствуя на себе взгляды посетителей.) — Согласно принятому решению, отныне часть офицеров будет столоваться у вас. В баре «Бланк» недостаточно места, чтобы достойно принять вновь прибывших офицеров.

Теперь я впервые сумела хорошо разглядеть его. Он оказался старше, чем я думала. Скорее всего, ему было хорошо за сорок, хотя возраст мужчин на войне так сразу не определишь. Они все выглядели старше.

— Боюсь, это невозможно, господин комендант, — ответила я. — В нашем отеле уже больше восемнадцати месяцев не подают еды. У нас едва хватает провизии, чтобы прокормить нашу маленькую семью. Мы не сможем обеспечить тех стандартов питания, к которым привыкли ваши люди.

— Я это прекрасно понимаю. В начале следующей недели вам доставят все необходимые продукты. Надеюсь, вы сможете приготовить блюда, подходящие для офицерского состава. Насколько я знаю, в свое время ваш отель был первоклассным заведением, а потому не сомневаюсь, что вы прекрасно справитесь.

Внезапно я услышала, как у меня за спиной судорожно вздохнула сестра. Несомненно, она чувствовала то же, что и я. Интуитивный страх перед тем, что в нашем маленьком отеле появятся немцы, отступил при одной только мысли о *еде*, так как в последнее время мы ни о чем другом думать не могли. Ведь все равно будут хоть какие-то, но остатки. Например, кости, из которых можно варить крепкий бульон. В доме снова запахнет вкусной едой, а еще появятся взятые украдкой кусочки еды, незаметно отрезанные кусочки мяса и сыра — одним словом, дополнительные порции к нашему скудному рациону.

— Господин комендант, не уверена, что наш отель вам подойдет, — все же сказала я. — У нас здесь нет никаких удобств.

— Позвольте мне судить о том, где будет удобно моим людям. А кроме того, я хотел бы взглянуть на ваши комнаты. Возможно, я размещу здесь кого-то из своих подчиненных.

Я услышала, как старик Рене тихо пробормотал:

— *Sacrebleu!*^[8]

— Милости прошу, господин комендант! Можете осмотреть комнаты. Но вы сразу увидите, что ваши предшественники практически ничего нам не оставили. Кровати, одеяла, портьеры, даже медные трубы для раковин — все теперь в распоряжении немцев.

Да, я прекрасно знала, что снова рискую вызвать его гнев, дав понять в присутствии посетителей бара, что он как комендант не осведомлен о действиях своих солдат и в его информации о положении дел в нашем городе имеются явные пробелы. Однако для меня было жизненно важно продемонстрировать местным жителям упрямство и несговорчивость. Ведь как только в баре появятся немцы, о нас с Элен тут же начнут судачить и распускать грязные слухи. А потому мне хотелось продемонстрировать всем, что я сопротивлялась, как могла.

— И опять же, мадам, позвольте мне самому судить, подходят нам ваши комнаты или нет. Будьте добры, проводите меня. — Он сделал знак офицерам оставаться в баре.

Что ж, пока они не уйдут, здесь будет царить гробовая тишина.

Тогда я расправила плечи и вышла в коридор, по дороге захватив ключи. Я чувствовала на себе взгляды всех посетителей бара и слышала только шелест своих юбок и тяжелые шаги за спиной. Затем я отперла дверь в центральный коридор. Двери необходимо было запирасть, потому что французские воры вполне могли прихватить то немногое, что не конфисковали немцы.

В этой части здания пахло сыростью и затхлостью; я уже много месяцев не заходила сюда. По лестнице мы поднимались в полном молчании. И я была благодарна ему, что он сохранял дистанцию и шел в нескольких шагах позади. Наверху мне пришлось подождать, пока он войдет в коридор, и только потом открыть первую комнату.

Еще несколько месяцев назад я не могла без слез смотреть, во что превратился наш отель. Красная комната когда-то была гордостью «Красного петуха». Именно тут и я, и моя сестра провели свою первую брачную ночь, именно тут мэр размещал самых важных гостей города. В Красной комнате стояла просторная кровать с четырьмя столбиками, широкое окно выходило прямо в сад. Ковер был из Италии, мебель — из замка в Гаскони, темно-красное шелковое покрывало — из Китая. А еще здесь были роскошная позолоченная люстра и огромный мраморный камин, в котором с утра до позднего вечера горничная поддерживала огонь.

Я открыла дверь, посторонившись, чтобы пропустить немца. В комнате, за исключением колченогого стула в углу, было абсолютно пусто. Половые доски, с которых убрали ковер, посерели от пыли. Кровать давным-давно исчезла, так же как и портьеры, которые попали в число первых вещей, украденных у нас, когда немцы вошли в город. Мраморный камин был разбит, а его наружная часть оторвана от стены. Чего ради, я не понимала, так как в таком виде он вряд ли мог кому-нибудь сгодиться. Думаю, Бекер просто хотел деморализовать нас, лишив всех красивых вещей.

Новый комендант вошел в комнату.

— Осторожнее. Смотрите себе под ноги, — предупредила его я.

Он опустил глаза и увидел провал в углу комнаты, там, где прошлой весной боши попытались разобрать пол на дрова. Но дом был построен на совесть, а доски прибиты так крепко, что за несколько часов им удалось оторвать только три длинные планки, после чего они сдались и ушли ни с чем. Через зияющую дыру, похожую на разинутый в немом протесте рот, виднелись балки.

Комендант постоял с минуту, мрачно рассматривая пол. Затем поднял голову и огляделся. Поскольку я еще ни разу не оставалась наедине с немцем, сердце тревожно билось. Я чувствовала исходящий от него слабый запах табака, видела мокрые потеки от капель дождя на его форме. Крепко зажав между пальцами ключи, чтобы ударить его в случае внезапного нападения, я устояла в основание его шеи. Ведь я была не первой и не последней женщиной, готовой драться, отстаивая свою честь.

Но тут он повернулся ко мне и спросил:

— И что, в остальных все так же плохо?

— Нет, — ответила я. — В остальных еще хуже.

Он наградил меня долгим взглядом, и я почувствовала, что краснею. Но я не могла позволить этому человеку запугать меня. Я пристально посмотрела на него, на подернутые сединой коротко стриженные волосы, водянистые голубые глаза, внимательно рассматривавшие меня из-под кожаного шлема с пикой. Лицо мое оставалось бесстрастным, подбородок был вызывающе вздернут.

Наконец он повернулся, обогнул меня и, спустившись по лестнице, прошел в коридор в задней части дома. Но внезапно остановился, уставившись на мой портрет, и удивленно заморгал, словно только сейчас обнаружил, что его повесили на другое место.

— Я попрошу кого-нибудь сообщить вам, когда следует ожидать первую партию продуктов, — произнес он и, развернувшись на каблуках, прошел в бар.

— Ты должна была сказать «нет», — ткнула мне в плечо костлявым пальцем мадам Дюран, да так, что я подскочила на месте.

На голове у мадам Дюран был капор с рюшем, на плечах — выцветшая голубая вязаная пелерина. Те, кто жаловался на отсутствие новостей, так как газеты были запрещены, явно никогда не встречались с моей соседкой.

— Что?

— Кормить немцев. Ты должна была сказать «нет».

Утро было на редкость промозглым, и я замоталась шарфом до носа.

— Я должна была сказать «нет»? — отогнув шарф, переспросила я. — Интересно, а вы, мадам, сказали бы «нет», если бы они захотели занять ваш дом?

— Вы с сестрой гораздо моложе меня. И у вас есть силы бороться.

— К моему глубочайшему сожалению, в моем распоряжении нет огневой поддержки артиллерийского дивизиона. И что я, по-вашему, должна была делать? Швырять в них чашки и блюда?

Но она продолжала поносить меня даже тогда, когда я открывала перед ней дверь boulangerie. В булочной уже не пахло так, как обычно пахнет в булочных. Внутри все еще было тепло, но запахи багетов и круассанов давным-давно исчезли. Вроде бы мелочь, но каждый раз, переступая порог этого заведения, я ужасно расстраивалась.

— И куда только катится наша страна! Видел бы сейчас ваш отец, что в его отеле немцы! — Мадам Лувье явно была хорошо проинструктирована и, когда я подошла к прилавку, осуждающе покачала головой.

— Он поступил бы точно так же.

Но тут булочник месье Арман пришел мне на помощь.

— Вы не имеете никакого права осуждать мадам Лефевр! — цыкнул он на них. — Сейчас мы все игрушки в их руках. Скажите, мадам Дюран, а меня вы осуждаете за то, что пеку им хлеб?

— Я просто считаю непатриотичным выполнять все их требования.

— Легко говорить, когда вам к виску не приставляют пистолет.

— Выходит, их становится все больше и больше? Все больше немцев залезает в наши кладовые, ест нашу еду, ворует наш скот. Клянусь, я просто не представляю, как мы переживем эту зиму!

— Как всегда, мадам Дюран. Стойко и с чувством юмора. Молясь, чтобы Всевышний, если этого не сделают наши парни, дал бошам хорошего пинка под зад, — подмигнул мне месье Арман. — Ну а теперь, дамы, чего желаете? У нас имеется черный хлеб недельной давности, черный хлеб пятидневной давности и черный хлеб неопределенной давности, но точно без долгоносиков внутри.

— Бывают дни, когда я готова съесть даже долгоносика, — вздохнула мадам Лувье.

— Ну тогда, дорогая мадам, я сохраню баночку-другую специально для вас. Можете мне поверить, в муке их попадается предостаточно. Кекс из долгоносиков, пирог из долгоносиков, профитроли из долгоносиков. Благодаря щедрости немцев мы можем ни в чем себе не отказывать.

В ответ мы дружно расхохотались. И как было не засмеяться! Месье Арман был способен вызвать улыбку на лице даже в самые черные дни.

Мадам Лувье взяла хлеб и с отвращением положила в корзинку. Месье Арман не обиделся:

ведь он сто раз за день видел подобное выражение на лицах посетителей. Хлеб был черным, квадратным и клейким. От него пахло затхлостью, словно он заплесневел сразу, как его вынули из печи. И он был таким твердым, что пожилым дамам приходилось звать на помощь кого-нибудь помоложе, чтобы разрезать его.

— А вы слышали о том, что они переименовали все улицы в Ле-Нувьене? — спросила мадам Лувье, поплотнее запахнув на себе пальто.

— Переименовали все улицы?

— Заменяли французские названия немецкими. Месье Динан получил весточку от сына. Знаете, как они назвали авеню де-ля Гар?

Мы дружно покачали головой. Тогда мадам Лувье закрыла глаза, чтобы сосредоточиться.

— Банхофштрассе, — наконец произнесла она.

— Банхоф что?

— Нет, вы только представьте себе!

— Я не позволю им переименовать свой магазин! — фыркнул месье Арман. — Скорее я переименую их задницы. Brot^[9] — такой и Brot — другой. Это boulangerie. На рю де Бастид. Всегда была и всегда будет. А что такое Банхоф? Просто курам на смех!

— Но это ужасно! Я не говорю по-немецки! — запричитала мадам Дюран. И, увидев наши удивленные взгляды, добавила: — Боже мой, как же я буду ходить по родному городу, если не буду знать названия улиц?!

Мы так развеселились, что не заметили, как дверь внезапно открылась. И в лавке тут же воцарилась мертвая тишина. Я повернулась и увидела, как в булочную, с высоко поднятой головой, но избегая встречаться с нами глазами, входит Лилиан Бетюн. Лицо ее, не такое худое, как у других, было напудрено и нарумянено. Она пробормотала дежурное «Bonjour» и полезла в сумочку.

— Две буханки, пожалуйста.

От нее пахло дорогими духами, уложенные локонами волосы были зачесаны наверх. В нашем городе, где большинство женщин были так измучены, что опустили руки и перестали за собой ухаживать, она была похожа на сверкающий драгоценный камень. Но внимание мое привлекла даже не прическа, а ее манто, от которого я просто не могла оторвать глаз. Угольно-черное, из чудесного волнистого переливающегося каракуля, высоко поднятый воротник выгодно подчеркивал ее лицо и длинную шею. Я заметила, что пожилые дамы тоже не обошли своим вниманием манто, но, когда они оглядели мадам Бетюн с головы до ног, лица их окаменели.

— Одну для вас, а другую — для немца? — пробормотала мадам Дюран.

— Я сказала: «Две буханки, пожалуйста». Одну для меня, а другую — для моей дочери.

Месье Арман сразу же перестал улыбаться. Не отрывая глаз от покупательницы, он полез под прилавок и шмякнул на него две буханки. И даже не потрудился их завернуть.

Лилиан протянула ему банкноту, но булочник не стал брать деньги из ее рук. Он подождал, пока она положит их на прилавок, а потом брезгливо взял двумя пальцами, словно банкнота была заразной. Затем полез в кассу и, хотя женщина уже убрала руку, швырнул две монеты на сдачу.

Мадам Бетюн посмотрела сперва на него, затем — на лежащие на прилавке монеты.

— Сдачу можете оставить себе, — сказала она и, наградив нас яростным взглядом, пулей вылетела из булочной.

— И у нее еще хватает наглости... — Больше всего на свете мадам Дюран любила возмущаться поведением других. И к счастью для нее, последние несколько месяцев Лилиан Бетюн предоставляла ей массу поводов для праведного гнева.

— Полагаю, ей, как и всем, надо что-то есть, — заметила я.

— Каждую ночь она ходит на ферму Фурье. Каждую ночь. Крадет, как вор, по темному городу.

— У нее уже два новых пальто, — не осталась в стороне мадам Лефевр. — Одно — такое зеленоватое. Новехонькое зеленое шерстяное пальто. Прямо из Парижа.

— А ее туфли! Из лайки! Естественно, днем она их носить не осмеливается. Понимает, что тогда ее просто-напросто разорвут на куски.

— Только не ее. Ведь она под охраной немцев.

— И все же посмотрим, что будет, когда немцы уйдут.

— Не хотела бы я оказаться в ее шкуре. Все равно, лайковая она или нет!

— Тьфу, противно смотреть, как она тут расхаживает с важным видом, демонстрируя всем, как ей повезло. Кем она себя вообразила?

Месье Арман проследил глазами за молодой женщиной, которая как раз переходила через площадь, и неожиданно улыбнулся:

— Дамы, не стоит так беспокоиться! Время разбрасывать камни, и время их собирать! — воскликнул он, а когда мы удивленно уставились на него, добавил: — Вы умеете хранить секреты?

Не знаю, чего это он вдруг стал спрашивать, поскольку прекрасно знал, что старые дамы не были способны закрыть рот даже на десять секунд.

— Так в чем дело?

— А в том, что мадам Модные Панталоны сегодня получит угощение, которого совсем не ждет.

— Не понимаю.

— Вы ведь заметили, что ее буханки лежали отдельно, под прилавком? Так вот, я добавил туда специальные ингредиенты. Те, которых, клянусь, нет в остальных буханках.

Глаза старых женщин округлились от удивления. Я не решилась спросить, что имел в виду булочник, но злорадный блеск его глаз говорил о целом ряде возможных вариантов, ни один из которых мне не хотелось обсуждать.

— Non!

— Месье Арман! — Дамы явно были шокированы, но тем не менее дружно захихикали.

И тут меня начало подташнивать. Лилиан Бетюн мне совершенно не нравилась, как, впрочем, и ее поведение, но их слова вызвали у меня внутренний протест.

— Я... Мне пора идти. Элен ждет... — Я схватила хлеб, а в ушах у меня все еще звенел их смех. И я поспешила укрыться в тиши и относительной безопасности нашего отеля.

Продукты прибыли в следующую пятницу. Сперва молодой немецкий капрал привез две дюжины яиц, накрыв их простыней, словно доставлял контрабанду. Затем мы получили в трех корзинах белый — очень свежий — хлеб. Хлеб, купленный во время моего последнего посещения булочной, уже весь вышел, и, когда я взяла в руки буханки белого хлеба — хрустящего и теплого, — то опьянела от желания. Мне даже пришлось отослать Орельена наверх, чтобы у него не возникло искушения отщипнуть от поджаристой корочки.

Потом нам доставили шесть неоципаных кур и ящик лука, капусты, моркови и черемши. А еще консервированные томаты, рис и яблоки. Молоко, кофе, три увесистых куска масла, муку, сахар. И все новые и новые бутылки вина с юга. Мы с Элен молча принимали каждую партию продовольствия, к которой обязательно прилагалась накладная с указанием точного количества продуктов. Да, утащить что-то с кухни будет нелегко, так как мы должны были заполнить специальную форму, пометив, сколько чего требуется для каждого блюда. Нам также велели

собирать объедки, которые пойдут на корм скоту, в ведра. Когда мне об этом сообщили, то стало так противно, что захотелось сплюнуть.

— Мы что, должны приготовить все к вечеру? — показала я рукой на запасы продовольствия. — Kuchen?

— Ja, — энергично кивнул он. — Sie kommen. Acht Uhr.

— В восемь часов, — подала за моей спиной голос Элен. — Они хотят, чтобы ужин подавали в восемь часов.

Обычно наш ужин состоял из куска черного хлеба с намазанным на него тонким слоем джема и вареной свеклы. И жарить цыплят, наполнив нашу кухню запахами чеснока и томатов, а еще яблочного торта, было сродни танталовым мукам. В тот первый вечер я страшно боялась, что даже если оближу пальцы, красные от томатного сока или липкие от яблок, то просто не переживу этого. Несколько раз, раскатывая тесто или очищая яблоки, я чувствовала, что еще немножко — и потеряю сознание от непреодолимого желания. Нам пришлось загнать Мими, Орельена и маленького Жана на второй этаж, откуда время от времени раздавались протестующие вопли.

Мне не хотелось готовить для немцев слишком хорошо. Но я боялась не угодить им. По крайней мере, уговаривала себя я, вынимая из духового шкафа жареных цыплят и сбрызгивая их обжигающим соком, можно хотя бы насладиться видом еды. Ведь я могла получить шанс снова посмотреть на нее, понюхать ее. Но только не в тот вечер. К тому времени, как раздался звонок в дверь, возвещающий о прибытии господ офицеров, у меня начались голодные рези в животе, а на лбу выступил холодный пот. Я ненавидела немцев так сильно, как никогда раньше.

— Мадам! — Комендант вошел в дом первым. Он снял мокрый от дождя шлем и подал знак офицерам последовать его примеру.

Я стояла, вытирая руки о передник, и не знала, как себя вести.

— Господин комендант! — Лицо мое оставалось абсолютно бесстрастным.

В комнате было тепло. Немцы прислали три корзины дров, чтобы мы могли развести огонь. Офицеры разматывали шарфы и снимали шлемы, с удовольствием принюхиваясь к вкусным запахам и улыбаясь в предвкушении трапезы. В воздухе витал аромат цыпленка, зажаренного в томатно-чесночном соусе.

— Думаю, мы будем ужинать прямо сейчас, — заявил комендант, поглядывая в сторону кухни.

— Как вам будет угодно, — ответила я. — Схожу за вином.

Орельен уже открыл на кухне бутылки и теперь, нахмурившись, нес по одной в каждой руке. Этот мучительный вечер для него оказался особенно тяжелым. Я очень боялась, что в силу своей молодости, импульсивности и свежей обиды на немцев за жестокие побои брат может попасть в беду. Забрав у него бутылки, я быстро сказала:

— Иди скажи Элен, чтобы накрывала на стол.

— Но...

— Иди! — приказала я и начала обходить столы, разливая вино.

Я не смотрела на немцев, когда ставила перед ними бокалы с вином, хотя и ловила на себе их взгляды. «Да, смотрите на меня! — беззвучно говорила я им. — Еще одна тощая француженка, которую голод заставил подчиниться вам. Надеюсь, мой внешний вид испортит вам аппетит».

Под довольное перешептывание сестра принесла первые тарелки. И уже через минуту мужчины жадно накинулись на еду. Слышался только стук ножей и вилок по фарфору и отрывистые фразы на чужом языке. Я непрерывно подносила полные тарелки, стараясь не вдыхать аппетитные ароматы, стараясь не смотреть на жареное мясо, поблескивающее среди ярких овощей.

Наконец мне удалось обслужить их всех. Мы с Элен стояли за стойкой бара и слушали, как комендант произносит по-немецки длинный тост. Невозможно передать словами, каково это — слушать их голоса в собственном Доме, смотреть, как они пожирают еду, приготовленную нашими руками, расслабляются, смеются и пьют. Я с горечью думала о том, что помогаю этим людям набраться сил, в то время как мой возлюбленный Эдуард, наверное, совсем ослаб от недоедания. И от этой мысли, а возможно, от чувства голода и крайнего изнеможения на меня вдруг накатило отчаяние. Сдавленный всхлип вырвался из моего горла. И тут я почувствовала, что Элен сжала мне руку.

— Ступай на кухню, — прошептала она.

— Я...

— Ступай на кухню. Я присоединюсь к тебе, как только наполню бокалы.

И на сей раз пришла моя очередь слушаться.

Они ели целый час. Погруженные в тягостные мысли, мы с Элен сидели молча на кухне, умирая от усталости и вздрагивая каждый раз, когда слышали раскаты смеха или прочувственные возгласы. Хотя нам было трудно понять, что они значили.

— Дамы! — В дверях кухни появился комендант. Мы тотчас же вскочили на ноги. — Еда была превосходной. Надеюсь, вы сможете и дальше держать марку.

Я стояла, уставившись в пол.

— Мадам Лефевр, — произнес он, и я неохотно подняла глаза. — Вы очень бледны. Вы, случайно, не больны?

— Нет, я в порядке, — сглотнув, ответила я.

Его глаза жгли меня огнем. Стоявшая рядом Элен нервно сплетала и расплетала пальцы, с непривычки покрасневшие от горячей воды.

— Мадам, а вы с сестрой что-нибудь ели?

Я решила, что он нас проверяет. Проверяет, выполнили ли мы все эти чудовищные инструкции. А еще подумала, что сейчас он захочет взвесить очистки, чтобы проверить, не сунули ли мы тайком в рот кусочек яблочной кожуры.

— Господин комендант, мы не тронули даже рисового зернышка, — практически выплюнула я в него. От голода я потеряла чувство самосохранения.

— Тогда вам непременно нужно поесть, — прищурился он. — Вы не сможете хорошо готовить, если не будете есть. На кухне что-нибудь осталось?

Я стояла, не в силах пошевелиться. Элен махнула в сторону противня на духовом шкафу. Там лежали четыре четвертинки цыпленка, подогретые на случай, если кто-то попросит добавки.

— Тогда присядьте и спокойно поешьте. — (Я поверить не могла, что он не устраивает нам очередной проверки.) — Это приказ. — Он почти улыбался, хотя я не находила здесь ничего смешного. — Я серьезно. Ну давайте же!

— А нельзя ли... Нельзя ли накормить детей? Они так давно не видели мяса.

Он слегка нахмурился, словно не понимая, о чем я толкую. А я ненавидела его. Ненавидела звук собственного голоса, выпрашивающего у немца объедки. О, Эдуард! Слышал бы ты меня сейчас!

— Накормите детей и поешьте сами, — коротко ответил он, а затем повернулся и вышел из кухни.

Мы не произнесли ни слова, его слова эхом отдавались у меня в голове. Затем Элен подобрала юбки и ринулась вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Я уже давно не видела, чтобы она бегала так проворно.

А секунду спустя она вернулась, держа на руках Жана в ночной рубашонке. Мими и Орельен

бежали впереди.

— Это правда? — спросил Орельен, который, раскрыв рот, смотрел на цыпленка.

В ответ я только слабо кивнула.

И мы жадно набросились на несчастную птицу. Я могла бы, конечно, сказать вам, что мы с сестрой ели, демонстрируя хорошие манеры, как истинные парижанки, отрезали маленькие кусочки, делали паузы, чтобы перекинуться парой слов или вытереть губы салфеткой. Нет, мы набросились на еду, словно дикари. Мы разрывали мясо руками, зачерпывали полные пригоршни риса, ели с открытым ртом, хватали упавшие на пол кусочки. Меня уже совершенно не волновало, была ли это какая-то очередная уловка коменданта. В жизни не пробовала ничего вкуснее того цыпленка. Томатно-чесночный соус оставлял во рту дано забытое сказочное послевкусие, а его ароматы я, казалось, могла бы вдыхать вечно. Мы ели, издавая первобытные звуки, чавкая и причмокивая, поскольку с головой ушли в собственный мир наслаждений. Малыш Жан со смехом вымазал лицо соком. Мими жевала куриную кожу, шумно обсасывая жирные пальцы. Мы с Элен ели в полном молчании, прерываясь лишь на то, чтобы проверить, достаточно ли еды у детей.

Все подчистив, обглодав буквально каждую косточку и доев рис до последнего зернышка, мы сели и посмотрели друг на друга. Из бара доносились голоса немцев, звучащие все громче, по мере того как вина становилось все меньше, и периодические взрывы смеха. Я вытерла рот тыльной стороной ладони.

— Только никому не слова, — произнесла я, сполоснув руки. Я чувствовала себя как пьянчуга, который неожиданно протрезвел. — Это может больше не повториться. И мы должны вести себя так, словно ничего и не было. Если хоть одна живая душа узнает, что мы ели немецкую еду, нас сочтут предателями.

Мы бросили строгий взгляд на Мими с Орельеном, пытаясь донести до них всю серьезность наших слов. Орельен кивнул. Мими тоже. В такие минуты они были готовы на все. И, если понадобится, хоть всю жизнь говорить по-немецки. Элен схватила посудное полотенце, намочила его и принялась стирать следы недавнего ужина с рожниц малышей.

— Орельен, — сказала она. — Уложи детей в кровать. Мы займемся уборкой.

Но, как ни странно, мои предостережения вовсе не испортили Орельену настроения. Его щуплые юношеские плечи расправились впервые за долгие месяцы. И клянусь, когда он взял на руки Жана, то, если бы мог, принялся бы насвистывать.

— Запомни, ни одной живой душе, — снова предупредила я его.

— Знаю, — ответил он.

Ведь он был всего-навсего четырнадцатилетним подростком, которому кажется, что он действительно все знает. Маленький Жан уже обмяк у него на плече, так как впервые за несколько месяцев по-настоящему плотный ужин подействовал на него усыпляюще. Дети стали подниматься по лестнице. И их смех, когда они достигли верхней ступеньки, болью отозвался в моем сердце.

Немцы ушли после одиннадцати. В городе уже год как действовал комендантский час, и когда наступала ночь, мы с Элен сразу отправлялись спать, поскольку у нас не было ни свечей, ни газовых ламп. Бар закрывался в шесть, по крайней мере стал закрываться с начала оккупации, и мы уже тысячу лет не оставались так долго на ногах. И теперь буквально падали от усталости. В животе бурчало и булькало после неожиданно обильной еды, тем более что в последние месяцы мы были на грани голодной смерти. Я увидела, что сестра, отмывавшая сковородки, еле стоит. Я чувствовала себя все же не такой усталой и мысленно постоянно возвращалась к съеденному за ужином цыпленку. У меня было такое чувство, будто давным-давно убитые нервы

снова возродились к жизни. Во рту до сих пор стоял вкус жареного мяса, а в носу — его запах. И эти воспоминания ярким угольком горели в мозгу.

После того как кухня была практически приведена в порядок, я отослала Элен наверх. Она устало откинула прядь волос со лба. В свое время сестра была красавицей. Когда я видела, как эта ужасная война ее состарила, то начинала думать о собственном лице. Узнает ли меня мой муж, когда вернется?!

— Не хочу оставлять тебя наедине с ними, — сказала она.

В ответ я только покачала головой. Я ничего не боялась. На душе было легко и спокойно. Поднять мужчин с места после сытного ужина — задача не из легких. Они много пили, но в бутылках осталось не больше трех бокалов на каждого; вряд ли с такого количества их потянет на подвиги. Господь свидетель, отец наш дал нам не слишком много, но научил понимать, когда надо бояться, а когда нет. Я могла с одного взгляда на незнакомого человека определить — по его напрягшейся нижней челюсти и сузившимся глазам — момент, когда внутреннее напряжение способно вылиться во вспышку насилия. А кроме того, скорее всего, комендант не допустит ничего подобного.

Я осталась на кухне и занималась уборкой до тех пор, пока не услышала звук отодвигаемых стульев. Похоже, они собрались уходить.

— Теперь можете закрываться, — произнес комендант, и я с трудом удержалась, чтобы не ответить ему колкостью. — Мои люди хотят поблагодарить вас за отличный ужин.

Я наградила офицеров едва заметным кивком. Мне не хотелось демонстрировать немцам благодарность за комплименты.

Но комендант явно не рассчитывал на ответ. Он надел на голову шлем, а я достала из кармана заполненные формы и протянула ему. Он бросил на них беглый взгляд и несколько раздраженно вернул мне обратно.

— Я не держу у себя таких вещей. Отдайте человеку, который привезет вам завтра продукты.

— Désolée,^[10] — произнесла я, и это слово мне было известно слишком хорошо. Внутренний протест толкал меня на то, чтобы унижить его, хотя бы на время низведя до уровня солдата из вспомогательных войск.

Я стояла и смотрела, как они надевают шинели и шлемы. Одни, попытавшись продемонстрировать остатки хорошего воспитания, задвинули за собой стулья, другие же не стали себя утруждать, словно имели право вести себя везде по-хозяйски. Вот такие дела, думала я. Значит, нам придется до конца войны стряпать для немцев.

А еще я гадала про себя, что было бы, если бы мы готовили не так хорошо. Может, и проблем оказалось бы меньше. Но мама навсегда вбила нам в голову, что плохо готовить — уже само по себе непростительный грех. Возможно, мы были предателями, возможно, поступали аморально, но я знала наверняка, что мы навсегда запоем тот вечер, когда впервые за долгое время ели жареного цыпленка. А когда я подумала, что это, наверное, не в последний раз, у меня слегка закружилась голова.

И тут до меня дошло, что он смотрит на картину.

Мне вдруг стало страшно, и я вспомнила пророческие слова сестры. Картина действительно ниспровергала основы, в полутемном баре краски казались слишком яркими, а сияющая девушка — слишком своенравной и самоуверенной. Я только сейчас заметила, что она выглядит так, будто смеется над ними.

Он продолжал смотреть на портрет. Его товарищи начали потихоньку уходить, их голоса — грубые и громкие — гулко разносились по пустой площади. А я вздрагивала каждый раз, когда хлопала дверь.

— Очень похоже на вас, — произнес комендант.

Я была потрясена, что он заметил сходство. Но признаваться ужасно не хотелось. То, что он узнал в девушке на портрете меня, вносило элемент некоторой интимности. Я с трудом проглотила комок в горле и так крепко стиснула руки, что у меня побелели костяшки пальцев.

— Да. Ну, это было давным-давно.

— Картина немного напоминает... Матисса.

От удивления я выпалила, не подумав:

— Эдуард учился у него. В Академии Матисса в Париже.

— Я знаю о ней. А вы никогда не встречались с художником по имени Ханс Пурманн? —

Он смотрел на меня в упор, и мне ничего не оставалось, как ответить:

— Я большая поклонница его творчества.

Ханс Пурманн. Академия Матисса. У меня даже закружилась голова. Услышать такое от немецкого коменданта!

Мне захотелось, чтобы он поскорее ушел. Я не желала слышать эти имена из его уст. Воспоминания о самых счастливых днях своей жизни были моими, и только моими, как маленький чудесный дар, который помогал мне держаться, когда становилось совсем невмоготу; и я не хотела, чтобы немец марал их своими небрежными замечаниями.

— Господин комендант, мне нужно убрать посуду. С вашего позволения. — И я начала складывать стопкой тарелки, составлять бокалы.

Но он даже не шелохнулся. Его глаза были обращены к портрету, а мне казалось, будто он смотрит на меня.

— Я так давно не разговаривал об искусстве, — произнес он, словно обращаясь к портрету, затем заложил руки за спину и повернулся ко мне: — Увидимся завтра.

Когда он проходил мимо, я была не в силах поднять на него глаз.

— Господин комендант! — произнесла я, с трудом удерживая в руках гору тарелок.

— Спокойной ночи, мадам.

Когда я наконец поднялась наверх, Элен уже спала, уткнувшись лицом в покрывало. Похоже, у нее даже не было сил снять одежду, в которой она стряпала на кухне. Я расстегнула ей корсет, сняла с нее башмаки и накрыла одеялом. Затем легла рядом, но из-за вертевшихся в голове мучительных мыслей до утра так и не сомкнула глаз.

Париж, 1912 г.

— Мадемуазель!

Я оторвалась от лежащих в витрине перчаток, со стуком закрыв стеклянный ящик, и стук этот утонул в шуме гигантского атриума, являвшегося центральной торговой зоной «Ля фам марше».

— Мадемуазель! Будьте добры! Не могли бы вы мне помочь?

В любом случае, даже если бы он и не кричал, я непременно обратила бы на него внимание. Он был высоким, крепко скроенным, с закрывающими уши волнистыми волосами и совсем не походил на коротко стриженных господ, переступающих порог нашего магазина. Лицо его было грубоватым, но в то же время благородным, оно относилось к тому типу, который папа характеризовал как *pausan*.^[11] Мне показалось, что в нем было что-то от римского императора, а что-то — от русского медведя.

Я подошла к нему, и он махнул рукой в сторону витрины с шарфами. При этом он не сводил с меня глаз. На самом деле его взгляд задержался на мне так долго, что я в испуге оглянулась, не видит ли меня моя начальница мадам Бурден.

— Я хочу, чтобы вы подобрали мне шарф, — сказал он.

— Какой именно, месье?

— Женский шарф.

— Могу я спросить, какие цвета ей идут? Или, возможно, она предпочитает какую-то конкретную ткань?

А он продолжал, не скрываясь, на меня глазеть. Слава богу, мадам Бурден занималась какой-то дамой в шляпке с павлиньими перьями. Если бы она оторвала взгляд от прилавка с кремами для лица, то обязательно заметила бы, что у меня покраснели уши.

— На ваш вкус, — ответил он. — Ей идут те же цвета, что и вам.

Я принялась терпеливо перебирать шелковые шарфы, чувствуя, как кровь приливает к щекам, и выбрала мой самый любимый — легкий как перышко, переливчатого синего цвета.

— Этот цвет подходит практически всем, — объяснила я свой выбор.

— Да... да. Поднимите его, пожалуйста. Приложите его к себе, — попросил он и поднес руку к моей шее.

Я бросила опасливый взгляд в сторону мадам Бурден. У нас существовали строгие правила относительно допустимой степени фамильярности с покупателями, и я отнюдь не была уверена, что, прикладывая шарф к обнаженной шее, не нарушаю их. Но странный покупатель ждал и, когда я после секундного колебания поднесла шарф к щеке, принялся так внимательно на меня смотреть, что мне показалось, будто торговый зал внезапно исчез.

— Да, вот этот. Прекрасно. То, что надо! — воскликнул он и полез в карман пальто за бумажником. — Вы помогли мне сделать правильный выбор.

Он ухмыльнулся, и я невольно улыбнулась в ответ. Возможно, просто от облегчения, что он перестал есть меня глазами.

— Я не уверена, я... — Я завернула шарф в оберточную бумагу и, заметив приближение начальницы, опустила голову.

— Мадам, ваша продавщица отлично справляется со своими обязанностями, — одарил он ее широкой улыбкой.

Краешком глаза я заметила, что она отчаянно пытается понять, как сочетается его

неряшливый вид с властным голосом, который говорит о больших деньгах.

— Вы должны обязательно поощрить ее. У нее верный глаз, — продолжил он.

— Месье, мы делаем все, чтобы наши продавцы могли удовлетворить запросы покупателей, оказывая высокопрофессиональную помощь, — лстиво ответила она. — Но мы надеемся, что и высокое качество наших товаров удовлетворяет всем требованиям наших клиентов. С вас два франка сорок сантимов.

Я вручила ему сверток, а потом стояла и смотрела, как он идет в толпе посетителей по первому этажу самого крупного парижского универмага. Он нюхал флаконы духов, рассматривал яркие шляпы, перебрасываясь короткими фразами с обслуживающим персоналом и даже с посетителями. «Интересно, каково это — быть женой такого человека? — рассеянно подумала я. — Человека, которому каждая минута жизни доставляет прямо-таки чувственное удовольствие». Правда, человек этот, напомнила я себе, имеет наглость глазеть на продавщиц, вгоняя их в краску. Но когда он подошел к большим стеклянным дверям, то повернулся и посмотрел прямо на меня. Потом приподнял шляпу на целых три секунды — и исчез, окунувшись в парижское утро.

В Париж я приехала в 1910-м, через год после смерти матушки и через месяц после того, как сестра вышла замуж за Жана Мишеля Монпелье, книготорговца из соседней деревни. Я поступила на работу в «Ля фам марше», самый крупный парижский универсальный магазин, где, начав со скромной должности кладовщицы, вскоре стала продавщицей в торговом зале. Поселилась я в пансионе для сотрудников универмага.

Я была вполне довольна жизнью, поскольку наконец-то смогла избавиться от внезапного одиночества и сменить сабо, выдававшие во мне провинциалку, на нормальные туфли. Я приходила на работу, которая меня вполне устраивала, к восьми сорока пяти. В это время двери магазина открывались, и в зале появлялись утонченные парижанки: на высоко взбитых волосах нарядные шляпки, талии неестественно тонкие, лица — в обрамлении меха или перьев. Я была счастлива наконец выйти из тени отца, тяжелый нрав которого омрачил мои детские годы. Пьяницы и хулиганы девятого arrondissement, ^[12] где я жила, меня не особо пугали. И мне действительно нравился наш магазин — своеобразный рог изобилия прекрасных вещей. Его запахи одурманивали, а витрины сводили с ума. Здесь был постоянно обновляемый запас товаров из разных стран мира: итальянская обувь, английский твид, шотландский кашемир, китайский шелк, модные новинки из Америки и Англии. А внизу недавно созданный продовольственный отдел предлагал швейцарский шоколад, жирную копченую рыбу, крепкие напитки, мягкие сыры. С каждым днем, проведенным в шумных стенах «Ля фам марше», я все больше приобщалась к новому, блестящему, экзотическому миру.

Я не собиралась выходить замуж: не хотела повторять судьбу своей матери. Меня вполне устраивали те, кто сейчас был рядом со мной, вроде швеи мадам Артей или моей начальницы мадам Бурден.

Два дня спустя я снова услышала его голос:

— Продавщица! Мадемуазель!

Но я была занята, поскольку продавала какой-то молодой женщине детские перчатки. Сухо кивнув ему, я продолжила аккуратно заворачивать покупку.

Но он не хотел ждать.

— Мне срочно нужен еще один шарф, — громогласно провозгласил он.

Покупательница, недовольно фыркнув, взяла у меня пакет. Но если он и слышал, то не подал виду.

— Думаю, что-нибудь красное. Что-нибудь яркое, огненное. У вас есть то, что мне нужно?

Я чувствовала, что начинаю сердиться. Мадам Бурден крепко-накрепко вбила мне в голову, что наш магазин словно земля обетованная: у покупателя всегда должно создаваться ощущение, что после суеты парижских улиц он наконец нашел райский уголок, если, конечно, забыть о том, что здесь его элегантно и ненавязчиво избавляют от лишних денег. И я боялась, что покупательница может на меня пожаловаться. Слишком уж раздосадованный у нее был вид.

— Нет-нет, не то, — сказал он, когда я начала перебирать выложенный товар. — Вот это, — ткнул он пальцем в стеклянный шкаф, где были выставлены самые дорогие образцы. — Вон тот.

Я достала шарф. Темно-красный, рубинового цвета свежей крови, на фоне моих белых рук он казался открытой раной.

Увидев шарф, странный покупатель довольно улыбнулся:

— Мадемуазель, приложите к шее, пожалуйста. Чуть-чуть поднимите голову. Да. Вот так.

На сей раз я чувствовала себя крайне неловко. Я прекрасно знала, что моя начальница наблюдает за мной.

— У вас чудесный цвет лица, — вкрадчиво произнес он и полез в карман за деньгами.

— Уверена, ваша жена будет в восторге от подарков. — Я сняла с шеи шарф и начала его упаковывать, чувствуя на себе обжигающий мужской взгляд.

Тогда он засмеялся, и вокруг глаз сразу образовались мелкие морщинки.

— Откуда может быть родом девушка с такой нежной кожей? С севера? Из Лилля? Бельгии?

Я сделала вид, что не слышу. Нам не разрешалось обсуждать с покупателями, тем более мужского пола, личные дела.

— Знаете, какая моя самая любимая еда? Мидии в белом вине с нормандскими сливками. Немного лука. Немного *pastis*.^[13] Мм... — Он прижал пальцы к губам и взял протянутый мною пакет. — До скорого свидания, мадемуазель.

На сей раз я не стала провожать его взглядом. Но внезапный прилив крови к затылку подсказал мне, что он остановился, чтобы посмотреть на меня. И это на секунду вывело меня из себя. В Сен-Перроне такое поведение было просто невыносимо. В Париже, наоборот, иногда мне казалось, будто я иду по улице в одном нижнем белье, настолько откровенными были взгляды здешних мужчин.

Однажды, за две недели до Дня взятия Бастилии, в магазине поднялась ужасная суматоха: в торговом зале появилась знаменитая певица Мистингетт. Она шла, ослепительно улыбаясь, в окружении поклонников и продавцов, красивая, точно картинка, в головном уборе из роз. Она покупала вещи не глядя, просто тыкала пальцем в витрину, а уже все остальное делали продавцы, шедшие у нее в кильватере. Мы смотрели на нее, как на райскую птицу, и чувствовали себя серыми парижскими воробышками. Я продала ей два шарфа: один из кремового шелка, а второй — из синих перьев, очень шикарный. Я представила, как они обвиваются вокруг ее шеи, и почувствовала себя так, словно и на меня упал отблеск ее славы.

Эта встреча на какое-то время выбила меня из колеи, будто ее удивительная красота, ее шик заставили острее чувствовать свое несовершенство.

Тем временем Медведь еще три раза приходил в магазин. И каждый раз покупал шарф, причем старался сделать так, чтобы обслуживала его именно я.

— Похоже, у тебя появился обожатель, — заметила Полетт (Парфюмерия).

— Месье Лефевр? Берегись! — фыркнула Лулу (Сумки и бумажники). — Марсель из отдела доставки видел его на улице Пигаль. Он болтал с уличными девицами. Хм. Разговор с дьяволом. — И она отошла к своему прилавку.

— Мадемуазель! — окликнул он меня, и я подскочила как ужаленная. Он навалился на прилавок, положив мясистые руки на стекло. — Я вовсе не собирался вас пугать.

— А я и не думала пугаться, месье.

Его карие глаза впились в меня так, будто он о чем-то напряженно думал, но не мог посвятить меня в свои мысли.

— Не желаете посмотреть еще какие-нибудь шарфы?

— Не сегодня. Я хотел... я хотел вас кое о чем попросить, — произнес он, и я непроизвольно дотронулась до воротника платья. — Мне хочется написать ваш портрет.

— Что?

— Меня зовут Эдуард Лефевр. Я художник. И если вы уделите мне час или два своего времени, я мог бы написать ваш портрет.

Я решила, что он меня дразнит, и на всякий случай бросила взгляд в сторону Лулу и Полетт, гадая про себя, слушают ли они наш разговор.

— Но почему... почему вы захотели нарисовать именно *меня*?

Впервые за все время нашего знакомства я видела его слегка обескураженным.

— Вы действительно хотите, чтобы я ответил?

И только тут я поняла, что мой вопрос звучит так, будто я напрашиваюсь на комплименты.

— Мадемуазель, в моей просьбе нет ничего предосудительного. Если желаете, можете взять с собой компаньонку. Я просто хочу... Ваше лицо меня обворожило. Я не смог забыть его даже после того, как покинул «Ля фам марше». И хочу запечатлеть его на бумаге.

Я с трудом удержалась, чтобы не потрогать себя за подбородок. *Мое лицо? Обворожительное?*

— А ваша... ваша жена будет присутствовать?

— Я не женат. — Он полез в карман и что-то черкнул на листе бумаги. — Но зато у меня много шарфов.

Он протянул мне листок, и я поймала себя на том, что, прежде чем взять его, опасливо огляделась по сторонам, словно преступница.

Я никому ничего не сказала. Ведь я и сама точно не знала, что именно должна была сказать. Я надела свое лучшее платье, но, немного подумав, сняла его. Потом снова надела. А еще потратила непривычно много времени на то, чтобы заколоть волосы. Я битых двадцать минут просидела возле двери своей комнаты, перечисляя вслух причины, почему мне не следует идти.

Когда я наконец вышла из комнаты, хозяйка пансиона удивленно подняла брови. Чтобы отвести от себя ее подозрения, я сняла парадные туфли и переобулась в сабо. Я шла и сама с собой спорила.

«Если администрация магазина узнает, что ты позировала художнику, то может поставить под сомнение твою нравственность. Ты потеряешь работу!

Он хочет писать с меня картину. С меня, Софи из Сен-Перрона! Лишь слабой копии Элен, с ее удивительной красотой.

Возможно, в моей внешности есть нечто доступное. Вот почему он уверен, что я не смогу ему отказать. Он ведь общается с девицами с улицы Пигаль...

Но что я вообще видела в этой жизни? Вся моя жизнь — только работа и сон. Почему бы не позволить себе испытать что-то еще?»

Лефевр жил через две улицы от Пантеона. Я прошла по мощеной улочке, нашла нужный дом и, еще раз проверив адрес, постучала. Мне никто не ответил. Откуда-то сверху доносилась музыка. Входная дверь была слегка приоткрыта, и я, толкнув ее посильнее, вошла в дом. Затем тихонько поднялась по узкой лестнице и остановилась. Там, за дверью, играл граммофон, женщина пела о любви и отчаянии, а мужской голос подпевал в такт музыке. Я безошибочно узнала его густой бас. Секунду-другую я стояла и слушала, улыбаясь помимо своей воли. Затем

распахнула дверь.

Просторная комната утопала в лучах света. Одна стена была кирпичной, другая — стеклянной, поскольку состояла из сплошных примыкающих друг к другу окон. Но что меня потрясло больше всего — это царивший там ужасающий кавардак. У стен лежали кипы полотен; на всех свободных поверхностях вперемешку с подрамниками в потеках засохшей краски и коробками угольных карандашей стояли банки с грязными кистями. Вокруг лежавшей на полу лестницы были разбросаны ненатянутые холсты, карандаши, тарелки с остатками еды. В комнате остро пахло скипидаром и масляной краской, застарелым табачным дымом и прокисшим вином; по углам стояли темно-зеленые бутылки; в одни были вставлены свечи, другие же просто служили свидетельством недавней попойки. На деревянном табурете неопрятной кучей лежали банкноты и монеты. И посреди всего этого хаоса задумчиво расхаживал взад и вперед, держа в руках банку с кистями, месье Лефевр, облаченный в просторную блузу и крестьянские штаны, словно он был не в самом сердце Парижа, а за сотни миль отсюда.

— Месье?

Он удивленно моргнул, словно не мог вспомнить, кто я такая, затем медленно поставил банку с кистями на стол.

— Это вы!

— Ну да.

— Чудесно! — покачал он головой, словно не верил своим глазам. — Чудесно! Входите, входите. Сейчас найду, куда вас усадить.

В мастерской он казался еще массивнее, тонкая ткань блузы не скрывала его крупного тела. Я стояла, тиская в руках сумочку, и смотрела, как он сбрасывает кипы газет со старой кушетки.

— Садитесь, пожалуйста. Не хотите чего-нибудь выпить?

— стакан воды, если можно. Благодарю вас.

Несмотря на некоторую двусмысленность ситуации, я шла сюда, не чувствуя особой неловкости. Меня не слишком волновало, что и мастерская какая-то странная, да и район, где она располагалась, пользуется сомнительной репутацией. Но сейчас я вдруг поняла, что попала в унизительное, даже дурацкое положение, и оттого почувствовала себя крайне неудобно.

— Месье, похоже, вы меня не ждали?

— Ради бога простите! Я просто не верил, что вы решитесь прийти. Но я очень рад. Очень рад, — произнес он и, слегка попятившись, посмотрел на меня.

Его взгляд скользил по моим волосам, по скулам, по шее. Я же сидела перед ним неподвижно как истукан. От него пахло немывтым телом. Не могу сказать, что мне было неприятно. Наоборот, при данных обстоятельствах его запах даже притягивал меня.

— Вы уверены, что не хотите стаканчика вина? Это позволит вам расслабиться.

— Нет, благодарю. Я хотела бы, чтобы вы приступили к работе... В моем распоряжении всего один час, — вырвалось у меня. Но на самом деле я уже была готова встать и уйти.

Он попытался придать мне нужную позу, заставить меня положить сумочку и облокотиться на спинку кушетки. Но я не могла. Сама не знаю почему, но я чувствовала себя униженной. И пока месье Лефевр работал, поглядывая на меня из-за мольберта и уже не пытаюсь поддержать разговор, до меня начало потихоньку доходить, что, вопреки своим тайным мечтам, я не являюсь объектом его обожания, поскольку он явно смотрел сквозь меня. Похоже, я была для него *вещью*, предметом, таким же незначительным, как та зеленая бутылка или яблоко на натюрморте, висевшем возле двери.

Более того, не приходилось сомневаться в том, что сложившаяся ситуация ему тоже не нравится. Чем меньше времени оставалось до конца сеанса, тем более взволнованным он

казался и тем тяжелее вздыхал, демонстрируя свое разочарование. Я сидела, застыв точно статуя. Мне казалось, будто я делаю что-то не так.

— Мадемуазель, давайте закончим, — наконец сказал он. — Похоже, бог угля сегодня от меня отвернулся.

Я с облегчением выпрямилась, вытянув шею, чтобы получше разглядеть рисунок.

— Можно мне посмотреть?

Да, на картине была изображена именно я, но нарисованная девушка почему-то казалась безжизненной, словно фарфоровая кукла. На лице ее застыло выражение угрюмой неприступности, совсем как у чопорной старой девы. Я изо всех сил старалась не выдать своего разочарования.

— Наверное, я не та натурщица, которая вам нужна.

— Нет, мадемуазель, вы здесь ни при чем, — пожал он плечами. — Я... Я недоволен собой.

— Если желаете, я могу прийти еще раз в воскресенье, — сама себе удивляясь, поскольку опыт оказался не из приятных, произнесла я.

В ответ он улыбнулся. Я только сейчас заметила, какие у него добрые глаза.

— Это... Это было бы весьма великодушно с вашей стороны. Не сомневаюсь, в следующий раз мне непременно удастся отдать вам должное.

Но в воскресенье все было точно так же. Я старалась, старалась, как могла. Я лежала, закинув руку на спинку кушетки, тело мое было изогнуто, точь-в-точь как у отдыхающей Афродиты, которую он показал мне в книжке, юбка мягкими складками облепила ноги. Я попыталась расслабиться и смягчить выражение лица, но в такой неудобной позе корсет безжалостно впивался в тело, а из прически выбилась непослушная прядь волос, которую мне нестерпимо хотелось поправить. Эти мучительные два часа показались мне вечностью. И, еще не увидев картины, по выражению лица месье Лефевра я поняла, что он снова разочарован.

«Неужели это я?» — думала я, глядя на девушку с мрачным лицом, которая была похожа скорее не на Венеру, а на вечно недовольную домохозяйку, в который раз вытиравшую пыль с мягкой мебели.

Думаю, на сей раз он даже меня пожалел. У меня закралось подозрение, что я оказалась самой некрасивой из всех его натурщиц.

— Дело вовсе не в вас, мадемуазель. Иногда... требуется время, чтобы уловить сущность человека.

Однако больше всего меня огорчало другое: я боялась, что он уже уловил мою сущность.

Я встретила его снова в День взятия Бастилии. Я пробиралась по украшенным огромными красно-бело-синими флагами и гирляндами душистых цветов многолюдным улочкам Латинского квартала, то ныряя, то выныривая из толпы людей, собравшихся посмотреть на марширующих с ружьями на плече солдат.

Весь Париж ликовал. И хотя я обычно не жаловалась на отсутствие компании, в тот день мне было страшно одиноко и как-то странно щемило грудь. Дойдя до Пантеона, я остановилась: улица Суффло была запружена народом, плясавшим и веселившимся — все женщины в широкополых шляпах и длинных юбках — под музыку оркестра возле кафе «Леон». Танцующие грациозно кружились, некоторые просто стояли на тротуаре напротив друг друга и переговаривались, точно улица была одним большим бальным залом.

И посреди всей этой пестрой толпы за столиком кафе я увидела его. На шее у него был яркий шарф. Рядом с ним в окружении свиты, по-хозяйски положив ему руку на плечо, сидела Мистингетт и рассказывала что-то явно очень смешное, так как в ответ он раскатисто хохотал.

Я оторопело смотрела на них. И тогда, возможно почувствовав мой пристальный взгляд, он

оглянулся и увидел меня. Зардевшись, я быстро шмыгнула в подворотню и поспешила в обратном направлении. Я пробиралась между танцующими парами под стук своих сабо по бульжной мостовой. Но буквально через несколько секунд услышала у себя за спиной его голос:

— Мадемуазель!

Не ответить было невозможно, и я оглянулась. В какой-то момент мне показалось, будто он собирается меня обнять, но что-то в моем поведении остановило его. Вместо этого он легонько тронул меня за руку и махнул в сторону людского водоворота.

— Как я рад, что натолкнулся на вас, — сказал он. Я начала извиняться, запинаясь и с трудом подбирая слова, но он остановил меня: — Пойдемте, мадемуазель! Это народный праздник. И даже самые усердные должны позволять себе время от времени расслабляться.

Вокруг нас легкий ветерок полоскал флаги. Они хлопали в такт ударам моего неровно бьющегося сердца. Я отчаянно искала вежливый способ выйти из неловкой ситуации, но он опять меня опередил:

— Мадемуазель, к своему стыду, должен признаться, что, несмотря на наше знакомство, до сих пор не знаю, как вас зовут.

— Бессетт, — ответила я. — Софи Бессетт.

— Тогда, ради бога, мадемуазель Бессетт, позвольте угостить вас каким-нибудь напитком.

Но я решительно покачала головой. Мне было нехорошо, словно одно то, что я пришла сюда, лишило меня последних сил. Я посмотрела поверх его головы туда, где в окружении друзей сидела Мистингетт.

— Ну, не стесняйтесь! — потянул он меня за руку.

И тут великая Мистингетт посмотрела прямо на меня.

Клянусь, когда он взял меня за руку, на ее лице промелькнуло легкое раздражение. На фоне этого человека, Эдуарда Лефевра, самая яркая парижская звезда вдруг показалась тусклой и невыразительной. Более того, он предпочел меня ей.

— Благодарю вас. Разве что стакан воды, — бросила я на него робкий взгляд.

— Мисти, душечка, это Софи Бессетт, — произнес он, подведя меня к столику.

На лице ее все еще играла улыбка, но взгляд, которым она окинула меня, был ледяным. Интересно, помнила ли она, что я обслуживала ее в нашем магазине.

— Сабо! — воскликнул какой-то господин за ее спиной. — Надо же, как... оригинально!

В ответ раздался взрыв хохота, и я почувствовала, что у меня горит лицо. И тогда, сделав глубокий вдох, я как можно более спокойно ответила:

— Они должны появиться в универмаге к весеннему сезону. Последняя новинка. Это *la mode paysanne*.^[14] — И тут же почувствовала на спине пальцы Эдуарда.

— Ну, мадемуазель Бессетт, у которой, наверное, самые тонкие щиколотки во всем Париже, вполне может себе это позволить.

И вся компания моментально притихла, словно обдумывая слова Эдуарда, а Мистингетт отвернулась.

— Какая прелесть! — ослепительно улыбнулась она. — Эдуард, дорогой, мне пора. Очень много дел. Загляни ко мне, как только сможешь. Договорились?

Она протянула ему для поцелуя затянутую в перчатку руку, и я с трудом отвела глаза от его губ. Когда она уходила, по толпе пробежала легкая рябь, будто Мистингетт шла по воде.

А мы остались сидеть за столиком. Эдуард Лефевр небрежно откинулся на спинку стула, точно он был на взморье, я же от неловкости чувствовала себя ужасно скованно. Ни слова не говоря, он протянул мне напиток, и в выражении его лица было что-то извиняющееся и одновременно — если я не ошиблась — неуловимо ироничное. Словно все они были настолько смешны, что мне даже не стоило обижаться. Я видела вокруг веселых танцующих людей,

слышала их задорный смех, а над головой раскинулось бескрайнее синее небо. Все это подействовало на меня так успокаивающе, что я потихоньку расслабилась. Эдуард разговаривал со мной предельно вежливо, расспрашивал меня о том, как я жила до того, как попала в Париж, о нравах в нашем универмаге. Время от времени он прерывался на то, чтобы, перекатив сигарету в уголок рта, крикнуть «Браво!» музыкантам из оркестра и похлопать им поднятыми вверх могучими руками. Он знал здесь буквально всех. Я уже сбилась со счета, сколько людей остановилось поздороваться с ним или угостить его выпивкой. Среди них были художники, лавочники, женщины сомнительного поведения. Я чувствовала себя так, будто находилась в обществе королевской особы. Более того, я ловила на себе любопытные взгляды. Наверняка они удивлялись, что делает мужчина, при желании способный заполучить Мистингетт, в обществе девицы типа меня.

— Девушки из магазина говорили, что видели, как вы разговариваете с les putains с улицы Пигаль, — не смогла сдержать любопытства я.

— И это правда. Со многими из них действительно весело.

— А вы их рисуете?

— Когда могу позволить себе оплатить их время. — Он кивнул мужчине, приподнявшему шляпу. — Они прекрасные натурщицы. И как правило, абсолютно не стесняются своего тела.

— В отличие от меня.

Он заметил, что я слегка покраснела. После секундного колебания, словно извиняясь, он накрыл мою руку своей и тем самым совсем вогнал меня в краску.

— Мадемуазель, — тихо сказал он. — В том, что те картины получились неудачно, виноват только я. Вашей вины здесь нет. Я должен был... — Он сменил тон. — У вас есть другие достоинства. Вы завораживаете меня. И вас не так-то легко запугать.

— Да, — согласилась я. — Что есть, то есть.

Мы ели хлеб, сыр и оливки, причем я еще никогда не пробовала таких вкусных оливок. Он пил пастис, со вкусом опрокидывая каждый стакан. Время шло, и уже перевалило далеко за полдень. Смех становился все громче, спиртного становилось все больше. Я позволила себе два стаканчика вина и постепенно начала получать удовольствие от жизни. Здесь, на улице, в этот чудесный день, я больше не чувствовала себя провинциалкой, продавщицей на предпоследней ступеньке социальной лестницы. Нет, сейчас я была полноправной участницей празднования Дня взятия Бастилии.

А затем Эдуард, отодвинув стол, поднялся и встал прямо передо мной.

— Потанцуем? — спросил он.

У меня не было причин отказать ему. Тогда я взяла его за руку, и мы влились в людской водоворот. Я не танцевала с тех пор, как покинула Сен-Перрон. И теперь слышала, как в ушах свистит ветер, чувствовала его руку у себя чуть пониже спины, а мои сабо казались непривычно легкими. От него пахло табаком, анисовым семенем и еще чем-то очень мужским, отчего у меня захватывало дух.

Понятия не имею, что это было. Выпила я совсем немного, поэтому вино оказалось вовсе ни при чем. И не то чтобы он был так уж хорош собой или в моей жизни не хватало присутствия мужчины.

— Нарисуйте меня еще раз, — попросила я.

Он остановился и озадаченно посмотрел на меня. Но я не осуждала его, так как и сама ужасно смутилась.

— Нарисуйте меня снова. Сегодня. Прямо сейчас.

Он ничего не ответил, а только подошел к столику, взял сигареты, и мы, протиснувшись сквозь толпу, пошли по многолюдным улицам к его мастерской.

Мы поднялись по узкой деревянной лестнице, он открыл дверь солнечной мастерской, и я осталась ждать, пока он снимет пиджак, поставит граммофонную пластинку и начнет смешивать на палитре краски. Он занимался делами, напевая себе под нос, а я тем временем начала расстегивать блузку. Затем сняла сабо и чулки. Вылезла из верхних юбок, оставшись только в корсете, сорочке и белой нижней юбке. Потом вынула шпильки и распустила волосы по плечам. Он повернулся ко мне, судорожно вздохнул и удивленно заморгал.

— Примерно так? — спросила я.

На его лицо набежала тень беспокойства. Вероятно, он боялся, что кисть опять его подведет. Я сидела с высоко поднятой головой, глядя ему прямо в глаза. Смотрела на него так, будто бросала вызов. Однако художник в нем взял верх, и он углубился в созерцание моей молочной кожи, моих рыжевато-каштановых волос, и все сомнения, что ему не удастся добиться сходства, разом отпали.

— Да, именно так. Пожалуйста, наклоните голову чуть влево, — попросил он. — А теперь рука. Разожмите слегка пальцы. Идеально.

Он приступил к работе, а я внимательно за ним наблюдала. Он обследовал взглядом каждый дюйм моего тела, словно не мог допустить ни малейшей неточности. Я смотрела, как лицо его постепенно приобретает довольное выражение, и видела себя будто в зеркале. У меня больше не было внутренних запретов. Да, я была Мистингетт, уличной девицей с Пигаль, смелой и уверенной в себе. Мне хотелось, чтобы он получше пригляделся к ямке на шее над ключицами, к моим волосам с их скрытым от посторонних глаз блеском. Мне хотелось полностью раскрыться перед ним.

Пока он писал, я изучала черты его лица, манеру мурлыкать себе под нос, когда он смешивал краски. Смотрела, как он шаркает ногами, будто старик. Хотя какой он старик! Он был моложе и крепче всех тех мужчин, что приходили в магазин. Я вспомнила, как он ел: с нескрываемым жадным удовольствием. Он пел под граммофонные пластинки, рисовал, когда хотел, общался, с кем хотел, и говорил то, что думал. И мне захотелось жить так, как живет Эдуард: весело, наслаждаясь каждой секундой бытия, петь для души.

А потом неожиданно стемнело. Он отложил кисти и огляделся по сторонам, будто только сейчас это заметил. Он зажег свечи, газовые лампы и расставил их вокруг меня, но потом тяжело вздохнул, поняв, что ему не удалось рассеять мрак.

— Вы не замерзли? — спросил он.

Я покачала головой, но он все же достал из комода ярко-красную шерстяную шаль и набросил мне на плечи.

— Все. Работать при таком свете невозможно. Хотите посмотреть, что получилось?

Тогда я поплотнее завернулась в шаль и, осторожно ступая босыми ногами по деревянным половицам, подошла к мольберту. Я была точно во сне, мне казалось, будто за те часы, что я позировала, реальная жизнь каким-то чудом растворилась. Мне было страшно взглянуть на мольберт и тем самым разрушить чары.

— Ну, смелее! — пригласил он меня подойти поближе.

На полотне я увидела девушку, которую не сразу узнала. Она вызывающе смотрела на меня с картины, волосы ее в полумраке отливали медью, кожа была белой как алебастр, в ней чувствовалась властная уверенность аристократки.

Она была одновременно и удивительной, и прекрасной, и очень гордой. Я словно смотрелась в волшебное зеркало.

— Да, я знал, — тихо произнес он. — Я сразу разглядел это в вас.

Несмотря на усталый и напряженный взгляд, вид у него был довольный. И тогда, сама не понимая почему, я подошла к нему вплотную и взяла его лицо в свои ладони. Его лицо было

совсем рядом с моим, и я заставляла его смотреть прямо на меня, словно таким образом желала постичь, что именно он видит.

Я никогда особо не стремилась к интимной близости с мужчиной. Животные звуки и крики, раздававшиеся из родительской спальни, особенно когда отец напивался, были мне отвратительны, и я ужасно жалела мать, которая на следующий день еле ходила и прятала от нас лицо в синяках. Но то, что я испытывала к Эдуарду, оказалось сильнее меня. И я не могла отвести глаз от его губ.

— Софи...

Но я почти не слышала его. Я привлекла его лицо еще ближе к своему. Окружающая нас действительность словно исчезла. Я чувствовала под руками колючую щетину на его щеках, чувствовала на своей коже его теплое дыхание. Он пристально вглядывался мне в глаза. Клянусь, у него был такой вид, будто он только теперь по-настоящему увидел меня.

Я наклонилась вперед и со вздохом прижалась губами к его губам. Его руки легли мне на талию и инстинктивно сжали ее. Он слегка приоткрыл рот, и я вдохнула в себя его влажное, теплое дыхание со следами табака и вина. Боже мой! Мне хотелось, чтобы он вобрал меня в себя. Я закрыла глаза. Тело мое было словно наэлектризовано и, казалось, мне больше не принадлежало. Его руки запутались в моих волосах, а губы прижались к шее.

Гуляки на улице громко хохотали, и, услышав, как полощутся флаги на ночном ветру, я поняла, что во мне что-то навсегда изменилось.

— О Софи, я готов рисовать тебя хоть каждый день до конца своей жизни, — прошептал он.

Мне послышалось именно слово «рисовать», хотя сейчас это уже было совершенно неважно.

Старинные напольные часы Рене Гренье начали звонить. Что, по общему мнению, было полной катастрофой. Часы были закопаны подальше от загребущих лап оккупантов под грядкой с овощами возле его дома вместе с серебряным чайником, четыремя золотыми монетами и дедушкиным карманным хронометром.

До сих пор план работал вполне хорошо — и действительно, горожане буквально топтали ногами ценности, спешно зарытые в садах и под проезжими тропами, — пока в одно холодное ноябрьское утро мадам Полин не ворвалась в бар, оторвав Рене Гренье от партии в домино, с сообщением, что каждые четверть часа из-под грядки с остатками его моркови доносится приглушенный бой часов.

— Я слышала его собственными ушами, — шептала она. — А если уж слышала я, то можете не сомневаться, что они тоже услышат.

— А вы уверены, что это был именно бой часов? — уточнила я. — Ведь часы уже давным-давно не заводили.

— Наверное, это просто мадам Гренье переворачивалась в гробу, — заметил месье Лафарж.

— В жизни не стал бы хоронить жену под грядкой с овощами, — проворчал Рене. — Они тогда стали бы горькими и чахлыми.

Я остановилась вытряхнуть пепельницы и, понизив голос, сказала:

— Рене, вам необходимо выкопать их под покровом ночи и завернуть в мешковину. Сегодня самый подходящий день. Они доставили дополнительные продукты для ужина. Если большинство из них будет здесь, то на дежурстве практически никого не останется.

Прошел уже целый месяц с тех пор, как немцы решили столоваться в «Красном петухе», и на его поделенной территории установилось хрупкое перемирие. С десяти утра до половины шестого бар был французским, и там, как всегда, сидели в основном пожилые и одинокие посетители. Затем мы с Элен наводили порядок и начинали стряпать для немцев, которые приходили около семи и сразу же требовали, чтобы подавали еду. Вся наша выгода состояла в том, что, если несколько раз в неделю оставались какие-то продукты, мы могли брать их себе, хотя теперь это уже были не жареные цыплята, а ошметки мяса и кусочки овощей. Чем холоднее становилось на улице, тем больше ели немцы, а нам с Элен не хватало духа утаивать что-то для себя. И все-таки даже эти перепадающие нам время от времени крошки с чужого стола все меняли. Жан стал не так часто болеть, наша кожа разгладилась, а иногда нам даже удавалось тайком отнести сваренного из костей бульона в дом мэра для вечно хворающей Луизы.

Имелись и другие преимущества. Как только немцы вечером покидали бар, мы с Элен опрометью бросались к камину, доставали оттуда обугленные поленья и оставляли их в кладовой сушиться. За несколько дней можно было собрать достаточно головешек, чтобы в особенно холодную погоду развести днем огонь. В такие дни в наш бар набивалась куча народу, хотя выпивку заказывали очень немногие.

Но, само собой разумеется, были здесь и свои отрицательные стороны. Мадам Дюран и мадам Лувье почему-то решили, что, хоть я и не общаюсь с офицерами, не улыбаюсь им и не воспринимаю их иначе, чем неизбежное зло, мне все равно что-то перепадает от их щедрот. И каждый раз, внося в дом продукты, вино и топливо, я чувствовала на себе их колючий взгляд. Я прекрасно знала, что мы являемся предметом самых живых обсуждений на площади. Единственным утешением служило то, что комендантский час лишал их возможности увидеть, какие роскошные ужины мы готовили для офицеров, как оживал наш отель с наступлением темного времени суток, наполняясь музыкой и мужскими голосами.

Мы с Элен свыклись с иностранной речью в своем доме. Мы даже стали узнавать некоторых наших ночных гостей. Был среди них высокий, тощий, лопоухий немец, который постоянно норовил поблагодарить нас на своем языке. А еще один, с седоватыми усами, страшно раздражительный, вечно всем недовольный — он постоянно требовал то соль, то перец, то дополнительную порцию мяса. И маленький Холгер, который слишком много пил и все время смотрел в окно, словно мысли его витали где-то далеко отсюда. Мы с Элен кивали в ответ на их замечания, стараясь быть вежливыми, но без намека на дружелюбие. И положила руку на сердце, иногда нам даже нравилось принимать их здесь. Нет, не немцев, конечно, а просто живых людей. Нравилось, что в доме появились мужчины, стало шумно и наконец запахло едой. Мы изголодались по мужскому обществу, истосковались по нормальной жизни. Но в иные вечера, когда что-то явно шло не так, они ели молча, с каменными лицами, а если и переговаривались, то отрывистым шепотом. Они настороженно оглядывались по сторонам, будто знали, что мы враги. Будто мы могли хоть что-то понять из их разговоров.

Но Орельен учился. Он часами лежал на полу в комнате номер три, прижавшись лицом к дыре в полу, в надежде в один прекрасный день увидеть карту или приказ, способные обеспечить французам военное преимущество. Он на удивление преуспел в немецком. После ухода немцев он обычно передразнивал их акцент или говорил что-то такое, отчего мы смеялись до слез. Иногда ему удавалось понять даже отдельные фразы: сколько офицеров было в der Krankenhaus (госпитале), сколько человек было tot (убито). Я, конечно, очень боялась за него, но в то же время гордилась им. Благодаря Орельену у меня возникло ощущение, что, стряпая на немцев, я выполняю какую-то тайную миссию.

Тем временем комендант был неизменно предельно вежлив. Он здоровался со мной если не с теплотой в голосе, то очень любезно. Хвалил еду, но не старался польстить и держал в узде своих людей — не давал им слишком много пить и распускать руки.

Несколько раз он завязывал со мной разговор об искусстве. С одной стороны, я чувствовала себя крайне неловко, беседуя с ним с глазу на глаз, но с другой — мне доставляло удовольствие все, что напоминало о муже. Комендант говорил о своем восхищении Хансом Пурманном, художником немецкого происхождения, а также Матиссом, картины которого пробудили в нем страстное желание побывать в Москве и Марокко.

Поначалу я разговаривала с ним крайне неохотно, но затем поймала себя на том, что не могу остановиться. Мне словно напомнили о другой жизни, другом мире. Он был впечатлен успехами художников из Академии Матисса, неважно, что ими двигало — соперничество или любовь к искусству. Комендант разговаривал совсем как адвокат — его речь была быстрой, а рассуждения — здравыми — и сердился, если его не понимали с полуслова. Думаю, он любил со мной беседовать именно потому, что я не робела в его присутствии. Похоже, мой характер не позволял мне показывать, что я хоть чего-то боюсь, даже если в душе умираю от страха. Эта черта в свое время позволила мне выдержать снобистское окружение парижского универмага, да и сейчас сослужила хорошую службу.

Коменданту особенно нравился мой портрет, висевший в баре. Он всегда долго смотрел на него, обсуждая достоинства техники нанесения красок крупными мазками, и у меня сразу исчезало чувство неловкости по поводу того, что на картине была изображена именно я.

Однажды он признался мне, что родители его были люди простые, не слишком культурные, но всегда поощряли в нем страсть к знаниям. И, по его словам, он очень надеялся, что после войны продолжит свои интеллектуальные занятия, будет путешествовать, читать и учиться. Его жену звали Лизл. А еще у него был ребенок. Двухлетний мальчик, которого он до сих пор не видел. Когда я поделилась этим с Элен, то думала, что глаза ее затуманятся от жалости, но она ответила, что, мол, надо дома сидеть, а не оккупировать другие страны.

Он рассказал мне о своей семье как бы мимоходом, не ожидая от меня взамен информации личного плана. Причем дело было вовсе не в его эгоизме; похоже, комендант понимал, что, заняв мой дом, он в какой-то степени вторгся в мою личную жизнь и не имел права требовать большего. Я подозревала, что все-таки было в нем нечто джентльменское.

В тот первый месяц мне с каждым днем было труднее считать коменданта животным, грязным бошем, как остальных немцев. Я, кажется, сама поверила в то, будто все немцы варвары, и не могла представить, что у них есть матери, жены и дети. Но вот появился он. Он ел за моим столом, разговаривал, рассуждал о цвете, форме и мастерстве других художников, совсем как мой муж. Время от времени он улыбался, и тогда от уголков его ярко-голубых глаз разбегались гусиные лапки, словно веселость была для него более органичной чертой, чем напускная суровость.

Я никогда не защищала коменданта и никогда не обсуждала его с жителями нашего города. Если кто-то пытался затеять со мной разговор, какой это тяжкий крест — принимать немцев в «Красном петухе», я всегда отвечала, что бог даст, и скоро настанет день, когда вернутся наши мужья, а прошлое останется только в воспоминаниях.

И мне оставалось лишь молиться, чтобы никто не заметил, что с тех пор, как в моем доме появились немцы, к нам ни разу не приходили с приказом о реквизиции.

Незадолго до полудня я выбралась из душного бара и отошла в сторонку под предлогом, будто мне надо выбить ковер. В тени земля еще была покрыта тонкой корочкой из сверкающих кристалликов льда, и пока я несла ковер по боковой улочке в сторону сада Рене, даже успела немного замерзнуть. И я действительно услышала приглушенный бой часов, говоривший о том, что сейчас без четверти двенадцать.

Когда я вернулась, разномастная компания престарелых завсегдатаев уже собиралась покидать бар.

— Мы будем петь, — объявила мадам Полин.

— Что?

— Мы будем петь и тем самым заглушим бой часов. Скажем им, что это такой французский обычай. Авернские песни. Любые, какие вспомним. Откуда им знать?!

— Вы что, собираетесь петь целый день?

— Конечно нет. Примерно час. Только если поблизости появятся немцы, — объяснила она и, поймав мой изумленный взгляд, добавила: — Софи, если они найдут часы Рене, то перекопают весь город. А я вовсе не намерена отдавать свои жемчуга какой-то там немецкой Hausfrau. — И рот ее брезгливо скривился.

— Ну тогда вам стоит поторопиться. Когда часы пробьют полдень, их услышит половина жителей Сен-Перрона.

Это было даже забавно. Я забралась на верхнюю ступеньку и оттуда наблюдала, как группа стариков остановилась в переулке, повернулась лицом к немцам, все еще торчащим на площади, и начала петь. Они пели нестройными, скрипучими голосами песни моего детства, а также «La Pastourelle», «Bailero», «Lorsque J'étais petit». Они стояли плечом к плечу, с гордо поднятой головой, время от времени поглядывая друг на друга. Вид у Рене был сердитый и озабоченный. Мадам Полин набожно сложила перед собой руки, совсем как учительница в воскресной школе.

Я стояла с посудным полотенцем в руках, еле сдерживая улыбку. И тут увидела, что ко мне направляется комендант.

— Что здесь делают эти люди?

— Доброе утро, господин комендант.

— Вы ведь прекрасно знаете, что на улице категорически запрещены любые собрания.

— Это скорее не собрание, а музыкальный фестиваль, господин комендант. Французская традиция. В ноябре, в определенный час, пожилые жители Сен-Перрона поют народные песни, чтобы отдалить начало зимы, — весьма убедительно заявила я.

Комендант нахмурился, оглянулся на стариков. Дребезжащие голоса в унисон вздымались ввысь, и я догадалась, что за спиной певцов уже начали бить часы.

— Но они просто ужасны, — понизив голос, произнес он. — В жизни не слышал такого отвратительного пения.

— Пожалуйста... не надо им мешать. Пусть себе поют. Ведь это, как вы сами слышите, вполне невинные народные мелодии. Но старики получают маленькое удовольствие, когда раз в году поют песни родной земли. И вы, вне всякого сомнения, их поймете.

— Они что, собираются петь так целый день?

Похоже, его волновало отнюдь не большое скопление людей. Нет, он был совсем как мой муж: тому любое искусство, которое не было прекрасным, доставляло настоящую физическую боль.

— Вполне возможно, — ответила я.

Комендант замер, прислушиваясь к пению. И я сразу заволновалась. У него был верный глаз на живопись. А что, если еще и хороший слух?

— А я как раз думала, что бы вам такое приготовить на ужин, — резко сменила я тему.

— Что?

— Может быть, у вас есть любимые блюда? Конечно, выбор продуктов у нас невелик, но я могла бы сделать для вас что-нибудь особенное.

Я видела, как мадам Полин, словно случайно поднимая руки вверх, призывает остальных петь громче.

Комендант слегка оторопел. Я улыбнулась, и его лицо немного смягчилось.

— Это очень лю... — начал он, внезапно оборвав себя на полуслове.

По дороге во весь опор, взмахивая концами шерстяного шарфа, мчался Тьерри Артей и показывал на что-то за своей спиной. Комендант, сразу же забыв обо мне, стремительно развернулся к солдатам, которые начали собираться на площади. Я подождала, пока он отойдет подальше, и направилась к продолжавшим петь старикам. Элен и посетители «Красного петуха», должно быть услышав шум, прильнули к окнам, некоторые тут же вышли на улицу.

На минуту все замерло. И тут на главной улице появились они, примерно сто мужчин, шедших небольшой колонной. А рядом со мной продолжали петь старики. Когда они поняли, кто это идет, то сперва растерялись, но затем их голоса зазвучали мощно и уверенно. Среди нас не было никого, кто не пытался бы найти среди устало бредущих солдат родное лицо. Но, так и не узнав никого, мы не почувствовали облегчения. Неужели это были французы? Они выглядели понурыми, мрачными и сломленными; одежда висела мешком на их исхудавших телах, раны были кое-как перевязаны заскорузлыми бинтами. Они прошли всего в нескольких футах от нас под охраной немецких солдат, возглавлявших и замыкавших колонну. А нам оставалось только смотреть, поскольку помочь им мы были не в силах.

И тут я услышала, что голоса стариков зазвучали громче и решительнее, более слаженно и стройно:

Я стою под дождем на ветру
И пою байлеру-леру.

У меня комок встал в горле, когда я подумала, что где-то там, далеко, вот так может идти и

мой Эдуард. Я почувствовала, как Элен схватила меня за руку, и поняла, что она думает о том же.

Здесь трава зеленее.

Пой байлеру-леру...

А потом приду к тебе я

И тебя с собой заберу.

Мы, словно окаменев, вглядывались в лица пленных. Неожиданно рядом с нами возникла мадам Лувье. Юркая, как мышка, в черной шали, развевающейся на холодном ветру, она прошмыгнула между нами и сунула черный хлеб, который только что купила в *boulangerie*, прямо в руки тощего как скелет мужчины. Он поднял глаза, словно не понимая, в чем дело. Но тут к нему с громким криком подскочил немецкий солдат и, увидев, что именно получил пленный, прикладом ружья выбил хлеб из его рук. Буханка камнем упала в сточную канаву. Пение тут же прекратилось.

Мадам Лувье посмотрела на хлеб, затем подняла голову и завизжала, пронзая криком неподвижный воздух:

— Ты, животное! Вы, все немцы, животные! Хотите уморить голодом этих людей, точно собак! Что с вами такое? Вы все ублюдки! Сукины дети! — (Я в жизни не слышала от нее таких выражений. Казалось, оборвалась какая-то связывающая ее тонкая нить и она наконец освободилась.) — Тебе хочется кого-нибудь ударить? Ударь меня! Ну, давай же, вперед, бандитская рожа! Ударь меня! — Ее голос кнутом рассекал стылый воздух.

Я почувствовала, что Элен схватила меня за руку. Я молилась, чтобы старая женщина замолчала, но она продолжала визжать, тыча костлявым пальцем солдату прямо в лицо. Немец смотрел на нее с едва сдерживаемой яростью. Костяшки его пальцев, сжимающих приклад, побелели от напряжения, и я испугалась, что он действительно ее ударит. Ведь она была такой хрупкой, и от удара ее старые кости просто треснут и рассыплются.

Мы стояли затаив дыхание, но солдат только молча достал из канавы хлеб и протянул ей.

Мадам Лувье посмотрела на него как на грязь под ногами.

— И ты думаешь, я смогу есть этот хлеб, зная, что ты вышиб его из рук моего умирающего от голода брата?! Они все мои братья! Все мои сыновья! *Vive la France!* — выплюнула она в него, ее старые глаза горели фанатичным огнем. — *Vive la France!*

И, словно по команде, старики за моей спиной, бросив петь, эхом повторили:

— *Vive la France!*

Молодой солдат беспомощно оглядывался, ожидая команды от старшего по званию, но его отвлек крик, раздавшийся в голове колонны. Воспользовавшись суматохой, один из пленных бросился бежать. Молодой человек, с рукой на самодельной перевязи, выскользнул из колонны и помчался через площадь.

Комендант, который стоял вместе с еще двумя офицерами возле разбитого памятника мэру Леклерку, увидел его первым.

— *Halt!* — закричал он, но молодой человек, теряя на ходу ботинок не по размеру, пропустил еще быстрее. — *HALT!*

Беглец бросил вещевой мешок и теперь, похоже, несся во весь опор. Он споткнулся, когда у него с ноги слетел второй ботинок, но сумел выправиться. Еще немного — и он скрылся бы за углом. Тогда комендант рывком вытащил из кобуры пистолет. И прежде чем я успела понять, что он собирается делать, поднял руку, прицелился и выстрелил. Пленный с хорошо слышным треском рухнул как подкошенный.

Мир вокруг нас застыл. Птицы умолкли. Мы смотрели на тело, распростертое на бульжной мостовой, и Элен глухо застонала. Она рванулась было к нему, но комендант приказал всем стоять на месте. Он что-то прокричал по-немецки, и конвоиры, подняв ружья, наставили их на пленных.

Никто не шелохнулся. Пленные стояли, хмуро глядя в землю. Похоже, такой поворот событий их не особенно удивил. Элен, прижав руки ко рту, что-то бормотала себе под нос. Я обняла ее за талию. Я слышала свое тяжелое дыхание.

Комендант резко отошел от нас и направился в сторону лежавшего парня. Он подошел к мертвецу, сел на корточки и прижал палец к его подбородку. Темно-красное пятно уже расплзлось по потертой куртке убитого, а глаза безжизненно смотрели в небо. Комендант просидел так с минуту, затем выпрямился. Двое офицеров направились было к нему, но он жестом приказал им встать в строй. Затем он пошел обратно через площадь, на ходу засовывая пистолет в кобуру. Поравнявшись с мэром, он остановился и коротко бросил:

— Позаботьтесь о том, чтобы сделать необходимые распоряжения.

Мэр молча кивнул. Я видела, как у него дрожит подбородок.

Подгоняемая громкими криками, колонна двинулась вперед. Пленные шли, уныло понурившись. Женщины Сен-Перрона уже совершенно открыто всхлипывали в носовые платки. Мертвое тело лежало кучей тряпья совсем рядом с рю де Бастид.

Меньше чем через минуту после ухода немцев часы Рене Гренье в абсолютной тишине печально пробили четверть второго.

В тот вечер настроение у всех в «Красном петухе» было мрачнее некуда. Комендант даже и не пытался завязать со мной беседу, а я всем своим видом давала понять, что у меня нет ни малейшего желания вступать в разговоры. Мы с Элен подали еду, помыли сковородки, стараясь лишний раз не высовываться из кухни. Есть мне совершенно не хотелось. Перед глазами стоял убитый парень в окровавленных лохмотьях, его свалившиеся с ноги ботинки не по размеру.

У меня не укладывалось в голове, что офицер, хладнокровно вытащивший пистолет и безжалостно пристреливший парня, был тем самым человеком, что сидел за моим столом, сокрушался, что еще не видел своего маленького сынишку, рассуждал об искусстве. Я чувствовала себя обманутой, словно комендант скрыл от меня свою истинную сущность. Ведь немцы явились сюда вовсе не затем, чтобы вкусно поесть и поговорить о прекрасном. Они явились сюда, чтобы убивать наших сыновей и мужей. Они пришли, чтобы уничтожить нас.

В тот момент я поняла, что моя тоска по мужу граничит с физической болью. Последнюю весточку от него я получила около трех месяцев назад. И не имела ни малейшего представления, где он и что с ним сейчас. Пока мы жили в искусственной изоляции, я еще могла уговаривать себя, что он находится в добром здравии и, в отличие от меня, живет в реальном мире, пускает по кругу фляжку с коньяком или чирикает что-то на клочке бумаги в свободное время. Когда я закрывала глаза, то вспоминала Эдуарда таким, каким помнила его по Парижу. Но после того, как я увидела колонну пленных французов, которых гнали по улицам нашего города, мне стало еще труднее держаться за свои фантазии. А что, если Эдуард сейчас в плену, израненный и умирающий от голода?

Я бессильно прислонилась к раковине и закрыла глаза.

В этот момент я услышала звон разбитой посуды. Очнувшись, я выбежала из кухни. Элен стояла, вскинув руки, спиной ко мне, у ног ее лежал поднос с осколками разбитых бокалов. Комендант держал какого-то молодого офицера за горло, прижав его к стене, и с искаженным лицом что-то кричал ему по-немецки. Офицер беспомощно поднял руки вверх, будто давая знать, что сдается.

— Элен?

Лицо ее было пепельно-серым.

— Он облапил меня, когда я шла мимо. Но... но господин комендант точно *с ума сошел*.

Теперь их уже окружили остальные. Они повскакали с мест, опрокинув стулья, и о чем-то умоляли коменданта, при этом старались перекричать друг друга. В баре стоял невыносимый шум. Видимо, комендант внял их уговорам и несколько ослабил хватку. Но тут он, похоже, поймал мой взгляд и, сделав шаг назад, со всей силой ударил парня в скулу, так что у того голова отлетела от стены.

— Sie können nicht berühren die Frauen!^[15] — закричал он.

— Быстро на кухню, — подтолкнула я сестру к двери, даже не позаботившись убрать осколки.

Я услышала громкие голоса, потом — как хлопнула дверь, и побежала за ней по коридору.

— Мадам Лефевр! — (Я как раз домывала уцелевшие бокалы. Элен уже легла в постель. События сегодняшнего дня вымотали ее больше, чем меня.) — Мадам?

— Господин комендант? — повернулась я к нему, вытирая руки посудным полотенцем.

На кухне горела только одна свеча, жалкий фитиль, плавающий в жиру в банке из-под сардин, и я почти не видела его лица.

Он стоял прямо передо мной, держа фуражку в руках.

— Прошу извинить меня за бокалы. Я позабочусь о том, чтобы вам прислали новые.

— Можете не трудиться. У нас осталось еще достаточно. — Я не сомневалась, что новые бокалы будут просто реквизированы у наших соседей.

— Примите мои извинения... за того офицера. Можете заверить вашу сестру, что подобное впредь не повторится.

Но я в этом и не сомневалась. Из заднего окна я видела, как нарушителя спокойствия выводят под руки его товарищи, к скуле у него была приложена мокрая тряпка.

Я надеялась, что комендант сейчас уйдет, но он остался стоять. Я чувствовала на себе его взгляд. В глазах у него застыла тревога, а возможно, и невысказанная боль.

— Еда сегодня была... выше всяких похвал. Как называется блюдо?

— Chou farci,^[16] — ответила я, но он продолжал чего-то ждать, и когда пауза неприлично затянулась, добавила: — Это колбасный фарш с овощами и травами, завернутый в капустные листья и тушенный на медленном огне.

Он топтался на месте, разглядывая носки сапог, затем прошелся по кухне и остановился, ткнув пальцем в кружку с кухонными принадлежностями. Мне даже на секунду показалось, что он хочет их забрать.

— Очень вкусно. Все так и сказали. Вы меня спрашивали сегодня, какое у меня любимое блюдо. Так вот, если вас не затруднит, не могли бы вы почаще готовить именно это?

— Как вам будет угодно.

Сегодня вечером он был каким-то другим, более беспокойным, что ли. Я чувствовала, как в нем волнами поднимается возбуждение. Я гадала про себя, каково это — убить человека. Хотя для немецкого коменданта это, наверное, все равно что выпить чашку кофе.

Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать что-то еще, но я уже повернулась к своим кастрюлям. Я слышала, как в баре, за его спиной, офицеры, собираясь уходить, задвигают стулья. На улице шел дождь, и мелкие капли методично барабанили в стекла.

— Вы, должно быть, устали, — произнес он. — Оставляю вас с миром.

Я взяла поднос с бокалами и проводила его до дверей кухни. Уже на пороге он повернулся, так что мне пришлось посторониться, и, надев фуражку, спросил:

— Как поживает младенец?

— Жан? Спасибо, прекрасно. Разве что...

— Нет. Тот, другой младенец.

От удивления я чуть было не выронила поднос. Я попыталась взять себя в руки, но почувствовала, что шея начинает предательски краснеть. Что наверняка не ускользнуло от его внимания.

Когда ко мне вернулась способность говорить, я пробормотала внезапно охрипшим голосом, уставившись на поднос с бокалами:

— Надеюсь, мы все... насколько мы можем... с учетом сложившихся обстоятельств...

Казалось, комендант обдумывал мои слова.

— Берегите его. И не стоит выносить его слишком часто на холодный ночной воздух, — спокойно произнес он, а потом, задержав на мне взгляд чуть дольше положенного, повернулся и вышел из кухни.

В ту ночь, несмотря на усталость, я не сомкнула глаз. Я смотрела на Элен, которая спала очень беспокойно, что-то бормотала во сне и шарила рукой по постели в бессознательном стремлении проверить, на месте ли дети. В пять утра я вылезла в абсолютной темноте из кровати и, завернувшись в одеяла, на цыпочках спустилась вниз вскипятить воду для кофе. В обеденном зале до сих пор стояли запахи вчерашнего ужина: пахло золой из камина и колбасным фаршем, отчего у меня сразу заурчало в животе. Я сделала себе горячий напиток и, сев за барную стойку, смотрела, как над пустой площадью восходит солнце. Когда небо начало потихоньку розоветь, я смогла разглядеть правый дальний угол, где упал пленный. Я не знала, были у него жена и дети. Может быть, они сейчас сочиняют ему письмо или молятся о его благополучном возвращении. Сделав еще один глоток, я заставила себя отвернуться.

И, уже собираясь подняться наверх, чтобы одеться, я внезапно услышала, как кто-то скребется в дверь. Я вздрогнула от испуга, увидев тень за занавеской из хлопка. Завернувшись поплотнее в одеяла, я пристально вглядывалась в темный силуэт за дверью, гадая, кто бы это мог быть в столь ранний час. Неужели комендант решил вернуться, чтобы продолжать мучить меня намеками, что он все знает? Тогда я осторожно подошла к двери, приподняла занавеску и увидела, что это Лилиан Бетюн. Волосы она уложила в высокую прическу из локонов, а глаза подвела тенями. На ней было ее черное каракулевое манто. Пока я отодвигала засовы и открывала дверь, она испуганно озиралась по сторонам.

— Лилиан? Вы что... Вам что-то надо? — спросила я.

Она полезла в карман манто, достала какой-то конверт и сунула мне.

— Это вам, — сказала она.

— Но как... как вы смогли...

Подняв бледную руку, она покачала головой.

Мы уже несколько месяцев не получали писем. Немцы устроили нам информационный вакуум. Я держала письмо, забыв обо всем на свете, но потом вспомнила о приличиях:

— Не хотите зайти в дом? Может быть, кофе? У меня осталось немного настоящего кофе.

— Нет, спасибо. Мне пора домой к дочери, — вымученно улыбнулась Лилиан, и, прежде чем я успела открыть рот, она уже шла, ежась от холода, по улице, и мне слышен был только стук высоких каблучков по каменной мостовой.

Я опустила занавеску и снова закрыла дверь на засов. Затем я опустилась на стул и разорвала конверт. И давно забытый голос снова зазвучал у меня в ушах.

Дорогая Софи!

Я так давно ничего о тебе не слышал. Молю Бога, чтобы ты была жива и здорова. Даже в самые мрачные минуты своей жизни я продолжаю верить в лучшее и не сомневаюсь в том, что, если бы с тобой что-нибудь случилось, мои душевные струны непременно завибрировали бы, точно от звона далеких колоколов.

Не могу сообщить тебе ничего нового. И у меня нет никакого желания расцвечивать тот мир, что вокруг меня. А подобрать подходящие слова просто невозможно. Я только хочу, чтобы ты знала, драгоценная моя женушка, что я здоров и физически, и душевно, причем сохранять бодрость духа мне помогают только мысли о тебе. Все солдаты здесь, как талисман, носят с собой фотографии своих любимых, которые служат им защитой от тьмы, — смятые, испачканные грязью снимки, которые дороже всех сокровищ мира. Но мне, Софи, чтобы вызвать тебя в своем воображении,

не нужна твоя фотография: стоит только закрыть глаза — и я сразу вспоминаю твое лицо, твой голос, твой запах, и ты даже представить себе не можешь, как благотворно это на меня действует.

Я хочу, чтобы ты, моя дорогая, знала, что, в отличие от моих товарищей, я не просто радуюсь каждому прожитому дню, нет, я благодарю Господа за то, что каждый прожитый день приближает мое возвращение к тебе на целых двадцать четыре часа.

Твой Эдуард

Судя по дате, письмо было написано два месяца назад.

Не знаю, что сыграло свою роль — переутомление или шок от событий предыдущего дня, — поскольку я не из тех, кто чуть что плачет, но я, аккуратно положив письмо в конверт, опустила голову на руки и зарыдала в своей пустой, холодной кухне.

Я не могла объяснить остальным жителям нашего города, почему надо срочно зарезать свинью, но приближение Рождества стало прекрасным предлогом. Офицеры собирались ужинать в «Красном петухе», причем их должно было прийти больше, чем обычно, и тогда мы договорились, что, пока они будут здесь, мадам Полин соберет тайный *réveillon*^[17] у себя в доме, который находился всего через две улицы от площади. Если я сумею задержать немецких офицеров подольше, тесная компания городских жителей успеет спокойно зажарить поросенка в печи для выпечки хлеба, что мадам Полин держала в подвале, и съесть его. Элен поможет мне обслужить немцев, а затем незаметно проскользнет через дыру в нашем погребе, прошмыгнет по переулку, чтобы присоединиться к детям в доме мадам Полин. Те же, кто жил слишком далеко, чтобы пройти по городу незамеченным, останутся у мадам Полин после комендантского часа и спрячутся, в случае если немцы придут с проверкой.

— Но это несправедливо, — заметила Элен, когда я двумя днями позже изложила в ее присутствии свой план мэру. — Если ты останешься здесь, то будешь единственной, кто пропустит праздник. Нет, так не пойдет, ведь именно ты спасла свинью от немцев.

— Кто-то из нас должен остаться, — твердо заявила я. — Ты ведь знаешь, что для нас будет гораздо безопаснее, если офицеры соберутся в одном месте.

— Но без тебя все будет уже не так.

— Никогда не бывает, чтобы все было так, как хочется, — отрезала я. — И ты не хуже меня знаешь, что господин комендант непременно заметит мое отсутствие, — произнесла я и, увидев, что Элен переглянулась с мэром, добавила: — Элен, не стоит волноваться по пустякам. Ведь я *la patronne*. Он знает, что я здесь каждый вечер. Если меня не будет, то сразу заподозрит неладное. — Но тут я поймала себя на том, что слишком громко протестую, а потому продолжила примирительным тоном: — Оставьте мне немного мяса. Заверните в салфетку и принесите. Обещаю, что если у немцев будет достаточно еды, то постараюсь себя не обидеть. Я внакладе не останусь. Клянусь.

Они вроде бы успокоились, но я не могла сказать им правды. С тех пор как я поняла, что комендант знает про свинью, мне напрочь расхотелось ее есть. И оттого, что он не стал нас разоблачать, уж не говоря о том, чтобы нас наказывать, я почувствовала не облегчение, а наоборот, крайнюю неловкость.

И теперь, видя, как он подолгу смотрит на мой портрет, я больше не испытывала гордости за то, что даже немец смог оценить талант моего мужа. Когда комендант заходил на кухню просто поболтать, я мгновенно напрягалась, опасаясь, что он опять начнет намекать на случай с поросенком.

— И снова, — начал мэр, — мы у тебя в неоплатном долгу.

Вид у него был подавленный. Луиза болела вот уже целую неделю; его жена однажды призналась мне, что стоит дочери заболеть, как мэр от беспокойства теряет сон.

— Не смещайте меня, — резко сказала я. — По сравнению с тем, что делают сейчас наши мужчины, это всего лишь повседневная работа.

Но моя сестра слишком хорошо меня знала. Она не задавала вопросов в лоб, это было не в ее стиле. Но я чувствовала, что она наблюдает за мной, слышала, как меняется ее голос при любых разговорах о *réveillon*. И наконец, за неделю до Рождества, я не выдержала и призналась ей. Она сидела на краю постели и причесывалась. Рука, в которой она держала щетку, замерла.

— Как думаешь, почему он не дал делу хода? — спросила я, закончив рассказ.

Элен опустила голову, а потом посмотрела на меня с ужасом в глазах.

— Я думаю, ты ему нравишься, — ответила она.

Неделя перед Рождеством выдалась очень хлопотливой, хотя разгуляться было особенно не с чего. Элен и несколько дам постарше шили тряпичные куклы для ребятишек. Куклы, конечно, получались совсем примитивными: юбки из дерюги, а лица — из старых чулок с вышитыми глазами. Но для нас было очень важно, чтобы оставшиеся в Сен-Перроне дети получили, хотя бы такое маленькое чудо в это безрадостное Рождество.

Я тоже потихоньку становилась храбрее. Уже два раза мне удалось стащить у немцев немного картофеля. Чтобы скрыть недостачу, я готовила им пюре, а картофель распихивала по карманам и переправляла самым слабым и больным. Я таскала мелкую морковь и засовывала в подол юбки, так чтобы, если меня вдруг остановят и начнут обыскивать, ничего нельзя было найти. Мэру я отнесла две банки куриных потрохов на бульон для Луизы. Девочка стало совсем бледной, ее часто лихорадило; жена мэра рассказала мне, что дочь немного задерживается в развитии и постепенно уходит в себя. Но когда я смотрела на нее, потерявшуюся на огромной старой кровати с рваными одеялами, апатичную, непрерывно кашляющую, то думала, что ее можно понять. Ну какой ребенок выдержит такую жизнь?!

Конечно, мы изо всех сил скрывали от детей самое худшее, но ведь они жили не в безвоздушном пространстве, а в мире, где мужчин убивают прямо на улице, где чужие дяди за волосы вытаскивают их матерей из кроватей, чтобы наказать за малейшую провинность вроде прогулки в запрещенных местах или неоказания немецкому офицеру должного уважения. Мими смотрела на происходящее большими серьезными глазами, в которых застыл молчаливый вопрос, что разбивало Элен сердце. А Орельен становился все злее. Я видела, как злоба кипит в нем, точно вулканическая лава, и мне оставалось только молиться о том, чтобы, когда вулкан начнет извергаться, мой брат не заплатил бы за это слишком высокую цену.

Но самой большой неожиданностью в ту неделю стала подброшенная мне под дверь газета с плохо пропечатанным шрифтом под названием «*Journal des Occupés*».^[18] Единственным официально разрешенным в Сен-Перроне средством массовой информации была «*Bulletin de Lille*»,^[19] которая являлась настолько откровенной немецкой пропагандой, что большинство из нас использовали ее исключительно для растопки. Но в «*Journal des Occupes*» все же давалась какая-никакая информация о военных действиях и назывались все оккупированные города и деревни. Там приводились комментарии к официальным коммюнике, а также юмористические заметки об оккупации, лимерики на тему черного хлеба и карикатуры на ответственных за его поставки офицеров. И всех читателей настоятельно просили не интересоваться источником распространения газеты, а после прочтения сжечь.

Там приводился список так называемых десяти директив фон Генриха, где высмеивались наложенные на жителей Франции мелочные ограничения.

Трудно выразить словами, насколько воодушевило жителей нашего города это четырехстраничное издание. За несколько дней до réveillon в баре наблюдался стабильный приток посетителей, которые или просматривали газету в туалете (днем мы прятали ее в корзине под старой бумагой), или передавали информацию и самые удачные шутки из уст в уста. Мы так много времени проводили в уборной, что немцы даже забеспокоились, не началась ли в городе эпидемия какой-то заразной болезни.

Из газеты мы узнали, что все соседние города постигла та же участь. Мы слышали о существовании ужасных лагерей для военнопленных, где мужчин морили голодом и заставляли работать до седьмого пота. Мы обнаружили, что в Париже не знают о нашем бедственном положении, а из Рубе, где запасов продовольствия было даже меньше, чем в Сен-Перроне, эвакуировали четыреста женщин и детей. Не то чтобы в такой обрывочной информации содержалось что-то полезное, но она напоминала нам о том, что мы до сих пор являемся частью Франции и тяготы войны выпали на долю и других городов, а не только на нашу. Но самое главное, газета сама по себе являлась предметом нашей гордости, поскольку свидетельствовала о том, что французы не утратили способность сопротивляться немецким порядкам.

Мы отчаянно спорили о том, каким образом могла попасть к нам газета. То обстоятельство, что ее принесли именно в «Красный петух», несколько смягчило растущее недовольство жителей по поводу нашей с Элен работы на немцев. Я же смотрела, как Лилиан Бетюн идет в своем каракулевым манто за хлебом, и у меня появлялись собственные соображения на этот счет.

Комендант настоял, чтобы мы поели. Такова привилегия поваров в ночь перед Рождеством, сказал он. И мы приготовили ужин на восемнадцать персон с учетом себя, то есть семнадцатой и восемнадцатой оказались я и Элен. Мы целый вечер суетились на кухне, но забыть об усталости позволяла тихая радость от того, что через две улицы от нас готовятся к тайному празднованию Рождества и мы наконец-то сможем накормить детей досыта. Поэтому две дополнительные порции казались даже излишеством.

Хотя, возможно, и нет. Я ни за что не отказалась бы от еды. А она была бесподобной: жареная утка с дольками апельсина и консервированным имбирем, картофель dauphinoise с зеленой стручковой фасолью и сырная тарелка. Элен была в полном восторге, что сегодня будет ужинать дважды.

— Я могу отдать кому-нибудь свою порцию свинины, — заявила она, обгладывая косточку. — Оставлю себе только корочку. Как думаешь?

Приятно было видеть ее такой жизнерадостной. Наша кухня снова стала местом для веселья, хотя и на одну ночь. Кроме того, мы позволили себе зажечь больше свечей, чем обычно, и здесь сразу стало светлее. А еще у нас запахло Рождеством, так как Элен разделила апельсин на дольки и повесила над плитой, чтобы его аромат наполнил кухню. И если ни о чем не думать, а просто прислушиваться к звону бокалов, смеху и разговорам за стеной, то можно забыть, что в соседней комнате сидят немцы.

Примерно в половине десятого я, укутав сестру потеплее, помогла ей спуститься по лестнице, чтобы она могла попасть через дыру в соседский погреб и вылезти через люк для угля. Она должна была пробраться задворками к дому мадам Полин, где ее будут ждать Орельен и дети, которых мы отвели туда днем. Свинью мы доставили к мадам Полин еще накануне. К Рождеству она сумела нагулять жир, и справиться с ней было непросто. Чтобы она не визжала, Орельену пришлось ее крепко держать, а я отвлекала ее с помощью яблока. А потом мясник месье Фубер зарезал ее одним ударом ножа.

Пока я снова закладывала дыру кирпичами, я не переставала прислушиваться к мужским голосам в баре. И с удовлетворением отметила, что впервые за много месяцев не дрожу от

холода. Где голод, там и холод, этот урок я усвоила на всю жизнь.

— Эдуард, надеюсь, что тебе сейчас тепло, — прошептала я, слушая, как шаги сестры затихают по ту сторону стены. — Надеюсь, что ты сытно поел, совсем как мы сегодня.

Когда я снова оказалась в коридоре, то чуть было не подпрыгнула от испуга. Там стоял комендант и смотрел на мой портрет.

— Никак не мог вас найти. Я почему-то думал, что вы на кухне.

— Я... Я просто вышла подышать воздухом, — пролепетала я.

— Вот смотрю на эту картину и каждый раз нахожу в ней что-то новое. В ней есть нечто загадочное. Я хочу сказать: в вас, — улыбнулся он, поняв, что оговорился. — В вас есть нечто загадочное, — произнес он и, не дождавшись от меня ответа, продолжил: — Надеюсь, я вас не слишком смущу, если скажу, что такой прекрасной картины я никогда в жизни не видел.

— Да, чудесное произведение искусства.

— Но вы молчите о его сюжете, — улыбнулся он, но я снова не ответила. Он пригубил вина из бокала и, задумчиво глядя на рубиновую жидкость, спросил: — Мадам, вы что, действительно считаете себя некрасивой?

— Мне кажется, что только зритель способен оценить красоту. Когда мой муж говорит мне, что я красива, то я ему верю, поскольку знаю, что он видит меня именно такой.

Тогда он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, не давая мне отвести взгляд. Это продолжалось так долго, что я начала задыхаться.

Глаза Эдуарда были зеркалом его души и говорили о нем все. Взгляд коменданта был напряженным, цепким, но не открытым, словно он хотел спрятать свои истинные чувства. Я первой отвела глаза, так как боялась, что, прочитав мои мысли, он заметит мое смущение и поймет, что я лукавлю.

Потом комендант достал из ящика, который немцы принесли загодя, бутылку коньяка.

— Мадам, не согласитесь ли выпить со мной?

— Нет, благодарю вас, господин комендант, — ответила я, посмотрев в сторону обеденного зала, где офицеры, должно быть, уже заканчивали десерт.

— Только одну рюмку. Сегодня же Рождество.

И я поняла, что это приказ. Я подумала о своих близких, которые ели сейчас жареную свинину всего через несколько дверей от нас. Подумала о Мими, представив ее перепачканную свиным жиром мордашку, подумала об Орельене, который, наверное, сейчас смеется, шутит и вовсе хвастается, как ловко нам удалось провести немцев. Он тоже нуждался хоть в капельке счастья: в течение недели его уже дважды отправляли домой из школы за драку, но он наотрез отказывался объяснить мне, в чем дело. Нет, я просто обязана была дать им возможность хотя бы раз поесть досыта.

— Ну... хорошо, — сдалась я.

Взяв рюмку, я сделала глоток, и коньяк точно огнем обжег мне горло. Я почувствовала, что начинаю оживать.

Он пристально следил за тем, как я пью, затем опрокинул рюмку и подвинул бутылку поближе ко мне, тем самым дав мне понять, что я должна снова налить.

Мы сидели молча. Я думала о том, много ли народу придет на réveillon. Элен полагала, что человек четырнадцать. Двое стариков из нашей компании побоялись нарушить комендантский час. Священник обещал после праздничной мессы отнести им остатки свинины прямо домой.

И пока мы пили коньяк, я исподтишка наблюдала за комендантом. У него была тяжелая челюсть, что свидетельствовало о твердости характера, но практически наголо обритая голова придавала ему какой-то незащищенный вид. Я попыталась увидеть под военной формой обычного человека, который ходит по своим делам, покупает газету, ездит отдыхать. Но не

смогла. Не смогла разглядеть человека под этим мундиром.

— На войне всегда так одиноко. Не правда ли?

— У вас есть ваши солдаты, — ответила я, сделав очередной глоток. — У меня — моя семья. Никого из нас нельзя назвать одиноким.

— Но вам не кажется, что этого все же недостаточно?

— Что ж, все мы пытаемся справляться по мере сил. И по возможности наилучшим образом.

— Разве? Не думаю, что кто-нибудь способен считать это «наилучшим образом».

Коньяк слегка ударил мне в голову, и я забыла об осторожности.

— Ведь не кто-нибудь, а именно вы сидите сейчас на моей кухне, господин комендант. И при всем моем уважении к вам осмелюсь предположить, что только у одного из нас есть выбор.

Его лицо сразу омрачилось. Он явно не привык к тому, чтобы ему перечили. Щеки его слегка покраснели, и я снова увидела, как он целится из пистолета в спину убегающего пленного.

— И вы действительно считаете, что хотя бы у одного из нас есть выбор? — тихо спросил он. — И вы действительно считаете, что кто-нибудь из нас выбрал бы такую жизнь? Посреди разрухи? Которую сами же и устроили? Если бы вы знали, что нам приходилось видеть на фронте, то никогда... — Он не закончил фразу, а только покачал головой. — Прошу прощения, мадам. Это время года... Неожиданно становишься сентиментальным. А мы оба знаем, что нет ничего хуже, чем сентиментальный солдат.

Он извиняюще улыбнулся, и я слегка расслабилась. Мы сидели напротив друг друга за кухонным столом, заставленным грязной посудой, и пили коньяк. В соседней комнате офицеры затагнули какую-то песню, их голоса звучали все выше. Мелодия была знакомой, но слов я не понимала. Комендант наклонил голову и прислушался. Затем поставил рюмку на стол.

— Вам ведь ужасно неприятно видеть нас здесь. Так ведь?

— Но я всегда старалась... — удивленно заморгав, начала я.

— Вы что, думаете, ваше лицо вас не выдает? А ведь я наблюдаю за вами. За долгие годы работы я научился понимать людей и разгадывать их маленькие тайны. Ну что, мадам, может, заключим перемирие? Хотя бы на несколько часов.

— Перемирие?

— Вы забудете, что я солдат вражеской армии, а я забуду, что вы женщина, которая страстно желает поражения этой самой армии, и мы просто станем... обычными людьми? — Его лицо на секунду смягчилось. Он поднял рюмку, и я почти машинально подняла свою. — Давайте не будем говорить о Рождестве, одиночестве и прочем. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о художниках из Академии. Расскажите, как вам удалось с ними познакомиться.

Не помню, сколько времени мы просидели на кухне. Честно признаться, за разговором время летело незаметно, испаряясь вместе с парами алкоголя. Комендант хотел знать все о парижских художниках. Что за человек был Матисс? Была ли его жизнь такой же скандальной, как и его картины?

— О нет. По сравнению с остальными он был самым непримиримым интеллектуалом. Очень строгим. Весьма консервативным в том, что касалось и работы, и привычек. Однако... — Я вспомнила об этом профессоре в круглых очочках, который, прежде чем продолжать объяснения, всегда старался убедиться в том, что смог донести до вас свою мысль. — Он всегда получал удовольствие от жизни. Полагаю, его работа приносила ему радость.

Комендант задумался. Похоже, мой ответ его удовлетворил.

— Я когда-то хотел стать художником. Но у меня не оказалось таланта. Причем я понял это

довольно рано. — Он задумчиво провел пальцем по ножке рюмки. — Мне всегда казалось, способность зарабатывать на жизнь, занимаясь именно тем, что нравится, — один из лучших подарков судьбы.

И я сразу же подумала об Эдуарде, вспомнила, как он пристально вглядывался в меня из-за мольберта. Стоило мне закрыть глаза, и я как будто снова чувствовала жар от пылающих в камине дров на правой ноге и легкий холодок на обнаженной левой. Я видела, как он поднимает бровь в тот самый момент, когда начинает писать, забыв обо всем.

— Совершенно с вами согласна, — кивнула я.

«В тот день, когда я тебя увидел, — сказал мне Эдуард в тот первый сочельник, что мы отмечали вместе, — я долго смотрел на тебя посреди всей этой магазинной суеты и понял, что еще никогда не встречал такой сдержанной и независимой женщины. Казалось, вокруг тебя мог рушиться мир, а ты будешь стоять как стояла, с гордо поднятой головой, бросая надменные взгляды из-под копны своих чудных волос». С этими словами он поднес мою руку к губам и нежно поцеловал.

«А я почему-то решила, что ты русский медведь», — ответила я ему.

Он бросил на меня удивленный взгляд. Мы сидели в переполненном ресторанчике недалеко от улицы Турбиго.

«Гррр! — зарычал он, и я покатила от хохота. А потом крепко прижал к себе и, не обращая внимания на жующих посетителей, стал покрывать мою шею поцелуями. — Гррр!»

В соседней комнате внезапно перестали петь. Я вдруг смутилась и поднялась, словно желая убрать со стола.

— Пожалуйста, — остановил меня комендант. — Посидите со мной. Сегодня же как-никак сочельник.

— Ваши люди, наверное, ждут вас.

— Вовсе нет. Они чувствуют себя гораздо свободнее в отсутствие начальства. Не слишком справедливо весь вечер навязывать им свое общество.

«Да уж, куда справедливее навязывать его мне», — подумала я. И тут он неожиданно спросил:

— А где ваша сестра?

— Я отправила ее в постель, — ответила я. — Она неважно себя чувствует, а ей, бедняжке, пришлось еще и весь день стряпать. Хочу, чтобы к завтрашнему дню она уже была на ногах.

— И что вы собираетесь делать? Праздновать?

— Разве нам есть что праздновать?

— Мадам, как насчет перемирия?

— Мы пойдем в церковь, — пожала я плечами. — Возможно, навестим наших стареньких соседей. В такой день им особенно одиноко.

— Похоже, вы здесь обо всех заботитесь. Не так ли?

— Быть хорошим соседом вовсе не преступление.

— Я в курсе, что вы отдали мэру корзину дров, которую я выделил специально для вас.

— У него болеет дочь. И нуждается в тепле больше, чем мы.

— Вы должны знать, мадам, что в вашем городке ничего не проходит мимо меня. Ничего.

Я боялась посмотреть ему в глаза. Боялась, что меня выдадут выражение лица и частые удары сердца. Мне хотелось стереть из памяти все, что я знала о празднике, который проходил сейчас в сотне ярдов отсюда. Мне хотелось, чтобы меня не терзало неприятное чувство, будто комендант играет со мной в кошки-мышки.

Для храбрости я сделала глоток коньяка. Мужчины в обеденном зале снова запели. Я знала этот рождественский гимн. И почти понимала слова:

Stille Nacht, heilige Nacht.
Alles schläft; einsam wacht.^[20]

Почему он не отрываясь смотрит на меня? Я боялась заговорить, боялась встать с места, чтобы он не стал задавать неудобных вопросов. И все же сидеть вот так и позволять ему смотреть на меня, было равнозначно тому, чтобы признаться в соучастии в преступлении. Наконец я сделала глубокий вдох и подняла глаза. Он все еще наблюдал за мной.

— Мадам, не согласитесь ли потанцевать со мной? Всего один танец. В честь Рождества.

— Потанцевать?

— Всего один танец. Я хотел бы... Хотел бы, чтобы мне напомнили о лучших человеческих качествах. Ведь такое бывает лишь раз в году.

— Я не... Я не думаю...

Но тут я вспомнила об Элен и остальных, что веселились сейчас всего через две улицы от нас, свободные хотя бы на один вечер. Я вспомнила о Лилиан Бетюн. Я пристально посмотрела на коменданта. Казалось, его просьба была вполне искренней. *Мы просто станем... обычными людьми...*

А потом я подумала о своем муже. Интересно, неужели мне не было бы приятно, если бы он сейчас танцевал и его обнимали чьи-то милые руки? И пусть это будет всего на один вечер. Разве мне не хотелось бы, чтобы где-то далеко, за сотни миль отсюда, какая-нибудь добросердечная женщина напомнила ему в тихом баре, что в мире еще есть место красоте.

— Я потанцую с вами, господин комендант. Но только на кухне.

Он поднялся, протянул мне руку, и после секундного колебания я взяла ее. Его ладонь оказалась на удивление жесткой. Опустив глаза, я шагнула ему навстречу, и он положил руку мне на талию. И под доносившееся из соседней комнаты пение мы начали медленно двигаться вокруг стола. Я каждой клеточкой чувствовала его тело совсем рядом с моим и его руку на своем корсете. Чувствовала прикосновение грубой саржи мундира к своей обнаженной руке, чувствовала биение сердца в его груди. Я была словно в огне от невыносимого напряжения и все время следила за руками, за пальцами, чтобы не оказаться в опасной близости от него, опасаясь, что в какой-то момент он может притянуть меня к себе.

И все это время внутренний голос непрестанно твердил мне: «Я танцую с немцем».

Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht...^[21]

Но он ничего такого не сделал. Напевая себе под нос, он кружил меня вокруг кухонного стола. Я закрыла глаза и на несколько минут почувствовала себя снова молодой девушкой, которая не знает, что такое холод и голод, и просто танцует в ночь перед Рождеством, а голова ее кружится от выпитого коньяка и божественных ароматов специй и сказочной еды. Я сейчас жила так, как жил Эдуард, который наслаждался даже маленькими радостями жизни и во всем видел свою красоту. Ведь последний раз мужчина обнимал меня почти два года назад. И я закрыла глаза, расслабилась, чтобы проникнуться новыми ощущениями, и позволила своему партнеру кружить меня по кухне и тихонько напевать мне на ухо:

Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!^[22]

Пение стихло, и он сделал шаг назад, с явной неохотой отпустив меня.

— Спасибо, мадам. Большое спасибо.

Когда я наконец отважилась посмотреть на коменданта, то увидела слезы у него на глазах.

На следующее утро я нашла на ступеньках дома небольшой ящик. В нем лежали три яйца, маленький roussin,^[23] луковица и морковка. Сбоку было аккуратно выведено: «Fröhliche Weihnachten».

— Счастливого Рождества, — перевел Орельен, который, непонятно почему, упорно не желал на меня смотреть.

Чем холоднее становилось на дворе, тем сильнее ужесточали немцы контроль за Сен-Перроном. Жителям день ото дня становилось труднее, так как через город постоянно проходили все новые подразделения вражеских войск; в голосах офицеров в баре чувствовалась явная озабоченность, в связи с чем мы с Элен старались лишний раз не высовываться из кухни. Комендант перестал вести со мной задушевные беседы и большую часть времени проводил в узком кругу доверенных офицеров. Выглядел он утомленным, и я не раз слышала, как он срывался на крик в обеденном зале.

В январе по главной улице города мимо отеля уже несколько раз гнали колонны военнопленных, но нам теперь было запрещено стоять на тротуаре во время их прохождения. Еды стало меньше, нам урезали официальные нормы, и мне приходилось демонстрировать чудеса кулинарного искусства, стряпая разные яства из мясных обрезков и овощных очистков. Беда была уже на пороге.

В «Journal des Occurés», который мы время от времени получали, упоминались знакомые деревни. У нас даже по ночам иногда позвякивали бокалы от отдаленных раскатов пушечных выстрелов. А в один прекрасный день я поняла, что больше не слышу пения птиц. Нам поступило предписание, согласно которому все девушки и юноши, достигшие шестнадцати и пятнадцати лет соответственно, впредь должны работать в поле — окучивать картофель или убирать сахарную свеклу — или трудиться на немецких заводах и фабриках. И чем ближе становился день рождения Орельена, которому всего через несколько месяцев должно было исполниться пятнадцать, тем больше волновались мы с Элен. Ходило множество слухов об ужасных вещах, происходивших с нашими молодыми людьми. Так, девушек селили вместе с преступниками или, хуже того, заставляли развлекать немецких солдат. Юношей морили голодом, нещадно били и, чтобы держать в повиновении, постоянно переводили с места на место. Несмотря на подходящий возраст, нас с Элен освободили от трудовой повинности, так как, обслуживая немецких офицеров в гостинице, мы «работали на благо Германии». Данного факта было вполне достаточно, чтобы вызвать негодование местного сообщества.

Но было и нечто другое. Что-то неуловимо изменилось, и я это чувствовала. Все меньше людей заходило днем в «Красный петух». Из двадцати привычных лиц осталось восемь. Поначалу я подумала, что именно холод не дает людям выходить на улицу. Затем я забеспокоилась и решила навестить старого Рене, чтобы проверить, не заболел ли он. Рене не пустил меня дальше порога и угрюмо, стараясь не смотреть на меня, заявил, что предпочитает сидеть дома. То же самое повторилось, когда я зашла к мадам Фубер, а потом — к жене мэра. Мое душевное равновесие нарушилось. Я пыталась уговорить себя, что это плод больного воображения, но однажды днем, направляясь аптеку, я случайно проходила мимо кафе «Бланк», где увидела Рене с мадам Фубер, они сидели за столиком и играли в шашки. Я не поверила своим глазам. Но, убедившись, что они меня не обманывают, опустила голову и торопливо прошла мимо.

И только Лилиан Бетюн встречала меня дружелюбной улыбкой. Как-то на заре я поймала ее на том, что она просовывала конверт мне под дверь. Когда я отодвинула засов, Лилиан испуганно отскочила.

— О mon Dieu, благодарение Небесам, это вы! — прижав руку к губам, воскликнула она.

— Это именно то, что я думаю? — поинтересовалась я, глядя на объемистый конверт без указания адресата.

— Кто знает? — уже перебегая через площадь, на ходу ответила она. — Я ничего не видела.

Но Лилиан Бетюн оказалась в меньшинстве. Дни шли, и я начала замечать кое-что еще: когда я входила из кухни в бар, то все разговоры тотчас же стихали, словно посетители не хотели, чтобы я их случайно услышала. Если во время беседы я вставляла замечание, то оно почему-то повисало в воздухе. Я дважды предлагала жене мэра баночку с потрохами или бульоном, но в ответ она всегда говорила: мол, спасибо, у нас все есть. Она даже придумала особую манеру говорить со мной, не то чтобы нелюбезную, но отмечающую любые попытки продолжить разговор. Мне, конечно, не хотелось признаваться, но я чувствовала облегчение, когда с наступлением ночи обеденный зал вновь наполнялся голосами, пусть даже и немецкими.

В результате просветил меня именно Орельен.

— Софи?

— Да?

Я как раз месила тесто для пирога с кроликом и овощами. Руки и передник были в муке, и я размышляла на тему, как потихоньку испечь из оставшихся кусочков теста печенье для детей.

— Можно тебя кое о чем спросить?

— Конечно, — ответила я, вытерев руки о передник.

Мой младший брат как-то странно смотрел на меня, словно напряженно искал трудное решение.

— Тебе... Тебе нравятся немцы?

— *Нравятся* ли мне немцы?

— Да.

— Что за нелепый вопрос! Конечно нет. Я только и мечтаю, чтобы они наконец убрались отсюда и мы могли жить так, как жили до них.

— Но тебе ведь нравится господин комендант?

Я отложила скалку и резко повернулась:

— Разве ты не понимаешь, что это очень опасные разговоры? Ты можешь навлечь на нас серьезные неприятности.

— Если на то пошло, то вовсе не мои разговоры могут навлечь на нас серьезные неприятности.

Из бара явственно доносились голоса посетителей. Я плотно закрыла дверь, чтобы мы могли побеседовать с глазу на глаз.

— Орельен, а теперь скажи мне все, что собирался сказать, — ровным тоном очень тихо произнесла я.

— Они говорят, что ты ничем не лучше Лилиан Бетюн.

— Что?!

— Месье Сюэль видел, как ты в сочельник танцевала с комендантом. Ты танцевала, закрыв глаза, и прижималась к нему так, будто влюблена в него.

От потрясения у меня подкосились ноги.

— *Что?!*

— Говорят, что на самом деле ты отказалась принять участие в *réveillon* именно потому, что хотела остаться с ним наедине. Говорят, именно поэтому мы и получаем дополнительные продукты. Ты немецкая фаворитка.

— Так что, значит, ты именно поэтому дерешься в школе? — Я вспомнила о том, что, когда спросила брата о подбитом глазе, он нагрубил мне, отказавшись что-либо объяснять.

— Так это правда?

— Нет, *неправда*, — ответила я, стукнув скалкой по столу. — Он попросил... Он попросил меня станцевать с ним только один танец, по случаю Рождества, и я подумала, пусть лучше его мысли будут заняты танцами, чем тем, что происходит у мадам Полин. Вот и все, и ничего

больше. Твоя сестра просто старалась сделать так, чтобы вы хотя бы сочельник отметили спокойно. Орельен, наш танец позволил тебе поесть свинины на ужин.

— Но я тоже не слепой. Вижу, как он тобой восхищается.

— Он восхищается моим портретом. А это большая разница.

— Ну да, я ведь слышу, как он с тобой разговаривает.

Я нахмурилась, а брат поднял глаза к потолку. Ну конечно же, он ведь часами вел наблюдение через дырки в полу в комнате номер три. Орельен действительно все видел и все слышал.

— Но ты ведь не будешь отрицать, что нравишься ему. Он иногда обращается к тебе на «ты», а не на «вы», и ты ему это позволяешь.

— Орельен, он немецкий комендант. И не мне решать, как ему ко мне обращаться.

— Софи, они все тебя обсуждают. Я сижу наверху и слышу, как тебя обзывают, и уже не знаю, чему верить.

В глазах Орельена я увидела злость, быть может смятение. Я подошла к нему и крепко схватила за плечи:

— Тогда постарайся поверить тому, что я тебе скажу. Клянусь, я ничем, да-да, *ничем* не запятнала ни своей чести, ни чести мужа. Каждый божий день я стараюсь найти новый способ поддержать нашу семью, подарить нашим друзьям и соседям еду, тепло и надежду. Я не питаю абсолютно никаких чувств к коменданту. Просто время от времени стараюсь вспоминать, что он такое же человеческое существо, как ты или я. Но если ты, Орельен, хоть на секунду можешь подумать, будто я способна изменить мужу, значит ты круглый дурак. Я люблю Эдуарда. Предана ему всем телом и душой. Каждый день нашей разлуки причиняет мне физическую боль. По ночам я не могу сомкнуть глаз, так как ужасно боюсь за него. А теперь разговор закончен, и больше не смей к нему возвращаться. Ты меня понял? — спросила я и, когда он сбросил мою руку, повторила: — Ты меня понял? — Получив в ответ только мрачный кивок, я не выдержала и, хотя мне не следовало этого говорить, добавила: — И не спеши осуждать Лилиан Бетюн. Может статься, что ты обязан ей больше, чем тебе кажется.

Брат сверкнул на меня глазами и, хлопнув дверью, вылетел из кухни. Я тупо смотрела на тесто и только через пару минут вспомнила, что собиралась печь пирог.

Чуть позже в то утро я решила пройтись по площади. Обычно за хлебом — *Kriegsbrot*^[24] — ходила Элен, но мне хотелось проветриться, да и царящая в баре атмосфера действовала угнетающе. В тот январь голые ветки деревьев уже покрылись ледяной пленкой, а воздух был до того холодным, что обжигал легкие. Мне пришлось натянуть капор пониже на лоб, а рот прикрыть шарфом. На улице прохожих было совсем мало, но и из них мне кивнул только один человек: старая мадам Бонар. Я пыталась уговорить себя, что меня просто невозможно узнать под многочисленными слоями одежды.

Я дошла до рю де Бастид, которую переименовали в Шилер-платц (хотя мы упорно отказывались ее так называть). Дверь *boulangerie* была закрыта, и я толкнула ее посильнее. Внутри мадам Лувье и мадам Дюран о чем-то оживленно беседовали с месье Арманом.

— Доброе утро, — повесив корзину на руку, поздоровалась я.

Обе женщины, закутанные с головы до ног, удостоили меня неопределенным кивком. Месье Арман остался стоять, положив руки на прилавок.

Немного подождав, я повернулась к старым дамам:

— Как вы себя чувствуете, мадам Лувье? Вот уже несколько недель, как вы не показываетесь в «Красном петухе». Я уж подумала, не заболели ли вы. — В тесном помещении голос мой казался слишком высоким и звучал неестественно громко.

— Нет, — не глядя мне в глаза, ответила старая дама. — Сейчас я предпочитаю сидеть дома.

— Вы получили картофель, что я оставила для вас на прошлой неделе?

— Получила, — ответила она, стараясь не смотреть на месье Армана. — Я отдала его мадам Гренуй. Она не так... щепетильна относительно источника ваших продуктов.

Я окаменела. Так вот оно как. От обиды на такую вопиющую несправедливость у меня вдруг стало горько во рту.

— Что ж, надеюсь, ей понравилось. Месье Арман, будьте любезны, я хотела бы получить хлеб. Буханку Элен и мою, если вас не затруднит.

Господи, как же я хотела услышать одну из его шуток, пусть даже самую вульгарную, или какой-нибудь каламбур! Но булочник стоял, меряя меня неприязненным взглядом. Вопреки моим ожиданиям, он не пошел в заднюю комнату. На самом деле он с места не сдвинулся. И когда я уже была готова повторить свою просьбу, сунул руку под прилавок и достал две буханки черного хлеба.

Я смотрела на них и ничего не понимала.

В маленькой boulangerie было холодно, но взгляд этих людей обжигал кожу. Буханки лежали на прилавке, приземистые и черные.

Наконец я подняла глаза и сглотнула комок в горле:

— На самом деле я ошиблась. На сегодня у нас еще достаточно хлеба, — спокойно произнесла я, убирая кошелек обратно в корзину.

— Не думаю, что в данный момент вы хоть в чем-то нуждаетесь, — сквозь зубы процедила мадам Дюран.

Я резко повернулась и посмотрела старухе прямо в глаза, выдержав ее тяжелый взгляд. Затем с высоко поднятой головой вышла из магазина. Какой позор! Какая несправедливость! Заметив насмешливые взгляды старых дам, я поняла, какой же была дурой. Как я могла так долго не видеть дальше своего носа! Я шла быстрым шагом обратно к отелю, у меня горели щеки, мысли путались. В ушах так звенело, что поначалу я ничего не слышала.

— Halt!

Я остановилась и огляделась по сторонам.

— Halt!

Подняв руку, ко мне направлялся немецкий офицер. Я осталась стоять возле разбитого памятника мэру Леклерку, чувствуя, что щеки продолжают пылать. Офицер подошел прямо ко мне.

— Вы проигнорировали приказ! — заявил он.

— Прошу меня извинить, офицер. Я его не слышала.

— Неповиновение приказам немецкого офицера считается правонарушением.

— Но ведь я же сказала, что не слышала его. Примите мои извинения.

Слегка развязав шарф, я опустила его вниз. И только тогда поняла, кто это был. Молодой офицер, который тогда в баре спьяну облапил Элен и которого комендант размазал по стенке. Я заметила небольшой шрам у него на виске, а потом поняла, что он меня тоже узнал.

— Ваше удостоверение личности.

Однако у меня его с собой не оказалось. Разговор с Орельеном так выбил меня из колеи, что я оставила удостоверение на столике в холле отеля.

— Я его забыла.

— Выходить из дома без удостоверения личности считается правонарушением.

— Оно там, — махнула я рукой в сторону отеля. — Если вы пойдете со мной, я вам его покажу...

— Нет. Я никуда не собираюсь идти. Чем вы занимаетесь?

— Ну я... шла из boulangerie.

— Где купили невидимый хлеб? — спросил он, заглянув в мою пустую корзинку.

— Я передумала.

— Должно быть, вы хорошо питаетесь в этом своем отеле. Все остальные стараются вовремя получить пайку.

— Я питаюсь не лучше других.

— Выверните карманы.

— Что?

— Выверните карманы, я сказал, — пихнул он меня прикладом ружья. — И размотайте ваши платки, чтобы я видел, что вы несете.

На солнце было минус один. Ледяной ветер пробирал до костей, обжигая обнаженную кожу. Я поставила корзину и медленно сняла первую шаль.

— Бросайте. На землю, — приказал он. — А теперь следующую.

Я огляделась вокруг. Там, через площадь, посетители «Красного петуха» наверняка следили за происходящим. Потом я медленно сняла вторую шаль, затем — тяжелое пальто. Я чувствовала, как на меня смотрят из-за всех зашторенных окон, выходящих на площадь.

— Выньте все из карманов. — Он ткнул в мое пальто штыком, вываляв его в грязи. — А теперь выверните их.

Нагнувшись, я сунула руки в карманы. Я вся дрожала от холода, пальцы, ставшие сизыми, не слушались. После нескольких попыток я достала из кармана жакета продовольственную книжку, две пятифранковые банкноты и листок бумаги.

— Что это? — выхватил его у меня немец.

— Ничего особенного, офицер. Просто... просто подарок моего мужа. Позвольте мне оставить листок у себя.

Я услышала панические нотки в своем голосе и, еще не успев закончить фразу, поняла, что совершила ошибку. Он развернул листок, где Эдуард изобразил нас обоих. Себя — в форме, в виде медведя, меня — в накрахмаленном синем платье, очень чопорную.

— Это конфискуется, — произнес офицер.

— Что?

— Вы не имеете права носить с собой изображение формы французской армии, — заявил он.

— Но... — Я не верила своим ушам. — Это всего лишь безобидный рисунок медведя.

— Медведя во французской форме. Возможно, здесь секретный код.

— Но рисунок — просто шутка... пустячок, которым обмениваются муж и жена. Пожалуйста, не надо его уничтожать! — Я протянула руку, но офицер оттолкнул ее. — Пожалуйста, у меня так мало осталось в память о...

Я дрожала на пронизывающем ветру, он, глядя мне прямо в глаза, рвал рисунок. Сперва надвое, а затем — все так же наблюдая за выражением моего лица — на мелкие кусочки, которые падали на мокрую землю, как конфетти.

— Впредь не будешь забывать документов, шлюха, — произнес он и пошел догонять своих товарищей.

Когда я вошла в дом, прижав к груди обледеневшие, измазанные шали, Элен выбежала мне навстречу. Я чувствовала на себе взгляды посетителей, но мне нечего было им сказать. Пройдя через бар в маленький коридор, я попыталась негнуцимися пальцами повесить шали на деревянные гвозди.

— Что случилось? — услышала я позади себя голос сестры.

Я была настолько расстроена, что с трудом могла говорить.

— Офицер, что тогда схватил тебя. Он уничтожил рисунок Эдуарда. Разорвал его на мелкие кусочки, чтобы отыграться на мне за то, что комендант его ударил. А еще у нас нет хлеба, потому что месье Арман тоже считает меня шлюхой.

У меня онемело лицо, и я еле ворочала языком, но кипевшая во мне злость не давала молчать.

— Ш-ш-ш!

— Почему? Почему я должна молчать? Я-то в чем виновата? Все кругом только и делают, что перешептываются и шипят за моей спиной, но *никто* не хочет сказать правды. — Меня трясло от гнева и отчаяния.

Элен прикрыла дверь в бар и повела меня вверх по лестнице в одну и пустующих спален, единственное место, где мы могли поговорить без свидетелей.

— Успокойся и объясни толком, что случилось.

И я ей все рассказала. О разговоре с Орельеном, о стычке со старыми дамами в *boulangerie*, о поведении месье Армана и его хлебе, который нам опасно есть. Мы сидели голова к голове. Элен внимательно слушала и сочувственно вздыхала. Неожиданно она прервала меня:

— Ты что, *танцевала* с ним?

— Ну да, — утерев слезы, ответила я.

— Ты что, *танцевала* с господином комендантом?

— Не смотри на меня так. Ты не хуже меня знаешь, что я делала в ту ночь. И ты не хуже меня знаешь, что я готова была сделать все, лишь бы не дать немцам помешать празднованию *réveillon*. Я задержала его здесь, и вы смогли спокойно отметить праздник. Ты ведь сама призналась, что это первый хороший день с тех пор, как Жан Мишель ушел на фронт. Разве ты так не говорила? — спросила я, когда сестра мне не ответила. И, увидев, что она упорно молчит, добавила: — Что? Ты тоже хочешь назвать меня шлюхой?

Элен сидела, разглядывая носки туфель. Наконец она подняла глаза и тихо произнесла:

— Софи, я никогда не стала бы танцевать с немцем.

До меня не сразу дошел смысл сказанного. А потом я встала и, не говоря ни слова, вышла из спальни и спустилась вниз. Я услышала, как она зовет меня, отметив про себя, в самом темном уголке души, что все, слишком поздно.

В тот вечер мы с Элен работали практически молча. Мы обменивались лишь самыми необходимыми фразами типа: да, пирог будет готов к семи тридцати; да, вино откупорено; действительно, сейчас на четыре бутылки меньше, чем было на прошлой неделе. Орельен сидел наверху с Жаном. Только Мими спустилась вниз и ласково обняла меня. В ответ я крепко прижала ее к себе, вдохнув сладкий запах нежной детской кожи.

— Я люблю тебя, моя маленькая Ми, — прошептала я.

— И я тоже тебя люблю, тетушка Софи, — улыбнулась она из-под завесы длинных белокурых волос.

Быстро сунув руку в карман передника, я положила ей прямо в рот кусочек печеного теста, который припрятала специально для нее. Она благодарно улыбнулась, но Элен тут же увела ее от меня, загнав наверх, прямо в кровать.

В отличие от нас с Элен, в тот вечер немцы пребывали в прекрасном настроении. Никто не жаловался ни на слишком маленькие порции, ни на недостаток вина. И только комендант казался задумчивым и мрачным. Он сидел отдельно от офицеров, которые под одобрительные возгласы поднимали бокалы.

Интересно, подслушивал ли их сейчас Орельен и понимал ли, чему они так радуются?

— Давай не будем ссориться, — когда мы ложились спать, сказала мне Элен. — У меня просто нет на это сил.

Она протянула в темноте мне руку, я взяла ее, но, как мы обе прекрасно понимали, что-то изменилось, окончательно и бесповоротно.

На следующее утро на рынок пошла уже Элен. В эти дни работало только несколько палаток, где продавали консервированное мясо, безумно дорогие яйца, какие-то овощи, а еще сшитое из старых тряпок новое нижнее белье, которым торговал пожилой мужчина из Венде. Оставшись в отеле обслуживать редких посетителей, я старалась не обращать внимания на то, что до сих пор являюсь объектом для кривотолков.

Примерно в половине одиннадцатого мы услышали, как на улице поднялась суматоха. Я подумала, что по площади ведут новую партию заключенных, но тут в бар как сумасшедшая вбежала Элен. Волосы ее были растрепаны, глаза вытаращены.

— Вы не поверите, — сказала она. — Это Лилиан.

У меня оборвалось сердце. Бросив все дела, я ринулась к двери. Посетители разом повскакали с мест и кинулись за мной. По дороге шла Лилиан Бетюн. Она все еще была в каракулевом манто, но надетом на голое тело, и уже не напоминала парижскую манекенщицу. Бедра ее казались лиловыми от холода и кровоподтеков, босые ступни в крови, левый глаз совершенно заплыл. Неубранные волосы падали на лицо, она шла прихрамывая, будто каждый шаг стоил ей невероятных усилий. Ее подгоняли шедшие по бокам немецкие офицеры, процессию замыкали солдаты. На сей раз немцы явно не возражали, чтобы мы с тротуара наблюдали за происходящим.

Ее прекрасное каракулевое манто стало серым от грязи. А на спине среди потеков засохшей крови виднелись следы от плевков.

И тут я услышала тихое всхлипывание: «Мама! Мама!» — и увидела семилетнюю дочь Лилиан Эдит, которую оттаскивали другие солдаты. Девочка рыдала и извивалась, пытаясь пробиться к матери, лицо ее исказилось от страха. Какой-то солдат остановил ее, грубо схватив за руку, а его приятель глупо улыбался, словно нашел повод для смеха. Лилиан шла будто в забытьи, с опущенной головой, прячась в кокон своей боли. Когда она проходила мимо отеля, раздалось протяжное улюлюканье:

— Полюбуйтесь на эту гордую шлюху!

— Ну что, Лилиан, думаешь, немцы все еще хотят тебя?

— Да она им надоела. Вот и решили избавиться!

Я не верила своим ушам. Не верила, что это мои сограждане. Оглядевшись, я увидела перекошенные от ненависти лица, презрительные ухмылки, а когда поняла, что терпеть больше нет сил, протиснулась сквозь толпу и подбежала к Эдит.

— Отдайте мне ребенка, — потребовала я.

Только теперь я увидела, что весь город собрался поглазеть на бесплатное представление. Горожане освистывали Лилиан из окон домов и со стороны рыночной площади.

А Эдит сквозь рыдания умоляюще твердила: «Мама!»

— Отдайте мне ребенка! — закричала я. — Или немцы теперь преследуют и маленьких детей?

Солдат, что держал девочку, оглянулся, и я увидела возле почтового отделения господина коменданта. Он что-то сказал стоящему рядом офицеру, и уже через секунду Эдит отпустили. Я тут же схватила ее на руки:

— Все в порядке, Эдит. Ты пойдешь со мной.

Уткнувшись личиком мне в плечо, она судорожно всхлипывала и инстинктивно тянула руку

к матери. Мне показалось, что Лилиан повернулась вполоборота ко мне, но на таком расстоянии разглядеть что-либо было невозможно.

Я торопливо отнесла Эдит в бар — подальше от взглядов горожан, подальше от новой волны свиста и улюлюканья — и поднялась с ней наверх, куда не доносились голоса с улицы. Девочка билась в истерике, но кто мог ее осудить? Тогда я отвела ребенка в спальню, напоила водой, обняла и стала укачивать. Я вновь и вновь уверяла ее, что все будет хорошо, что мы постараемся сделать так, чтобы все было хорошо, хотя прекрасно знала, что здесь мы абсолютно бессильны. Но она продолжала рыдать и рыдала до тех пор, пока не кончились слезы. Судя по ее опухшему личику, она проплакала всю ночь. Одному Богу известно, чего навидалось за эту страшную ночь бедное дитя. Наконец она обмякла у меня на руках, и я осторожно уложила ее в свою постель, накрыв одеялом. Затем спустилась вниз.

Когда я вошла в бар, все сразу замолчали. Сегодня в «Красном петухе» народу было много как никогда, и Элен носилась между столиков с полным подносом. Увидев стоящего в дверях мэра, я посмотрела на лица вокруг и поняла, что больше не узнаю их.

— Ну что, довольны? — сказала я звенящим, надломленным голосом. — Девочка, что сейчас спит наверху, смотрела, как вы плюете в ее зверски избитую мать. И это люди, которых она считала своими друзьями! Вам есть чем гордиться!

Тут я почувствовала у себя на плече руку сестры.

— Софи...

— Что Софи? — стряхнула я ее руку. — Вы даже не представляете, что наделали! Думаете, вы все знаете о Лилиан Бетюн? Так вот, ничего вы не знаете. НИЧЕГО! — Я уже перешла на крик, по щекам катились слезы ярости. — Как быстро вы выносите приговор, почти так же быстро, как брали то, что она предлагала, когда вам было выгодно.

— Софи, нам надо поговорить, — перебил меня мэр.

— О! Теперь вы хотите со мной поговорить! Неделю вы шарахались от меня так, точно я воняю, и все потому, что месье Сюэль решил, будто я предательница и шлюха. Я! Которая рисковала всем, чтобы раздобыть еду для вашей дочери. Конечно, вы скорее поверите ему, чем мне! Так вот, может, теперь я не желаю разговаривать с вами, месье! Учитывая то, что мне известно, я скорее заговорю с Лилиан Бетюн! — Я была вне себя от ярости. Это был какой-то приступ безумия, мне казалось, что от меня во все стороны летят искры. Я посмотрела на их тупые лица, на их открытые рты и уже не слышала увещаний сестры. — Как думаете, откуда вы получали «Journal des Occurés»? Может, птичка уронила? Или ковер-самолет принес? — И когда Элен начала меня тянуть за руку, я только отмахнулась. — Мне плевать! Кто, интересно, они думают, им помогал?! Лилиан вам помогала! Вам всем! И даже когда вы гадили на ее хлеб, она все равно вам помогала! — Я уже стояла в коридоре. Элен, белая как полотно, держала меня за руку, а стоящий рядом с ней мэр подталкивал вперед, подальше от чужих ушей. — Что? — возмутилась я. — Правда глаза колет? Мне что, запрещено говорить?

— Сядь, Софи. Ради всего святого, сядь и заткнись.

— Я не узнаю свой город. Как вы могли стоять и освистывать ее? Пусть даже она и спала с немцами, разве можно так обращаться с живым существом?! Элен, они плевали в нее. Неужели ты не видела? Они заплевали ее всю, с головы до ног.словно она не человек.

— Конечно, мне очень жаль мадам Бетюн, — тихо произнес мэр. — Но я здесь не для того, чтобы ее обсуждать. Я пришел поговорить с тобой.

— Мне нечего вам сказать, — отрезала я, размазывая слезы по лицу.

— Софи, у меня новости о твоём муже, — вздохнул мэр.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл его слов.

Мэр тяжело опустился на ступеньку рядом со мной. Элен продолжала держать меня за руку.

— Боюсь, это плохие новости. Когда сегодня утром через город гнали военнопленных, один из них, проходя мимо почты, уронил записку. Клочок бумаги. Мой клерк подобрал ее. Там говорилось, что Эдуард Лефевр был в числе пяти человек, отправленных в прошлом месяце в лагерь в Арденнах. Сочувствую твоему горю, Софи.

Эдуард Лефевр был арестован по обвинению в том, что передал заключенному горбушку хлеба. Когда его били за это, он яростно сопротивлялся. Услышав такое, я чуть было не рассмеялась: как характерно для Эдуарда.

Но на самом деле мне было не до смеху. Вся поступающая ко мне информация только усиливала мои страхи. Лагерь, в котором его содержали, слыл одним из самых страшных: мужчины спали в бараке на двести человек прямо на голых досках, а питались водянистым супом из ячменной шелухи и, если повезет, дохлыми мышами. Их посылали на работы в каменоломни или на прокладку железнодорожных путей, где надо было перетаскивать на плечах железные балки. Тех, кто падал от изнеможения, строго наказывали: били или лишали пайки. Болезни были обычным делом, и людей расстреливали за малейшую провинность.

Я попыталась переварить полученные сведения, и каждая нарисованная мэром картина назойливо возникала в моем воображении.

— Ведь с ним все будет в порядке, да? — спросила я мэра.

— Мы будем молиться за него, — похлопал он меня по руке, тяжело вздохнул и встал, собираясь уходить. И его тяжелый вздох прозвучал для меня как смертный приговор.

После того как забрали Лилиан Бетюн, мэр приходил к нам почти каждый день. По мере того как правда о Лилиан как круги по воде распространялась по городу, мнение о ней в коллективном сознании начало потихоньку меняться. И теперь никто больше не кривил губы при упоминании ее имени. А кто-то даже под покровом ночи нацарапал на рыночной площади мелом слово «héroïne», и, хотя надпись быстро стерли, мы все знали, к кому она относится. Несколько ценных вещей, украденных из ее дома после ареста, вернулись обратно самым загадочным образом.

Конечно, нашлись и такие, например мадам Лувье и мадам Дюран, кто не поверил бы в невиновность Лилиан, даже если бы она на их глазах стала душить немцев голыми руками. Однако наблюдались и едва заметные признаки раскаяния среди посетителей нашего бара, выразившиеся в желании приласкать Эдит, появлении время от времени старой детской одежды или лишних кусочков еды. Лилиан отправили в лагерь для интернированных к югу от нашего города. По признанию мэра, ей еще здорово повезло, что ее не расстреляли на месте. Похоже, только заступничество одного из офицеров спасло ее от немедленной расправы.

— Но никакое вмешательство здесь не поможет, Софи, — добавил мэр. — Ее поймали на шпионаже в пользу французов, и не думаю, что ей удастся уцелеть.

Что до меня, то я больше не была персоной нон грата. Хотя, в сущности, меня это мало трогало. У меня в душе что-то умерло, и я не могла относиться к соседям так же, как раньше. Эдит, точно приклеенная, бледной тенью ходила за мной. Она плохо ела и постоянно спрашивала о матери. И я каждый раз честно отвечала, что не знаю, какая судьба ждет Лилиан, но она, Эдит, будет с нами в безопасности. Она спала вместе со мной, мне даже пришлось вернуться в свою прежнюю комнату, так как по ночам ее мучили кошмары и она своими криками будила детей. По вечерам она спускалась на четвертую ступеньку, откуда ей лучше всего была видна кухня, и поздно ночью, покончив с уборкой, мы именно там ее и находили. Девочка крепко спала, обняв худенькими ручками колени.

Я жила под гнетом бесконечных страхов: и за ее мать, и, конечно, за Эдуарда. И в унылом водовороте дней чувствовала только безумную усталость и постоянное беспокойство. В город и из города практически не поступало никакой информации. Где-то там, далеко, Эдуард, быть может, сейчас голодает, мечется в лихорадке или страдает от побоев. Мэр получил три

официальных извещения о смерти: двое наших горожан погибли на фронте и один — в лагере под Монсом. А еще ходили слухи об эпидемии брюшного тифа под Лиллем. Я воспринимала все это как личную трагедию.

И наоборот, Элен даже расцвела в грозовой атмосфере надвигающейся беды. Она видела, как я потихоньку сдаюсь, и, похоже, уверовала в то, что самое худшее уже произошло. Если Эдуард, с его силой и жизнелюбием, лицом к лицу столкнулся со смертью, то что там говорить о Жане Мишеле, тихом книжечее. Он точно не мог уцелеть, рассуждала она, значит, ей надо смириться и жить дальше. Элен, казалось, обрела второе дыхание: уговаривала меня встать, когда заставала в слезах в винном погребе, уговаривала меня есть и пела Эдит, Мими и Жану неожиданно веселые колыбельные. И я была благодарна ей за то, что она давала мне силы жить. По ночам я лежала, обняв ребенка чужой женщины, и мечтала только о том, чтобы забыться и больше уж никогда не думать.

В конце января умерла Луиза. И хотя мы все знали, чему быть, того не миновать, легче от этого не становилось. За одну ночь мэр и его жена, казалось, постарели на десять лет.

— Думаю, Бог смилостивился над ней, не дав ей увидеть, во что превратился наш мир, — сказал мне мэр, и я согласно кивнула. Хотя ни один из нас в это не верил.

Похороны должны были состояться через пять дней. Мне казалось, что не стоит брать туда детей, и я попросила Элен сходить вместо меня, а сама решила погулять с малышами в лесу за старой пожарной частью. Зима выдалась на редкость суровой, и немцы разрешили горожанам по два часа в день собирать в лесу хворост для растопки. Однако сейчас я ни на что особо не рассчитывала: все деревья давным-давно начисто ободрали. Просто мне надо было хоть ненадолго сменить обстановку, чтобы отрешиться от горя и сосущего чувства тревоги, а также от всевидящего ока не только немцев, но и соседей.

Стоял тихий морозный день, солнце с трудом пробивалось сквозь голые ветви уцелевших деревьев и, похоже, настолько утомилось, что поднялось не более чем на два фута над горизонтом. Отсюда прекрасно просматривалась вся местность, и когда я огляделась вокруг, то подумала, что, наверное, наступил конец света. Я шла и мысленно беседовала с Эдуардом. В последние дни это уже вошло у меня в привычку. «Мужайся, Эдуард. Держись. Просто постарайся выжить, и тогда, я знаю, мы снова будем вместе». Эдит и Мими поначалу молча шли рядом, шаркая башмаками по обледеневшим листьям. Но когда мы вошли в лес, детская натура взяла свое, и они, взявшись за руки, с радостным смехом вприпрыжку побежали к поваленному дереву. Они наверняка испачкаются и поцарапают башмаки, но я не могла отказать им в такой малости.

Остановившись, я наклонилось подобрать несколько прутиков. Мне очень хотелось, чтобы детский смех хоть на время заглушил гложущий меня страх. А когда выпрямилась, увидела его: он стоял на поляне с ружьем на плече и разговаривал с одним из своих людей. Услышав детские голоса, он резко обернулся. Эдит с пронзительным криком уткнулась мне в юбку, ее глаза расширились от ужаса. Мими удивленно ковыляла следом, она не понимала, почему подруга так испугалась человека, который каждый вечер приходит в наш отель.

— Не плачь, Эдит. Он не причинит нам зла. Ну пожалуйста, не плачь, — прошептала я и, заметив, что он наблюдает за нами, отлепила Эдит от своих ног, присела на корточки и ласково произнесла: — Это господин комендант. Я сейчас пойду поговорю с ним насчет ужина. А ты останься здесь и поиграй с Мими. Со мной все в порядке. Вот видишь? — И так как она продолжала дрожать, строго сказала: — Идите поиграйте минутку. Мне надо поговорить с господином комендантом. Вот, возьмите мою корзинку и постарайтесь набрать хоть немного сучьев. Обещаю, ничего страшного не случится.

Оторвав наконец Эдит от своей юбки, я направилась к коменданту. Сопровождавший его офицер что-то бросил ему вполголоса, а я поплотнее закуталась в шаль и, скрестив руки на груди, стала ждать, когда комендант отпустит его.

— Вот, решили немножко пострелять, — посмотрев на серое небо, объяснил он. — Птиц.

— Здесь больше нет птиц, — ответила я. — Они давным-давно улетели.

— Должно быть, слишком чувствительны. — Он прислушался к далеким раскатам канонады. Воздух вокруг нас стал густым и вязким. — Это что, дочь той шлюхи? — Комендант сунул ружье под мышку и закурил сигарету.

Я оглянулась на стоящих возле поваленного дерева девочек.

— Ребенок Лилиан? Да, она останется с нами, — ответила я и, посмотрев на его непроницаемое лицо, добавила: — Она всего лишь маленькая девочка. И не понимает, что происходит вокруг.

— Ах! — вздохнул он, выпустив струйку дыма. — Сама невинность.

— Да. Такое еще встречается, — с трудом выдержав его испытующий взгляд, ответила я и, собравшись с духом, продолжила: — Господин комендант, хочу попросить вас об одолжении.

— Одолжении?

— Моего мужа забрали в лагерь для военнопленных в Арденнах.

— Да. И я не буду спрашивать, откуда вы получили эту информацию.

Я ничего не могла прочесть в его глазах, ни малейшей подсказки на то, что у него на уме.

Тогда я сделала глубокий вдох и произнесла:

— Я думала... Я хочу спросить вас, не могли бы вы ему помочь. Он хороший человек. Ведь вы сами знаете, что он художник, а не солдат.

— И вы хотите, чтобы я передал ему от вас весточку.

— Я хочу, чтобы вы вытащили его оттуда, — сказала я и, увидев его удивленно поднятые брови, продолжила горячо убеждать его: — Господин комендант! Вы всегда вели себя так, будто мы друзья. И я умоляю вас. Пожалуйста, помогите моему мужу. Я знаю, что творится в подобных местах, у него практически нет шансов выжить. — Когда комендант не ответил, я решила не упускать свой шанс. Я уже тысячу раз прокручивала в голове свою речь. — Вы ведь знаете, он всю свою жизнь посвятил служению искусству, служению красоте. Он мирный человек, добрый человек. Он любит писать картины и танцевать, а еще вкусно поесть и выпить хорошего вина. Его жизнь или смерть никак не повлияет на судьбу Германии.

Он посмотрел вдаль, сквозь обнаженные ветви деревьев, будто желая проверить, далеко ли ушел второй офицер, затем затянулся сигаретой.

— Мадам, вы очень сильно рискуете, когда просите о подобных вещах. Вы ведь знаете, как ваши сограждане обошлись с женщиной, которая, по их мнению, сотрудничала с немцами.

— Они и так не сомневаются, что я с вами сотрудничаю. Одно ваше присутствие в нашем отеле делает меня без вины виноватой.

— Да, и еще то, что вы танцевали с врагом, — хмыкнул он и, заметив мое удивление, добавил: — Я ведь уже говорил вам, мадам, что ничего из происходящего в этом городе не проходит мимо меня. — Мы стояли и молча смотрели вдаль. Где-то вдалеке прогремел взрыв, и земля под ногами слегка задрожала. Девочки тоже это почувствовали, так как удивленно уставились себе под ноги. Комендант сделал последнюю затяжку и затушил окурок каблуком. — Тут вот какое дело. Вы умная женщина. И наверняка хорошо знаете человеческую натуру. И тем не менее ведете себя так, что я, солдат вражеской армии, имею полное право расстрелять вас без суда и следствия. И, несмотря на это, вы приходите сюда, рассчитывая на то, что я не только оставлю без внимания сей факт, но и помогу вам. Своему врагу.

— Все потому... что я вижу в вас не только... только врага, — судорожно сглотнула я и, не

дождавшись его ответа, выпалила: — Ведь вы сами говорили... что иногда мы просто обычные люди. — Его молчание придало мне храбрости, и, понизив голос, я продолжила: — Я знаю, вы могущественный человек. И очень влиятельный. Если вы скажете, чтобы его освободили, его непременно освободят. Ну пожалуйста.

— Вы не понимаете, о чем просите.

— Нет, я уверена, что если он останется там, то непременно погибнет. — Я заметила, что в глазах коменданта зажегся странный огонек. — Ведь вы джентльмен. Ученый. Неравнодушны к искусству. — Я запиналась и теряла слова. Сделав шаг вперед, осторожно дотронулась до его руки. — Господин комендант. Пожалуйста. Вы ведь знаете, что я никогда в жизни не стала бы ничего у вас просить, но сейчас умоляю... Пожалуйста, ну пожалуйста, помогите мне.

У него был такой сумрачный вид. А потом он сделал то, что я меньше всего ожидала. Поднял руку и осторожно убрал у меня с лица прядь волос. Убрал нежно, задумчиво, словно давно об этом мечтал. Ничем не выдав своего потрясения, я стояла не шелохнувшись.

— Софи...

— Послушайте, я отдам вам картину, которая вам так нравится, — произнесла я, но он тут же опустил руку и с тяжелым вздохом отвернулся. — Это самое ценное, что у меня есть.

— Ступайте домой, мадам Лефевр.

Я чувствовала, что начинаю впадать в панику.

— Что я должна сделать?

— Пойти домой. Взять детей и пойти домой.

— Все, что угодно. Если вы сможете освободить моего мужа, я сделаю все, что угодно. — Мой голос эхом разносился по обледеневшему лесу. Единственный шанс помочь Эдуарду ускользал от меня. Комендант повернулся и пошел прочь. — Вы меня слышите, господин комендант?

Комендант резко развернулся, лицо его исказилось от ярости. Он размашисто зашагал ко мне и остановился только тогда, когда его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от моего. Я чувствовала его дыхание. Краем глаза я видела, что девочки застыли в напряженном ожидании. Нет, только не показывать им своего страха!

— Софи... — окинул он меня многозначительным взглядом и, оглянувшись, продолжил: — Софи, я... я уже почти три года не видел жену.

— Я уже два года не видела мужа.

— Вы должны знать... вы должны знать... то, что вы просите у меня... — Он отвернулся, словно боялся посмотреть мне в лицо.

— Я предлагаю вам картину, господин комендант, — проглотив комок в горле, с трудом выдохнула я.

У него стала подергиваться нижняя челюсть. Он посмотрел куда-то мимо меня:

— Мадам, вы или очень глупы, или...

— И что, это купит моему мужу свободу? Я... я смогу купить своему мужу свободу?

Он обернулся, его лицо болезненно сморщилось, будто я заставляла его делать то, что ему не хотелось. Потом остановил взгляд на носках своих сапог. Наконец шагнул мне навстречу, чтобы нас не могли услышать.

— Завтра ночью. Приходите ко мне в казармы. Когда закончите с делами в отеле.

Чтобы не идти прямо через площадь, я вела девочек за руку обходными тропами, и, когда мы оказались в «Красном петухе», наши юбки были сплошь заляпаны грязью. Девочки как-то странно притихли, хоть я и пыталась им втолковать, что немецкий офицер просто расстроен из-за того, что собирался пострелять голубей, а те улетели. Приготовив им теплое питье, я прошла в

свою комнату и захлопнула дверь.

Я легла на кровать, закрыла лицо руками, чтобы свет не резал глаза, и пролежала так примерно полчаса. Затем встала, достала из шкафа синее шерстяное платье. Эдуард обычно говорил, что в синем платье я похожа на школьную учительницу. Но говорил так, словно нет ничего лучше, чем быть школьной учительницей. Я сняла испачканное платье, оставив его лежать на полу. Сняла плотную нижнюю юбку, подол которой был вечно в грязи, оставшись в сорочке и панталонах. Сняла корсет, затем — оставшееся нижнее белье. В комнате стоял жуткий холод, но я его не чувствовала.

Потом я встала перед зеркалом.

Уже много месяцев я не смотрела на свое тело; и у меня были на то основания. Тень, что я видела в покоробленном зеркале, принадлежала не мне, а какой-то незнакомой женщине. От меня осталась лишь половина, груди обвисли, сморщились и уж более не напоминали два пышных полушария из белой плоти. Я была такой худой, что кожа, казалось, просвечивала: ключицы, ребра, тазовые кости выпирали наружу. Даже мои волосы, когда-то живого, насыщенного цвета, потускнели.

Тогда я подошла поближе, чтобы рассмотреть свое лицо: под глазами залегли тени, между бровей образовалась хмурая морщина. Я поежилась, но не от холода. Нет, я вспомнила о той девушке, что Эдуард покинул два года назад. Вспомнила о его нежных руках, обнимающих меня за талию, о теплых губах, касающихся моей шеи. И закрыла глаза.

Уже много дней он пребывал в плохом настроении. Он работал над полотном, где были изображены три сидящие за столом женщины, и ему никак не удавалось ухватить суть. Я позировала для картины и молча смотрела, как он пыхтит и морщится, швыряет палитру, в отчаянии запускает руки в волосы и ругается.

— Давай прогуляемся, — с трудом разогнувшись, предложила я; мне было тяжело сидеть в одном положении, но признаваться не хотелось.

— Не хочу я гулять.

— Эдуард, пока ты в таком настроении, у тебя ничего не получится. Двадцать минут на свежем воздухе тебе не повредят. Пошли! — Я взяла пальто, обмотала шею шарфом и остановилась на пороге.

— Не люблю, когда меня отрывают от работы, — проворчал он, надевая пальто.

Даже если он был не в духе, меня это не слишком трогало. Я уже успела привыкнуть к нему. Когда работа у Эдуарда шла хорошо, он был самым чудесным мужчиной на свете: жизнерадостным, готовым во всем видеть красоту. Но когда что-то не ладилось, черная туча нависала над нашим домом. В первые месяцы нашей совместной жизни я винила себя за то, что не способна его развеселить. Но чем больше прислушивалась к разговорам других художников в кафе «Ля руш» или в барах Латинского квартала, тем яснее начинала понимать, что всем им свойственны перепады настроений: подъем, если картина успешно завершена или продана; спад, если работа не клеилась или подверглась острой критике. Такая смена настроений подобна прохождению атмосферного фронта, следовало или переждать ее, или приспособиться к ней.

Но я ведь тоже не была святой.

Эдуард ворчал всю дорогу до улицы Суффло. И вообще его все раздражало. Он не понимал, чего ради мы должны куда-то идти. Он не понимал, почему я не хочу оставить его в покое. Я терялась в догадках. Не знала, что его так гнетет. Ну да, Вебер и Пурманн уже были нарасхват у галеристов возле Пале-Рояля, им даже предлагали организовать персональные выставки. Ходили слухи, что месье Матисс предпочитает их работы картинам Эдуарда. Но когда я пыталась убедить его, что дело не в этом, он только отмахивался от меня, как от надоедливой мухи. Пока

мы шли к набережной, он раздражался желчными тирадами, и наконец мое терпение лопнуло.

— Прекрасно! — фыркнула я, выдернув руку из-под его локтя. — Я невежественная продавщица. Где уж мне понять все трудности жизни художника! Я ведь только и нужна, чтобы стирать твоё белье, часами сидеть в неудобной позе, пока ты возишься с угольными карандашами, и собирать вместо тебя деньги у людей, чтобы тебя, не дай бог, не сочли мелочным. Вот и хорошо, Эдуард, оставляю все эти радости тебе. Быть может, мое отсутствие принесет тебе наконец желанный покой. — И я пошла быстрым шагом вдоль берега Сены.

Он нагнал меня буквально через несколько минут.

— Прости меня, — сказал он и, увидев, что я не желаю с ним разговаривать, добавил: — Софи, не будь такой злою. У меня просто сегодня дурное настроение.

— Но ты не должен из-за этого портить его мне. Я только пытаюсь тебе помочь.

— Знаю. Будет тебе, остынь. Ну пожалуйста. Остынь и погуляй со своим неблагодарным мужем, — протянул он мне руку.

У него было такое жалобное лицо. И он прекрасно знал, что я не смогу ему отказать.

Я бросила на мужа сердитый взгляд, но все же взяла под руку, и мы молча пошли вперед. Он сжал мою ладонь и вдруг заметил, какая она холодная.

— Твои перчатки!

— Я их забыла.

— А где твоя шляпка? — спросил он. — Ты же околеешь.

— Ты прекрасно знаешь, что у меня нет зимней шляпки. Бархатную съела моль, а мне некогда было поставить заплатку.

— Но ты не можешь ходить в залатанной шляпке! — резко остановился он.

— Это еще вполне приличная шляпка. У меня просто не было времени привести ее в порядок.

Естественно, я не стала добавлять, что времени у меня не было именно потому, что мне пришлось обегать весь левый берег в поисках нужных ему материалов и раздобыть денег, чтобы заплатить за них.

Мы как раз проходили мимо одного из лучших парижских шляпных ателье. Увидев вывеску, Эдуард резко остановился.

— Пошли! — заявил он.

— Не смей меня.

— Жена, не смей мне перечить. Ты ведь знаешь, что в гневе я страшен.

Он взял меня за руку и, не слушая моих возражений, вошел внутрь. Дверь за нами закрылась, зазвенел колокольчик, и я в ужасе огляделась. На полках и стойках вдоль стен красовались, отражаясь в огромных зеркалах, замысловатые шляпки самых разных цветов — от угольно-черных до ярко-красных — с широкими полями, отделанными мехом или кружевом. В помещении стоял аромат розовых лепестков. На женщине, появившейся из задней части ателье, была узкая атласная юбка — последний крик парижской моды.

— Чем могу помочь? — Она окинула взглядом мое пальто, которое я носила вот уже три года, и растрепанные ветром волосы.

— Моей жене нужна шляпка.

Мне хотелось его остановить. Хотелось сказать, что раз уж ему так приспичило купить мне шляпку, то можно пойти в «Ля фам марше», где я могла рассчитывать на скидку. Эдуард понятия не имел, что это ателье — салон высокой моды, куда был заказан вход простым женщинам типа меня.

— Эдуард, я...

— И шляпка особенная.

— Конечно, месье. У вас имеются какие-нибудь пожелания?

— Что-нибудь типа вот этой. — Он показал на темно-красную шляпу с широкими полями, отделанную «марабу» в стиле Директории и украшенную черными павлиньими перьями веером.

— Эдуард, ты, должно быть, шутишь, — пробормотала я.

Но женщина уже сняла шляпку с подставки и, пока я изумленно смотрела на мужа, осторожно надела ее мне на голову, заправив волосы под воротник.

— Мне кажется, смотреться будет гораздо лучше, если мадам снимет шарф.

Она подвела меня к зеркалу и принялась развязывать мой шарф, да так осторожно, точно он был из золотой пряжи. Я практически не чувствовала ее пальцев. Шляпка удивительно преобразила мое лицо. Впервые в жизни я стала похожа на одну из тех дам, что в свое время обслуживала в магазине.

— У вашего мужа верный глаз, — заметила женщина.

— Да, именно то, что надо! — радостно воскликнул Эдуард.

— Эдуард! — Я отвела его в сторонку и, понизив голос, встревоженно сказала: — Посмотри на ярлык. Она стоит как три твои картины.

— Мне наплевать. Я хочу, чтобы у тебя была эта шляпка.

— Но потом ты возненавидишь ее. Возненавидишь меня. Ведь деньги отложены на материалы, холсты. А вообще, такие вещи не для меня. Это вовсе не я.

Но он не дал мне договорить.

— Мы берем ее, — махнул он женщине.

И пока та отдавала распоряжения помощнице, он посмотрел на мое отражение в зеркале. Легонько пробежался пальцами по моей шее, немного наклонил мне голову набок, и его глаза встретились с моими. А затем, сдвинув на мне шляпку, он прижался губами к моей шее. Его поцелуй продолжался достаточно долго, чтобы вогнать меня в краску. Обслуживающие нас женщины смущенно отвернулись, притворившись, что заняты делами. Когда я подняла голову, у меня все плыло перед глазами, а он продолжал смотреть на мое отражение в зеркале.

— Это ты, Софи, — ласково улыбнулся он. — Только ты...

Та шляпка до сих пор лежит в нашей квартире в Париже. За тридевять земель отсюда.

Упрямо выставив подбородок, я отошла от зеркала и начала медленно облачаться в синее шерстяное платье.

В тот вечер, после того как из ресторана ушел последний немецкий офицер, я все рассказала Элен. Мы как раз подметали пол и стряхивали со столов крошки, которых было на удивление мало. Даже немцы подъедали все дочиста, порции настолько уменьшились, что еды явно не хватало. Я остановилась с веником в руке и попросила сестру на минуту прерваться. Затем рассказала ей о прогулке в лесу, а еще о том, что я попросила у коменданта и что он попросил в ответ. Элен побелела от ужаса.

— Но ты ведь не согласилась. Да?

— Я ничего не сказала.

— О, слава богу! — Она прижала руку к щеке и покачала головой. — Слава богу, тогда он не сможет тебя принудить!

— Но... это не значит, что я не пойду.

Сестра без сил опустилась на стул, я села напротив. Немного помолчав, она взяла меня за руку:

— Софи, я понимаю, ты потеряла голову, но все же надо думать, что говоришь. Вспомни, что они сделали с Лилиан. Неужели ты способна отдаться немцу?

— Ну... я этого еще не обещала, — ответила я и, поймав ее удивленный взгляд, продолжила: — Мне кажется... комендант в своем роде благородный человек. А кроме того, может, он вовсе не хочет, чтобы я... По крайней мере, он так прямо не сказал...

— Ну как можно быть такой наивной! — воздела она руки к небу. — Комендант ни за что ни про что застрелил ни в чем не повинного человека. А ты помнишь, как он размазал по стенке одного из своих офицеров за совсем незначительный проступок?! И ты что, собираешься идти одна к нему на квартиру? Ты не можешь этого сделать! Подумай!

— Да, но я уже подумала и о кое-чем еще. Я нравлюсь коменданту. Полагаю, он по-своему даже уважает меня. Но если я не сделаю этого, Эдуард, безусловно, погибнет. Ты не хуже меня знаешь, что творится в таких лагерях. Мэр уже заранее похоронил его.

Элен в изнеможении оперлась на стол, голос ее звучал взволнованно.

— Софи, нет никакой гарантии того, что господин комендант поведет себя благородно. Он же немец! И почему, скажи на милость, ты должна верить ему на слово? Ты можешь лечь под него, и все зазря.

Я еще никогда не видела сестру такой сердитой.

— Все равно я должна пойти и поговорить с ним. У меня нет выхода.

— Если все выплывет наружу, Эдуард от тебя откажется, — выдержав мой взгляд, произнесла она. — Полагаешь, тебе удастся это скрыть от него? И не надейся. Ты слишком честная. А если и так, думаешь, жители нашего города не сообщат ему?

Она была права.

Элен посмотрела на свои натруженные руки. Встала и налила себе стакан воды. Пила она медленно, поглядывая на меня украдкой, и чем больше затягивалось молчание, тем острее я чувствовала в нем завуалированный вопрос и ее явное неодобрение. Настала моя очередь сердиться.

— Ты что, считаешь, я иду на это с легким сердцем?

— Не знаю, — ответила она. — Ты так изменилась за последние дни.

Ее слова словно хлестали меня по лицу. Мы сидели, гневно уставившись друг на друга, и я вдруг поняла, что хожу по краю пропасти. Нет более опасного противника, чем родная сестра. Она как никто знает твои слабые места и безжалостно целится именно туда. Над нами довлело воспоминание о том, как я танцевала с комендантом, и мне вдруг стало ясно, что так мы можем зайти слишком далеко.

— Хорошо, — кивнула я. — Тогда, Элен, ответь мне на вопрос. Если бы это был единственный способ спасти Жана Мишеля, что бы ты сделала? — И тут наконец я увидела сомнение в ее глазах. — Вопрос жизни и смерти. Что бы ты сделала? Кому, как не мне, знать, что твоя любовь к нему безгранична.

— Это может плохо кончиться. — Она прикусила губу и повернулась к черному окну.

— Нет.

— Ты, конечно, можешь верить, что обойдется. Но ты по натуре очень импульсивна. И на чашу весов положено не только твое будущее.

И тогда я встала. Мне хотелось обогнуть стол и подойти к сестре. Хотелось прижаться к ней, хотелось, чтобы она сказала, что все будет хорошо, что с нами ничего не случится. Но выражение ее лица говорило о том, что разговор закончен, и я, расправив юбки, пошла на кухню.

В ту ночь я спала очень беспокойно. Мне снился Эдуард, его лицо, искаженное гримасой отвращения. В моем сне мы ссорились, и я снова и снова пыталась втолковать ему, что приняла единственно верное решение, а он поворачивался ко мне спиной. А еще мне приснилось, будто мы опять ссорились, но уже сидя за столом, он отодвинул стул, я посмотрела вниз и обнаружила,

что нижняя часть тела у него отсутствует. «Смотри, — сказал он. — Ну что, теперь ты довольна?» Я проснулась от собственных рыданий и обнаружила, что Эдит смотрит на меня черными бездонными глазами. Она протянула руку и нежно погладила меня по мокрой щеке, словно в знак сочувствия. Я обняла ее, и вот так, прижавшись друг к другу, мы лежали в полной тишине до самого утра.

Весь день я была точно сомнамбула. Пока Элен ходила на рынок, я приготовила детям завтрак, проследила за тем, чтобы Орельен, который опять был не в настроении, отвел Эдит в школу. В десять я открыла бар и обслужила несколько посетителей, явившихся с утра пораньше. Старик Рене со смехом рассказывал о том, как немецкое военное транспортное средство попало в канаву за казармами да так и застряло там. Этот инцидент страшно развеселил посетителей бара. Я раздвинула губы в улыбке и кивнула, мол, да, теперь будут знать, вот он, пресловутый немецкий стиль управления. Но я видела и слышала все словно со стороны.

Орельен и Эдит вернулись на обед, состоявший из ломтя хлеба и крошечного кусочка сыра, и пока они сидели на кухне, пришло уведомление от мэра о необходимости сдать несколько одеял и столовые приборы для новой казармы, расположенной в миле отсюда. Посетители недовольно рассматривали бумажку с предписанием, прекрасно понимая, что дома их будут ждать такие же. В душе я была даже довольна. Пусть все видят, что реквизиция не обошла стороной и меня.

В три часа мы сделали перерыв, чтобы посмотреть, как проходит немецкий санитарный обоз; от колес едущих вереницей грузовиков и повозок дрожала земля. Посетители бара на время притихли. В четыре пришла жена мэра, чтобы поблагодарить за добрые письма и ласковые слова. Я предложила ей выпить чашечку кофе, но она отказалась, объяснив, что хочет побыть одна. Мы видели, как она, пошатываясь, идет через площадь, а муж осторожно поддерживает ее под руку, словно боится, что жена упадет.

В половине пятого бар покинули последние посетители, и хотя до закрытия оставалось еще полчаса, я знала, что с наступлением темноты к нам больше никто не зайдет. Я прошла по обеденному залу, чтобы опустить жалюзи на окнах, и очень скоро комната погрузилась в темноту. На кухне Элен проверяла у Эдит правописание, прерываясь время от времени, чтобы спеть песенку Жану и Мими.

Эдит уже успела привязаться к маленькому Жану, и Элен неоднократно отмечала, что лучшей помощницы и желать нельзя. Элен ни разу не поставила под сомнение мое решение взять к себе девочку; ей даже в голову не могло прийти отдать кому-то бедного ребенка, хотя число ртов в нашей семье увеличилось.

Поднявшись наверх, я достала из-под стропил свой дневник. Хотела написать пару строк, но поняла, что любое мое слово будет свидетельствовать против меня. Тогда я засунула дневник обратно в тайник и задумалась над тем, доведется ли мне еще когда-либо поговорить с мужем.

Немцы явились на ужин в положенное время, но почему-то без коменданта. Настроение у них было подавленное, и я, в который раз, надеялась, что дела у них совсем плохи. Пока мы работали, Элен не спускала с меня глаз. Я видела, что она изо всех сил пытается понять, как я намерена поступить. Я подавала на стол, наливала вино, мыла посуду и вежливо кивала тем, кто благодарил нас за вкусную еду. Закрыв дверь за последним посетителем, я взяла на руки Эдит, которая, как обычно, заснула на ступеньках, и отнесла в спальню. Уложила в постель, накрыла одеялом, убрала со щеки непослушную прядь волос. Она беспокойно зашевелилась, даже во сне лицо ее сохраняло тревожное выражение.

Дождавшись, пока Эдит крепко уснет, я медленно, очень сосредоточенно причесала и заколола волосы. Я смотрела на свое отражение в тусклом свете свечи. Неожиданно что-то

привлекло мое внимание. Повернувшись, я увидела подсунутую под дверь записку. Подняла и развернула ее. Там рукой Элен было написано:

Что сделано, того не воротишь.

Но тут я вспомнила об убитом заключенном в башмаках не по размеру, о грязных, оборванных людях, которые еще сегодня днем шли по главной улице города. И мне сразу стало ясно: у меня нет выбора.

Положив записку в тайник, я тихонько спустилась по лестнице. Посмотрела на висевший на стене портрет, осторожно сняла его с крючка и аккуратно завернула в шаль. Закутавшись потеплее, шагнула в темноту. Я уже закрывала за собой дверь, когда неожиданно услышала шепот сестры, ее голос пожарным колоколом прозвучал в моих ушах:

— Софи!

После долгих месяцев жизни при комендантском часе было как-то непривычно идти по городу в кромешной тьме. Пустынные обледеневшие улицы, плотно зашторенные темные окна. Я шла быстрым шагом, низко надвинув на лоб шаль. Оставалось только надеяться на то, что если кто и выглянет из окна, то не узнает меня, так как увидит лишь смутную тень крадущегося человека.

Холод пронизывал насквозь, но я его едва чувствовала. Минут пятнадцать я шла к ферме Фурье, где немцы обосновались годом раньше, и за это время утратила способность думать. Стала просто шагающей вещью. Мне казалось, если я хоть на секунду задумаюсь о том, куда иду, то просто-напросто не смогу заставить ноги слушаться, переставлять их одну за другой. Если задумаюсь, то сразу услышу предостережения сестры и гневные обличения соседей, паче чаяния узнавших, что я навещала господина коменданта под покровом ночи. Я буквально осязала собственный страх.

И тогда я, как заклинание, стала повторять имя мужа:

«Эдуард. Я освобожу Эдуарда. Я могу это сделать».

Наконец я достигла окраины города и свернула налево, где грязная дорога была напрочь разбита военным транспортом. Старая лошадь, когда-то принадлежавшая моему отцу, в прошлом году сломала ногу, попав в одну из рытвин; сидевший на ней немец слишком быстро ее гнал и не смотрел, куда едет. Орельен даже заплакал, узнав о печальном событии. Еще одна невинная жертва оккупации. Но сейчас нам уже было не до лошадей, их никто больше не оплакивает.

«Я верну Эдуарда домой».

Когда я свернула к ферме, луна скрылась за облаками. Я брела, не разбирая пути, по лужам стылой воды. Башмаки и чулки промокли насквозь, руки окоченели, и из боязни выронить картину я вцепилась в нее еще крепче. Увидев огни в доме где-то вдали, я пошла на свет. Впереди на обочине появилась расплывчатая тень какого-то мелкого лесного зверька. Должно быть, зайца. Затем дорогу мне перебежала лиса, остановилась и смерила меня наглым взглядом. Уже через секунду я услышала предсмертный хрип бедного зайца и с трудом подавила рвотный позыв.

Теперь ферма была уже близко, свет в окнах слепил глаза. Услышав совсем рядом шум мотора военного грузовика, я с замиранием сердца поспешно нырнула на обочину, подальше от ярких фар. Пока тяжелая машина вихляла по ухабам, я успела разглядеть в кузове лица сидящих впритирку женщин. Я долго смотрела им вслед, а затем стала осторожно выбираться, цепляясь шалью за ветки, на дорогу. Ходили упорные слухи, что немцы откуда-то привозят к себе девушек. И вот теперь я убедилась, что это не досужие вымыслы. Я вспомнила о Лилиан и тихо помолилась за нее.

Наконец я оказалась у ворот на ферму. Примерно в ста футах от себя я увидела уже другой грузовик и неясные силуэты вышедших оттуда женщин. Они молча свернули к двери налево, словно хорошо знали, куда идти. Я услышала мужские голоса, нестройное пение где-то вдалеке.

— Halt, — перегородил мне путь немецкий солдат, и я подпрыгнула от неожиданности.

Он поднял ружье, затем, присмотревшись, махнул рукой в сторону группы женщин.

— Нет... нет. Я к господину коменданту, — пролепетала я, а когда он снова нетерпеливо махнул рукой, уже громче сказала: — Nein. Herr Kommandant. Мне назначено.

— Herr Kommandant?

Лица его я не видела, но он явно пристально изучал меня. Затем размашистым шагом пересек двор, подошел к двери, которую я только сейчас заметила, постучал, и я услышала

приглушенные голоса. Я ждала не в силах унять сердцебиение, от волнения кожа пошла мурашками.

— Wie heist? — вернувшись, спросил он.

— Я мадам Лефевр, — прошептала я.

Он показал на мою шаль, и я торопливо сдернула ее с головы, чтобы он видел мое лицо. Он махнул рукой в сторону двери на противоположной стороне двора:

— Diese Tur. Obergeschoss. Grime Tur auf der rechten Seite. [\[25\]](#)

— Что? Не понимаю, — ответила я.

— Ja, ja, — нетерпеливо сказал он и, взяв меня за локоть, довольно грубо подтолкнул вперед.

Я была потрясена столь невежливым приемом, оказанным гостю коменданта. Но затем меня осенило. То, что я считала себя замужней женщиной, здесь не имело никакого значения. Для него я была просто очередной бабенкой, навещающей к немцам с наступлением темноты. Слава богу, что он не мог видеть, как я покраснела. Молча выдернув руку, я расправила плечи и пошла в сторону небольшого здания справа.

Мне не составило труда догадаться, какая из комнат его. Только из-под одной двери пробивался свет. После секундного колебания я осторожно постучала и тихо сказала:

— Господин комендант?

Послышался звук шагов, дверь отворилась, и я непроизвольно отпрянула. Комендант был без мундира: в полосатой рубашке без воротничка и в подтяжках, в руке он держал книжку, словно я оторвала его от чтения. Он сдержанно улыбнулся в знак приветствия и пропустил меня в комнату.

Комната оказалась просторной, с толстыми балками под потолком, полы устланы коврами; похоже, некоторые из них я в свое время видела в соседских домах. Из обстановки — столик со стульями, военный сундучок с латунными уголками, поблескивавшими в свете двух ацетиленовых ламп, вешалка с крючками для одежды, где висел его мундир, и большое удобное кресло перед пылающим камином, тепло от которого чувствовалось даже на другом конце комнаты. В углу стояла кровать под двумя толстыми лоскутными одеялами. Я мельком посмотрела на нее и поспешно отвела глаза.

— Ну вот, — взявшись за концы шалей, произнес он. — Разрешите мне взять это.

Я позволила ему снять с меня шали и повесить на вешалку, но картину по-прежнему крепко прижимала к груди. Даже в таком, полуобморочном, состоянии я испытывала крайнюю неловкость за свое потрепанное платье. Ведь в мороз стирать белье приходилось крайне редко, так как потом оно неделями сохло или деформировалось.

— На улице, должно быть, пробирает до костей, — заметил он. — Чувствуется по вашей одежде.

— Да, — ответила я и не узнала собственного голоса.

— Суровая зима в этом году. И думаю, нам придется померзнуть еще несколько месяцев. Не хотите чего-нибудь выпить? — Он подошел к столику, взял графин с вином, наполнил два бокала и протянул один мне. Я покорно взяла из его рук бокал, так как все еще дрожала от холода. — Вы можете положить ваш пакет, — сказал он.

А я уже и забыла о картине. Тогда я осторожно поставила ее на пол, но сама осталась стоять.

— Садитесь, пожалуйста, — улыбнулся он. — Ну, пожалуйста.

Похоже, его раздражало мое нерешительное поведение, словно моя нервозность была ему оскорбительна.

Тогда я опустилась на стул, положив руку на раму от картины. Не знаю почему, но так мне

было спокойнее.

— Я специально не пошел сегодня ужинать. Размышлял над вашими словами относительно того, что из-за присутствия немецких офицеров в отеле вас считают предательницей, — сказал он и, не дождавшись моего ответа, продолжил: — Софи, я не хочу причинять тебе еще больше неприятностей. Ты и так настрадалась из-за нашей оккупации.

Я не знала, что сказать на это, а потому, сделав глоток вина, промолчала. Но он сверлил меня глазами, словно ожидая от меня ответа.

Со стороны двора послышалось громкое пение. Интересно, были ли в компании мужчин те девушки? Если да, то кто они, из каких деревень? И не поведут ли их потом, как преступниц, по главной улице? Знают ли они о судьбе Лилиан Бетюн?

— Ты, наверное, голодна, — махнул он рукой в сторону подноса с хлебом и сыром, а когда я покачала головой, так как у меня напрочь пропал аппетит, произнес: — Хотя должен признать, что это, безусловно, не соответствует высоким стандартам твоего кулинарного искусства. Я тут на днях вспоминал то блюдо из утки, что ты приготовила в прошлом месяце. С апельсином. Надеюсь, ты побалуешь нас этим еще раз. Но наши запасы тают на глазах. Иногда я мечтаю о рождественском кексе, который у нас называется Stollen. У вас во Франции такой пекут?

Я снова покачала головой.

Мы сидели по обе стороны камина. Все мое тело было точно наэлектризовано, я чувствовала каждую его клеточку, которая становилась прозрачной. Мне казалось, будто комендант видит меня насквозь. Все знает. Все контролирует. Я прислушалась к звучащим в отдалении голосам и еще острее почувствовала неуместность своего пребывания здесь. «Я наедине с комендантом, в немецкой казарме, в комнате с кроватью».

— Вы подумали над тем, что я вам сказала? — неожиданно для себя выпалила я.

— Неужели ты хочешь отказать мне в такой малости, как дружеская беседа? — внимательно посмотрев на меня, спросил он.

— Простите, но я должна знать, — поперхнувшись, ответила я.

— А я уж было подумал о кое-чем другом, — сказал он, отпив из бокала.

— Тогда... — Внезапно мне стало трудно дышать. Наклонившись, я отодвинула в сторону бокал и развязала шаль, в которую была завернута картина. Потом установила ее в самом выгодном ракурсе: на стуле перед камином — так, чтобы на нее падали отблески пламени. — Вы возьмете ее? В обмен на свободу для моего мужа.

Воздух в комнате, казалось, застыл. Комендант не смотрел на картину. Его взгляд — непроницаемый, немигающий — был прикован ко мне.

— Если бы я только могла рассказать вам, что значит для меня эта картина... Если бы вы знали, как она помогала мне не падать духом в самые черные дни... вы бы поняли, насколько тяжело мне с ней расстаться. Но я... не против, если картина окажется у вас, господин комендант.

— Фридрих. Зови меня Фридрих.

— Фридрих, я уже давно догадалась, что вы способны оценить работу моего мужа. Вы цените красоту. Знаете, что художник вкладывает в картину частицу своей души, и понимаете, почему его работа не имеет цены. И хотя необходимость расстаться с ней разбивает мне сердце, я охотно отдаю ее. Отдаю ее вам.

Он по-прежнему продолжал смотреть на меня. Но я не стала отворачиваться. Все должно было решиться именно сейчас, в эти секунды. Я вдруг заметила у него на лице шрам от левого уха до шеи, едва заметный серебристый рубец. Заметила, что зрачки его окаймлены черным, словно специально, чтобы подчеркнуть синеву глаз.

— Софи, картина здесь ни при чем.

Ну вот и все. Моя судьба решена.

Я закрыла глаза, чтобы до конца осознать этот факт.

А комендант тем временем начал говорить о прекрасном. Рассказал об учителе рисования, которого знал в юности, тот открыл ему глаза на искусство, далекое от привычного классицизма. Рассказал, как пытался объяснить этот на первый взгляд более грубый и простой стиль живописи своему отцу, который, к сожалению, ничего не понял.

— Он заявил мне, что картины выглядят «незаконченными», — вздохнул комендант. — По его мнению, любое отклонение от традиционализма уже само по себе является бунтом. И видимо, моя жена придерживается того же мнения.

Но я практически не слушала его. Я подняла бокал и сделала большой глоток.

— Можно еще вина? — попросила я.

Никогда еще я так много не пила. Но мне было наплевать, прилично я себя веду или нет. Комендант продолжал что-то говорить, голос его звучал тихо и монотонно. Он не ждал от меня вопросов или реплик: казалось, он хотел, чтобы я просто слушала. Хотел, чтобы я поняла, что под грубым мундиром бьется живое человеческое сердце. Но я практически не слышала его. И страстно желала только одного: затуманить сознание, выкинуть из головы мысли о своем роковом решении.

— Как, по-твоему, если бы мы встретились при других обстоятельствах, то могли бы стать друзьями? Мне хочется верить, что да.

Я же изо всех сил старалась забыть, что сижу здесь, в этой комнате, наедине с немцем.

— Возможно.

— Софи, потанцуй со мной!

«Господи, он произносит мое имя так, будто имеет на это полное право!»

Тогда я поставила бокал, поднялась со стула и, пока он ставил граммофонную пластинку с медленным вальсом, покорно ждала, бессильно опустив руки. Он подошел ко мне и после секундного колебания обнял меня за талию. А когда пластинка перестала шипеть и заиграла музыка, мы начали танцевать. Ведомая твердой рукой, я медленно кружилась по комнате, легко касаясь пальцами его рубашки из тонкого хлопка. Я танцевала точно во сне, не отдавая себе отчета в том, что он прижимается щекой к моей голове. От него пахло мылом и табаком, я чувствовала, как его брюки трутся о мою юбку. Он не пытался притянуть меня к себе, а держал осторожно, как обращаются с очень хрупким предметом. Я закрыла глаза, погружившись в обморочный туман, и постаралась двигаться в такт музыке, но сама в это время была где-то далеко-далеко. Несколько раз я попыталась представить, что танцую с Эдуардом, но ничего не получилось. У этого человека все было иным: он не так прикасался ко мне, от него пахло иначе, у него было другое телосложение.

— Иногда кажется, — начал он, — что в мире осталось так мало красоты. И так мало радости. Ты считаешь жизнь в твоём городке слишком суровой. Но если бы ты видела то, что нам довелось увидеть далеко за его пределами... Победителей нет. В подобной войне не бывает победителей. — Казалось, он говорит сам с собой. Мои пальцы покоились на его плече, и я чувствовала, как при каждом вздохе под тонкой рубашкой ходят мускулы. А он все продолжал вкрадчиво шептать: — Софи, я хороший человек. Мне очень важно, чтобы ты это поняла. Чтобы мы поняли друг друга.

Неожиданно музыка кончилась. Он неохотно отпустил меня и пошел поправить иглу. Подождал, пока пластинка снова заиграет, но танцевать не стал, а замер перед моим портретом. У меня в груди затеплилась слабая надежда — вдруг он все-таки передумает? — но он, на секунду замывшись, подошел ко мне и нежно вытащил шпильку из моей прически. Я застыла на месте, а он осторожно, одну за другой, стал вынимать шпильки и складывать их на стол, пока

наконец волосы не рассыпались по плечам. Он практически не пил, но взгляд у него был остекленевший, меланхоличный. А я смотрела на него не отворачиваясь, немигающими глазами, совсем как у фарфоровой куклы.

Распустив мне волосы, он поднял руку и пропустил локон сквозь пальцы. Он действовал медленно и осторожно, словно хищник, опасющийся испугнуть жертву. А затем взял меня обеими руками за подбородок и поцеловал. Я запаниковала и никак не смогла заставить себя ответить на его поцелуй. И тогда, закрыв глаза, я позволила ему раздвинуть мне губы. От потрясения тело мое стало будто чужим. Точно в горячечном бреду, я чувствовала, как он, все крепче сжимая мою талию, потихоньку подталкивает меня к кровати. И все это время внутренний голос твердил мне, что таковы условия сделки. Цена за освобождение мужа. Мне оставалось только смириться и ровно дышать. Не открывая глаз, я легла на мягкие одеяла. Я чувствовала, как он стягивает с меня башмаки, чувствовала его осторожные руки, пробирающиеся мне под юбку. Чувствовала горящий взгляд на своем теле.

«Эдуард».

Он осыпал меня поцелуями. Мои губы, грудь, живот. Его дыхание стало тяжелым, словно он погрузился в мир воображения. Он целовал мне колени, ноги в чулках, прижимался губами к обнаженной коже там, где кончались чулки, словно близость тайных уголков моего тела доставляла ему несказанное наслаждение.

— Софи, — шептал он. — О Софи!

И когда его руки оказались на внутренней поверхности моих бедер, какая-то часть моего естества вдруг предательски ожила, затеплилась. И хотя это не имело ничего общего с настоящим огнем, та самая часть моего естества, изголодавшись по мужским рукам, по тяжести мужского тела, не услышала голоса сердца. Пока его губы исследовали мое тело, я непроизвольно двигалась вверх и вниз, а потом неожиданно для себя глухо застонала. Но его яростная ответная реакция, его участвовавшее дыхание тут же подавили мой позыв. Когда юбки мои были уже задраны до талии, блузка расшнурована и я почувствовала его горячие губы на своей обнаженной груди, то внезапно превратилась в камень, совсем как мифический персонаж.

«Губы немца. Руки немца».

Потом он лег на меня, придавив к кровати всей тяжестью своего тела, и дрожащими руками начал нетерпеливо стягивать с меня панталоны. Он раздвинул мои ноги и в изнеможении уткнулся мне в грудь. Что-то твердое уперлось в мое бедро. Раздался звук рвущейся ткани — и вот, судорожно вздохнув, он уже был во мне. Я лежала, закрыв глаза и сжав зубы, чтобы не закричать от отчаяния.

«Во мне. Во мне. Во мне». Я слышала его прерывистое дыхание, ощущала, как едкий мужской пот струится по моей коже, а тяжелая пряжка ремня врежется в ногу. Мое тело невольно двигалось, понукаемое его настойчивостью. «О боже! Что же я наделала! Во мне. Во мне. Во мне». Я непроизвольно сжимала края одеяла, мысли путались. И опять какая-то часть моего естества теперь отторгала их успокоительное тепло больше, чем что бы то ни было. Меня украли у другого. Украли так же, как они крадут все остальное. Оккупировали. Меня оккупировали. Я исчезла. Я оказалась в Париже, на улице Суффло. Светило солнце, парижанки надели свои лучшие наряды, а в тени деревьев важно расхаживали голуби. Мы шли с мужем под руку. Я хотела сказать ему что-то важное, но вместо слов у меня вырвался всхлип. Картина застыла и исчезла. И тогда я бессознательно поняла, что все прекратилось. Сперва замедлилось, а потом прекратилось. Прекратилось. Эта штука. Этой штуки больше не было во мне. Она обмякла и лежала, словно извиняясь, у меня между ног. Я открыла глаза и встретила его взгляд.

Лицо коменданта, находящееся совсем рядом с моим, было багровым, черты лица исказились, словно от сильной боли. Я боялась дышать, поскольку поняла: что-то явно не так. И

я отчаянно искала выход. Но он упорно не сводил с меня глаз, он знал, что я знаю. Одним мощным рывком он наконец перекатился на бок.

— Ты... — выдохнул он и замолчал.

— Что? — Меня смущали моя голая грудь и обмотавшаяся вокруг талии юбка.

— У тебя такое лицо... такое... такое...

Он резко поднялся, и я отвернулась, когда он начал застегивать брюки. Прижимая руку к голове, он смотрел куда-то в сторону.

— Простите, — начала я, не понимая, за что извиняться. — Что я такого сделала?

— Ты... ты... Я не этого хотел! — ткнул он в меня пальцем. — Твое лицо...

— Не понимаю! — разозлилась я, оскорбленная несправедливостью его претензий. Имел ли он хоть малейшее представление, что *мне* пришлось пережить? Догадывался ли, чего *мне* стоило позволить ему дотронуться до себя? — Я сделала то, что вы пожелали.

— Но я хотел, чтобы ты была другой! Я хотел... — сказал он, разочарованно махнув рукой. — Я хотел *это*. Хотел девушку на портрете.

Мы молча уставились на портрет. Девушка смотрела прямо на нас, волосы разметались по плечам, выражение лица вызывающее, торжествующее и призывное. Лицо сексуально удовлетворенной женщины. Мое лицо.

Я одернула юбку и запахнула блузку. Когда я начала говорить, голос мой дрожал от волнения:

— Господин комендант... я отдала вам все... что могла отдать.

Его глаза потемнели, словно замерзшее море. Нижняя челюсть дергалась в нервном тике.

— Убирайся! — спокойно сказал он.

— Простите, — запинаясь, начала я, когда наконец осознала, что правильно его поняла. — Если я... могу...

— УБИРАЙСЯ! — прорычал он, грубо схватив меня за плечо, и развернул в сторону двери.

— Но мои туфли... мои шали!

— ПОШЛА ВОН! БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТА!

Я едва успела схватить картину, и он вышвырнул меня за дверь; я приземлилась на колени, так и не поняв, что произошло. За дверью раздался жуткий треск, потом еще и еще, затем звук разбитого стекла. Я в ужасе оглянулась, после чего опрометью босиком сбежала по лестнице и кинулась напрямик через двор.

Домой я добиралась почти час. Пройдя четверть мили, я уже не чувствовала под собой ног. К тому времени, как я попала в город, они настолько заледенели, что я даже не заметила, что поранила их на разбитой проселочной дороге. Зажав под мышкой картину, я ковыляла в крошечной тьме в тонкой блузке, не способной защитить от холода, и абсолютно ничего не чувствовала. И пока я шла, первоначальный шок постепенно сменялся осознанием того, что же я наделала и что в результате потеряла. Эта мысль сверлила мой мозг. Я брела по пустынным улицам родного города, нимало не беспокоясь, что меня кто-то увидит.

Я пришла в «Красный петух» около часу ночи. Я слышала, как часы пробили один раз, и почему-то подумала о том, что, возможно, для всех было бы лучше, если бы моя авантюра провалилась. И когда я стояла там, едва заметная тень промелькнула за тюлевой занавеской и кто-то отодвинул засовы на входной двери. На пороге появилась Элен в ночном чепце, в накинутой на плечи белой шали. Она явно меня ждала.

Я посмотрела на нее, свою сестру, и сразу поняла, что она была абсолютно права. Поняла, что мой поступок поставил под удар всю семью. Мне хотелось сказать, что я сожалею. Сказать, что поняла, как жестоко ошибалась и что моя любовь к Эдуарду, желание быть вместе с ним

помутили мой разум, сделали меня слепой и глухой. Но я была не в силах говорить. И, словно онемев, стояла в дверях.

Когда она увидела мои босые ноги, у нее от ужаса расширились глаза. Она затащила меня в дом, закрыв за собой дверь. Закутала меня в свою шаль, убрала упавшие на лицо волосы. Ни слова не говоря, отвела меня на кухню и зажгла плиту. Согрела стакан молока и, пока я держала его в руках (пить я была просто не в состоянии), сняла с крючка жестяную ванну, поставила перед горячей плитой и стала лить туда кастрюлю за кастрюлей воду, которую нагрела на плите. Когда ванна наполнилась до краев, она осторожно сняла с меня шаль. Расшнуровала мою блузку, затем стянула с меня, словно с ребенка, через голову сорочку. Расстегнула сзади юбку, ослабила корсет, сняла с меня нижнее белье, положив его на кухонный стол, так что я осталась совершенно голой. А когда я начала дрожать от холода, взяла меня за руку и помогла залезть в ванну.

Вода обжигала, но я этого почти не чувствовала. Я погрузилась в нее по плечи, стараясь не обращать внимания на острую боль в израненных ступнях. А потом моя сестра, засучив рукава, взяла мягкую мочалку и принялась осторожно намывать меня с головы до ног. Она мыла меня в полной тишине, нежными, ласковыми движениями, между пальцами, под мышками, и старалась не пропустить ни одного кусочка тела. Оттерла мои в кровь разбитые ступни, осторожно достав мелкие камушки, застрявшие в порезах. Вымыла мне голову, тщательно прополоскав до чистой воды, затем расчесала, прядь за прядью. И той же мочалкой вытерла тихие слезы, катившиеся по моим щекам. За все это время она не проронила ни слова. Наконец, когда вода стала постепенно остывать, а меня снова начало трясти от холода и изнеможения, она достала большое полотенце и завернула меня в него. Затем натянула на меня ночную рубашку и проводила наверх, в постель.

— Боже мой, Софи! — уже проваливаясь в сон, услышала я ее шепот. И снова отчетливо поняла, какую беду накликала на нас всех. — Что же ты наделала?

Шли дни. Мы с Элен, как две актрисы, исполняли роль хозяек отеля, занимаясь повседневными делами. Со стороны мы, наверное, выглядели как обычно, но обе чувствовали себя крайне неловко, и неловкость эта усиливалась с каждым днем. Никто из нас не обмолвился ни словом о том, что произошло со мной той ночью. Я плохо спала. Не больше двух часов в день. Плохо ела, так как кусок не лез в горло. Внутри меня засел неизбывный страх, постоянно сосало под ложечкой, и я ничего не могла поделать, хотя знала, что угасаю прямо на глазах.

Я снова и снова невольно возвращалась к событиям той роковой ночи, ругая себя за наивность, тупость и гордыню. Ибо именно гордыня стала виной всего того, что случилось. Если бы я притворилась, что польщена вниманием коменданта, и попробовала снова стать девушкой с портрета, то, возможно, завоевала бы его сердце. Возможно, спасла бы своего мужа. Неужели так трудно было это сделать? Но я почему-то вбила себе в голову, что, став вещью, сосудом для утоления сексуальной жажды, тем самым умалю сам факт измены. Я пыталась сохранить верность нам обоим. Словно для Эдуарда это что-то меняло.

Каждый день я с замиранием сердца смотрела, как офицеры собираются на ужин, и всякий раз без коменданта. Меня страшила наша предстоящая встреча, но еще больше страшило его отсутствие и то, чем оно могло обернуться для меня. Однажды Элен все же осмелилась спросить у офицера с седыми усами о коменданте, но тот лишь неопределенно махнул рукой и ответил: «Слишком занят». Сестра поймала мой взгляд, и я поняла, что она тревожится не меньше моего.

Я внимательно наблюдала за Элен, и меня все больше угнетало осознание собственной вины. Ведь я понимала, что всякий раз, как сестра смотрит на детей, она гадает, какое будущее их ожидает. Как-то я подслушала ее разговор с мэром. Элен просила его взять к себе детей, если с ней что-нибудь случится. И мэр явно удивился. Он недоумевал, откуда у нее подобные мысли. Я видела новые морщинки у нее вокруг глаз, возле рта и знала, что это моих рук дело.

Мальши, казалось, не замечали наших тайных страхов. Жан и Мими, как всегда, беспечно играли, иногда, правда, жалуясь на холод или друг на друга. Из-за постоянно мучившего их голода они сделались очень капризными. Теперь я не брала ни крошки из немецких продуктов, но запретить это детям было невозможно. Орельен снова замкнулся, погружившись в собственные переживания. Он молча ел, всем своим видом демонстрируя, что не желает с нами разговаривать. Не знаю, приходилось ли ему опять драться в школе, сейчас я была занята другим, и мне было не до того. Хотя Эдит явно что-то знала. Она напоминала мне ивовый прутик, с помощью которого ищут воду под землей. Девочка не отходила от меня ни на шаг. По ночам она спала, крепко держась за подол моей ночной рубашки, а когда я просыпалась, то сразу ловила на себе взгляд ее больших темных глаз. Я смотрела на себя в зеркало и не узнавала, на меня смотрела незнакомая женщина с изможденным, осунувшимся лицом.

К нам каким-то образом просочились новости о том, что немцы взяли два города на северо-востоке страны. Продуктовые нормы урезали еще больше. И каждый день, казалось, длился дольше прошедшего. Я подавала на стол, убирала, стряпала, но от усталости мысли в голове путались. Возможно, комендант здесь больше не появится. Возможно, ему стыдно за ту ночь и он не хочет меня больше видеть. Возможно, его тоже терзает чувство вины. Возможно, он умер. Возможно, дверь откроется — и войдет Эдуард. Возможно, война кончится уже завтра. Но в этом месте мне всегда приходилось останавливаться, чтобы сесть и перевести дух.

— Ступай наверх и постарайся хоть немного поспать, — шептала Элен.

Интересно, ненавидела ли она меня? Окажись я на ее месте, то точно возненавидела бы.

Я уже дважды перечитывала старые письма, полученные за несколько месяцев до того, как наш город стал немецкой территорией. Эдуард рассказывал о новых друзьях, о скудном пайке, о боевом настрое, и для меня читать его письма было все равно что разговаривать с призраком. Муж писал о том, что любит меня, неустанно думает обо мне и очень скоро вернется.

Я делаю это ради Франции, но из эгоистических соображений — отчасти и для себя тоже, чтобы я мог вернуться, проехав по свободной Франции, к своей жене. Ты для меня воплощение всего самого лучшего. Это уютный дом, моя мастерская, чашка кофе в баре «Лион», наши сестры в постели, дольки апельсина, которые ты кладешь мне в рот... Казалось бы, такие обычные вещи, но теперь они сверкают и переливаются в моем воображении, как драгоценные камни. Ты даже не представляешь, как я мечтаю о том, чтобы принести тебе чашечку кофе! Как хочу снова услышать твой смех и знать, что именно я сделал тебя счастливой! Я перебираю свои воспоминания ради утешения, а еще ради того, чтобы напомнить себе, зачем я здесь. Береги себя для меня. И знай, что я всегда остаюсь твоим верным мужем.

Перечитав короткие строчки, написанные его рукой, я снова задумалась о том, доведется ли мне еще хоть раз услышать эти слова.

Я была в погребке, передвигала бочки из-под пива, когда услышала чьи-то шаги во дворе. В дверях, загородив свет, возникла фигура Элен.

— Пришел мэр. Говорит, что за тобой идут немцы, — сказала она, и у меня оборвалось сердце. Элен подбежала к стене, отделяющей наш подвал от соседского, и принялась лихорадочно вытаскивать кирпичи. — Давай, если поторопишься, то успеешь выбраться через соседнюю дверь. — Она продолжала отчаянно работать, царапая ногтями камни. Пробив наконец брешь размером с небольшой бочонок, она повернулась ко мне. Посмотрела на свои нагруженные руки, сняла обручальное кольцо, протянула его мне, затем сорвала с плеч шаль: — Вот, возьми. А теперь беги. Я их задержу. Не теряй времени, они уже переходят через площадь.

— Я не могу, — посмотрев на лежащее на ладони кольцо, ответила я.

— Почему?

— А что, если он так выполняет свои обязательства по сделке?

— Господин комендант? Какая еще сделка?! Каким образом, боже ты мой, он может выполнить свои обязательства? Софи, они уже идут за тобой! Идут, чтобы наказать, отправить в лагерь. Ты нанесла ему смертельное оскорбление! И он собираются отослать тебя с глаз долой!

— Элен, подумай хорошенько. Если бы он хотел меня наказать, то пристрелил бы на месте или провел бы под конвоем по улицам города. Сделал бы со мной то же, что и с Лилиан Бетюн.

— Чтобы, не дай бог, выплыло наружу, за что он тебе мстит? Ты что, совсем рехнулась?

— Нет. — У меня начало потихоньку проясняться в голове. — У него было достаточно времени, чтобы успокоиться. Он посылает меня к Эдуарду. Я знаю.

Элен подтолкнула меня к дыре в стене:

— Софи, ты не понимаешь, что говоришь. Это все твоя бессонница, страхи, навязчивые идеи... Ты скоро опомнишься. Но сейчас ты должна идти. Мэр сказал, чтобы ты шла к мадам Полин и оставалась на ночь в подполе амбара. А я постараюсь с тобой связаться.

— Нет, нет и нет, — отпихнула я сестру. — Ну как ты не можешь понять? Комендант просто не видит возможности вернуть Эдуарда, не раскрыв тайну нашего соглашения. Но если он сейчас отошлет меня подальше, то потом сможет освободить нас обоих.

— Софи! Хватит болтать!

— Я выполнила свою часть сделки.

— БЕГИ!

— Нет. — Мы стояли в темноте и мерили друг друга взглядами. — Я никуда не пойду. — Взяв ее за руку, я вложила в ладонь обручальное кольцо и тихо повторила: — Я никуда не пойду.

— Но ты не можешь позволить им взять тебя, — сказала Элен упавшим голосом. — Это безумие. Они собираются отправить тебя в лагерь! Ты меня слышишь? В лагерь! В тот самый лагерь, в котором, по твоим словам, сейчас погибает Эдуард!

Но я почти не слышала ее. Я выпрямилась и сделала глубокий вдох. Странно, но сейчас я почувствовала невероятное облегчение. Если они пришли только за мной, значит, Элен ничего не угрожает, и детям тоже.

— Я уверена, что была права насчет него. Наверняка он подумал на свежую голову и понял, что я пыталась, несмотря ни на что, вести себя честно. Он благородный человек. Он сказал, что мы друзья.

— Софи, ну пожалуйста, не делай этого, — зарыдала сестра. — Ты не в своем уме. У тебя еще есть время... — Она попыталась преградить мне дорогу, но я оттолкнула ее и стала подниматься по лестнице.

Когда я вернулась в бар, они уже ждали меня у входа. Двое в военной форме. В баре было непривычно тихо, и двадцать пар глаз смотрели только на меня. Старик Рене сидел, положив дрожащую руку на стол, мадам Дюран и мадам Лувье о чем-то перешептывались. Мэр, отчаянно жестикулируя, пытался убедить одного из офицеров изменить решение, поскольку здесь явно какая-то ошибка.

— Это приказ коменданта, — ответил офицер.

— Но она же ничего не сделала! Это нелепо!

— Мужайся, Софи! — выкрикнул кто-то.

Я была точно во сне. Время замедлилось, голоса замерли.

Один из офицеров пропустил меня вперед, и я вышла на улицу. Площадь была залита бледным солнечным светом. Там уже собрались зеваки, жаждущие узнать, что происходит в баре. Я на секунду остановилась и, щурясь от солнца, огляделась. И вдруг все кругом словно выкристаллизовалось, расцвело яркими красками, чтобы навсегда отпечататься в памяти. У почтового отделения стоял священник. Увидев присланный за мной грузовик, он осенил себя крестным знаменем. Я поняла, что именно в таких возили в казармы женщин. Но та ночь, казалось, была сто лет тому назад.

— Мы не позволим! — кричал мэр. — Я подам официальную жалобу! Это уже переходит все границы! Я не разрешу увезти девушку, пока не получу возможность переговорить с комендантом!

— Это его приказ.

Небольшая группа стариков начала окружать офицеров, будто выставляя заслон.

— Вы не можете арестовать просто так невинную женщину! — воскликнула мадам Лувье. — Вы заняли ее дом, превратили ее саму в прислугу, а теперь хотите посадить в заключение! За что?

— Софи, возьми хотя бы свои вещи, — тронула меня за плечо сестра, протянув холщовую сумку, набитую собранным на скорую руку барахлом. — Береги себя. Ты меня слышишь? Береги себя и возвращайся назад.

Толпа протестующе зароптала. Она волновалась и рассерженно гудела, людей все прибавлялось. Я посмотрела по сторонам и увидела Орельена, стоящего на тротуаре рядом с месье Сюэлем. Лицо брата покраснело от ярости. Мне очень не хотелось впутывать его в это дело. Если он сейчас пойдет против немцев, это будет катастрофой. Ведь у Элен должен быть

хоть кто-то, на кого она сможет опереться в ближайшие несколько месяцев. Я пробилась к Орельену.

— Орельен, теперь ты глава семьи. И пока меня нет, должен обо всех заботиться, — сказала я, но он не дал мне договорить.

— Это ты во всем виновата! Я знаю, что ты сделала! Я знаю, что ты была с тем немцем! — выпалил он, и толпа замерла. Лицо брата исказилось от ярости и боли. — Я слышал, о чем ты говорила с Элен. Видел, как ты вернулась той ночью!

Стоящие вокруг люди начали многозначительно переглядываться: «Неужели Орельен Бессетт действительно сказал то, о чем мы думаем?»

— Это не так... — начала я, но брат круто развернулся и исчез в баре.

Толпа притихла. Слова Орельена шепотом передавали тем, кто не расслышал. Я увидела потрясенные лица и полные ужаса глаза Элен. Теперь я была Лилиан Бетюн. Но без смягчающих обстоятельств, таких как участие в Соппротивлении. Атмосфера вокруг начала сгущаться. Я почувствовала на плече руку Элен.

— Тебе надо идти, — прошептала она дрожащим голосом. — Софи, тебе надо идти... — Она хотела обнять меня, но толпа оттерла ее.

Немец схватил меня за руку и потащил в сторону грузовика. Из толпы что-то выкрикнули, но я не поняла, что это было. То ли крики протеста, то ли оскорбления в мой адрес. Затем я услышала: «Шлюха! Шлюха!» — и вздрогнула точно от боли. «Он отсылает меня к Эдуарду, — успокаивала я себя, чувствуя, что у меня сейчас разорвется сердце. — Я знаю, что это так. Я должна верить».

И вдруг тишину разорвал ее вопль.

— Софи! Софи! — раздался надрывный детский крик. — Софи! Софи! — Эдит пробилась сквозь толпу, кинулась ко мне, уцепилась за ногу. — Не уезжай! Ты же обещала, что не покинешь меня!

Она впервые повысила голос с тех пор, как попала к нам в дом. Я проглотила ком в горле, глаза наполнились слезами. Наклонившись, я крепко обняла ее. «Как я могу ее покинуть?» Мысли путались, чувства притупились. Я ощущала только тепло этих маленьких ручек. А потом заметила, как немцы смотрят на нее. В их глазах сквозило неприкрытое любопытство.

— Эдит, ты должна остаться с Элен и быть храброй девочкой. Мы с твоей мамой обязательно приедем за тобой. Обещаю, — сказала я, погладив ее по голове, но она не поверила, глаза ее расширились от ужаса. Тогда я, стараясь говорить как можно более убедительно, добавила: — Ничего страшного со мной не случится. Обещаю. Я скоро увижу своего мужа.

— Нет-нет, — твердила она, еще сильнее цепляясь за меня. — Нет. Пожалуйста, не покидай меня!

Все. Мое сердце было разбито. Я молча смотрела на сестру умоляющими глазами: «Уведи ее отсюда. Ей не надо этого видеть». Элен с трудом оторвала от меня Эдит. Теперь уже и сестра плакала навзрыд.

— Пожалуйста, не забирайте мою сестру, — отгаскивая Эдит, просила она немецких солдат. — Она не в своем уме. Пожалуйста, не забирайте мою сестру! Она этого не заслужила.

Мэр обнял ее за плечи, но выражение лица у него было смущенное. Орельен явно выбил у него почву из-под ног.

— Эдит, со мной все будет хорошо. Мужайся! — крикнула я, пытаюсь перекрыть гул толпы. Затем кто-то плюнул в меня, и я увидела на рукаве отвратительный мокрый след. Толпа принялась улюлюкать. Мне стало страшно.

— Элен? — позвала я. — Элен?

Но солдаты уже грубо запихивали меня в кузов. Я оказалась в темноте, на деревянной

скамье. Один из солдат сел напротив, поставив перед собой ружье. Брезентовое полотнище опустилось, и мотор взревел. Все замерло, криков толпы не было слышно, словно это механическое действие остановило тех, кто жаждал моей крови. Я мельком подумала, не выброситься ли мне через дыру в брезенте, но потом снова услышала: «Шлюха!» — и жалобный вой Эдит, затем раздался звук удара камня о борт грузовика, потом отрывистая немецкая речь. Я вздрогнула от нового удара камнем, уже с моей стороны. Немец смотрел на меня в упор и глупо ухмылялся. И только тогда я наконец поняла, какую роковую ошибку совершила.

Я сидела, положив руки на сумку, и меня била дрожь. Когда грузовик тронулся, я даже не попыталась отогнуть брезент, чтобы выглянуть наружу. Мне не хотелось, чтобы весь город глазел на меня. Не хотелось выслушивать их приговор. Я уронила голову на руки и прошептала: «Эдуард, Эдуард, Эдуард», а еще: «Прости меня». Хотя и сама точно не знала, у кого просила прощения.

Только, когда мы выехали на окраину, я осмелилась поднять глаза. И через щель между хлопающим на ветру полотнищем и кузовом разглядела красную вывеску нашего отеля, блестящую в лучах зимнего солнца, и ярко-голубое платье Эдит, стоявшей в стороне. А потом голубое пятно стало понемножку уменьшаться, пока — как и весь город — не исчезло из виду.

Лондон, 2006 г.

С сумкой под мышкой, придерживая плечом прижатый к уху мобильник, Лив бежит по набережной. Затянутые тяжелыми черными тучами небеса над сумрачным Лондоном разверзлись, и на центр города обрушивается почти тропический ливень. Намертво встает транспорт, беспомощно пыхтят выхлопные трубы такси с запотевшими от дыхания пассажиров окнами.

— Понимаю, — уже в пятнадцатый раз говорит она. Жакет потемнел от дождя, а мокрые волосы прилипли ко лбу. — Я все понимаю... Да, я знаю условия договора. Я просто жду поступлений, которые... — Она ныряет в подворотню, достает из сумки туфли на высоком каблуке, надевает и беспомощно смотрит на промокшие балетки, понимая, что их некуда засунуть. — Да-да, я... Нет, обстоятельства не изменились. По крайней мере, не в последнее время.

С мокрыми балетками в руках она выскакивает из подворотни, переходит через дорогу и направляется в сторону Олдвича. Проезжающая мимо машина обдает ее фонтаном брызг, она останавливается и недоумевающе смотрит ей вслед.

— Ты что, издеваешься надо мной! — возмущенно кричит она водителю, а затем снова в трубку: — Нет-нет, это я не вам, мистер... Дин... Я вас не виню, Дин. Да. Конечно, я понимаю, что вы просто делаете свою работу. Послушайте, я заплачу к понедельнику. Идет? Я ведь никогда не задерживала платежи. Договорились, сразу же.

Мимо проезжает очередное такси, и она проворно ныряет обратно в подворотню.

— Да, понимаю, Дин... Знаю, что вам это весьма непросто. Послушайте, обещаю, что в понедельник вы все получите. Да, определенно. И простите, что накричала... Дин, надеюсь, вы тоже найдете себе другую работу.

Она захлопывает мобильник, кладет в сумочку и начинает разглядывать щит с рекламой ресторана. Наклоняется, чтобы посмотреть на свое отражение в зеркале припаркованной машины, и расстраивается. Но здесь уж ничего не поделаешь. Она и так уже на сорок минут опаздывает.

Лив убирает с лица мокрые волосы и тоскливо оглядывается на прохожих на улице. Затем набирает в грудь побольше воздуха, распаивает дверь ресторана и входит внутрь.

— А вот и она! — Кристен Солберг встает со стула в центре длинного стола и раскрывает приветственные объятия, а потом шумно целует воздух в нескольких дюймах от лица Лив. — Боже мой, да ты насквозь промокла! — Естественно, ее волосы лежали безукоризненной каштановой волной.

— Да, решила немного пройтись. Признаюсь, не самое разумное решение.

— Внимание, это Лив Халстон. Она делает замечательные вещи в рамках благотворительности. И живет в самом потрясающем доме во всем Лондоне, — заговорщицки улыбаясь, Кристен понижает голос: — Я буду считать себя неудачницей, если к Рождеству она не подцепит хорошего парня.

Раздается приветственный гул голосов. Лив смущенно ежится. Вымученно улыбается, стараясь не встречаться глазами с сидящими рядом людьми. Свен смотрит на нее в упор, словно заранее извиняясь за то, что сейчас произойдет.

— Я оставила для тебя место, — говорит Кристен. — Рядом с Роджером. Он симпатяга. —

Она многозначительно смотрит на Лив и усаживает ее на свободный стул. — Тебе он понравится.

Сюда все пришли парами. Конечно парами. Все восемь человек. Ну а еще Роджер. Женщины за столом прячут за вежливыми улыбками любопытные взгляды, стараясь определить, представляет ли она, как единственная одинокая женщина, потенциальную угрозу. Она уже успела привыкнуть к подобным взглядам, хотя они и начинают здорово утомлять. Она чувствует теплое, отдающее чесноком дыхание Роджера, который похлопывает по сиденью соседнего стула.

— Родж, — протягивает он руку. — Вы вся мокрая. — Голос его звучит слегка игриво, совсем как у бывшего ученика частной школы, не способного разговаривать с женщиной без сексуального подтекста.

Она снимает жакет и вежливо говорит:

— Да-да, конечно.

Они обмениваются вялыми улыбками. У него редкие соломенные волосы и румяное лицо человека, проводящего много времени за городом. Он наливает ей бокал вина.

— Итак, *Лив*, чем занимаешься? — произносит он ее имя с таким видом, будто она сама его выдумала, а он над ней подшучивает.

— В основном работаю копирайтером. Пишу тексты.

— Значит, ты копирайтер, — говорит он и ненадолго умолкает. — А дети есть?

— Нет. А у вас?

— Двое. Мальчики. Оба в школе-интернате. Откровенно говоря, там им самое место. Так... детей, выходит, нет. И нет подходящего мужчины. А сколько тебе лет? Тридцать с небольшим?

Она нервно сглатывает, пытаясь не обращать внимания на его бестактность.

— Тридцать.

— И вы не хотите болтаться вот так. Или вы одна из этих... — изобразил он пальцами кавычки, — деловых женщин?

— Да, — улыбается она. — Я удалила яичники, когда последний раз обновляла резюме. Так, для страховки.

Он таращится на нее, а потом заходится лающим смехом:

— Уф! Смешно. Да. Женщина с чувством юмора. Надо же... яичники. Ха-ха! — Он прикладывает к бокалу с вином и продолжает: — Жена ушла от меня, когда ей было тридцать девять. Самый опасный возраст для девочек. — Он залпом выпивает вино и тянется за бутылкой, чтобы налить еще. — Хотя для нее не такой уж и опасный, если учесть, что она смылась с пуэрториканцем по имени Виктор, заграбастав заодно домик во Франции и половину моей чертовой пенсии. Женщины... — поворачивается он к Лив. — Жить с ними невозможно, но и пристрелить нельзя. — Он поднимает руки и выпускает воображаемую очередь из автомата в потолок ресторана.

Похоже, вечер обещает быть долгим. Лив продолжает улыбаться, наливает себе второй бокал вина и погружается в изучение меню, мысленно обещая себе, что в следующий раз ни за что не поддастся на уговоры Кристен. Она скорее откусит себе руку, чем согласится на еще один такой обед.

Вечер, кажется, никогда не кончится, парочки перебивают косточки людям, которых она вообще не знает, блюда подают мучительно долго. Кристен отсылает свою тарелку с горячим на кухню, чтобы все переделали, следуя ее четким указаниям. Она устало вздыхает, словно повара, неспособные *перевернуть* шпинат нужным образом, заслуживают, как в школе, дополнительного задания. Лив оказывается зажатой между повернувшимся к ней спиной мужчиной по имени

Мартин, которого монополизировала подруга его жены, и Роджером.

— Сука, — в какой-то момент говорит тот.

— Простите?

— Сперва ее бесило, что у меня торчат волосы из ноздрей. Затем ногти на ногах. Всегда находилась причина отказать мне в старом добром... В общем, вы понимаете. — Он складывает большой и указательный пальцы левой руки в форме буквы «О» и тычет туда указательным пальцем правой. — Или эта вечная головная боль. Небось, со стариной Виктором голова не болела? Ну нет. Клянусь, ей плевать, какой длины его проклятые ногти на ногах! — Он снова залпом осушает бокал. — Клянусь, они этим занимаются, как чертовы кролики.

Баранина медленно, но верно остывает у нее на тарелке. Она аккуратно кладет нож и вилку.

— А с вами что приключилось, а? — спрашивает он, и она поднимает на него глаза, надеясь в душе, что он вовсе не то имеет в виду. Но нет, именно то. — Кристен сказала, что вы были замужем. За деловым партнером Свена.

— Да, была.

— И что, он вас бросил?

Она опять с усилием сглатывает комок в горле и, стараясь придать лицу безразличное выражение, говорит:

— В некотором смысле да.

— А я и не знал, — качает головой Роджер. — И что только творится с людьми? Почему им всегда всего мало? — Он берет зубочистку и начинает остервенело копаться в задних зубах, прерываясь лишь затем, чтобы с мрачным удовлетворением рассмотреть то, что ему удалось выковырять.

Лив обводит глазами стол и ловит на себе взгляд Кристен. Та вопросительно смотрит на Лив и поднимает вверх оба больших пальца. «Большой куш», — артикулирует она.

— Прошу прощения, — отодвигая стул, говорит Лив. — Мне надо в дамскую комнату.

Лив решает отсидеться в тиши туалетной кабинки до тех пор, пока ее оттуда не попросят. В дамскую комнату то и дело входят женщины, чтобы почистить перышки. Лив проверяет несуществующую электронную почту и играет на мобильнике в «Скрабл». Наконец, набрав нужное количество очков, она встает, спускает воду в унитазе, моет руки, с извращенным удовольствием разглядывая свое отражение в зеркале. Под правым глазом слегка размазалась тушь, и она, сама себе удивляясь, приводит макияж в порядок. Хотя, в общем, какая разница, если все равно придется сидеть рядом с Роджером.

Она смотрит на часы. Интересно, когда уже будет удобно, сославшись на дела завтра утром, улизнуть домой? Если повезет, к тому моменту, когда она вернется, Роджер успеет надраться так, что вообще забудет о ее существовании.

Лив бросает прощальный взгляд в зеркало, убирает волосы с лица и хмурится, глядя на свое отражение. «К чему все это?» И наконец открывает дверь.

— Лив, Лив! Иди сюда! Мне надо тебе что-то сказать!

В коридоре, отчаянно жестикулируя, стоит Роджер. Лицо его еще краснее, чем было, волосы с одной стороны стоят дыбом. «Есть в нем что-то от страуса», — думает Лив. Представив, что ей придется пробыть в его обществе еще полчаса, она чувствует легкий приступ паники. Она уже успела привыкнуть к подобным приступам, во время которых ее охватывает непреодолимое, чисто физическое желание оказаться на темной улице в полном одиночестве, чтобы быть такой, какая она есть, и никого из себя не изображать.

Она садится на краешек стула, словно готова в любую минуту соскочить, и выпивает еще полбокала вина.

— Мне и правда надо идти, — говорит она, но все сидящие за столом громко протестуют, явно воспринимая ее слова как личное оскорбление.

И она остается. Ее улыбка напоминает застывший в гримасе ужаса рот. Она ловит себя на том, что наблюдает за парами: с каждым следующим бокалом вина домашние противоречия вылезают все больше. Вот та, например, терпеть не может своего мужа. После каждого второго его замечания она многозначительно закатывает глаза. А этому мужчине все как один, включая жену, явно осточертели. Он то и дело проверяет сообщения на смартфоне, который прячет под столом. Лив смотрит на часы и тупо кивает в такт словам Роджера, который уныло бубнит о превратностях супружеской жизни. Она мысленно играет в игру «Бинго на званом обеде». Она подсчитывает плату за школьное обучение и цены на недвижимость. Еще немножко — и она получит фул-хаус, но тут кто-то хлопает ее по плечу.

— Простите, пожалуйста. Вам звонят.

Лив оборачивается. У официантки очень бледная кожа и длинные темные волосы, обрамляющие лицо, точно наполовину раздвинутые шторы. Она машет Лив блокнотом, что держит в руках. И Лив чувствует в этом ее жесте легкий налет фамильярности.

— Что?

— Срочный телефонный звонок. Думаю, кто-то из членов семьи.

Лив в недоумении: «Какой еще член семьи?» Но это свет в конце туннеля.

— О, — говорит она. — Очень хорошо.

— Может быть, вы хотите, чтобы я показала, где телефон?

— Срочный телефонный звонок, — невнятно бормочет Лив, обращаясь к Кристен, и показывает на официантку, которая в свою очередь тычет пальцем в сторону кухни.

Лицо Кристен тотчас же принимает преувеличенно озабоченное выражение. Она наклоняется и шепчет что-то на ухо Роджеру. Тот оглядывается и протягивает руку, точно хочет задержать Лив. Но Лив уже и след простыл. Она идет за невысокой темноволосой девушкой по полупустому обеденному залу, мимо бара и вниз по обшитому деревянными панелями коридору.

После полумрака обеденного зала кухня слепит глаза огнями, отражающимися от бесчисленных блестящих стальных поверхностей. Двое мужчин в белом, не обращая на Лив никакого внимания, деловито передают грязные кастрюли в посудомоечную зону. В углу что-то жарится на шипящей и плюющей жиром сковородке; кто-то стрекочет по-испански. Девушка показывает на двустворчатую дверь, и внезапно Лив оказывается в небольшом холле, служащем раздевалкой.

— А где телефон? — спрашивает Лив.

Девушка достает из кармана пачку сигарет и закуривает.

— Какой телефон? — безучастно спрашивает она.

— Но вы ведь сами сказали, что мне звонят.

— А-а-а... Это. Нет тут никакого телефона. Только у тебя был такой вид, будто ты срочно нуждаешься в помощи. — Она затягивается, выпускает кольцо дыма и после минутного колебания говорит: — Ты меня не узнаешь? Мо. Мо Стюарт. — Лив недоуменно хмурится, и девушка тяжело вздыхает. — Мы были на одном курсе в универе. Ренессанс и итальянская живопись. И рисование с натуры.

Лив мучительно прикидывает, в каком году это было. И неожиданно вспоминает: маленькая девочка-гот, тихо сидящая в углу. Нарочито бесстрастное выражение лица, кроваво-красные блестящие ногти.

— Здорово! Ты ничуть не изменилась. — Что чистая правда. Хотя Лив почему-то кажется, что вряд ли это можно считать комплиментом.

— У тебя такое... — начинает Мо, внимательно изучая лицо Лив. — Ты выглядишь слегка...

чокнутой, что ли.

— Чокнутой?

— Ну, может, не чокнутой, но другой. Усталой. Я, конечно, понимаю, что сидеть рядом с таким милым, но унылым Тимом^[26] — тоска зеленая. А что это за мероприятие? Вечер встречи одиночек?

— По крайней мере, для меня.

— Господи боже мой. Вот, — протягивает она Лив сигарету, — подними себе настроение, а я пока схожу сообщу им, что тебе срочно пришлось уйти. Двоюродную бабушку разбил паралич. Или что-нибудь покруче? Имеются пожелания относительно серьезности ее заболевания? — говорит она, вручая Лив зажигалку.

— Я не курю.

— А это и не для тебя. Так я смогу выкурить две подряд, чтобы Дино не заметил. Тебе надо платить за себя по счету?

— Ой, хороший вопрос. — Лив роется в сумочке в поисках кошелька. В предвкушении свободы она вдруг ощущает удивительную легкость.

Мо берет банкноты, тщательно пересчитывает.

— Мои чаевые? — спрашивает она. И похоже, даже не думает шутить.

Лив удивленно моргает, отсчитывает лишнюю пятифунтовую бумажку и вручает Мо.

— Спасибо, — кивает Мо, засовывая деньги в карман передника. — У меня трагическое лицо? — Она снова принимает слегка безразличный вид, словно признавая, что для маски скорби у нее нет подходящих мимических мышц, и исчезает в коридоре.

Лив в растерянности: то ли уйти, то ли подождать девушку здесь. Она оглядывает раздевалку, где на вешалке висят дешевые пальто, а прямо под ними стоит грязное ведро со шваброй, и наконец решается сесть на деревянный стул, продолжая зачем-то держать в руке сигарету. Услышав шаги, она вскакивает, но это всего лишь мужчина средиземноморского типа, его лысый череп блестит в неярком свете лампы. Хозяин, что ли? В руках у него стакан с янтарной жидкостью.

— Пожалуйста, — говорит он, протягивая ей стакан, а когда она начинает отказываться, добавляет: — Снять напряжение. — Подмигивает и уходит.

Лив, сидя, потягивает напиток. Даже отсюда ей слышен возмущенный голос Роджера, звук отодвигаемых стульев. Она смотрит на часы. Четверть двенадцатого. Из кухни один за другим появляются повара, снимают с вешалки пальто и исчезают, едва заметно кивая ей на прощание, будто для посетителей обычное дело двадцать минут сидеть в коридоре для персонала со стаканом бренди в руках.

Наконец возвращается Мо, но уже без передника. В руках у нее связка ключей, она проходит мимо Лив и запирает пожарный выход.

— Они ушли, — сообщает она, затягивая длинные волосы в узел. — Твой горячий кавалер все рвался тебя утешить. Я на минутку выключила твой мобильник.

— Спасибо, — улыбается Лив. — Ты очень добра.

— Не за что. Может, кофе?

Ресторан уже пустой. Лив смотрит на стол, за которым недавно сидела. Официант подметает пол вокруг стульев, затем опытной рукой человека, который делал эту операцию уже тысячу раз, механически раскладывает столовые приборы. Мо включает кофемашину и жестом приглашает Лив присесть. Лив сейчас предпочла бы уйти домой, но понимает, что у ее свободы есть своя цена, и в данном случае это, скорее всего, короткая вымученная беседа о добрых старых временах.

— Не могу поверить, что они так быстро ушли, — говорит она, в то время как Мо

закуривает сигарету.

— О, кто-то увидел сообщение на «блэкбери», которое для нее явно не предназначалось. Ну и началось, — ухмыляется Мо. — Не уверена, что для деловых обедов так уж необходимы зажимы для сосков.

— Ты что, все слышала?

— Мы здесь все слышим. Большинство посетителей особо не стесняются в присутствии официанта. — Она включает кнопку подачи молока. — Передник дает нам магическую силу. Делает нас практически невидимыми.

И Лив, к своему стыду, вынуждена признать, что, сидя за столом, вообще не обратила внимания на то, как выглядела официантка. Мо смотрит на нее с легкой полуулыбкой, будто читает ее мысли.

— Все нормально. Я привыкла быть человеком-невидимкой.

— Итак, — взяв кофе, спрашивает Лив. — Чем занимаешься?

— В последние десять лет? Хм, да всем понемножку. Работа официантки мне подходит. Я не настолько честолюбива, чтобы стремиться стать барменшей, — невозмутимо отвечает Мо. — А ты?

— Ну, я что-то вроде фрилансера. Работаю на себя. Я не слишком гожусь для офиса, — улыбается Лив.

— Надо же, — затягиваясь сигаретой, говорит Мо. — Ты всегда была из тех золотых девочек.

— Золотых девочек?

— Ты и вся твоя обалденная тусовка, длинные ноги, волосы и прочее, ну и, конечно, всегда в окружении мужчин. Слово из романов Скотта Фицджеральда. Я думала, ты станешь... ну, не знаю. Телеведущей, или журналисткой, или актрисой, или типа того.

Если бы Лив прочла все это на бумаге, то решила бы, что ее разыгрывают. Но в голосе Мо ни намека на издевку.

— Нет, — опускает глаза Лив. Она допивает кофе. Второй официант уже ушел. Чашка Мо пуста. Без четверти двенадцать. — Ты будешь закрывать ресторан? Тебе в какую сторону идти?

— Ни в какую. Я остаюсь здесь.

— У тебя что, тут квартира?

— Нет. Но Дино не возражает. — Мо гасит сигарету, встает и выбрасывает окурки из пепельницы. — На самом деле Дино не в курсе. Он просто считает меня очень сознательной. Потому что я каждый вечер ухожу последней. И постоянно твердит: «Ну почему остальные не такие, как ты?!» — Она тычет пальцем куда-то себе за спину: — У меня в шкафчике есть спальный мешок, и я ставлю будильник на полшестого. У меня напряженка с жильем. Если честно, то сейчас мне оно не по карману, — говорит она и, поймав удивленный взгляд Лив, добавляет: — И пусть это тебя не шокирует. Уверю вас, здешние диванчики куда удобнее, нежели кровати в тех квартирах, что я снимала.

Лив так и не смогла понять, что заставило ее это произнести. Она редко кого-нибудь пускала себе в дом, особенно людей, которых не видела много лет.

— Можешь остановиться у меня, — говорит она и, сообразив, что именно сказала, тут же добавляет: — Всего на одну ночь. У меня есть свободная комната. С хорошим душем. — И, хотя это может звучать несколько покровительственно с ее стороны, произносит: — Наверстаем упущенное. Будет забавно.

Лицо Мо абсолютно ничего не выражает. Затем она слегка хмурится, будто именно она, Мо, делает Лив одолжение.

— Как скажешь, — бросает она и идет за своим пальто.

Она уже издалека видит свой дом: его бледно-синие стеклянные стены возвышаются над бывшим складом для хранения сахара, и создается впечатление, словно на крышу старинного здания приземлился корабль инопланетян. Дэвиду это нравилось, нравилось показывать на их дом, когда они возвращались с друзьями или потенциальными клиентами. Ему нравился контраст с бурым кирпичом пакгаузов в викторианском стиле, нравилось, как на стенах играет свет или отражается вода внизу. Нравилось, что здание стало элементом лондонского речного ландшафта. По его словам, оно было постоянной рекламой его работы.

Когда дом был построен, почти десять лет назад, в качестве строительного материала Дэвид выбрал стекло, удачно использовав его термические и экологические характеристики. Его работы выделялись на фоне других, и ключ к ним — это прозрачность, любил говорить он. Он всегда считал, что здания должны сразу раскрывать свое назначение и свою структуру. Единственными непрозрачными комнатами были ванны, но только после долгих уговоров не использовать стекло, пусть и тонированное с одной стороны, он пошел на это. Дэвид наотрез отказывался понимать, чем плох туалет, из которого просматривается все вокруг, если снаружи тебя не видно.

Подруги завидовали ее дому, его расположению, тому, что его снимки периодически появляются в журналах с лучшими интерьерами, но она прекрасно знала, что потом они всегда доверительным шепотом добавляли, что непременно озверели бы от подобного минимализма. У Дэвида была врожденная страсть к очищению, к прояснению того, что вовсе в этом не нуждалось. Любая вещь в его доме должна была пройти своеобразный тест по Уильяму Моррису: на функциональность и красоту. Ну а затем — на определение ее необходимости. Когда Лив сошлась с Дэвидом, то его страсть к идеальному порядку жутко раздражала ее. Дэвид закусывал губу, когда она разбрасывала одежду по полу спальни, ставила на кухне букеты дешевых цветов или рыночные безделушки. Теперь же она благодарна ему за чистоту линий и аскетизм обстановки.

— Ни фига себе! Круто! — Они выходят из дребезжащего лифта прямо в Стекланный дом, и лицо Мо неожиданно оживает. — Это что, действительно твой дом? Серьезно? Как тебе, черт возьми, удалось поселиться в таком месте?!

— Мой муж построил его. — Лив идет через атриум, аккуратно вешает ключи на одинокий серебряный крючок, включает скрытое освещение.

— Твой бывший? Здорово! И он тебе его оставил?!

— Не совсем так. — Лив нажимает кнопку и смотрит, как защитные экраны на крыше кухни отъезжают в сторону, открывая звездное небо. — Он умер.

Лив стоит, запрокинув голову, чтобы обуздать вспышку внезапной жалости к себе. С годами ей почему-то не становится легче объяснять, что к чему. Прошло уже четыре года, а эти слова вызывают рефлекторную боль, словно смерть Дэвида остается незаживающей раной в ее теле.

Но Мо молчит. И открывает рот лишь для того, чтобы сказать:

— Вот облом! — Ее лицо остается таким же бледным и бесстрастным.

— Да, — с легким вздохом соглашается Лив. — Что есть, то есть.

Лив слушает по радио ночной выпуск новостей, в гостевой ванной журчит вода, и Лив слегка не по себе, как всегда, когда она знает, что в доме еще кто-то есть. Она протирает гранитные рабочие поверхности и полирует их мягкой тряпочкой. Сметает с пола несуществующие крошки. Наконец проходит по отделанному деревом и стеклом коридору и поднимается по лестнице из дерева и плексигласа к себе в спальню. За незаметными дверцами шкафа, представляющими собой одну блестящую полосу, не видно висящих там

немногочисленных предметов гардероба. Кровать, просторная и пустая, возвышается в центре комнаты; на покрывале, там, где она и оставила их сегодня утром, лежат два извещения с последним предупреждением. Она садится на кровать, аккуратно вкладывает извещения обратно в конверты, смотрит прямо перед собой на картину под названием «Девушка, которую ты покинул», золоченая рама ярко выделяется на фоне преобладающих здесь серого и болотного цветов, и погружается в воспоминания.

«Она похожа на тебя».

«Она совершенно на меня не похожа».

Лив, захваченная новым чувством, легкомысленно подтрунивала над ним. Но уже была готова поверить в то, что он видит ее именно такой.

«У тебя точно такой же вид, когда ты...»

Девушка, которую ты покинул, улыбается.

Лив начинает раздеваться, аккуратно складывая одежду на кресло возле кровати. И прежде чем выключить свет, закрывает глаза, чтобы не смотреть на картину.

Некоторым людям легче жить, следуя заведенному порядку, и Лив Халстон как раз из их числа. Каждое утро она встает в семь тридцать, натягивает тренировочный костюм, берет iPod и, даже не успев как следует продрать глаза, спускается в дребезжащем лифте, выходит на улицу и полчаса бежит вдоль реки. Пробираясь между мрачно-сосредоточенными пассажирами пригородных поездов и огибая фургончики, занимающиеся доставкой, она наконец полностью просыпается, мозг потихоньку начинает воспринимать звучащую в наушниках музыку, ноги ритмично касаются тротуара. Но самое главное, утренняя пробежка помогла ей выйти из того состояния, о котором ей до сих пор страшно вспоминать. Самыми ужасными были минуты пробуждения, когда боль утраты могла неожиданно и подло обрушиться на нее, обволакивая мысли черным ядовитым туманом. Она начала бегать, когда поняла, что может использовать внешний мир, музыку в наушниках, размеренное движение вперед в качестве своеобразного отражателя. Теперь бег вошел у нее в привычку, став своего рода страховкой.

«Мне не надо думать. Мне не надо думать. Мне не надо думать».

Особенно сегодня.

Она переходит на быстрый шаг, покупает кофе и поднимается на лифте обратно в Стекланный дом, глаза залиты потом, на футболке мокрые разводы. Она принимает душ, одевается, пьет кофе и ест два тоста с джемом. Она перестала держать в доме еду, когда поняла, что забитый холодильник действует на нее угнетающе, служит как бы напоминанием о том, что надо начать готовить и нормально питаться, а не напихиваться исключительно крекерами с сыром. Забитый холодильник служит молчаливым укором тому, что она до сих пор одна.

Затем она садится за письменный стол и проверяет электронную почту, не появилось ли за ночь каких-либо новых предложений насчет работы. Но если сохранилась тенденция последнего времени, то, скорее всего, нет.

— Мо? Я оставлю для тебя кофе под дверью. — Она прислушивается, наклонив голову, старается уловить хотя бы звук, говорящий о том, что в комнате кто-то есть.

Уже четверть девятого: не слишком ли рано, чтобы будить гостя? У нее так давно никто не гостил в доме, что она уже и забыла, как положено вести себя в таких случаях. Она неловко топчется под дверью в ожидании хотя бы невнятного ответа, быть может, недовольного ворчания, но потом решает, что Мо еще спит. Ведь, в конце концов, Мо весь вечер работала. Лив ставит полистироловый стаканчик на пол, так, на всякий случай, и снова идет в душ.

В ее почтовом ящике четыре сообщения.

Дорогая мисс Халстон!

Получил Ваш имейл от Copywritersperhour.com. Я руковожу бизнесом по производству именных канцелярских принадлежностей, и у меня имеется рекламный буклет, который необходимо отредактировать. Я знаю, что Вы берете 100 фунтов за 100 слов. Но нельзя ли немного снизить цену?

У нас весьма ограниченный бюджет. В буклете примерно 1250 слов.

Искренне Ваш, мистер Теренс Бланк

Ливви, дорогая!

Это твой папа. Кэролайн меня бросила. Я опять один. И решил больше не иметь

дела с женщинами. Позвони, если найдешь время.

Привет, Лив!

Ну что, насчет четверга все в силе? Детишки уже ждут не дождутся. На данный момент их примерно двадцать, но, как ты сама знаешь, цифра может меняться. Сообщи, если тебе что-нибудь нужно.

С наилучшими пожеланиями,

Абиола

Дорогая мисс Халстон!

Мы несколько раз пытались дозвониться до Вас по телефону, но неудачно. Не могли бы Вы с нами связаться, чтобы договориться об удобном для Вас времени для обсуждения ситуации с превышением Вами кредита. Если Вы не сможете с нами связаться, мы вынуждены будем взыскать с вас штрафные проценты.

И пожалуйста, предоставьте нам свои последние контактные данные.

Искренне Ваш,

Дэмиан Уоттс,

менеджер по работе со счетами физических лиц

Лив напечатала ответ на первое письмо:

Дорогой мистер Бланк! Я с большой радостью пошла бы навстречу Вашим пожеланиям и снизила расценки. К сожалению, мой организм устроен так, что, помимо всего прочего, нуждается в питании. Желаю удачи с Вашим буклетом.

Она знает, что обязательно найдется кто-то, кто возьмет за работу меньше, кто-то, кого не слишком волнует грамматика или пунктуация, и кто не обратит внимания на, то, что в буклете будет двадцать два раза написано «агенство» вместо «агентство». Но ей уже надоело снижать свои и так более чем скромные расценки.

Папа, я забегу попозже. Если Кэролайн случайно к этому времени вернется, постарайся встретить ее нормально одетым. Миссис Пейтел говорила, что на прошлой неделе ты опять поливал японские анемоны в голом виде, а ты ведь знаешь, что по этому поводу говорят в полиции.

Лив

Последний раз, когда она примчалась утешить отца после исчезновения Кэролайн, он вышел к ней в распахнутом женском шелковом восточном халате и, не дав опомниться, заключил в медвежьи объятия.

«Ради всего святого, я же твой отец», — обычно бормотал он после резкой отповеди. Майкл Уортинг за последние десять лет не нашел себе достойного применения в качестве актера, однако сохранил детскую непосредственность и активное неприятие того, что он называл «оберткой». Лив еще в раннем детстве перестала приглашать к себе подруг. Все случилось после того, как Саманта Хаукрофт, вернувшись домой, сообщила матери, что «мистер Уортинг ходил по дому голым, и у него все болталось». (А еще она рассказала в школе, что у папы Лив пиписка похожа на огромную сосиску. И ее собственного отца это обстоятельство почему-то оставило равнодушным.)

Рыжеволосую Кэролайн, которая вот уже пятнадцать лет была подругой Майкла, его нагота тоже не особенно беспокоила. По правде говоря, она и сама обожала разгуливать по дому полураздетой. Лив иногда начинало казаться, что она знает их бледные, дряблые старческие тела лучше своего собственного. Кэролайн, к которой Майкл испытывал настоящую страсть, примерно раз в два месяца срывалась с привязи, жалуясь на его мизерные заработки и короткие, но пылкие интрижки с другими женщинами. Что они в нем находили, оставалось для Лив загадкой.

«Моя дорогая, это все мое жизнелюбие! — восклицал отец. — Моя темпераментная натура! Если в тебе нет огня, считай, что ты умер». И Лив в глубине души подозревала, что она его самое большое разочарование.

Она допивает кофе и печатает имейл для Абиолы.

Привет, Абиола!

Встретимся у Конахи-билдинг в два часа дня. Наконец-то все прояснилось. Они, конечно, нервничают, но определенно за.

Надеюсь, у тебя все получится.

С наилучшими пожеланиями,

Лив

Она отправляет письмо и смотрит на послание от менеджера банка. Ее пальцы все еще лежат на клавиатуре. Немного подумав, она нажимает на «Delete».

Где-то в душе Лив понимает, что это не может продолжаться до бесконечности. Она буквально слышит угрожающие требования, что содержатся в аккуратных конвертах с последними предупреждениями, совсем как барабанную дробь вражеской армии. И очень скоро она уже не сможет больше игнорировать их и увильнуть от ответа. Она уже и так во всем себя ограничивает, практически ничего не покупает, редко выходит в свет, но денег все равно не хватает. А банкоматы взяли себе за правило выплевывать ее дебетовые и кредитные карты. В прошлом году в рамках учета местных налогоплательщиков и переоценки местных налогов к ней приходила женщина из муниципалитета. Она обошла Стекланный дом и посмотрела на Лив так, будто та хотела обмануть местные власти или типа того. Слово это являлось величайшим оскорблением, что в сущности такая соплюха живет одна в таком доме. Лив ее не винила. После смерти Дэвида она и сама чувствовала себя здесь самозванкой. Но сейчас она вроде музейной смотрительницы: бережет память о Дэвиде и содержит дом в том виде, в котором ему хотелось бы.

И теперь Лив платит максимальный местный налог, такой же, как банкиры с их зарплатой в миллион фунтов или финансисты с их непомерно раздутыми бонусами. Налоги съедают больше половины ее заработка за несколько месяцев.

Она больше не открывает конверты с выписками из счета в банке. Нет смысла. Она и так знает, что там будет написано.

— Это моя вина, — театрально роняет голову на руки отец. Между растопыренными пальцами торчат редкие пучки седых волос. Кухня заставлена кастрюлями со сковородками, здесь все говорит о прерванной вечерней трапезе: половина здорового куска пармезана, миска с застывшей пастой — словом, «Мария Селесте» в домашнем варианте. — Я знал, что не должен был от нее отходить. Но я был точно мотылек, летящий на огонь! Какой жар! *Жар!* — говорит он загадками.

Лив понимающе кивает. Она пытается мысленно вписать в контекст сексуальной драмы образ ее главной героини — хозяйки цветочной лавки. Ей уже хорошо за пятьдесят, она высаживает по две пачки в день, а ее серые лодыжки торчат из слишком коротких брюк, как два куска сырого рубца.

— Мы оба знали, что это неправильно. И я старался. Видит Бог, как я старался быть хорошим. Но вот однажды я заглянул туда за луковицами весенних цветов, а она подошла и встала сзади, вся такая пахнувшая фрезиями, и я еще подумать не успел, а мой бутон уже стал набухать...

— Ладно, папа. Избавь меня от подробностей. — Лив включает чайник, и, пока она вытирает столешницу, отец осушает до дна свой бокал. — Не слишком ли рано для вина?

— Для вина никогда не бывает слишком рано. Напиток богов. Мое единственное утешение.

— Ты всю жизнь только и делаешь, что ищешь утешения.

— И как мне удалось воспитать такую волевою женщину, у которой столько условностей?

— А тебе и не удалось. Потому что меня воспитывала мама.

Он меланхолично качает головой, очевидно совершенно забывая о том, как проклинал жену, когда та ушла от него вместе с маленькой дочкой, и призывал всех богов обрушить свою ярость на ее неверную голову. Иногда Лив начинает казаться, что с тех пор, как шесть лет назад умерла мама, воспоминания о их непродолжительной и крайне непрочной супружеской жизни были сильно отредактированы в папиной голове, и эта невозможная женщина, эта потаскуха, эта ведьма, настроившая против него единственного ребенка, превратилась чуть ли не в Святую Деву. Но Лив не возражала. Она и сама через это прошла. Когда ты теряешь мать, со временем твое воображение делает из нее идеальную женщину. Вспоминаешь легкие поцелуи, ласковые слова, теплые объятия. Она слушала бесконечные жалобы друзей на надоедливых, приставучих матерей, но совершенно не понимала их, словно те говорили на корейском языке.

— Твоя утрата ожесточила тебя.

— Просто я не влюбляюсь в каждого представителя противоположного пола, кому случится продать мне банку еды в томатном соусе.

Она открывает ящики в поисках фильтров для кофе. Если ее дом вылизан до блеска, то в жилище отца царят хаос и кавардак.

— Прошлым вечером видел Жасмин в «Пигс фут», — неожиданно улыбается отец. — Роскошная женщина. Спрашивала о тебе.

Лив находит пакетики, открывает один, насыпает туда кофе.

— Правда?

— Выходит замуж за испанца. Похож на Эррола Флинна. Глаз с нее не сводит. Заметь, мне тоже было от нее не оторваться. Она прямо-таки гипнотизирует своей походкой. А как она покачивает бедрами! Он берет ее с ребенком. Думаю, ребенок от кого-то другого. Собираются жить в Мадриде, — говорит отец, принимая из рук Лив кружку кофе. — И почему вы больше не встречаетесь? Вы ведь так дружили!

— Люди расходятся, — пожимает она плечами.

Но она не может признаться, что ее объяснение — только часть правды. Когда теряешь мужа, то о некоторых вещах просто невозможно никому рассказать. Это непреходящая усталость, когда спал бы и спал, причем веки будто налиты свинцом, и, для того чтобы поднять их, требуются титанические усилия, а продержаться еще один день для тебя словно подвиг Геракла; и еще ты подсознательно начинаешь ненавидеть своих подруг: каждый раз, когда кто-то из них появляется у тебя на пороге или идет тебе навстречу по улице, обнимает тебя и говорит, что ей так жаль, так безумно жаль, ты смотришь на нее, на ее мужа, на ее детишек и сама пугаешься своей дикой зависти. Почему они живы, а Дэвид умер? Почему этот жирный зануда Ричард, с его друзьями из Сити, с его гольфом по выходным, Ричард, которого абсолютно ничего не интересует за пределами его крошечного самодовольного мирка, продолжает жить, тогда как Дэвид, блестящий, любящий, щедрый, страстный Дэвид, должен был умереть? Почему подлец Тим сможет породить себе подобных, дать начало целым поколениям будущих маленьких Тимов, тогда как Дэвид, с его пытливым умом, его добротой, его любовью, исчез, не оставив после себя никакого следа?

Лив хорошо помнит, как содрогалась в беззвучных рыданиях в чужих ваннах, когда сбегала из забитых народом комнат; она прекрасно понимала, что ведет себя неприлично, но ничего не могла с собой поделать. И только по прошествии нескольких лет она научилась смотреть на счастье других, не ощущая при этом, как кровоточит сердце от собственной утраты.

Теперь жгучая боль уже прошла, но она предпочитает наблюдать за домашними радостями людей со стороны, причем желательно тех, кого она не слишком хорошо знает, словно счастье — всего лишь научная концепция, которую можно доказать, чему она только рада.

Она больше не встречается с прежними друзьями, всякими там Жасмин и Черри. Женщинами, которые еще помнят, какой она была в юности. Слишком сложно объяснить. И ее не совсем устраивает, что объяснение это свидетельствует не в ее пользу.

— Ну, мне все-таки кажется, что вам стоит повидаться перед ее отъездом. Я всегда любил смотреть на вас вместе. Вы были словно две юные богини.

— Когда ты собираешься позвонить Кэролайн? — спрашивает она, сметая крошки с ободранного соснового кухонного стола и счищая круглый след от бокала с вином.

— Она не захочет со мной разговаривать. Прошлой ночью я отправил на ее мобильник четырнадцать сообщений.

— Папа, ты должен прекратить спать с другими женщинами.

— Я знаю.

— И ты должен начать зарабатывать.

— Я знаю.

— И ты должен одеться. На ее месте я непременно снова ушла бы, если бы, вернувшись, застала тебя в таком виде.

— На мне ее халат.

— Я догадалась.

— Он до сих пор хранит ее запах. — И отец скорбно, со слезами на глазах нюхает рукав халата. — Что же мне делать, если она не вернется?

Лив застывает на месте, лицо ее каменеет. Интересно, а имеет ли отец хоть малейшее представление, какое сегодня число? Она смотрит на потасканного мужчину в женском халате, на синие вены, просвечивающие сквозь кожу в пигментных пятнах, и поспешно возвращается к мытью посуды.

— Знаешь что, папа? Ты спрашиваешь не у того человека.

Старик осторожно опускается в кресло и тяжело вздыхает, словно пройтись по комнате потребовало от него определенных усилий. Его сын стоит с озабоченным видом, сложив на груди руки.

Немного подождав, Пол Маккаферти бросает взгляд в сторону своей секретарши Мириам.

— Не хотите ли чаю или кофе? — спрашивает она.

В ответ старик качает головой:

— Нет, спасибо. — Всем своим видом он словно говорит: «Давайте лучше приступим к делу».

— Тогда я вас оставляю, — произносит Мириам и, пятясь, выходит из тесного кабинета.

Пол открывает папку. Кладет руки на стол, чувствуя на себе взгляд мистера Новицки.

— Итак, я пригласил вас сегодня, потому что у меня есть для вас новости. Во время первой нашей встречи я предупредил, что дело может оказаться запутанным в связи с недостатком данных с вашей стороны, подтверждающих провенанс. Как вы, наверное, знаете, многие галереи неохотно отдают произведения искусства при отсутствии основательных доказательств...

— Я хорошо помню картину, — прерывает его старик.

— Мне это известно. Так же как, впрочем, и вам, что галерея, о которой идет речь, с трудом пошла на сотрудничество с нами, несмотря на то что в их провенансе имеются существенные пробелы. Дело осложнило и резкое увеличение цены указанного произведения. Кроме того, большим минусом стало и то, что вы не смогли сделать правильное описание.

— Но как, по-вашему, я могу описать правильно такую картину? Мне было десять, когда нам пришлось покинуть дом. Всего десять лет! Вот вы смогли бы мне назвать цвет обоев в спальне ваших родителей в то время, когда вам было десять лет?

— Нет, мистер Новицки, не мог бы.

— Мы что, должны были знать, что не сможем вернуться? Такая система просто нелепа. Почему мы должны доказывать, что у нас все было украдено? После всего того, через что нам пришлось пройти...

— Папа, давай не будем об этом... — Джейсон, сын мистера Новицки, опускает руку на плечо отца, и старик неохотно сжимает губы, словно уже привык к тому, что ему постоянно затыкают рот.

— Именно об этом я и хотел бы с вами поговорить, — кивает Пол. — Я предупреждал вас, что в данном случае наша позиция не самая сильная. Во время встречи в январе вы упомянули о том, что ваша мать дружила с соседом по имени Артур Бохман, который переехал в Америку.

— Да. Они были хорошими соседями. Он точно должен был видеть картину в нашем доме. Ведь он так часто к нам заходил. Я играл в мячик с его дочерью... Но он умер. Я же говорил вам, что он умер.

— Ну, мне удалось найти оставшихся членов его семьи в Де-Мойне. И его внучка Анна Мари порылась в семейных альбомах и в одном из них случайно нашла это. — Пол вынимает из папки лист бумаги и передает мистеру Новицки.

Копия, конечно, не идеальная, но черно-белое изображение вполне отчетливое. Семья чинно сидит на обитом плотной тканью диване. Женщина сдержанно улыбается, на коленях у нее карапуз с глазками-пуговками. Мужчина с пышными усами стоит облокотившись на спинку дивана. Рядом маленький мальчик; он широко улыбается, демонстрируя недостающий передний зуб. За их спиной на стене висит картина, на которой изображена танцующая девушка.

— Это она, — тихо говорит мистер Новицки, прижимая артритные пальцы к губам. — Дега.

— Я навел справки в банке изображений, затем в Фонде Эдгара Дега. Я послал фотографию их юристам вместе с заявлением Анны Мари, где она утверждает, что видела картину в доме ваших родителей, а также слышала, как ваш отец рассказывал историю ее приобретения, — говорит Пол и, сделав паузу, продолжает: — Но это еще не все, что помнит Анна Мари. Она рассказывает, что, после того как ваши родители исчезли, Артур Бохман как-то ночью проник в ваш дом, чтобы забрать оставшиеся семейные ценности. И он сказал своей жене, бабушке Анны Мари, что там с виду все оставалось нетронутым. И, уже собираясь уходить, он обнаружил, что картина исчезла. Поскольку все остальное было на месте, Артур Бохман решил, что картину семья забрала с собой. И вопрос этот больше не возникал, так как ваши семьи на время потеряли друг друга из виду.

— Нет, — говорит старик, не сводя глаз с фотографии. — Нет. У нас ничего не осталось. Только кольца моей матери. Обручальное и подаренное в честь помолвки. — Его глаза наполнились слезами.

— Вполне возможно, что нацисты давно облюбовали картину. В нацистской Германии проходило массовое изъятие особо ценных произведений искусства.

— Это мистер Дрешлер. Он им сказал. Я всегда знал, что именно он им сказал. А еще называл моего отца своим другом! — Лежащие на коленях руки старика дрожат.

Реакция весьма типичная, несмотря на то что прошло больше шестидесяти лет. Многие из тех, что предъявляют права на произведение искусства, яснее помнят события 1940-х годов, чем то, как они оказались у Пола в кабинете.

— Ну хорошо. Мы проверили записи мистера Дрешлера и обнаружили ряд документально не подкрепленных сделок с немцами, причем одна из них касается картины Дега. Правда, не совсем ясно, какой именно, но даты и тот факт, что в вашем районе не могло быть много таких картин, — весомый аргумент в вашу пользу. — (Мистер Новицки медленно поднимает глаза на сына, словно хочет сказать: «Вот видишь?») — Так вот, мистер Новицки, вчера я получил ответ из галереи. Хотите, чтобы я прочел вам его?

— Да.

Дорогой мистер Маккаферти!

В свете открывшихся обстоятельств и пробелов в нашем провенансе, а также с учетом моральных страданий, причиненных семье Новицки, мы решили не оспаривать претензии на интересующую Вас картину Дега. Совет попечителей галереи отдал распоряжение нашим юристам прекратить дальнейшее разбирательство, и мы ждем ваших указаний по передаче данного объекта.

Пол ждет.

Старик, казалось, ушел в свои мысли.

— Они что, возвращают ее мне? — наконец подняв голову, довольно кивает он, не в силах сдержать улыбку.

Дело было длинным и сложным, но разрешилось, к его удовольствию, неожиданно быстро.

— Они что, и вправду возвращают ее нам? Неужели они согласились с тем, что ее у нас украли.

— Вам остается только сообщить, куда вы хотите, чтобы ее доставили.

Долгая пауза. Джейсон Новицки отворачивается от отца, поднимает руку и смахивает слезы.

— Простите, — говорит он. — Сам не понимаю, с чего это я...

— Это обычная реакция. — Пол достает из ящика стола бумажные платки и протягивает Джейсону. — Подобные дела всегда вызывают эмоциональную реакцию. Ведь речь, в сущности,

идет не только о картине.

— Мы так долго к этому шли. Утрата Дега стала постоянным напоминанием о том, какие испытания выпали на долю бабушки с дедушкой, а также папы во время войны. И я не верил, что вы... — Он обрывает фразу и, важно надув щеки, добавляет: — Потрясающе! Найти семью того человека. Нам говорили, что вы один из лучших, но...

— Я только делаю свою работу, — качает головой Пол.

Они с Джейсоном поворачиваются к старику, который все еще смотрит на фотографию картины. А он вдруг весь как-то съежился, словно согнувшись под тяжестью событий шестидесятилетней давности. И Джейсону, и Полу приходит в голову одна и та же мысль.

— Папа, с тобой все в порядке?

— Мистер Новицки?

Тогда старик чуть-чуть выпрямляется, будто начинает вспоминать, что он не один в комнате. Его рука лежит на фотографии.

Пол садится обратно в кресло, задумчиво вертя в руках шариковую ручку:

— Итак, вернемся к картине. Могу порекомендовать вам специализированную транспортную компанию. Вам необходим транспорт, обеспеченный средствами безопасности, климат-контролем и подвесным устройством. И я также предложил бы вам застраховать груз. Нет нужды говорить, что такая ценная картина, как ваша...

— А у вас имеются связи в аукционных домах?

— Простите?

— У вас имеются связи в каких-нибудь аукционных домах? — спрашивает мистер Новицки, к которому постепенно возвращается нормальный цвет лица. — Я тут недавно разговаривал с одним аукционистом, но они хотят слишком много денег. Кажется, двадцать процентов. Плюс налоги. Слишком жирно.

— Вы что, хотите оценить картину для того, чтобы застраховать ее?

— Нет. Я хочу ее продать. — Старик достает потертый бумажник и кладет в него фотографию. — Сейчас самое время продавать. Иностранцы все скупают... — пренебрежительно машет он рукой.

— Но, папа... — оторопело смотрит на него Джейсон.

— Все это обошлось нам недешево. Надо платить по счетам.

— Ведь ты же сам говорил...

Однако мистер Новицки уже отворачивается от него и обращается к Полу:

— Не могли бы вы привести для меня справки? Включите все в счет на оплату ваших услуг.

Где-то на улице громко хлопает дверь, и звук гулко разносится, отражаясь от стен прилегающих домов. Из соседнего кабинета слышен приглушенный голос Мириам, которая общается с кем-то по телефону. Пол с трудом сглатывает комок в горле. Старается, чтобы голос звучал ровно.

— Я сделаю это.

В комнате повисает неуютная тишина. Наконец старик встает с места.

— Ну, это очень хорошие новости, — сдержанно улыбается он. — Действительно очень хорошие новости. Большое спасибо, мистер Маккаферти.

— Не стоит благодарности, — отвечает Пол, поднимается и протягивает старику руку.

Когда посетители уходят, Пол Маккаферти бессильно опускается в кресло. Закрывает папку, потом — глаза.

— Нельзя принимать вещи так близко к сердцу, — говорит Джейн.

— Понимаю. Но все как-то...

— Это не наше дело. Мы здесь занимаемся исключительно возвратом.

— Понимаю. Просто мистер Новицки так долго рассказывал, какое значение имеет картина для его семьи, уверял, будто она символизирует все, что они потеряли...

— Пол, не бери в голову.

— В нашем отделе такого не было. — Пол встает и начинает мерить шагами захламленный кабинет Джейн. Останавливается у окна, выглядывает на улицу. — Ты возвращал людям их вещи, и они были счастливы.

— Но ты же не собираешься снова работать в полиции.

— Сам знаю. Я просто говорю. Достали меня все эти дела по реституции.

— Ну, ты заработал гонорар на совершенно безнадежном на первый взгляд деле. И эти деньги позволят тебе переехать. Так что мы оба должны быть счастливы. Вот. — Джейн придвигает к нему папку. — Пришло вчера вечером. Похоже, дело совсем простое.

Пол вынимает оттуда бумаги. Портрет женщины, который числился пропавшим начиная с 1916 года, причем пропажа обнаружилась десять лет назад после ревизии работ художника ныне здравствующими членами его семьи. А на следующем листе — фотография искомой картины на фоне стены в минималистском стиле. Опубликовано в глянцевого журнале несколько лет назад.

— Первая мировая?

— Срок давности на такие вещи не распространяется. Похоже, расклад весьма простой. Они утверждают, что у них есть свидетельства того, что во время той войны картина была украдена немцами. С тех пор ее больше не видели. А несколько лет назад один из членов семьи художника случайно открыл старый глянцевого журнал... И как думаешь, что он увидел на развороте?

— А они уверены, что это оригинал?

— С картины не делалось копий.

Пол качает головой, он на время забывает о событиях сегодняшнего утра и чувствует только обычный в таких случаях приступ легкого волнения.

— А она вот, оказывается, где. Спустя почти сто лет. Висит на стене в доме какой-то богатой пары.

— В заметке просто сказано «в центре Лондона». Всякие там «Идеальные дома» именно так и делают. Не дают точного адреса, чтобы не наводить грабителей. Но мне почему-то кажется, что отыскать дом особого труда не составит. Фамилия богатой четы в статье все же приводится.

Пол закрывает папку. В памяти снова возникает сжатый в узкую полоску рот мистера Новицки и глаза его сына, который смотрит на отца так, будто видит его впервые.

«Вы ведь американец, — уже уходя, сказал ему старик. — Вам этого, скорее всего, не понять».

— Как продвигаются поиски жилья? — кладет ему руку на плечо Джейн.

— Не слишком удачно. Все хорошее вмиг раскупается теми, кто располагает наличными.

— Ну ладно, если хочешь взбодриться, можно сходить куда-нибудь перекусить. Сегодня вечером я свободна.

Пол улыбается. Он старается не замечать, как Джейн машинально приглаживает волосы, словно подчеркивая тайную надежду, скрытую в ее улыбке.

— Сегодня хочу поработать подольше, — делает шаг в сторону двери Пол. — Есть парочка неотложных дел. Но все равно спасибо. Прямо с утра возьмусь за эту папку.

Приготовив отцу обед и пропылесосив первый этаж его дома, Лив возвращается к себе уже в пять. Кэролайн редко пользуется пылесосом, и к тому моменту, как Лив закончила уборку, цвет

старых персидских ковриков стал гораздо ярче. В этот непривычно теплый для конца лета день в городе всю кипела жизнь, на улице стоял шум от проходящих машин и пахло расплавленным асфальтом.

— Привет, Фрэн! — уже стоя в дверях, здоровается Лив.

Женщина приветливо кивает в ответ. Несмотря на жару, на ней натянутая до бровей шерстяная шапка. Она усиленно роется в пластиковом пакете. У нее их целая коллекция: связанных попарно или засунутых один в другой. И она весь день только и делает, что сортирует их. Сегодня она отодвинула свои две накрытые брезентом коробки поближе к относительно безопасной двери местного сторожа. Предыдущий сторож годами терпел Фрэн и даже использовал ее как неофициальный передаточный пункт. А вот новый, посетовала она, когда Лив принесла ей чашечку кофе, постоянно грозит прогнать с насиженного места. Некоторые из жильцов жалуются, что она подрывает престиж этого места.

— У тебя был посетитель.

— Что? О... И когда она приходила?

Лив не оставила ни записки, ни ключа. Она даже подумывала о том, чтобы зайти в ресторан, чтобы узнать, как там Мо. Но одно дело — думать и совсем другое — осуществить задуманное. При мысли, что она снова окажется в тишине пустого дома, Лив испытывает легкое облегчение.

В ответ Фрэн только пожимает плечами.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спрашивает Лив, отпирая дверь.

— Чаю, если можно, — отвечает Фрэн и, словно Лив никогда прежде не пила ее чаем, поспешно добавляет: — С сахаром, пожалуйста. — А затем с видом страшно занятого человека возвращается к своим пакетам.

Она чувствует запах, едва успев открыть дверь. Мо сидит по-турецки на полу возле стеклянного кофейного столика. В одной руке у нее книжка в бумажной обложке, в другой — сигарета, пепел которой она стряхивает в белое блюдце.

— Привет, — говорит она, не поднимая головы.

Лив, забыв о ключе, который держит в руках, изумленно смотрит на нее:

— Я... я думала, тебя нет. Фрэн сказала, что ты ушла.

— А... та дама внизу? Да. Я только что вернулась.

— Откуда вернулась?

— С дневной смены.

— Ты что, работаешь еще и в дневную смену?

— В доме престарелых. Надеюсь, утром я тебя не слишком сильно побеспокоила? Я постаралась уйти по-тихому. Боялась, что выдвигание всяких там ящичков может тебя разбудить. А побудка в шесть утра отбивает всякое желание принимать гостей.

— Выдвигание ящичков?

— Ты же не оставила ключа.

Лив хмурится. Она явно не поспевает за ходом мыслей собеседницы. Мо откладывает в сторону книжку и медленно произносит:

— Мне пришлось немного порыться, прежде чем я нашла ключ в ящичке твоего письменного стола.

— Ты что, лазила в мой письменный стол?

— Ну, я решила, что это наиболее вероятное место, — говорит Мо и, перевернув страницу, уже тише добавляет: — Блин, ты же любишь, чтобы все лежало на своих местах.

И снова берется за книгу. Книгу Дэвида, посмотрев на корешок, обнаруживает Лив. Это зачитанный Дэвидом чуть ли не до дыр экземпляр «Введение в современную архитектуру»,

издательство «Penguin». Лив живо представляет себе, как он, растянувшись на диване, читает книгу. И теперь видеть ее в чужих руках для нее словно нож острый. Лив ставит сумку и идет на кухню.

Гранитная столешница вся в крошках от тостов. На столе две грязные кружки. Рядом с тостером валяется полуоткрытая упаковка нарезного белого хлеба. На мойке лежит использованный чайный пакетик, а в кусок несоленого масла, как в грудь жертвы убийцы, воткнут кухонный нож.

Лив, постояв с минуту, начинает наводить порядок, сметать крошки в мусорное ведро, загружать чашки и тарелки в посудомоечную машину. Она нажимает на кнопку, раздвигающую защитные экраны на крыше, а затем нажимает на другую, открывающую стеклянную крышу, и машет рукой, чтобы развеять вездесущий табачный дым.

Обернувшись, она видит, что Мо стоит в дверях.

— Здесь нельзя курить, — говорит Лив с легкой паникой в голосе. — Нет, нельзя.

— О, конечно. Я не знала, что у тебя есть терраса.

— Нет. И на террасе тоже нельзя. Пожалуйста. Здесь вообще нельзя курить.

Мо смотрит на столешницу, которую яростно надраивает Лив.

— Эй! Я бы все сделала перед уходом. Правда-правда.

— Все в порядке.

— А вот и нет. Иначе у тебя сейчас не было бы предынфарктного состояния. Послушай! Остановись! Я сама за собой уберу. Правда.

Лив останавливается. Она знает, что вышла из берегов, но ничего не может с собой поделать. Единственное, чего она хочет, — чтобы Мо ушла.

— Я обещала Фрэн принести ей чашку чаю, — говорит она.

И пока спускается на первый этаж, чувствует, как кровь стучит в висках.

Вернувшись, она обнаруживает, что все убрано. Мо деловито снует по кухне.

— Не могу заставить себя убирать за собой сразу, — произносит она, когда Лив переступает порог. — И все потому, что только и делаю, что убираю. За стариками, за гостями в ресторане... Если весь день этим занимаешься, то дома устраиваешь нечто вроде забастовки.

Лив старается держать себя в руках и не сердиться на Мо за слово «дома». Неожиданно ее внимание привлекает запах уже не табачного дыма, а чего-то другого. И в духовке горит лампочка.

Она нагибается, заглядывает внутрь и видит свое дорогое блюдо для выпечки, в котором булькает что-то сырное.

— Приготовила кое-что на ужин. Макаронную запеканку. Просто побросала туда все, что удалось найти в угловом магазинчике. Будет готово через десять минут. Я собиралась поесть чуть позже, но раз уж ты здесь... — (Лив уже и не помнит, когда в последний раз включала духовку.) — О... — продолжает Мо, доставая прихватки. — А еще звонил мужчина из муниципалитета.

— Что?

— Ну да. Что-то насчет муниципального налога. — (У Лив все опустилось внутри.) — Я сказала, что я — это ты, и он сообщил, сколько ты им должна. Чертову уйму денег. — И она протягивает Лив бумажку с накарябанной там суммой и, не дав Лив открыть рот, продолжает: — Ну, мне пришлось убедиться, что они ничего не перепутали. Я решила, что он ошибся.

Лив примерно представляет себе размер суммы, но, увидев цифру на бумаге, испытывает настоящий шок. Она чувствует на себе взгляд Мо и по затянувшейся паузе в разговоре понимает, что та обо всем догадалась.

— Эй, а ну-ка присядь. На сытый желудок все воспринимается как-то легче. — Усадив Лив

на стул, Мо открывает духовку, и кухню наполняют непривычные ароматы домашней еды. — А если нет, я знаю, где можно найти по-настоящему удобный диванчик.

Еда действительно вкусная. Лив съедает целую тарелку и теперь держится за живот, гадая про себя, почему ее так удивляет, что Мо умеет готовить.

— Спасибо, — говорит она, увидев, что Мо подчистила свою тарелку. — Действительно вкусно. Уж и не помню, когда в последний раз столько ела.

— Нет проблем.

«А теперь тебе надо уйти». Но Лив не решается произнести слова, последние двадцать часов вертевшиеся на языке. Она не хочет, чтобы Мо ушла прямо сейчас. Не хочет оставаться один на один и с налоговиками из муниципалитета, и с последними предупреждениями, и со своими грустными мыслями. Она даже чувствует неожиданную благодарность за то, что есть с кем поболтать. Может, тогда она на время забудет о сегодняшней дате.

— Итак. Лив Уортинг. История с умершим мужем...

— Мне бы не хотелось об этом говорить. — Лив аккуратно кладет на тарелку нож с вилкой. Она чувствует на себе пристальный взгляд Мо.

— О'кей. Ни слова о покойных мужьях. А как насчет бойфрендов?

— Бойфрендов?

— После... Того, о Ком Нельзя Говорить. Есть что-нибудь серьезное?

— Нет.

Мо соскребает кусочек сыра с блюда для выпечки.

— А просто случайные половые партнеры?

— Нет.

— Неужели ни одного? — вскидывает голову Мо. — И как долго?

— Уже четыре года, — бормочет Лив.

Но она лжет. Был один, четыре года назад, когда друзья из лучших побуждений сказали ей, что пора «идти дальше». Будто Дэвид был препятствием у нее на пути. Она тогда напилась до потери пульса, чтобы пройти через это, а потом долго плакала крупными горькими слезами раскаяния и отвращения к себе. Тот мужчина — она даже не помнит его имени — не мог скрыть облегчения, когда она сказала, что идет домой. И даже сейчас, вспоминая о том случае, она чувствует жгучий стыд.

— Никого за четыре года? А тебе... сколько? Тридцать? Это что, типа такое сексуальное сати?^[27] Уортинг, что ты делаешь? Хранишь себя для Мистера Усопшего Мужа, чтобы соединиться с ним в другой жизни?

— Я Халстон. Лив Халстон. И я... просто... не встретила никого, кого захотела бы... — Лив решает сменить тему разговора. — Ладно, а как насчет тебя? Какой-нибудь ущербный эмо? — Необходимость обороняться сделала ее колючей.

Мо тянется за сигаретой, но отдергивает руку.

— У меня все хорошо, — отвечает она и, заметив выжидающий взгляд Лив, продолжает: — У меня имеется договоренность.

— Договоренность?

— С Раником, нашим сомелье. Раз в две недели мы занимаемся технически грамотным, но абсолютно бездушным совокуплением. Сперва он, конечно, был совсем никакой, но сейчас потихоньку въезжает. — Она кладет в рот еще один пригоревший кусочек сыра. — Наверное, смотрит порнуху. Скорее всего.

— И никого серьезного?

— Мои предки перестали заводить разговор о внуках сразу после Миллениума.

— О боже! Хорошо, что напомнила. Я обещала позвонить папе. — Неожиданно ее осеняет. Она встает и тянется за сумочкой. — Эй! А не сбегать ли мне в магазин за бутылочкой вина?

Это будет здорово, говорит она себе. Поговорим о родителях, о людях, которых она не помнит, о колледже, о ее работе, тогда, быть может, удастся отвлечь Мо от разговоров о сексе, а она, Лив, не заметит, как наступит завтра, дом снова будет в норме и сегодняшняя дата повторится только через год.

— Я мимо, — говорит Мо, откинувшись на спинку стула. — Мне пора переодеваться и бежать.

— Бежать?

— На работу.

— Но... ты же сказала, что только закончила, — не выпуская сумочки, говорит Лив.

— То была дневная смена. А теперь начинается вечерняя. Буквально через двадцать минут. — Она поднимает волосы и закалывает их. — Ну как, помоешь посуду? И можно мне снова взять ключ?

Мимолетная радость бытия, которую Лив ощутила во время ужина, лопается, точно мыльный пузырь. Она сидит за неубранным столом, прислушиваясь, как Мо бесшумно снует туда-сюда, моется в гостевой ванной, чистит зубы, а затем тихонько закрывает за собой дверь спальни.

— Послушай, а вдруг им еще кто-нибудь понадобится? Я хочу сказать, я могу помочь. Возможно. Уверена, что справлюсь с обслуживанием столиков, — задрав голову, кричит она Мо и, не дождавшись ответа, добавляет: — Я действительно как-то работала в баре.

— Я тоже. Но мне только еще больше захотелось двинуть кому-нибудь в глаз. Даже еще больше, чем когда я обслуживаю посетителей за столом.

Мо стоит уже в коридоре. На ней черная рубашка и куртка «пилот», под мышкой — передник.

— Увидимся позже, подруга, — бросает она. — Если, конечно, у меня не выгорит с Раником.

И она исчезает, сбежав по лестнице, чтобы снова оказаться в мире живых. А когда эхо ее голоса затихает вдали, тишина Стеклянного дома становится осязаемой, давит на плечи, и Лив начинает паниковать, чувствуя, что ее дом, ее рай, вот-вот предаст ее.

Она понимает, что не может провести этот вечер одна.

Вот список тех мест, куда лучше не заглядывать, чтобы выпить, если вы женщина.

1. «Базука»: когда-то заведение носило название «Белая лошадь». Это был тихий паб на углу, напротив кофейни, с обитыми бархатом продавленными сиденьями и стершейся от времени вывеской с изображением лошади. Теперь здесь сверкающий неоновыми огнями стрип-бар, куда по вечерам заходят бизнесмены, а размалеванные девушки с напряженными лицами в предрассветные часы на время спускаются с эстрады, яростно курят и жалуются на маленькие чаевые.

2. «У Дино»: местный винный бар, в девяностые годы битком набитый. Теперь днем это тошнеловка для молоденьких мамаш, а после восьми — место проведения вечеров быстрых свиданий. В остальные дни, за исключением пятницы, если заглянуть в огромные, от пола до потолка, окна, то можно увидеть, что внутри пугающе пусто.

3. Любой старый бар в переулках поблизости от реки, в которых собираются небольшими группами не слишком дружелюбные местные жители со своими питбулями. Они курят как сумасшедшие, а на одиноких женщин смотрят точно мулла — на девушек, решивших прогуляться в бикини.

4. Любое из современных питейных заведений, забытых людьми гораздо моложе тебя, проходящих в основном компаниями, все как один в темных очках и с компьютерными сумками. В присутствии этого молодняка ты чувствуешь себя еще более одиноко, чем просто на улице.

Лив вынашивает идею купить бутылку вина и выпить ее дома. Но всякий раз, как она представляет себе, что сидит одна в пустой белой комнате, ее охватывает непривычный страх. Телевизор смотреть ей тоже не хочется: за последние три года она поняла, что все это сплошной обман, так как в самых банальных комедийных драмах неожиданно, и страшно мучительно для нее, убивают мужа или вместо программы о жизни дикой природы показывают очередную внезапную смерть. Но ей очень не хочется в результате снова оказаться перед картиной «Девушка, которую ты покинул», чтобы в очередной раз вспоминать тот день, когда они вместе ее покупали, и видеть в глазах женщины на портрете страсть и сексуальное удовлетворение, которые ощущала сама. Не хочется снова рыться в фотографиях, где они с Дэвидом сняты вместе, и при этом с усталой безнадежностью признавать, что она больше никогда не сможет никого так полюбить. Ведь пока она помнит, как он прищуривал глаза, как держал в руках кружку, никто другой ее не устроит, поскольку не будет походить на него.

Лив не хочет больше подвергать себя искушению вспоминать номер его мобильного. Целый год после его смерти она с маниакальным упорством делала это, чтобы услышать его голос на автоответчике. Она постоянно чувствует горечь утраты, ее незримый груз лежит на плечах и изменяет ход каждого дня. Но сегодня, в годовщину его смерти, пора все кардинально изменить.

А потом она вспоминает, о чем вчера за ужином говорила одна из женщин: «Когда сестра хочет оттянуться, но так, чтобы ее не доставали, она идет в гей-бар. Как забавно!» В десяти минутах ходьбы отсюда как раз есть такой бар. Она тысячу раз проходила мимо, даже не задумываясь о том, что происходит за окнами, затянутыми металлической сеткой. В гей-баре к ней уж точно не пристанут. Лив надевает жакет, берет сумочку и ключи. Раз уж ничего лучше нет, она так и делает.

— Да, ужасно неловкая ситуация.

— Это было всего один раз. Давным-давно. Но что-то мне подсказывает, что она не забыла.

— И все потому, что ты ОЧЕНЬ ХОРОШ, — ухмыляется Грег, вытирает очередную пинтовую кружку и ставит ее на полку.

— Нет... Ну ладно, может, и так, — говорит Пол. — Но если серьезно, Грег, каждый раз, как она на меня смотрит, я чувствую себя виноватым. Словно... словно я обещал что-то такое, чего не смог сделать.

— Братишка, знаешь, есть одно золотое правило. Никогда не гадь там, где живешь.

— Я был пьян. Все случилось в тот вечер, когда Леони сообщила, что они с Джейком переезжают и забирают с собой Митча. Я был...

— Ты забыл о средствах самозащиты, — говорит Грег в своей обычной манере диктора дневных новостей. — Твой босс тебя поимела именно тогда, когда ты был наиболее уязвим. Накачала тебя выпивкой. А теперь ты чувствуешь себя так, будто тебя использовали. Не сдавайся... — бросает он и идет обслуживать посетителя.

Для вечера четверга в баре довольно много народу, все столики заняты, люди то и дело входят в зал, где жизнерадостный гул голосов заглушает музыку. Пол собирался после работы сразу отправиться домой, но жаль было упускать редкую возможность встретиться с братом, и вообще иногда не мешает пропустить стаканчик-другой. Даже если при этом приходится усиленно избегать зрительных контактов с семьдесятю процентами посетителей.

Грег пробивает пару чеков и возвращается к Полу.

— Послушай, возможно, это звучит странно. Но она милая женщина. Жестоко постоянно отталкивать ее, — продолжает Пол.

— Меня от тебя тошнит.

— Тебе меня не понять!

— Потому что здесь никто не пытается клеить тебя, если ты не один. Только не в гей-баре. О нет. — Грег ставит на полку очередную кружку. — Послушай, а почему бы тебе просто не сесть с ней рядом, сказать, что она замечательный человек, бла-бла-бла, но ты к ней относишься чисто как друг.

— Потому что мне неудобно. Мы ведь работаем вместе и все такое.

— А так удобно? Все ее «Пол, а почему бы нам, типа, не сделать это по-быстрому, когда ты закончишь дело?» — И тут внимание Грега привлекает кто-то в другом конце стойки бара. — Охо-хо-хо. Смотри-ка, здесь у нас вроде натуралка.

Пол весь вечер бессознательно чувствует ее присутствие. Девушка ведет себя довольно уверенно, и Пол решает, что она, должно быть, кого-то ждет. Сейчас она пытается сесть обратно на барный стул. Делает уже вторую попытку, причем во время второй спотыкается и неуклюже пятится. Она смахивает волосы со лба и оглядывает бар с таким видом, будто ей надо забраться на Эверест. Сумев-таки сесть на стул, она упирается обеими руками в стойку, чтобы вернуть себе равновесие, и удивленно моргает, словно не может поверить, что наконец сделала это. Затем, подняв пустой бокал, поворачивается к Грегу:

— Простите, а можно еще вина?

Грег на секунду задерживает на Поле усталый, но насмешливый взгляд.

— Мы через десять минут закрываемся, — перекидывая через плечо посудное полотенце, говорит он.

Грег не обижает тех, кто слегка перебрал. Пол ни разу не видел, чтобы Грег хоть раз вышел из себя. Недаром их мать любила говорить, что между братьями нет ничего общего.

— Тогда у меня есть еще десять минут, чтобы выпить, — слегка неуверенно улыбается она.

Она не похожа на лесбиянку. Хотя в наше время так сразу и не разберешь. Но Пол решает не говорить об этом брату. Тот только поднимет его на смех и скажет, что Пол слишком долго проработал в полиции.

— Дорогуша, мне ведь не жалко, но если ты выпьешь еще, я буду за тебя переживать. А я терпеть не могу переживать за посетителей под конец смены.

— Ну совсем капельку, — просит она с жалобной улыбкой. — Если честно, то я не всегда напиваюсь.

— Конечно. Но я за тебя уже волнуюсь.

— Просто... — В ее глазах затаенная боль. — Просто сегодня у меня трудный день. Ну пожалуйста, только один бокал! А затем можете вызвать мне вполне уважаемое такси из уважаемой фирмы, я поеду к себе и благополучно вырублюсь, а вы с чистой совестью отправитесь домой.

Грег оборачивается к Полу и тяжело вздыхает, будто хочет сказать: «Вот видишь, с кем приходится иметь дело!»

— Ну разве что капельку, — говорит он. — Совсем маленький бокальчик.

Ее улыбка блекнет, веки чуть опускаются, она, слегка покачиваясь, наклоняется и шарит рукой в поисках сумочки. Пол поворачивается к залу спиной, чтобы проверить, не пришло ли каких эсэмэсок. Завтра его очередь брать к себе Джейка, и, хотя у них с Леони установились вполне дружеские отношения, в душе постоянно живет страх, что она найдет причину отыграть все назад.

— Моя сумочка! Моя сумочка исчезла! — слышит он и оборачивается.

Женщина соскользнула со стула и, держась за стойку, лихорадочно что-то ищет на полу. Потом поворачивает к Грегу побелевшее лицо.

— А вы, случайно, не брали сумочку с собой в дамскую комнату? — перегибаясь через стойку, спрашивает Грег.

— Нет, — отвечает она, ее взгляд мечется по бару. — Я засунула ее под стул.

— Вы оставили сумочку под стулом?! — неодобрительно качает головой Грег. — Вы что, не читали объявлений?

По всему бару развешаны объявления: «Не оставляйте вещи без присмотра. В этом районе орудуют карманники». Со своего места Пол может насчитать по крайней мере троих.

Нет, она явно не читала объявлений.

— Мне действительно очень жаль. Но здесь и правда очень беспокойно, — качает головой Пол.

Взгляд женщины мечется между ними, и он понимает, что даже в таком состоянии она догадывается, о чем они думают. «Глупая пьяная девица».

— Я вызову копов, — тянется он за телефоном.

— И скажете им, что я, как последняя идиотка, оставила сумочку под стулом?! — закрывает она лицо руками. — Боже мой! А я только что сняла двести фунтов, чтобы заплатить муниципальный налог. Поверить не могу! Двести. Фунтов.

— Это уже третий случай за неделю, — говорит Грег. — Со дня на день должны установить систему видеонаблюдения. Прямо эпидемия какая-то! Я правда вам дико сочувствую.

Она поднимает голову, вытирает слезы и тяжело, обреченно вздыхает. Она изо всех сил сдерживает слезы. Нетронутый бокал с вином стоит на стойке бара.

— Мне очень жаль, но я не уверена, что смогу заплатить за это.

— Не берите в голову, — успокаивает ее Грег. — Пол, вызови копов. Я сделаю ей кофе. Ну ладно. Все, дамы и господа, время вышло. Пожалуйста...

Но местная полиция не выезжает по поводу пропавших сумочек. Они дают женщине по имени Лив номер телефона криминального отдела, обещают ей письмо, гарантирующее поддержку жертвам преступления, и уверяют, что если найдут сумочку, то обязательно с ней

связжуются. Хотя даже ежу понятно, что связываться с ней никто не собирается.

К тому времени, как она заканчивает говорить по телефону, в баре уже никого нет. Грег открывает дверь, чтобы выпустить их, и Лив тянется за жакетом.

— У меня гостит подруга. У нее есть запасной ключ.

— Не хотите ей позвонить? — Пол протягивает ей мобильник.

Она смотрит на него пустыми глазами.

— Я не знаю номера ее телефона. Но знаю, где она работает, — говорит она и, увидев, что

Пол ждет, добавляет: — Это ресторан в десяти минутах отсюда. В сторону Блэкфрайарс.

Уже полночь. Пол украдкой смотрит на часы. Он устал, а завтра в половине восьмого привезут сына. Но он не может позволить пьяной женщине, которая с трудом сдерживает слезы, бродить ночью одной по темным закоулкам Саут-Бэнк.

— Я пойду с вами, — произносит он, но, судя по ее настороженному взгляду, она собирается отказаться.

— Все в порядке, дорогуша, — трогает ее за руку Грег. — Он бывший коп.

Пол чувствует, что брат его слегка переоценивает. У женщины под одним глазом размазалась тушь, и ему ужасно хочется вытереть ее.

— Могу за него поручиться. Он хороший парень. И вообще, помогать людям — его призвание. Он что-то вроде сенбернара, только в человеческом обличье.

— Угу. Спасибо за комплимент, Грег.

— Ну, если вы точно не против, это будет весьма любезно с вашей стороны, — надевает жакет Лив.

— Пол, я тебе завтра позвоню. И удачи вам, мисс Лив. Надеюсь, все образуется.

Грег смотрит им вслед, затем запирает дверь.

Они идут быстро, их шаги гулко разносятся по узким мощеным улочкам, отдаваясь от стен притихших домов. Моросит дождь, и Пол засовывает руки в карманы, поднимает воротник. Когда они проходят мимо двух парней в толстовках с капюшоном, Лив инстинктивно жметя к Полу.

— Вы заблокировали свои кредитные карты?

— Ой, нет! Я об этом как-то не подумала.

Свежий воздух явно не идет ей на пользу. Вид у нее подавленный, она то и дело спотыкается. Он готов предложить ей руку, но не уверен, что она согласится.

— Вы можете вспомнить, что там у вас было?

— «Мастеркард» и банка «Барклайс».

— Держитесь! Я знаю кое-кого, кто может помочь, — говорит он и набирает номер. — Шерри? Привет. Это Маккаферти... Да, прекрасно, спасибо. Все хорошо. А у тебя? Послушай, можешь оказать мне любезность? Отправь эсэмэской номера, куда звонить насчет украденных кредиток. «Мастеркард» и «Барклайс». У знакомой только что тиснули сумочку... Угу. Спасибо, Шерри. Привет ребятам. И да, до скорого! — Пол набирает нужный номер и передает ей телефон: — Копы. Очень узкий круг.

Лив объясняет ситуацию оператору, а Пол молча идет рядом.

— Благодарю вас, — кивает она, возвращая мобильник.

— Нет проблем.

— Я буду удивлена, если им удастся хоть что-то снять с них, — печально улыбается Лив.

Они подходят к ресторану с испанской кухней. Свет уже выключен, дверь заперта. Пол ныряет в дверной проем, а Лив приникает к окну, словно пытается разглядеть хоть какие-то признаки жизни.

— Уже четверть первого, — смотрит на часы Пол. — Они, скорее всего, закрылись на ночь. Лив нервно кусает губы. Потом поворачивается к Полу:

— Возможно, она уже у меня. Простите, можно еще раз воспользоваться вашим телефоном?

Он протягивает ей мобильник, она подносит его поближе к свету фонаря, чтобы лучше видеть экран. Набирает номер, поворачивается к нему спиной и ждет, машинально теребя свободной рукой волосы. Затем оглядывается на него со смущенной улыбкой и снова отворачивается. Набирает второй номер, потом — третий.

— Есть еще кому позвонить?

— Папе. Только что пыталась до него дозвониться. Там тоже никто не отвечает. Он, наверное, давным-давно спит. А если так, то его и пушкой не разбудишь. — Вид у нее совершенно потерянный.

— Послушайте, почему бы мне не снять для вас комнату в отеле? Отдадите деньги, когда получите карточки.

Она по-прежнему стоит, покусывая губы. *Двести фунтов*. Он прекрасно помнит, каким голосом она это сказала. Совершенно убитым. Она явно не из тех, кто может позволить себе отель в центре Лондона.

Дождь усиливается, у них обоих уже промокли ноги, вода ручьем течет по сточным канавам впереди.

— Знаете что? Уже совсем поздно. Я живу в двадцати минутах ходьбы отсюда. Как насчет того, чтобы переночевать у меня? А там на месте разберемся, если вы, конечно, согласны.

Она отдает ему телефон. Он видит, что в ней идет внутренняя борьба. Затем она устало улыбается и придвигается поближе:

— Спасибо. И простите меня. Я... я действительно не хотела никому портить вечер.

Пока они добираются до квартиры Пола, Лив не только немного успокаивается, но и заметно трезвеет. Похоже, сейчас ее терзает вопрос: «Что же я делаю?» У Пола даже возникает вопрос, есть ли у нее интимная подруга. Она хорошенькая, но явно не жаждет мужского внимания: косметики практически нет, волосы затянуты в конский хвост. Может, женщины нетрадиционной ориентации все такие? И для алкоголички у нее слишком хорошая кожа. А еще крепкие ноги и пружинистая походка, что свидетельствует о регулярных тренировках. Но вид у нее беззащитный: она постоянно складывает руки к груди.

Наконец они подходят к его дому. Пол живет в двухэтажной квартире над кафе в районе Театрленда. Он отпирает дверь, оставив ее стоять на ступеньках.

Пол включает свет и идет прямо к кофейному столику. Убирает газеты, кружки с недопитым кофе. Смотрит на свое жилье глазами постороннего: слишком тесное, захламленное всевозможными справочниками и бесчисленными фотографиями, заставленное старой мебелью. К счастью, никаких грязных носков или сохнущего белья. Потом Пол проходит на кухню, ставит чайник, достает полотенце, чтобы она могла вытереть волосы, и с порога наблюдает, как она осторожно ходит по комнате, разглядывая книжные полки и фотографии на буфете: Пол в форме полицейского, Пол и Джейк стоят, обнявшись, и широко улыбаются.

— Это ваш сын?

— Да.

— Похож на вас. — По-прежнему прижимая левую руку к животу, она берет фотографию, где он снят вместе с четырехлетним Джейком и Леони. Он с удовольствием предложил бы ей свою футболку, но не хочет, чтобы она подумала, будто он пытается ее раздеть. — А это его мать? — спрашивает она.

— Да.

— Значит... вы не гей?

Он теряет, не может найти нужных слов и в конце концов говорит:

— Нет! О нет! Бар принадлежит брату.

— Ах так...

Пол указывает на снимок, где он в форме:

— Мундир — тоже не маскарадный костюм. Я реально был копом.

И она вдруг начинает хохотать, но это явно смех сквозь слезы. Затем вытирает глаза и смущенно улыбается:

— Простите, ради бога. Сегодня у меня тяжелый день. С самого утра не задался. Еще до того, как украли сумочку.

Неожиданно он понимает, что она и впрямь очень хорошенькая. И вид у нее беззащитный, словно кто-то снял с нее верхний слой кожи. Она поднимает на него глаза, и он поспешно отворачивается.

— Пол, у вас не найдется чего-нибудь выпить? Но только не кофе. Я понимаю, что вы, должно быть, считаете меня пьянчужкой, но один бокал мне не повредит.

Пол выключает чайник, наливает им по бокалу вина и относит в гостиную. Она сидит на краешке дивана, упершись локтями в колени.

— Не хотите поговорить? Бывшие копы чего только не слышали за свою жизнь, — протягивает он ей бокал вина. — И бьюсь об заклад, те истории почище вашей будут.

— Не совсем так, — сделав большой глоток, говорит она и внезапно поворачивается к Полу лицом: — Хотя на самом деле да. Сегодня день смерти моего мужа. Он умер четыре года назад. Умер. И те, кто и мизинца его не стоит, сейчас наперебой твердят мне, что я должна идти дальше. У меня живет девушка-гот, а я даже не могу вспомнить ее фамилии. Я по уши в долгах. И я пошла сегодня в гей-бар, потому что была не в силах оставаться дома совсем одна, и у меня стащили сумочку, где лежали двести фунтов, снятые с кредитной карты, чтобы заплатить муниципальный налог. А когда вы спросили, есть ли кто-нибудь, кому я могу позвонить, единственным человеком, способным, как мне кажется, предложить мне постель, оказалась Фрэн, женщина, что живет в картонных коробках на первом этаже нашего дома.

Пол пытается переварить слово «муж» и практически не слышит того, что она говорит.

— Ну, если на то пошло, я могу предложить вам постель, — произносит он и снова видит ее усталый взгляд. — Кровать моего сына. Она, конечно, не самая удобная в мире. Я хочу сказать, брат спал на ней, когда порвал со своим последним бойфрендом, после чего заявил, что из-за этой кровати ему теперь приходится лечиться у остеопата, — улыбается Пол и, чуть замямвшись, говорит: — Но все лучше, чем картонные коробки.

— Да уж. Значительно лучше, — избегая его взгляда, отвечает она и добавляет с кривой усмешкой: — В любом случае бесполезно просить Фрэн. Черта с два она согласится.

— Что будет крайне нелюбезно с ее стороны. Хотя я тоже не стал бы к ней проситься. Посиди здесь. Поищу тебе зубную щетку.

Иногда, думает Лив, ты попадаешь в параллельный мир. Тебе кажется, будто ты знаешь, что тебя ждет: тоскливый вечер перед телевизором, бокал-другой в баре, бегство от прошлого, — но неожиданно ты сворачиваешь с прямого пути и попадаешь туда, куда даже не думал — не гадал. Тебе кажется, что все, хуже не бывает: сумочку украли, деньги пропали, муж умер — словом, жизнь прошла мимо. И вдруг ты оказываешься в три часа ночи в крошечной квартирке незнакомого американца с ярко-голубыми глазами и кудрявыми волосами с проседью, и он заставляет тебя беззаботно смеяться, словно все хорошо и нет никаких поводов волноваться.

Она успела уже здорово набраться. Выпила не меньше трех бокалов здесь, на квартире у

Пола, и несравнимо больше там, в баре. Но сейчас ей удалось достичь того редкого, но удивительно приятного состояния алкогольного равновесия, когда она не настолько пьяна, чтобы не стоять на ногах, но и не настолько трезва, чтобы не наслаждаться приятными мгновениями: ведь сидящий рядом мужчина смешит ее до слез, а его тесная квартира не хранит болезненных воспоминаний. Они говорят и говорят, но не могут наговориться, их голоса звучат все громче и возбужденнее. Лив, еще не успев оправиться от шока, расслабилась под действием алкоголя и раскрыла ему душу, ведь он был незнакомцем, которого она, скорее всего, больше никогда не увидит. А Пол, в свою очередь, поведал ей об ужасах развода, о порядках в полиции, которые ему совершенно не подходят, о своей тоске по Нью-Йорку, куда он не может вернуться, пока не подрастет сын. Ей хочется поделиться с ним абсолютно всем, потому что он абсолютно все понимает. Она рассказала ему о своей душевной боли и своей обиде на весь мир, а еще о том, что смотрит на другие пары и просто не видит смысла пытаться попробовать еще раз. Потому что ни одна из супружеских пар не выглядит реально счастливой. Ни одна.

— О'кей. Я здесь вроде адвоката дьявола, — ставит бокал Пол. — Хотя что может сказать человек, профукавший собственные отношения?! Но ты ведь была замужем четыре года. Так?

— Так.

— Я не хочу показаться циничным или типа того, но не кажется ли тебе, будто столь светлый образ сохранился в твоей душе именно потому, что он уже умер? Все, что быстро кончается, с течением времени кажется намного лучше. На этом держится вся индустрия сотворения кумиров из покойных кинозвезд.

— Значит, ты хочешь сказать, что проживи мы вместе чуть подольше, то непременно опостытели бы друг другу?

— Не обязательно. Но обыденность, дети, ежедневные стрессы наверняка уничтожили бы романтический флер.

— Мнение опытного человека.

— Угу. Очень может быть.

— Нет. У нас все было бы по-другому, — мотает она головой. Комната слегка вертится перед глазами.

— Да брось ты! Наверняка он тебя иногда хоть немного, да раздражал. Без этого не бывает. Ну, знаешь, когда он начинает нудить, что ты слишком много тратишь, или пердишь в постели, или не закручиваешь крышечку от зубной пасты...

Лив снова решительно мотает головой:

— Ну почему, ну почему всегда так?! Почему всем так хочется принизить все, что у нас было? Знаешь что? Мы просто были счастливы. Мы не ссорились. Ни из-за пасты, ни из-за пердежа, вообще ни из-за чего. Мы просто любили друг друга. Действительно любили. Мы были... счастливы. — Она изо всех сил старается не заплакать и отворачивается к окну, чтобы скрыть слезы. Нет, сегодня она не будет плакать. Только не сегодня.

В комнате становится тихо. «Вот черт!» — думает она.

— Значит, ты одна из тех редких счастливиц, — раздается голос у нее за спиной.

Она поворачивается, и Пол Маккаферти показывает на недопитую бутылку.

— Счастливиц?

— Не всем так везет. Четыре года — это срок! Ты должна быть благодарна.

«Благодарна»? В его устах это звучит вполне разумно.

— Да, — слегка помедлив, отвечает она. — Наверное, должна.

— Честно говоря, истории типа твоей воодушевляют.

— Очень мило с твоей стороны, — улыбается она.

— Но это чистая правда. За... Как его звали? — поднимает бокал Пол.

— Дэвид.

— За Дэвида! За хорошего парня!

И она, поймав его удивленный взгляд, широко улыбается:

— Да. За Дэвида!

— Знаешь, такое со мной впервые. Надо же, пригласить к себе девушку и пить за ее мужа! — говорит он, и в ответ она заливисто смеется, словно в рот попала смешинка. Затем он поворачивается к ней и, не дав опомниться, осторожно вытирает большим пальцем тушь под ее левым глазом. — Я весь вечер хотел это сделать. Твоя косметика, — поднимает он палец. — Не уверен, что ты в курсе.

Лив смотрит на него, и ей кажется, будто через нее пропустили электрический разряд. Она смотрит на его покрытые веснушками сильные руки, на мощную шею, обтянутую слишком тесным воротничком, и неожиданно теряет остатки здравого смысла. Тогда она ставит бокал, чуть наклоняется вперед и неожиданно делает именно то, что ей сейчас больше всего хочется: прижимается губами к его рту. Сперва она испытывает легкое потрясение от физического контакта с мужчиной, потом чувствует его дыхание на своей коже, его руку на своей талии, и вот он уже отвечает на ее поцелуй, его мягкие губы слегка пахнут танином. Она растворяется в его объятиях, качается на волнах чувственности, алкогольного опьянения и безмятежности. О господи! Вот это мужчина! Его глаза закрыты, ее голова идет кругом, его нежные поцелуи так сладостны.

Но затем он резко отстраняется, но она не сразу это осознает. Она тоже слегка отклоняется, ей вдруг становится трудно дышать. «Кто ты?»

Он смотрит ей прямо в глаза. Моргает.

— Знаешь... Мне кажется, что ты прелесть. Но у меня имеются свои правила относительно таких вещей.

— У тебя что... кто-то есть? — разлепляет она внезапно распухшие губы.

— Нет. Я просто... — Он приглаживает волосы. Сжимает зубы. — Лив, ты не похожа...

— Я пьяная.

— Да-да, совсем пьяная.

— Когда-то у меня хорошо получалось заниматься сексом по пьяному делу. Действительно хорошо, — вздыхает она.

— Тебе лучше помолчать. Я очень стараюсь быть хорошим.

— Надо же! — откидывается она на спинку дивана. — Конечно, женщины иногда напиваются в хлам. Но только не я.

— Лив...

— А ты... бесподобен.

У него щетина на подбородке, значит, уже скоро утро. Ей хочется погладить его по щеке, почувствовать его колючую кожу. Она протягивает руку, но он отодвигается.

— И... все. Я пошел. Да-да, конечно пошел. — Он встает и с трудом переводит дух. На нее он не смотрит. — Уф, вон там комната сына. Если захочешь пить или что-то еще, там есть кран. Уф, кран с водой. — Он берет журнал и кладет на место, затем — другой и снова кладет. — И вот журналы. Если захочешь почитать. Полно...

Нет, не может быть, чтобы все закончилось вот так. Она хочет его, ее тело просто излучает желание. Она готова молить его об этом. Она до сих пор ощущает жар его руки на талии, вкус его губ. Они стоят и смотрят друг на друга в упор.

«Неужели ты ничего не чувствуешь? Не уходи! — посылает она ему молчаливый призыв. — Пожалуйста, не уходи от меня!»

— Спокойной ночи, Лив, — говорит он.

Он бросает в ее сторону еще один взгляд, затем поворачивается, выходит в коридор и тихо закрывает за собой дверь ванной.

Через четыре часа Лив просыпается в маленькой комнате, на кровати с пуховым одеялом с эмблемой «Арсенала». Голова раскалывается так, что ей приходится потрогать затылок, чтобы убедиться, что она не стала жертвой нападения. Она моргает, тупо смотрит на крошечных существ из японских мультиков на противоположной стене и пытается по кусочкам восстановить события сегодняшней ночи.

Украденная сумка. Она закрывает глаза. О нет!

Незнакомая кровать. У нее нет ключей. О боже! У нее нет ключей. И нет денег. Она пытается встать, но голову пронзает такая боль, что хочется кричать.

А потом она вспоминает мужчину. *Пит? Пол?* Вспоминает, как идет ночью по пустынным улицам. Вспоминает, как наклоняется, чтобы поцеловать его, а он вежливо уклоняется. «Ты... бесподобен».

— О нет, — шепчет она и закрывает глаза руками. — О, я не могла...

Она садится и спускает ноги вниз, внезапно замечая на полу желтую пластмассовую машинку. Но, услышав звуки открывающейся двери и льющейся воды в душе, Лив хватается за жакет, туфли и потихоньку выбирается из квартиры навстречу безжалостному свету нового дня.

— Это похоже на нашествие, — нервно смеется исполнительный директор. — Интересно, у остальных... такие же ассоциации?

— О да, — по привычке отвечает она.

Рядом с ней примерно пятнадцать подростков, которые бегают по просторному вестибюлю «Конахи секьюритиз». Двое из них — Идан и Кэм, — широко расставив руки, прыгают туда-сюда через перила, идущие вдоль стеклянной стены, их белые спортивные костюмы шуршат при соприкосновении с полом из известняка. Небольшая группа детей уже успела просочиться в центральный атриум, и теперь они с хохотом носятся по идеально ровным дорожкам и тычут пальцами в японских карпов, мирно плавающих в угловых бассейнах.

— Они что, всегда... такие шумные? — спрашивает исполнительный директор.

Рядом с Лив стоит Абиола, молодежный работник.

— Да, — кивает она. — Мы обычно даем им минут десять на то, чтобы привыкнуть к месту. Вы удивитесь, как быстро они адаптируются.

— И что... они никогда ничего не ломают?

— Никогда, — отвечает Абиола. Тем временем Лив наблюдает за тем, как Кэм, пробежав по деревянному ограждению, пружинисто подпрыгивает на его конце. — Посещения других компаний, список которых я вам представила, обошлись без серьезных нарушений. Ну, разве что выбили пару раз кусочек мозаичной плитки. — Но, заметив, что исполнительный директор явно ей не верит, она добавляет: — Вы не должны забывать, что среднестатистический британский ребенок живет в доме площадью меньше семидесяти шести квадратных метров. А наши дети выросли в еще более стесненных условиях. Поэтому вполне естественно, что, когда они попадают в новое место типа вашего, им сперва хочется побегать. Но посмотрите, что будет дальше. Они впишутся в ваше пространство.

Раз в месяц Фонд Дэвида Халстона, являющийся подразделением архитектурного бюро «Солберг-Халстон», организует для подростков из неимущих семей посещение зданий, представляющих особый интерес с точки зрения архитектуры. Дэвид свято верил в то, что молодые люди должны видеть не только типичную застройку, но и другие архитектурные формы, чтобы научиться по-своему использовать пространство и понимать его роль. Он хотел, чтобы они получали удовольствие от пребывания в просторных светлых зданиях. Лив никогда не забудет, как он объяснял это группе бенгальских детей из Уайтчепела.

«О чем говорит вам этот портал, когда вы через него проходите?» — спросил он, показав на огромный дверной проем.

«О деньгах», — ответил кто-то под дружный хохот остальных.

«Все правильно, — улыбнулся Дэвид. — Именно об этом он и должен говорить. Это брокерская контора. И портал с огромными мраморными пилястрами и золотыми буквами сверху кричит вам: „Дайте нам ваши денежки. И мы их ПРИУМНОЖИМ“. Он говорит самым простым и вульгарным способом: „Мы знаем все о деньгах“».

«Вот поэтому, Нихил, высота твоей двери только три фута», — кто-то из мальчиков толкнул другого, и оба покатались со смеху.

Но это работало. Она даже тогда понимала, что это работает. Дэвид рассказывал об окружающем их пространстве, которое может раскрепостить тебя, заставить сердиться или грустить. Он показал, как свет и пространство, словно живые существа, движутся вокруг необычных зданий.

«Они должны видеть, что существует альтернатива тесным коробкам, в которых они сейчас

живут, — объяснял Дэвид. — Они должны понимать, что окружающая их среда влияет на их самочувствие».

После смерти Дэвида с благословения Свена она взяла на себя обязанности мужа, встречалась с директорами компаний, договаривалась с ними о посещении зданий, в которых расположены их фирмы, терпеливо объясняя значение данного мероприятия. И это помогло ей держаться на плаву и жить дальше именно в те минуты, когда она уже переставала видеть смысл в своем существовании. И теперь такие экскурсии раз в месяц оставались единственной вещью, которую она с нетерпением ждала.

— Мисс? А можно потрогать рыбу?

— Нет. Руками ничего не трогать. Ну что, все в сборе? — спрашивает она и ждет, когда Абиола сосчитает детей по головам. — Хорошо. Начинаем прямо здесь. Я хочу, чтобы вы десять минут постояли спокойно и рассказали мне, как на вас влияет то, что вы видите сейчас вокруг себя.

— Здесь очень спокойно, — произносит кто-то, когда смех прекратился.

— Почему?

— Не знаю. Вода. И водопад. Умиротворяет.

— И что еще вас здесь умиротворяет.

— Небо. Похоже, здесь нет крыши. Да?

— Да. Почему, по-вашему, здесь нет крыши?

— Наверное, деньги кончились. — И снова взрыв смеха.

— А когда вы отсюда выйдете, то что в первую очередь сделаете? Нет, Дин. Я знаю, что ты хочешь сказать. Не это. Попробуйте вдохнуть побольше воздуха. Дышите полной грудью.

— Но в воздухе полно всякого дерьма. Похоже, они здесь просто пропускают воздух через фильтр.

— Здесь открытое пространство. Они не могут пропускать воздух через фильтр.

— А я и правда дышу. Полной грудью. Терпеть не могу маленькие помещения. У меня в комнате нет окон, и приходится спать с открытой дверью, чтобы не чувствовать себя как в гробу.

— У моего брата в комнате тоже нет окна, и маме пришлось повесить на стенку постер с нарисованным окном.

И они начинают наперебой сравнивать свои спальни. Лив любит этих детей и боится за них, так как через них сталкивается с изнанкой жизни. Все они в основном вынуждены обитать в пределах одной-двух квадратных миль, где они заперты, или в силу каких-то физических ограничений, или из-за страха перед местными молодежными бандами, или из-за провинностей перед законом.

Казалось бы, такая малость. Но участие в этом благотворительном проекте дает ей ощущение того, что Дэвид не зря прожил свою жизнь, а его идеи находят свое продолжение. Иногда встречаются действительно талантливые дети — те, кто сразу понимает замыслы Дэвида. И тогда она пытается им как-то помочь: беседует с учителями, помогает получить стипендии. Пару раз она даже встречалась с их родителями. Один из протеже Дэвида сейчас получает степень по архитектуре, а фонд оплачивает его обучение.

Но для большинства детей — это просто шанс хоть ненадолго заглянуть в другой мир, применить свои способности в области паркура на других ступеньках и перилах, причем не на улице, а в роскошном мраморном вестибюле, возможность заглянуть в обитель Мамоны, хоть и под недремлющим оком богатых людей, которых Лив уговорила пустить их к себе.

— Несколько лет назад было проведено специальное исследование, в ходе которого было установлено, что, если уменьшить площадь, приходящуюся на одного ребенка, с двадцати четырех до пятнадцати квадратных футов, дети становятся более агрессивными и менее

контактными. Что вы думаете по этому поводу?

Кэм, который продолжает висеть на перилах, отвечает:

— Мне приходится делить комнату с братом, и у меня просто руки чешутся как следует ему наkostenять. Он вечно залезает со своим барахлом на мою половину.

— Итак, где ты себя хорошо чувствуешь? Вот здесь, например, тебе хорошо?

— Я чувствую себя так, будто у меня вообще нет проблем.

— А мне нравятся растения. Вон те, с большими листьями.

— Блин! Так бы сидел и смотрел на рыб. Здесь как-то успокаиваешься, — под одобрительный гул голосов говорит один из мальчиков и, подумав, добавляет: — А потом я поймаю одну и попрошу маму поджарить ее на ужин. Правильно?

И все дружно смеются в ответ. Лив смотрит на Абиолу и неожиданно для себя тоже начинает хохотать.

— Ну как, все нормально? — встает из-за письменного стола ей навстречу Свен.

Лив целует его в щеку, кладет сумочку и садится в белое кожаное кресло по проекту Чарльза и Рэй Имз. Для нее уже стало традицией после каждой экскурсии приходить в «Солберг-Халстон», чтобы за чашечкой кофе рассказать, как все прошло. И каждый раз она чувствует себя очень усталой.

— Великолепно. Когда мистер Конахи понял, что мы не собираемся нырять в расположенные в атриуме бассейны, то явно воодушевился. Он даже остался, чтобы поговорить с детьми. Надеюсь, мне удастся уговорить его оказать им спонсорскую помощь.

— Прекрасно. Хорошие новости. Присаживайся, я организую нам кофе. А как ты сама? Как твоя смертельно больная родственница? — спрашивает он и, встретив ее непонимающий взгляд, уточняет: — Твоя тетя?

Лив чувствует, что начинает краснеть:

— О! О да, неплохо, спасибо. Уже лучше.

Свен протягивает Лив кофе, задерживая на ней взгляд чуть дольше, чем надо. Потом под мягкое поскрипывание кресла садится.

— Ты должна простить Кристен. Иногда ее заносит. Я ей прямо сказал, что считаю того парня идиотом.

— Боже! — растерянно моргает Лив. — Неужели было так заметно?

— Только не для Кристен. Она даже не знает, что вирус Эбола не лечится хирургическим путем, — говорит Свен и, услышав, как ахнула Лив, снимает очки и с улыбкой добавляет: — Не бери в голову. Роджер Фолдс — настоящий осел. Хотя в любом случае было приятно лишний раз с тобой повидаться. Правда-правда. Ты должна чаще выходить в люди.

— Хм, что я недавно и сделала.

Она снова краснеет, подумав о ночи, проведенной в доме Пола Маккаферти. Лив вдруг обнаруживает, что воспоминания о том дне засели в ней, точно заноза, и она вольно или невольно постоянно к ним возвращается. Что заставило ее себя так вести? Что он о ней подумал? А тот поцелуй до сих пор вызывает у нее дрожь. И, холодея от стыда, она все еще ощущает его на своих губах. Словно какая-то частица ее души начинает возрождаться к жизни.

— Итак, как дела с Голдштейном?

— Мы пока не слишком продвинулись. У нас проблемы с новыми строительными правилами, но мы их решаем. В любом случае Голдштейны счастливы.

— У тебя есть фотографии?

Голдштейн-билдинг был для Дэвида проектом мечты: просторное здание из органического стекла, растянувшееся вокруг площади на окраине города. Он работал над ним последние два

года их семейной жизни, в течение которых уговаривал состоятельных братьев Голдштейнов принять его смелое решение и позволить ему создать нечто отличное от приевшихся угловатых бетонных замков. Но Дэвид умер, не успев реализовать задуманное. Свен продолжил работу над проектом, провел все стадии проектирования и теперь приступил к возведению здания. Здесь, правда, возник ряд трудностей: задержки поставок из Китая, низкое качество стекла, проблемы с фундаментом, не подходящим для лондонской глинистой почвы. И сейчас общий вид здания наконец начинает вырисовываться: стеклянные панели блестят на солнце, напоминая свернувшуюся кольцами гигантскую змею.

Свен роется в лежащих на столе бумагах, находит фотографию и протягивает ее Лив. Она видит окруженную синим строительным забором гигантскую конструкцию, в которой даже в таком виде можно безошибочно узнать творение Дэвида.

— Это будет нечто потрясающее, — не в силах сдержать улыбку, говорит она.

— Я собирался тебе сказать, что они согласились установить в память Дэвида мемориальную доску.

— Неужели? — От волнения ей становится трудно дышать.

— Да, на прошлой неделе Джерри Голдштейн сообщил мне, что они хотели бы так или иначе почтить память Дэвида. Они сохранили о нем самые теплые воспоминания.

— Это было бы... замечательно, — отвечает Лив, пытаясь до конца осознать слова Свена.

— Я тоже так думаю. Ты придешь на открытие?

— С большим удовольствием.

— Прекрасно. А как вообще дела?

Лив медленно потягивает кофе. Ей, как всегда, неудобно обсуждать со Свеном свою личную жизнь. Не хочется разочаровывать его отсутствием в ней значительных событий.

— Ну, я, кажется, приобрела соседку по квартире. Что весьма... интересно. Продолжаю бегать. Относительно работы пока тишина.

— И насколько все плохо?

— Думаю, на потогонном производстве в Бангладеш я точно зарабатывала бы больше.

— А тебе не приходило в голову... что, может, пора заняться чем-то другим?

— Я не слишком гожусь для чего-то другого.

Она уже давным-давно поняла, что сделала ошибку, бросив после замужества работу, чтобы везде сопровождать Дэвида. Пока ее друзья делали карьеру, просиживая по двенадцать часов в день в офисах, она путешествовала вместе с мужем в Париж, Сидней, Барселону. Он не хотел, чтобы она работала. Ведь было глупо так надолго расставаться. А после она уже потеряла квалификацию и не могла ничем таким заниматься.

— В прошлом году мне пришлось заложить дом. И теперь мне не справиться с платежами, — выпаливает она, словно грешница на исповеди.

Однако Свена ее слова, похоже, не слишком удивляют.

— Знаешь... если ты захочешь продать дом, я легко найду тебе покупателя.

— Продать?

— Дом слишком велик для одного человека. И... ну я не знаю. Понимаешь, Лив, там ты живешь слишком изолированно. Конечно, когда-то этот дом помог Дэвиду попробовать свои силы. Более того, стал чудесным убежищем для вас двоих. Но не кажется ли тебе, что пора снова окунуться в гущу событий? Поселиться в более подходящем для жизни месте? Найти хорошенькую квартирку где-нибудь в центре Ноттинг-Хилла или, быть может, Клеркенвелла?

— Я не могу продать дом Дэвида.

— Почему нет?

— Потому что это неправильно.

Он решает не говорить очевидные вещи. Да в этом и нет особой нужды: по тому, как он откидывается в кресле и поджимает губы, все и так совершенно понятно.

— Ладно, — наклоняется он поближе к Лив. — Я просто предлагаю хороший вариант.

В окне за его спиной видно, как огромный кран, словно разрезая небо пополам, поднимает огромные железные балки, чтобы потом опустить их на зияющую пустотами крышу строящегося дома напротив. Когда пять лет назад архитектурное бюро «Солберг-Халстон» переехало сюда, из окна виднелись только ветхие лавчонки: букмекерская контора, прачечная, комиссионный магазин, — с побуревшими кирпичными стенами и годами не мытыми окнами с въевшейся в стекла свинцовой пылью. Сейчас на их месте котлован. Возможно, когда она в следующий раз сюда приедет, здесь все изменится до неузнаваемости.

— Как твои дети? — резко меняет она тему.

И Свен, со свойственной ему деликатностью, начинает говорить о другом.

Где-то ближе к концу их ежемесячного совещания Пол неожиданно замечает, что Мириам, их общая с Джейн секретарша, сидит не на стуле, а на двух огромных коробках с делами. Причем сидит страшно неудобно, согнув ноги, чтобы юбка сильно не задиралась, и подперев спиной очередные коробки.

Примерно в середине девяностых годов розыск похищенных произведений искусства превратился в большой бизнес. Но в Компании по розыску и возврату (КРВ) этого никто, как ни странно, не предвидел, и вот уже в течение пятнадцати лет все совещания проводились в захлавленном кабинете Джейн, где было не повернуться из-за бесконечных папок, коробок с факсами и фотокопиями, ну а если в совещании участвовали клиенты, то в ближайшей кофейне. Пол постоянно говорил, что пора подыскать новый офис. Причем каждый раз Джейн смотрела на него так, словно впервые об этом слышит, и одобрительно поддакивала. Но ничего не делала.

— Мириам? — спрашивает Пол, собираясь уступить ей место, но она отказывается.

— Мне вполне удобно, — отвечает она и продолжает кивать, будто желая убедить в этом в первую очередь лично себя.

— Ты сейчас упадешь в коробку с «Неразрешенными спорами за 1996 год», — говорит он, а про себя добавляет: «И я вижу все, что у тебя под юбкой».

— Нет, мне действительно удобно.

— Мириам, если честно, то я...

— Пол, у Мириам все нормально. Правда, — водружает на нос очки Джейн.

— О да, со мной все в порядке, — продолжает кивать Мириам, и Пол отворачивается, хотя чувствует себя ужасно неловко.

— Ну а теперь, когда вопрос размещения персонала закрыт, кто скажет, на чем мы остановились?

Их юрист Шон начинает зачитывать стоящие на повестке дня вопросы: обращение к правительству Испании для урегулирования проблемы возвращения частному коллекционеру реквизированной во время войны картины Веласкеса, невыполненная задача по возврату двух скульптур, возможный легальный обмен с целью удовлетворения претензий по реституции. Пол кладет шариковую ручку на блокнот и откидывается на спинку кресла.

И перед глазами снова возникает печальная улыбка той девушки. Взрыв неожиданного хохота. Грустные морщинки вокруг глаз. «Когда-то у меня хорошо получалось заниматься сексом по пьяному делу. Действительно хорошо».

Ему, конечно, трудно в этом признаться, но он был страшно разочарован, когда, выйдя из ванной, обнаружил, что она ушла. Пуховое одеяло сына было аккуратно расправлено, а комната оказалась пустой. Ни записки. Ни номера телефона. Ничего.

«Скажи, а она здесь частый гость?» — в тот же вечер небрежно поинтересовался он у Грега по телефону.

«Нет. Никогда ее раньше не видел. Извини, что втравил тебя в историю, братец».

«Пустяки», — ответил он, решив не просить брата сообщить ему, если она вдруг объявится. Внутренний голос почему-то подсказывал, что не объявится.

— Пол?

И он снова заставляет себя сосредоточиться на лежащем перед ним листе бумаги формата А-4.

— Хм, как вы уже знаете, мы вернули картину, принадлежащую семье Новицки. Теперь она отправлена на аукцион. Что, очевидно, хм, принесет определенный доход, — говорит он, проигнорировав предупреждающий взгляд Джейн. — В начале этого месяца у меня встреча насчет коллекции статуэток из аукционного дома «Бонэме», кроме того, удалось выйти на след картины Лоури, украденной из роскошного дома в Айршире, и... — Он пролистывает бумаги. — И еще эта французская работа, что была похищена во время Первой мировой войны, а теперь обнаружена в лондонском доме какого-то архитектора. С учетом стоимости картины полагаю, что без боя хозяева ее не отдадут. Но дело будет совершенно ясным, если мы сможем доказать, что картина действительно была украдена. Шон, попытайся найти прецедентные дела, касающиеся Первой мировой. Так, на всякий случай. Помимо этого, с прошлого месяца у меня осталось еще несколько дел, которыми надо заняться, и сейчас я веду переговоры со страховщиками насчет нашего участия в новом реестре произведений искусства.

— Еще в одном? — спрашивает Джейн.

— Все дело в неэффективной работе антикварного отдела полиции, — объясняет Пол. — Страховщики нервничают.

— Эта новость может оказаться очень даже неплохой. А что у нас со Стаббсом?

— Глухо. Полный тупик, — щелкает Пол шариковой ручкой.

— Шон?

— Все очень запутано. Я пытаюсь найти прецеденты, но дело вполне может быть передано в суд.

Джейн кивает и, услышав, что у Пола звонит мобильник, бросает на него строгий взгляд.

— Простите, — говорит он, выуживая из кармана телефон, и смотрит на имя на экране. — С вашего позволения, я должен принять этот звонок. Привет, Шерри!

Он спиной чувствует обжигающий взгляд Джейн, когда, осторожно переступая через ноги коллег, выходит в коридор. Оказавшись в своем кабинете, он закрывает за собой дверь.

— Ну что, получилось? Ее имя? Лив. Нет, это все, что я знаю. Неужели? Ты можешь ее описать? Да, похоже, это она. Светло-каштановые волосы, ближе к русым, до плеч. Завязывает их в хвост? Телефон, бумажник... А что еще, не знаю. Нет адреса? Нет, без понятия. Конечно, Шерри, окажи мне любезность. Можно мне ее забрать? — Он задумчиво смотрит в окно. — Да-да. Знаю. Кажется, я понял, как ей это вернуть.

— Алло?

— Это Лив?

— Нет.

— А Лив дома? — помедлив, спрашивает он.

— Вы что, судебный пристав?

— Нет.

— Ее сейчас здесь нет.

— Вы не скажете, когда она вернется?

— А вы точно не судебный пристав?

— Определенно не судебный пристав. У меня ее сумочка.

— Значит, вы тот самый вор, что спер у нее сумочку? Если собираетесь ее шантажировать, только понапрасну потратите время.

— Я не вор. И не судебный пристав. Я просто человек, который нашел сумочку и теперь хочет вернуть ее обратно. — Пол даже вспотел от напряжения.

На том конце провода повисает длинная пауза.

— А как вы узнали номер телефона?

— Он остался в памяти моего мобильного. Она одолжила его у меня, когда пыталась дозвониться домой.

— Вы что, были вместе с ней?

Пол расцветает от удовольствия. Он не решается сразу продолжить разговор, чтобы не выдать своего энтузиазма, но потом все-таки произносит:

— С чего вы взяли? Она что, упоминала обо мне?

— Нет, — отвечает собеседница, и Пол слышит звук закипающего чайника. — Я просто из любопытства. Послушайте, она сейчас проводит ежегодную экскурсию. Возможно, к четырем вернется. Если нет, могу взять сумочку вместо нее.

— А вы кем ей приходитесь?

Снова подозрительно длинная пауза.

— Я женщина, которая принимает украденные сумочки вместо Лив.

— Допустим. Давайте адрес.

— А вы не знаете? — И снова тишина. — Хм. Ну вот что я вам скажу, мистер. Приходите на угол Одли-стрит и Пакерс-лейн, а там вас кто-нибудь встретит.

— Я не вор и не краду сумочки.

— Говорите-говорите. Позвоните, когда будете там, — бросает она, и Пол даже на расстоянии чувствует, как напряженно работает ее мозг. — Если никто не ответит, просто отдайте сумочку женщине, что живет в картонных коробках у черного входа. Ее зовут Фрэн. А если мы все же решим с вами встретиться, то не вздумайте шутить. У нас есть пушка. — И, не дав ему ответить, вешает трубку.

Он сидит за письменным столом, тупо глядя на телефон.

Джейн без стука входит в его кабинет. Пола эта ее манера уже начинает порядком раздражать. Ему кажется, что она пытается застукать его на чем-то.

— Итак, картина Лефевра. Ты уже послал открытое письмо?

— Нет. Проверяю, не выставлялась ли она.

— А ты узнал адрес настоящих владельцев картины?

— В редакции журнала не сохранилось никаких записей. Но все нормально. Я отправлю письмо ему на работу. Если он архитектор, его нетрудно будет найти. Фамилия наверняка значится в названии компании.

— Прекрасно. Я сейчас получила сообщение о том, что предьявители прав на картину через несколько недель приедут в Лондон и хотят встретиться. Было бы здорово, если бы мы могли к их приезду получить ответ от хозяев картины. Можешь определить примерные даты?

— Постараюсь.

Он упорно смотрит на экран компьютера, где нет ничего, кроме скринсейвера, и Джейн, поняв намек, уходит.

Мо уже дома. Несмотря на иссиня-черные волосы и черную одежду, ее присутствие практически не чувствуется. Только иногда, просыпаясь около шести утра, Лив сквозь полудрему

слышит, как Мо снует туда-сюда, готовясь к утренней смене. И присутствие постороннего человека в доме странно успокаивает Лив.

А еще Мо каждый день готовит или оставляет в холодильнике завернутую в фольгу еду из ресторана, а на столе — инструкции по применению: «Нагревать 40 минут до температуры 180 градусов. Это означает ВКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ» или «ДОЕШЬ ЭТО, ТАК КАК К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ ОНО ВЫПРЕТ ИЗ КОНТЕЙНЕРА И УБЬЕТ НАС». В доме больше не пахнет сигаретным дымом. Лив подозревает, что Мо тайком покуривает на балконе, но не задает лишних вопросов.

Но в общем они живут обычной жизнью. Лив встает как всегда и направляется в сторону бетонных прогулочных дорожек, ноги ритмично касаются земли, в ушах свистит воздух. Она перестала покупать кофе и теперь заваривает для Фрэн чай, потом ест свой тост и садится за письменный стол, стараясь не слишком расстраиваться из-за отсутствия работы. Но теперь она замечает за собой, что с нетерпением ждет трех часов, когда в замке повернется ключ и Мо вернется домой. Мо не предложила ей арендной платы — Лив не уверена, что им обоим хочется переводить отношения в деловое русло, — но на следующий день после пропажи сумочки на кухонном столе появилась кучка смятых банкнот. «Экстренный муниципальный налог, — гласила приложенная к деньгам записка. — Только не вздумай заморачиваться на эту тему».

Но Лив и не думала заморачиваться. У нее просто не было другого выхода.

Они как раз пьют чай и читают лондонскую бесплатную газету, когда раздается телефонный звонок. Мо поднимает голову, словно охотничья собака, почуявшая запах дичи, и смотрит на часы.

— О, я, кажется, знаю, кто это, — говорит она и, так как Лив снова утыкается в газету, добавляет: — Это мужчина с твоей сумочкой.

— Что? — Лив так и застывает, не донеся кружку до рта.

— Забыла тебе сказать. Он уже звонил. Я велела ждать нас на углу.

— Какой мужчина?

— Без понятия. Я только убедилась, что он не судебный пристав.

— Боже мой! Неужели у него и правда моя сумочка? Как думаешь, а он не потребует вознаграждения? — Пошарив по карманам, она достает четыре фунта монетами и еще какую-то мелочь. — Да, особо не разгуляешься. Как думаешь?

— Если учесть, что интимных услуг ты не оказываешь, то для тебя это вполне приличная сумма.

— Всего четыре фунта.

Лив зажимает деньги в кулаке, и они идут к лифту. На лице Мо играет хитрая ухмылка.

— Ну что еще? — спрашивает Лив.

— Да вот, я тут подумала. Вот смеху-то будет, если мы украдем его сумку. Возьмем и грабанем его! Девушки-грабители. Я однажды на почте ukrала мелки. Так что я в отличной форме, — хихикает Мо и, заметив, что Лив явно шокирована, добавляет: — Мне тогда было семь лет.

Затем они молча едут на лифте до первого этажа. Когда двери открываются, Мо говорит:

— А потом смоемся по-тихому. Он же не знает твоего адреса.

— Мо... — начинает Лив, но, выйдя из парадной, замечает стоящего на углу мужчину, видит его манеру проводить рукой по коротким волосам. Она густо краснеет и круто разворачивается.

— Эй, ты куда? — удивляется Мо.

— Мне туда нельзя.

— Почему? Я уже отсюда вижу у него в руках твою сумочку. Выглядит он вполне нормально.

Не похож на грабителя. У него на ногах туфли. А грабители не носят туфли.

— Можешь забрать сумочку вместо меня? Ну пожалуйста... Я не могу с ним говорить.

— Почему? — испытующе смотрит на нее Мо. — И с чего это ты так покраснела?

— Послушай, я ночевала в его доме. И теперь мне ужасно неловко.

— О господи! Ты занималась с этим мужчиной нехорошими вещами.

— Вовсе нет.

— А вот и да, — сверлит ее глазами Мо. — Или хотела заняться. ТЫ ХОТЕЛА. Вот потому-то ты сейчас такая пришибленная.

— Мо, пожалуйста! Ты можешь просто взять вместо меня сумочку? Скажи ему, что меня нет дома. Ну что тебе стоит? — И, не дав Мо и рта раскрыть, Лив в полном смятении вскакивает в лифт и нажимает на кнопку верхнего этажа.

Оказавшись в стеклянном доме, она прислоняется к двери и пытается унять сердцебиение.

«Мне уже тридцать лет», — говорит она себе.

Потом слышит, как на площадке снова открываются двери лифта.

— О боже, Мо, спасибо большое, я...

Перед ней стоит Пол Маккаферти.

— А где Мо? — задает она глупый вопрос.

— Твоя соседка по квартире? Она... своеобразная.

Лив чувствует, что потеряла дар речи. Язык будто распух и не помещается во рту. Она машинально приглаживает волосы и неожиданно понимает, что не помыла голову.

— Ну, так или иначе, здравствуй, — говорит он.

— Привет.

— Твоя сумочка. Это ведь точно твоя? — протягивает он руку.

— Поверить не могу, что ты ее нашел.

— Я хорошо умею разыскивать пропавшие вещи. Это моя работа.

— О да. Ты ведь бывший коп. Но все равно спасибо. Спасибо большое.

— Если тебе интересно знать, то сумочку нашли в мусорном баке. Вместе с двумя другими. Рядом с университетской библиотекой. Сторож увидел их и отнес в полицию. Боюсь только, твои карточки и телефон пропали... Но есть и хорошая новость. Все деньги целы.

— Что?

— Да уж. Невероятно. Двести фунтов. Я проверял.

Она чувствует теплую волну облегчения.

— Надо же! Они не тронули деньги! Ничего не понимаю.

— Я тоже. Похоже, когда они открывали кошелек, деньги просто выпали оттуда.

Лив берет сумочку и внимательно осматривает. На дне среди ее личных вещей типа щетки для волос, книжки в бумажной обложке, которую она читала в то утро, и завалявшегося тюбика губной помады лежат двести фунтов.

— Никогда раньше о таком не слыхала. Но все равно приятно. Одной заботой меньше.

Он улыбается. Но на его губах не снисходительная улыбка типа «о, несчастная пьянчужка, которая подбивала под меня клинья», а улыбка действительно очень довольного собой человека.

И она неожиданно для себя тоже улыбается:

— Это просто... невероятно.

— А где моя награда в четыре фунта? — спрашивает он и, встретив ее недоуменный взгляд, со смехом говорит: — Мо рассказала мне. Я шучу. Seriously. Но, — продолжает он, от смущения разглядывая носки туфель, — как насчет того, чтобы куда-нибудь вместе сходить? — И, не дождавшись ответа, добавляет: — Так, ничего особенного. И напиться вовсе необязательно. И в гей-бар идти необязательно. Можно просто немного пройтись. Будем гулять, сжимая в руке

ключи и на всякий случай приглядывая за сумками.

— Идет, — подумав, кивает Лив и снова неожиданно улыбается. — Я с удовольствием.

Весело насвистывая, Пол Маккаферти спускается в дребезжащем лифте. Оказавшись на улице, он вынимает чек из банкомата, комкает его и кидает в ближайшую урну.

Они встречаются уже в пятый раз. В первый раз они едят пиццу, и Лив пьет минеральную воду, но лишь до тех пор, пока не убеждается, что он и правда не считает ее алкоголичкой, после чего позволяет заказать себе джин с тоником. Лучший джин с тоником, который она когда-либо пробовала. Пол провожает Лив до дому и, уже собираясь уходить, неуклюже целует в щеку, и они дружно смеются над неловкостью ситуации. После чего Лив неожиданно наклоняется вперед и целует его уже в губы. Поцелуй короткий, но настойчивый, многообещающий. У Лив даже перехватывает дыхание. Пол неуклюже пятится к лифту, и, пока двери медленно закрываются, она видит его счастливую улыбку.

Он ей нравится.

Во второй раз они, по совету его брата, идут послушать живую музыку, и это ужасно. Через двадцать минут Лив с облегчением понимает, что Пол тоже находит оркестр ужасным, и, когда он спрашивает, не хочет ли она уйти, они как бы случайно берутся за руки, протискиваясь к выходу в переполненном баре. И идут так до самых дверей его квартиры. Там они разговаривают о своем детстве, любимых оркестрах, собаках и о том, что оба ненавидят цуккини, затем целуются на диване до тех пор, пока ноги у нее не становятся ватными.

А еще через какое-то время он звонит ей в обеденный перерыв, чтобы сообщить, что случайно оказался рядом с ее домом, и спросить, не хочет ли она выпить с ним кофе.

— Ты что, действительно проходил мимо? — спрашивает она, после того как они выпили кофе и съели пирожные, попытавшись растянуть удовольствие настолько, насколько позволял отпущенный ему на обед час.

— Конечно, — отвечает он, и она, к своему восторгу, замечает, что у него краснеют уши.

Он ловит ее взгляд и теребит себя за левую мочку:

— Вот черт! Врун из меня никудышный.

В четвертый раз они идут в ресторан. Но когда должны были подать пудинг, звонит ее отец, чтобы сообщить, что Кэролайн опять его бросила. Он так громко завывает в телефонную трубку, что Пол буквально подпрыгивает на стуле.

— Мне надо идти, — говорит она, отказываясь от предложенной им помощи.

Нет, она еще не готова к встрече этих двоих, особенно учитывая то обстоятельство, что отец может встретить их без штанов.

Когда она через полчаса приезжает к отцу, то обнаруживает, что Кэролайн уже дома.

— Я совершенно забыл, что этим вечером она собиралась на этюды, — робко блеет отец.

Пол не пытается форсировать события. Лив даже начинает задумываться, не слишком ли много она говорит о Дэвиде и не впадает ли в некую крайность. Но потом решает, что Пол слушает просто из вежливости. И вообще, поскольку Дэвид — это неотъемлемая часть ее жизни, то Пол, если хочет быть с ней, должен принять и это. Мысленно она уже обсудила с ним большую для нее тему и даже успела — тоже мысленно — пару раз поссориться.

Теперь она просыпается и сразу начинает думать о Поле, вспоминает его манеру слушать, подавшись вперед, словно он ловит каждое ее слово, вспоминает его лицо: преждевременно поседевшие виски и ярко-голубые глаза. А ведь она, казалось, уже и забыла, каково это — постоянно думать о ком-то, желать физической близости и чувствовать легкое головокружение при воспоминании о запахе мужской кожи. Она по-прежнему сидит без работы, но теперь это ее волнует уже меньше. Иногда Пол посреди дня посылает ей текстовые сообщения, и она прямо-таки слышит его американский акцент.

Но Лив боится показать Полу Маккаферти, как сильно он ей нравится. Опасается сделать

неверный шаг, ведь с тех пор, как она в последний раз ходила на свидания, прошло уже девять лет и правила игры, должно быть, изменились. Лив слушает бесстрастные излияния Мо насчет знакомств по Интернету, «полезных друзей», того, когда надо, а когда не надо заниматься любовью, а еще насчет депиляции и техники секса, и ей кажется, что она беседует с кем-то, кто говорит на польском языке.

Ей трудно подходить к Полу Маккаферти с той же меркой, какой Мо меряет всех мужчин. Она считает их помешанными на порнухе, порочными, никчемными, корыстными бездельниками. Пол же очень прямой и для Лив — как открытая книга. Именно поэтому он и не захотел делать карьеру в своем спецотделе нью-йоркской полиции.

«По мере того как ты поднимаешься по служебной лестнице, все черное и белое постепенно становится серым», — объясняет он.

И только когда он заводит разговор о сыне, речь его становится неуверенной и с него мигом слетает вся решительность.

— Развод — жуткое дерьмо, — говорит он Лив. — Мы пытаемся себя убедить, что с детьми все в порядке, что лучше уж так, чем заставлять их слушать, как двое не слишком счастливых людей орут друг на друга, но боимся узнать у них правду.

— Правду?

— Да. Чего им на самом деле хочется. Потому что знаем ответ. Он может разбить нам сердце. — Пол задумчиво смотрит вдаль, но уже через несколько секунд снова улыбается: — И все же Джейк — хороший парень. Действительно хороший. Слишком хороший для нас с Леони.

Ли нравится то, что он типичный американец, не такой, как другие, и к тому же полная противоположность Дэвиду. Пол по природе своей очень обходительный, он из тех мужчин, которые всегда пропускают даму вперед, распахнув перед ней дверь, причем не из желания сделать красивый жест, а потому что ему просто в голову не может прийти не открыть перед женщиной дверь. А еще в нем чувствуется скрытая властность характера: когда он идет по улице, люди стараются уступить ему дорогу. Но похоже, он этого даже не замечает.

— Боже мой, не стоит принимать все так близко к сердцу, — говорит Мо.

— Что? Я только хочу сказать, что приятно проводить время с кем-то, кто...

— С кем собираешься перепихнуться на этой неделе, — фыркает Мо.

Но Лив пока не приглашает его в Стекланный дом. Мо чувствует, что подругу гложут сомнения.

— Ну ладно, Рапунцель. Если так и собираешься сидеть в своей башне, то должна хотя бы позволить своему принцу подержаться за твои волосы.

— Не понимаю...

— Я вот что думаю, — говорит Мо. — Мы должны сделать перестановку в твоей комнате. Слегка изменить дом. Иначе ты так и будешь переживать, что привела кого-то в дом Дэвида.

Правда, у Лив имеется сильное подозрение, что перестановкой мебели дела не исправишь. Она в любом случае будет переживать. Но во вторник днем, когда у Мо выходной, они передвигают кровать к белой бетонной стене, которая идет, как своеобразный спинной хребет, через центр дома. Честно говоря, здесь не самое подходящее место для кровати, но Лив не может не признать, что есть в этих переменах нечто вдохновляющее.

— Ну а теперь, — улыбается Мо, глядя на «Девушку, которую ты покинул», — картину перевешивать будем?

— Нет. Она остается.

— Но ты же сама говорила, что Дэвид купил ее специально для тебя. Что означает...

— Неважно. Портрет остается. И кроме того... — Лив, прищурившись, смотрит на женщину на картине. — Думаю, в гостиной он будет выглядеть неуместно. Картина... слишком интимная.

— Интимная?

— Она... сексапильная. Ты не находишь?

— Нет, не нахожу, — взглядывается в портрет Мо. — По мне, так лучше туда повесить большой плазменный телевизор.

С этими словами Мо уходит, а Лив продолжает смотреть на картину и впервые за долгое время не чувствует острого приступа тоски. «Как думаешь, — спрашивает она девушку, — может, действительно настало время идти дальше?»

В пятницу утром все начинает идти наперекосяк.

— Итак, у тебя самое настоящее свидание! — Отец делает шаг вперед и заключает ее в медвежьи объятия.

Сейчас в нем ключом бьет joie de vivre.^[28] Он опять говорит одними восклицательными предложениями. И к тому же полностью одет.

— Он просто... Папа, я не хочу делать из свидания целую историю.

— Но это же замечательно! Ты красивая молодая женщина! Так предназначено самой природой! Ты должна расправить крылья, показать все, на что ты способна!

— Папа, у меня нет крыльев. И насчет способностей я тоже не слишком уверена.

— А что ты собираешься надеть? Может, что-нибудь поярче? Кэролайн, что ей надеть?

Кэролайн идет на кухню, на ходу закалывая длинные рыжие волосы. Она только что ткала гобелен, и от нее слегка пахнет овцой.

— Майкл, ей уже тридцать лет, и она вполне способна сама подобрать себе гардероб.

— Но ты только посмотри, что на ней надето! Она так и осталась верна эстетическим пристрастиям Дэвида: все вещи исключительно черные или серые, причем абсолютно бесформенные. Дорогая, бери пример с Кэролайн. Посмотри, какие цвета она носит! Такая женщина всегда привлекает внимание...

— Твое внимание может привлечь женщина, даже одетая, как вьючное животное, — беззлобно говорит Кэролайн, включая чайник.

Отец стоит за ее спиной, прижимаясь к ней всем телом. Его глаза закрыты в экстазе.

— Мы, мужчины, первобытные существа. Наш взгляд притягивает все яркое и красивое. — Открыв один глаз, он придиричиво рассматривает Лив: — Быть может, тебе стоит одеваться не так мужеподобно, что ли.

— Мужеподобно?

— Мешковатый черный свитер. Черные джинсы. Отсутствие косметики. — Слегка отступив, отец придиричиво ее разглядывает. — Не чувствуется сладкоголосого пения сирены.

— Лив, носи то, в чем тебе удобно. И не обращай на него внимания, — вмешивается в разговор Кэролайн.

— Так ты считаешь, что я кажусь мужеподобной?

— Напоминаю, что вы встретились в гей-баре. Возможно, ему и нравятся женщины, у которых слегка... мальчиковый вид.

— Ты просто старый дурак, — подводит итог разговору Кэролайн и с кружкой чая в руках покидает кухню.

— Значит, я похожа на лесбиянку, исполняющую роль «мужчины»?

— Я просто хочу сказать, что ты можешь подать себя в более выгодном свете. Возможно, сделать легкую завивку. Надеть пояс, чтобы подчеркнуть талию...

Кэролайн снова просовывает голову в дверь:

— Дорогая, совершенно не важно, что на тебе сверху надето. Главное то, что под одеждой. Самую важную роль здесь играет белье.

Отец смотрит ей вслед и чмокает губами.

— Белье, — мечтательно произносит он.

— Спасибо, пап. Теперь я себя чувствую намного лучше, — оглядев свою одежду, говорит Лив. — Просто... замечательно.

— На здоровье. Обращайся в любое время, — хлопает он рукой по сосновому столу. — И обязательно сообщи, как все прошло! Надо же, свидание! Потрясающе!

Лив разглядывает свое отражение в зеркале. Последний раз мужчина видел ее обнаженной три года назад, а обнаженной и одновременно трезвой, когда ей было не все равно, — то четыре. Она последовала совету Мо: сделала депиляцию, оставив на теле только узкую полоску растительности, натерла скрабом лицо, помыла голову с кондиционером. Ей пришлось хорошенько порыться в ящике с нижним бельем, прежде чем удалось найти что-то более-менее соблазнительное и не слишком старушечье. Отложив в сторону щипчики, она в виде исключения подпилила ногти на руках, а ногти на ногах покрыла лаком.

Дэвида такие вещи абсолютно не волновали. Но Дэвида больше нет рядом.

Она инспектирует свой гардероб, пытаясь отыскать хоть что-то среди вешалок с черной и серой одеждой, практичными, но унылыми брюками и джемперами. В результате останавливается на черной юбке-карандаше и джемпере с V-образным вырезом. А к ним подбирает пару красных лодочек на высоком каблуке, с бантиками спереди, которые она надевала всего один раз, на свадьбу, но так и не решилась выбросить. Возможно, туфли уже не слишком модные, но они явно отличаются от той обуви, что носят лесбиянки, играющие роль «мужчины».

— Вот это да! Приятно посмотреть! — Мо, которой надо заступать в дневную смену, стоит уже в жакете, перекинув через плечо рюкзак.

— А не слишком ли? — держась за щиколотку, спрашивает с сомнением в голосе Лив.

— Выглядишь обалденно. Надеюсь, ты не надела бабушкины панталоны?

— Нет, я не надела бабушкины панталоны, — переводит дыхание Лив. — Хотя и не понимаю, почему вся одежда должна быть подобрана в соответствии с нижним бельем.

— Тогда вперед и постарайся ничего не усложнять. Я оставила для тебя цыпленка и салат в холодильнике. Тебе останется только заправить его. Заночую у Раника, чтобы не путаться под ногами. Так что весь дом снова в твоём распоряжении, — многозначительно ухмыляется она и закрывает за собой дверь.

Лив снова поворачивается к зеркалу. И оттуда на нее смотрит незнакомая, слишком расфуфыренная женщина. Лив, слегка ковыляя с непривычки на высоких каблуках, ходит по комнате и пытается понять, что именно сейчас выводит ее из равновесия. Юбка сидит идеально. Благодаря бегу, форма ног у нее красивая, почти скульптурная. Туфли служат необходимым ярким пятном, гармонично дополняя ее наряд. Нижнее белье красивое, но не вульгарное. Она складывает руки на груди и садится на кровать. Уже через час он должен быть здесь.

Она поднимает глаза на «Девушку, которую ты покинул», словно хочет сказать ей: «Я хочу быть похожей на тебя».

Но впервые в жизни улыбка девушки на портрете ничего ей не обещает.

«Можешь не надеяться», — словно говорит она.

Лив закрывает глаза и сидит так несколько минут. Потом берет мобильник и посылает Полу сообщение:

Планы изменились. Ты не против встретиться где-нибудь в другом месте, где мы сможем выпить?

— Что, не захотелось готовить? Я все равно собирался захватить с собой еду из ресторана.

Откинувшись на спинку стула, Пол переводит взгляд на шумную компанию офисных работников, которые, судя по градусу пьяных заигрываний, похоже, сидят здесь уже довольно давно. Пола явно забавляют и не слишком трезвые женщины, и дремлющий в углу парень, с виду типичный бухгалтер.

— Мне просто хотелось выбраться на свежий воздух.

— Ну да. Ох уж эта надомная работа! Я уже и забыл, что она кого угодно может свести с ума. Когда брат только переехал сюда, то неделями просиживал у меня, составляя резюме, а когда я возвращался домой, то он в течение часа донимал меня разговорами.

— Вы что, приехали из Америки вместе?

— Нет, он приехал сюда после моего развода, чтобы морально меня поддержать. Я тогда был просто никакой. А потом решил остаться. — Пол оказался в Англии десять лет назад. Его жена-англичанка страшно скучала по дому, чувствовала себя несчастной, особенно после рождения Джейка, и он ради нее ушел из нью-йоркской полиции. Но, оказавшись здесь, они поняли, что дело было вовсе не в стране проживания, а в них самих. — Эй, смотри, парень в синем костюме кадрит вон ту девицу с шикарными волосами.

— Волосы не настоящие, — потягивая свой напиток, замечает Лив.

— Да ты что? Ты, наверное, шутишь! Неужели парик?

— Нарощивание искусственных волос. Сразу видно.

— Только не мне. Скажи еще, что и грудь у нее тоже ненатуральная!

— Натуральная. Правда, эта девица четырехгрудая.

— Четырехгрудая?

— Лифчик ей явно мал. Перерезает груди пополам. И потому кажется, что у нее их четыре.

Пол начинает так сильно хохотать, что даже задыхается. Он уж и не помнит, когда в последний раз так смеялся. Лив улыбается ему, но как-то вымученно. И вообще сегодня она какая-то странная, отвечает невпопад, словно ее мысли заняты чем-то другим.

— Как думаешь, — говорит он, справившись с приступом смеха, — четырехгрудая девица клюнет на него?

— Ну, если только после очередной рюмки. Не думаю, что она на него запала.

— Да. Она на него даже не смотрит. Похоже, ей нравится вон тот, в серых туфлях.

— Женщинам не нравятся серые туфли. Уж можешь мне поверить.

Он поднимает брови, ставит стакан на стол.

— Вот только теперь и начинаешь понимать, почему мужчине легче расцепить атом или завоевать другую страну, чем догадаться, о чем думает женщина.

— Пфф! Если будешь хорошо себя вести, я покажу тебе руководство по применению, — говорит она и, встретив его взгляд, густо краснеет, словно лягнула явно не то. Возникает неловкая пауза. Она смотрит на свой стакан. — А ты скучаешь по Нью-Йорку?

— Мне нравится там гостить. Теперь, когда я приезжаю домой, все смеются над моим акцентом, — отвечает Пол и, так как Лив его откровенно не слушает, добавляет: — Не стоит так волноваться. Честное слово. Мне и здесь хорошо.

— О, нет. Прости. Я не хотела... — Слова замирают у нее на губах. За столом снова воцаряется молчание. Но потом она поднимает на него глаза и начинает говорить, положив палец на край стакана: — Пол... Я хотела пригласить тебя к себе сегодня вечером. Хотела, чтобы мы... Но я просто... Еще слишком рано. Я не могу. Не могу этого сделать. Вот почему я отменила обед. — Фразы будто повисают в воздухе, и она краснеет до корней волос.

Он открывает и закрывает рот. Наклоняется вперед и тихо произносит:

— Достаточно было сказать: «Я не голодна».

— Боже мой! Свидание со мной, наверное, просто мрак! — удивленно посмотрев на Пола, ахает Лив.

— Может быть, ты просто немножко более откровенна, чем следует.

— Прости! — От отчаяния у нее из груди вырывается стон. — Я не понимаю, что...

Он снова подается вперед и легонько касается ее руки. Ему ужасно хочется, чтобы она перестала так переживать.

— Лив, — ровным голосом начинает он. — Ты мне нравишься. Ты удивительная женщина. И я прекрасно понимаю, что ты слишком долго просидела в четырех стенах. И я не... Я не хочу... — Но у него не хватает слов. Еще не время для подобного разговора. Более того, где-то в глубине души он, несмотря ни на что, разочарован. — Вот черт! Как насчет того, чтобы поесть пиццы? Потому что я умираю с голоду. Пойдем перекусим. Будем смущать друг друга где-нибудь в другом месте.

— У меня дома полно еды. — Ее колено касается его ноги.

Он смеется. Потом неожиданно становится очень серьезным.

— Прекрасно. Хотя теперь уже я не знаю, что сказать.

— Скажи: «Это было бы здорово». Кстати, можешь добавить: «Лив, заткнись, ради бога, чтобы не усложнять все еще больше».

— Что ж, это было бы здорово, — говорит Пол, подает ей пальто, и они выходят из паба.

Теперь они уже не молчат. Каким-то чудом возникшее было напряжение исчезает, и они ведут себя более непринужденно. Возможно, благодаря его словам или внезапно нахлынувшему на Лив чувству облегчения. И она от души веселится, радуясь его шуткам. Они лавируют между группами туристов и наконец ловят такси, а когда он помогает ей забраться в машину и сестра рядом с ним на заднее сиденье, она прислоняется к нему, вдыхает мужской запах его чистой кожи, и от ощущения нежданно-негаданно привалившего счастья у нее слегка кружится голова.

Они идут к ее дому, и он со смехом вспоминает их первую встречу. А еще то, как Мо приняла его за грабителя.

— Я еще стребую с тебя обещанные четыре фунта, — улыбается он. — Мо сказала, что я их честно заслужил.

— Ну, если равняться на Мо, то можно далеко зайти. Она, например, считает нормальным подливать в бокалы неприятным посетителям жидкое моющее средство.

— Жидкое моющее средство?!

— А они потом всю ночь бегают писать. Вот так она берет на себя функции Господа Бога и лишает незадачливых гостей романтических надежд. И тебе лучше не знать, что она делает с кофе тех, кто ей реально насолил.

— Мо понапрасну растрчивает себя на этой работе, — восхищенно качает он головой. — Организованная преступность — вот где ей самое место.

Они вылезают из такси и подходят к дому. Воздух уже по-осеннему холодный и слегка покалывает щеки. Поэтому они спешат поскорей попасть в удушливое тепло парадной. Теперь она чувствует себя немного глупо. Ей почему-то кажется, что за предыдущие дни Пол Маккаферти превратился для нее в некую абстрактную идею. В символ ее движения вперед. И сейчас она с трудом выдерживает тяжесть разом свалившихся на нее перемен.

Но тут у нее в ушах словно звучит голос Мо: «Эй, миссис! Вредно так много думать».

Правда, когда за ними закрывается дверь лифта, оба замолкают. Лифт, дребезжа, громыхая и моргая лампочками, с трудом ползет вверх. Проезжает мимо второго этажа, и они слышат шаги человека, идущего по лестнице, звуки виолончели, раздающиеся из какой-то квартиры.

Лив остро чувствует его присутствие в закрытом пространстве: цитрусовый запах лосьона

после бритья, тяжесть его руки на своих плечах. Она опускает голову и мысленно ругает себя за то, что переделалась в старомодную юбку и туфли без каблука. Ругает, что не надела лодочки с бантиками.

Потом поднимает глаза и видит, что он наблюдает за ней. Но без тени улыбки на лице. Неожиданно он притягивает ее к себе, наклоняется к ней, их лица разделяет всего несколько дюймов. Но не целует.

Он внимательно смотрит на нее, словно изучая ее глаза, ресницы брови, рот, и ей неуютно под его пристальным взглядом. Она ощущает дыхание Пола на своей коже, видит его красиво вырезанные губы, которые так и хочется слегка прикусить зубами.

Но он все еще не целует ее.

И это заставляет ее трепетать от желания.

— Я все время думаю о тебе, — шепчет он.

— Как приятно, — отвечает она.

Тогда он осторожно трется кончиком носа о ее нос. Их губы соприкасаются. Она чувствует совсем рядом его сильное тело. И понимает, что ноги ее уже не держат.

— Да, очень приятно, — продолжает она. — Но я хочу сказать, что мне страшно. Правда, в хорошем смысле. Мне кажется, что я...

— Помолчи немного, — тихо просит он.

Его слова замирают на ее губах, его пальцы поглаживают ее шею, и она теряет дар речи.

А когда лифт приезжает на верхний этаж, они уже вовсю целуются. Он рывком открывает дверь, и, подхваченные волной нестерпимого желания, так и не разомкнув объятий, они оказываются на площадке. Она засовывает руку ему под рубашку, вбирая тепло его тела, а другой пытается открыть дверь.

Они вваливаются в дом. Свет она не включает. Он обнимает ее за талию, впившись ей в губы, и она чуть не падает навзничь. Она хочет его до дрожи в коленках. Потом ударяется о стену и слышит, как он вполголоса выругался.

— Здесь, — шепчет она. — Сейчас.

Она чувствует тяжесть его тела. Они на кухне. Луна заливает комнату холодным синим светом. У нее вдруг возникает ощущение опасности, словно в комнату проникло нечто призрачное, но живое — непонятное и в то же время сладостное. Немного поколебавшись, она стягивает через голову джемпер. И снова становится той, что когда-то была: смелой и ненасытной. Глядя ему прямо в глаза, расстегивает блузку. Раз, два, три — пуговицы выскакивают из петель. Блузка падает с плеч, и теперь она по пояс голая. От холодного воздуха обнаженная кожа туго натягивается. Его взгляд останавливается на ее груди, и ей становится трудно дышать. Все вокруг неожиданно останавливается.

В комнате слышится лишь их тяжелое дыхание. Ей кажется, что ее загипнотизировали. Она наклоняется вперед, ощущая в это короткое мгновение рождение чего-то мощного и прекрасного. И они снова целуются, и она понимает, что много лет ждала именно этого поцелуя, поцелуя, который будет длиться вечно и навсегда останется у нее в памяти. Она вдыхает запах его лосьона после бритья и забывает обо всем. Даже о том, где они сейчас. Он нежно отстраняется и ласково ей улыбается.

— Что? — задыхающимся голосом, почти теряя сознание, спрашивает она.

— Ты, — шепчет он и умолкает.

Ее лицо расплывается в счастливой улыбке, и она целует его, целует до обморока, до головокружения, забывая обо всем и внимая только настойчивому зову плоти. *Здесь. Сейчас.* Его руки обнимают ее. Губы ласкают ямку на ее шее. Она прижимается к нему, ей не хватает воздуха, сердце бешено колотится, каждая клеточка тела становится такой чувствительной, что его

прикосновения вызывают дрожь. Ей хочется смеяться от радости. Она срывает с него рубашку. Поцелуи становятся все более и более страстными. Он неловко сажает ее на кухонный стол, и она обвивает его ногами. Тогда он наклоняется и задирает ей юбку до талии, а она выгибается, чувствуя спиной холодный гранит, ее глаза устремляются к стеклянному потолку, руки судорожно цепляются за его волосы. Ни один защитный экран вокруг не закрыт, стеклянные стены — будто окно в ночное небо. Она вглядывается в темноту и ощущает странное ликование в душе.

«Я еще жива», — проносится у нее в голове.

А потом она закрывает глаза и больше уж ни о чем не думает.

Его голос возвращает ее к жизни.

— Лив? — Он держит ее. Она слышит собственное дыхание. — Лив? — снова спрашивает он, и она перестает дрожать. — Ты в порядке?

— Прости. Да. Прошло столько времени...

Его руки в молчаливом ответе сжимают ее еще крепче. И снова тишина.

— Ты не замерзла?

Она пытается отдышаться и отвечает не сразу:

— Просто околела от холода.

Тогда он осторожно опускает ее, поднимает с пола рубашку и накидывает на нее. Они в темноте смотрят друг на друга.

— Что ж, это было... — Она хочет небрежно сказать что-нибудь остроумное, но ничего не выходит. Язык ее не слушается. Ей страшно отпустить его, словно если он не будет ее держать, то она улетит.

Но реальная жизнь уже потихоньку вступает в свои права. Она слышит непривычно громкий шум транспорта на улице, чувствует босыми ногами холодный каменный пол. Похоже, она потеряла туфлю.

— Мы, кажется, не закрыли входную дверь, — шепчет она, глядя в коридор.

— Черт, не могу найти ботинок! А ты знала, что у тебя в доме нет крыши?

Она поднимает глаза. Вроде, крышу никто не открывал. Наверное, случайно нажала на кнопку, когда падала на кухонный стол. Осенний воздух обволакивает их, ее обнаженное тело покрывается мурашками, словно и оно только сейчас поняло, что на самом деле произошло. На спинке стула висит черный свитер Мо, похожий на крылья хищной птицы.

— Погоди, — говорит она.

Шлепает по кухне и нажимает на кнопку, прислушиваясь к скрежету закрывающейся крыши. Пол смотрит на звездное небо, потом — на нее, медленно поворачивается на триста шестьдесят градусов и, дав глазам немного привыкнуть к темноте, осматривает кухню.

— Ну и ну! Я ожидал совсем другого.

— Почему? А чего ты ожидал?

— Не знаю... Вся эта история с муниципальным налогом... — Он поднимает глаза к стеклянному потолку. — Я думал, у тебя захламленная маленькая квартирка. Типа моей. А это...

— Дом Дэвида. Он построил его, — роняет она и, заметив, что Пол переменялся в лице, спрашивает: — Что? Слишком большой?

— Нет. — Пол пробегает глазами гостиную и делает глубокий вдох. — Это не запрещено. Он... э-э-э... действительно замечательный парень.

Она наливает им по стакану воды и начинает одеваться, стараясь не показывать своего смущения. Он подает блузку, они смотрят друг на друга и, несмотря на то что теперь почти одеты, чувствуют некоторую неловкость.

— Итак, а теперь что случилось? Хочешь побыть одна? — улыбается он и поспешно добавляет: — Но должен тебя предупредить. Если хочешь, чтобы я ушел прямо сейчас, дай мне тайм-аут, чтобы ноги перестали дрожать.

Она смотрит на Пола Маккаферти, вдруг ставшего до боли родным и близким. Нет, она не хочет, чтобы он уходил. Она хочет нежиться в его объятиях, положив ему голову на грудь. Она хочет просыпаться, не чувствуя безотчетного страха, когда невозможно убежать от своих мыслей. В ней еще живет тень сомнения — *Дэвид*, — но она гонит ее прочь. Все, пора жить не прошлым, а настоящим. Нет, она больше не будет девушкой, которую покинул Дэвид.

Она не включает Свет. А тихонько берет Пола за руку и ведет наверх, в свою спальню.

Но они и не думают спать. Часы превращаются в волшебные мгновения, когда нет ничего, кроме слившихся в объятии тел и страстного шепота. Она уже и забыла, как это приятно — прижиматься к мужчине, от которого не в силах оторваться. Ей кажется, будто она получила новый заряд жизненной энергии и теперь парит в облаках.

В шесть часов утра холодный свет зари потихоньку проникает в комнату.

— Потрясающее место, — шепчет он, обратив взгляд в сторону окна.

Их ноги переплетены, ее кожа все еще хранит след его поцелуев. Она чувствует себя пьяной от счастья.

— Да, так оно и есть. Хотя, честно говоря, я не могу его себе позволить. — Она всматривается в его белеющее в полумраке лицо. — У меня полная неразбериха с финансами. Мне сказали, что пора продавать.

— Но ты же не хочешь.

— Мне кажется, будто это... предательство.

— Я прекрасно понимаю, почему тебе жалко отсюда уезжать. Здесь очень красиво. И так спокойно, — говорит он и снова поднимает глаза к потолку: — Вау! И ты можешь в любой момент раздвинуть крышу! Одно это дорогого стоит...

Она высвобождается из его объятий, чтобы повернуть голову, покоящуюся на его плече, в сторону окна.

— Иногда по утрам я смотрю, как баржи плывут к Тауэрскому мосту. Представляешь, если свет падает правильно, то река становится похожа на поток расплавленного золота.

— Расплавленного золота?

Теперь они лежат молча, в комнате становится светлее. Она смотрит на реку в лучах солнца, и ей кажется, будто это путеводная нить в будущее. «Все хорошо? — спрашивает она себя. — Неужели я могу позволить себе снова стать счастливой?»

Пол странно притих, и она решает, что его наконец сморил сон. Но, повернувшись, она видит, что он смотрит на стену напротив кровати. Смотрит на портрет «Девушки, которую ты покинул», освещенный тусклым утренним светом. Она приподнимается на локте и наблюдает за ним. Его взгляд словно прикован к картине, и по мере того как становится светлее, он все пристальнее всматривается в нее. «Он оценил ее», — думает она. И чувствует, как в глубине души рождается неподдельная радость.

— Тебе нравится? — спрашивает она, но он, похоже, не слышит. Тогда она опять сворачивается клубком, уткнувшись ему в плечо. — Через несколько минут краски станут ярче. Картина называется «Девушка, которую ты покинул». Или, по крайней мере, мы... я так думаю. Написано сзади на раме. Это... моя самая любимая вещь во всем доме. На самом деле и во всем мире. Дэвид подарил мне ее во время медового месяца, — помедлив, произносит она и, так как Пол продолжает молчать, легонько проводит пальцем по его руке: — Знаю, это звучит дико, но после его смерти мне расхотелось жить. Я неделями сидела здесь. Не желала видеть других

людей. И когда становилось совсем невозможно, что-то в выражении ее лица... Эта девушка помогала мне держаться. Она словно говорила мне, что я справлюсь, — тяжело вздыхает Лив. — И вот теперь, когда появился ты, я догадалась, что она напоминала мне о чем-то еще. О девушке, которой я раньше была. Которая не волновалась по пустякам. И умела веселиться. Которая просто... жила. О девушке, которой я снова хочу быть.

Пол по-прежнему молчит.

Она, похоже, слишком много болтает. Больше всего ей сейчас хочется, чтобы Пол прижался к ней лицом, придавил тяжестью своего тела.

Но он как воды в рот набрал. И, не дождавшись ответа, она продолжает:

— Наверное, я кажусь тебе глупой... Так привязаться к картине!

Когда он поворачивается, она видит, что лицо у него напряженное и осунувшееся. Это заметно даже в полумраке.

— Послушай, — сглатывая комок в горле, начинает он. — Назови мне свое имя.

— Лив, — делает она удивленное лицо. — Ты же зна...

— Нет. Скажи мне свою фамилию.

— Халстон, — растерянно моргает она. — Моя фамилия Халстон. Ой, надеюсь, мы никогда...

Она не понимает, что случилось. Хочет, чтобы он наконец оторвал взгляд от картины. И неожиданно осознает, что приятная расслабленность куда-то исчезла и происходит что-то странное. Они лежат в томительной тишине, и появившаяся неловкость все больше усиливается.

— Хм... Лив, не возражаешь, если я сейчас уйду? — неожиданно хлопает он себя по лбу. — Мне надо... У меня осталась кой-какая работа.

У нее перехватывает дыхание. Ей трудно говорить, а когда она справляется с собой и произносит первые слова, то не узнает своего голоса. Голос стал чужим: ломким и слишком высоким.

— Что, в шесть утра?

— Да. Прости.

— Ох, — закрывает она глаза. — Ну хорошо. Все нормально.

Он вскакивает с кровати и начинает поспешно одеваться. Она замороженно следит за тем, как он застегивает брюки, яростно натягивает рубашку. Одевшись, он поворачивается и после секундного колебания наклоняется, чтобы поцеловать ее в щеку. Она машинально натягивает одеяло до подбородка.

— Ты уверен, что не хочешь позавтракать?

— Нет. Мне... очень жаль. — Он больше не улыбается.

— Ну, тогда ладно.

Нет, он не может так просто уйти. Червь сомнения, как попавший в кровь яд, начинает медленно разъедать ее сердце.

Он подходит к двери спальни, стараясь не смотреть на нее. Качает головой, словно желает прогнать назойливую муху.

— Хм... Послушай, я... я тебе позвоню.

— Договорились. В любое время, — небрежно бросает она и, наклонившись вперед, добавляет: — Надеюсь, эта твоя работа...

Но он уже захлопывает за собой дверь.

Лив смотрит невидящими глазами туда, где он только что стоял, а ее слова, произнесенные притворно веселым тоном, эхом разносятся по притихшему дому. И в том месте в ее душе, что она освободила для Пола Маккаферти, снова возникает пустота.

В офисе, как он и предполагал, никого нет. Он входит в дверь — над головой неохотно оживают старые люминесцентные лампочки — и сразу направляется в свой кабинет. Там он начинает лихорадочно рыться в кипах папок и скоросшивателей, не обращая внимания на упавшие на пол бумаги, пока не находит то, что искал. Затем включает настольную лампу, кладет перед собой фотокопию, разглаживает ее рукой.

— Дай бог, чтобы я ошибся, — шепчет он. — Дай бог, чтобы на сей раз ошибся.

Стена Стеклянного дома практически не видна, так как изображение картины увеличено настолько, что заполняет собой лист формата А-4. Но картина именно та: «Девушка, которую ты покинул». А справа от нее — огромное окно, от пола до потолка, что показала ему Лив; из окна открывается вид до Тилбури.

Он внимательно читает отрывок из статьи.

Халстон спроектировал эту комнату так, чтобы ее обитателей будили первые проблески зари. «Первоначально я планировал установить защитные экраны для использования в летнее время, — говорит он. — Но потом заметил, что если просыпаешься с лучами солнца, то меньше устаешь. Поэтому я решил отказаться от этой идеи».

Хозяйская спальня выполнена в японском стиле...

Окончания фразы нет, поскольку край фотокопии обрезан. Пол внимательно смотрит на статью, затем включает компьютер и набирает в поисковой системе «Дэвид Халстон». Пока система загружается, он нетерпеливо барабанит по столу.

Вчера проводили в последний путь архитектора-модерниста Дэвида Халстона, скоропостижно скончавшегося в Лиссабоне в возрасте 38 лет. Согласно предварительным данным, смерть произошла из-за сердечной недостаточности. Подозрительных обстоятельств смерти местная полиция не обнаружила.

В поездке в Лиссабон его сопровождала жена Оливия Халстон, 26 лет, с которой он состоял в браке четыре года. В настоящее время ей оказывают моральную поддержку члены семьи. Представитель консульства в Лиссабоне обратился с просьбой дать возможность семье предаться скорби без присутствия посторонних.

Смерть оборвала звездную карьеру Халстона, прославившегося новаторскими экспериментами в области использования стекла, и его друзья-архитекторы пришли почтить...

Пол устало откидывается на спинку кресла. Он просматривает остальные бумаги, затем перечитывает письмо от адвоката, представляющего интересы семьи Лефевр.

...очевидное дело, не имеющее срока давности с учетом открывшихся обстоятельств... украдена из отеля в Сен-Перроне примерно в 1917 году, вскоре после того, как жена художника была репрессирована немецкими оккупационными властями...

Мы надеемся, что КРВ сможет быстро разрешить это дело к взаимному удовлетворению. Мы располагаем специальной статьей в бюджете для выплаты компенсации нынешним владельцам картины, но выделенная сумма несравнимо

меньше аукционной стоимости картины.

Пол готов побиться об заклад, что она не имеет ни малейшего представления, кто автор картины. Он до сих пор слышит, как она произнесла слегка застенчиво, но с ноткой гордости в голосе: «Это моя самая любимая вещь во всем доме. На самом деле и во всем мире».

Пол роняет голову на сложенные на столе руки. И сидит так до тех пор, пока в его кабинете не начинается трезвонить телефон.

Над равнинной частью Восточного Лондона восходит солнце, окрашивая спальню тусклым золотом. Стены начинают искриться, свет играет на стеклах, отражаясь от белых стен, и в любой другой день Лив со стоном зажмурилась бы, нырнув под одеяло. Но сейчас она тихо лежит в слишком просторной для нее одной кровати, подложив под голову большую подушку, и безучастно смотрит в утреннее небо.

Она все испортила.

Она до сих пор видит его лицо, слышит его безукоризненно вежливый отказ. «Не возражаешь, если я сейчас уйду?»

Она лежит уже два часа с мобильником в руке, думая о том, не послать ли ему короткое сообщение.

У нас все хорошо? Ты так неожиданно...

Прости, что я слишком много говорила о Дэвиде. Никак не могу запомнить, что не всем...

С удовольствием провела с тобой вчерашний вечер. Надеюсь, ты скоро разберешься с завалом на работе. Если ты свободен в воскресенье, я с удовольствием...

Что я сделала не так?

Но она не отправляет ни одно из этих сообщений. Она снова и снова перебирает в уме все фрагменты вчерашнего разговора, анализирует каждую фразу, каждое предложение, тщательно и педантично, совсем как археолог, сортирующий кости. В какой момент он изменил свое решение? Что она сделала неправильно? Может быть, всему виной какой-то комплекс на сексуальной почве, о котором она не знала? Может быть, это Стекланный дом на него так подействовал? Может быть, на доме, несмотря на то что здесь не осталось вещей Дэвида, до сих пор лежит печать личности его бывшего хозяина, словно его имя выбито на камне? Может быть, она не разобралась, что из себя представляет Пол? И всякий раз, как она пытается найти, в чем же ее ошибка, у нее начинает противно сосать под ложечкой.

«Мне он понравился, — думает она. — Очень понравился».

Потом, поняв, что уснуть уже не удастся, она вылезает из постели и спускается на кухню. От усталости глаза будто засыпаны песком, и вообще она вся как выжатый лимон. Она только-только успевает сварить кофе и сесть за кухонный стол с дымящейся кружкой в руках, когда входная дверь неожиданно открывается.

— Надо же, забыла пропуск. А без него меня не пустят в дом престарелых. Прости, я собиралась войти тихо как мышка, чтобы тебе не мешать. — Мо останавливается и смотрит мимо головы Лив, словно ждет, что кого-то увидит. — Итак? Что? Ты его съела?

— Он ушел домой.

Мо лезет в шкаф и одновременно шарит в необъятных карманах жакета. Наконец она находит пропуск и кладет в карман.

— Знаешь, тебе надо как-то перебороть себя. Четыре года без секса — слишком большой

срок.

— Я не хотела, чтобы он уходил. Он удрал, — выдавливая из себя Лив, и Мо начинает смеяться, но сразу понимает, что Лив не шутит, и мгновенно успокаивается. — Он фактически убежал из спальни. — Лив сейчас меньше всего волнует, что ее голос звучит слишком трагически: ведь хуже, чем есть, все равно не будет.

— До или после того, как вы перепихнулись?

— Догадайся с трех раз, — сделав глоток кофе, говорит Лив.

— Ой-ой-ой! Неужели все так плохо?

— Нет, все было замечательно. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Честно признаться, мне особо не с чем сравнивать.

Мо недоуменно крутит головой, точно желает найти отгадку.

— Ты ведь убрала все фотографии Дэвида. Да?

— Конечно убрала.

— И ты, типа, не произнесла имя Дэвида в решающий момент?

— Нет. — Лив вспоминает сильные руки Пола. — Я только сказала ему, что он изменил мою самооценку.

— Ай, Лив, плохи дела, — грустно качает головой Мо. — Ты связалась с Ядовитым Холостяком.

— Чего-чего?

— Он идеальный мужчина. Открытый, заботливый, внимательный. Идет напролом, пока не начинает понимать, что ты на него запала. И тогда он дает деру. Словом, криптонит для ранимых, несчастных женщин. Вроде тебя, — хмурится Мо. — Хотя, честно сказать, ты меня удивила. Я правда не думала, что он относится к этому типу мужиков.

Лив, понурившись, смотрит на кружку с кофе.

— Возможно, я и упомянула Дэвида. Когда показывала Полу картину, — словно оправдываясь, говорит она, и Мо страдальчески закатывает глаза. — Ну, я думала, что лучше ничего не скрывать. Он ведь знает о моем прошлом. Поэтому мне казалось, что все нормально. — Она будто со стороны слышит чуть агрессивные нотки в своем голосе. — По крайней мере, он так сказал.

Мо встает и берет из хлебницы кусок хлеба, складывает пополам, откусывает кусочек.

— Лив, с мужчинами нельзя говорить начистоту. Ни один мужчина не любит, когда ему рассказывают, как хорош был его предшественник, даже покойный. С тем же успехом можно распинаться на тему «Самые большие половые члены, с которыми я имела дело».

— Но я не могу вычеркнуть Дэвида из своего прошлого.

— Да, но он не должен быть твоим настоящим, — хмурится Мо и, поймав сердитый взгляд Лив, добавляет: — Хочешь по-честному? Ты сама себя загнала в угол. Мне кажется, что даже если ты и не говоришь о Дэвиде, то все равно думаешь, как бы завести о нем разговор.

Да, возможно, еще несколько недель назад так оно и было. Но не сейчас. Лив хочется идти дальше. Ей действительно захотелось идти дальше вместе с Полом.

— Ну какое это теперь имеет значение? Я все испортила. Не думаю, что он вернется. — Она делает очередной глоток кофе. — С моей стороны было глупо на что-то рассчитывать.

— Мужчины странные, — кладет ей руку на плечо Мо. — И вообще, надо быть слепым, чтобы не видеть, что ты в полном раздрае. Блин! Все, мне пора. Ладно, отправляйся-ка ты лучше на свою дурацкую пробежку. Я вернусь к трем, позвоню в ресторан и скажу, что заболела, и мы с тобой отведем душу и придумаем какую-нибудь средневековую пытку специально для тупых мужиков, не способных определиться. У меня наверху есть пластилин, из которых я делаю кукол вуду. Можешь найти пока шпажки для канапе? Или шампур? Все, меня нет.

Мо хватает запасной ключ, машет сложенным куском хлеба и, не дав Лив опомниться, убегает.

За предыдущие пять лет КРВ вернула более двухсот сорока произведений искусства владельцам или их наследникам, которые уже и не надеялись увидеть их снова. Пол наслушался рассказов об ужасах войны, по сравнению с которыми все, что он видел в свою бытность в нью-йоркской полиции, казалось чуть ли не детскими шалостями; причем пережившие этот кошмар приводили такие мельчайшие подробности, словно все происходило буквально вчера, а не шестьдесят лет назад. Он видел неподдельную боль, которую свидетели той войны пронесли через года, как драгоценный дар, и которая навеки отпечаталась на их лицах.

Он пожимал руки старушкам, плакавшим от радости при виде небольшого портрета, украденного у их убитых родителей, а притихшие дети и внуки с благоговейным трепетом взирали на давным-давно пропавшую семейную реликвию. Он выдерживал жаркие схватки с директорами крупнейших национальных художественных галерей, а потом кусал от досады губы, когда скульптуры, которые он после упорной борьбы возвращал прежним хозяевам, немедленно выставлялась на продажу. И все же прошедшие пять лет дали ему ощущение, что он сражается на стороне добра, отстаивая соблюдение основополагающих прав. Пол слышал рассказы о чудовищных преступлениях и предательстве, об уничтоженных или перемещенных во время Второй мировой семьях и прекрасно понимал, что жертвы войны до сих пор носят в груди чувство боли и обиды, он ощущал себя важным винтиком в механизме восстановления справедливости.

Но с таким случаем ему еще не приходилось сталкиваться.

— Вот дерьмо, — хмурится Грег. — Просто жуть!

Они выгуливают собак Грега, двух сверхактивных терьеров. Утро не по-осеннему холодное, и Пол сейчас не отказался бы от еще одного свитера.

— Я не поверил своим глазам. Та самая картина. Прямо у меня перед носом.

— И что ты сказал?

Пол потуже обматывает шарф вокруг шеи.

— Ничего. Не знал, что говорить. Я просто... ушел.

— Ты сбежал?

— Мне нужно было время, чтобы подумать.

Пес, что помоложе, по кличке Пират, рванул через пустошь, как реактивный снаряд. Братья останавливаются, чтобы понять, кто его возможная жертва.

— Господи, лишь бы не кошка! Господи, лишь бы не кошка! Ох, пронесло! Это Джинджер, — машет Грег в сторону Пирата, который как сумасшедший носится за спрингерспаниелем, наматывая круги по высокой траве. — И когда это было? Прошлой ночью?

— Позапрошлой. Я понимаю, что должен был ей позвонить. Но я так и не придумал, что сказать.

— Насколько я понимаю, прийти и заявить: «Отдай мне свою чертову картину» — не лучший вариант. — Грег подзывает вторую собаку и вглядывается в даль, чтобы понять, куда убежал Пират. — Брат, полагаю, что ты можешь расслабиться и спокойно принять тот факт, что Судьба не просто так свела тебя именно с этой девушкой.

— Мне она понравилась, — вздыхает Пол, засовывая руки поглубже в карманы.

— Что? Неужто и правда понравилась? — искоса смотрит на него Грег.

— Да. Она... запала мне в душу.

— Надо же, — вглядывается в его лицо Грег. — Ну, брат, удивил. *Пират! Ко мне!* Вот черт! Там Визла. Ненавижу эту псину! А ты уже говорил с боссом?

— Угу. Потому что любимое занятие Джейн — обсуждать со мной других женщин. Конечно нет. Я просто проконсультировался у нашего юриста о перспективности дела. Похоже, он думает, что мы выиграем.

«Пол, в таких делах нет сроков давности, — оторвавшись от бумаг, сказал Шон. — Но ты и сам знаешь».

— И что ты намерен предпринять? — спрашивает Грег, надевая на собаку поводок.

— А у меня есть выбор? Картина должна вернуться к законным владельцам. Но не уверен, что Лив спокойно перенесет эту новость.

— Может, все и обойдется. Чего сейчас гадать. — И Грег решительно направляется к Пирату, который, как ошалелый, носится кругами и тявкает, предупреждая, чтобы к нему не подходили. — Эй, если она на мели, а здесь предлагают реальные деньги, то ты, типа, даже оказываешь услугу. — Грег ускоряет шаг, и его последние слова доносит ветер. — И вообще, может, ты ей тоже нравишься, а все остальное ее не волнует. Ты не должен забывать, брат, что это просто картина.

Пол уныло смотрит на его удаляющуюся спину. Нет, это не просто картина, думает он.

Джейк гостит у друга. Пол приезжает за сыном в половине четвертого и видит, как тот выбегает из парадной двери: волосы растрепаны, куртка небрежно накинута на плечи. Похоже, мальчик начинает взрослеть. Пол до сих пор не может привыкнуть к этим приливам отцовских чувств, когда каждый раз при виде сына у него щемит сердце, словно их связывает незримая пуповина. Пол постоянно борется с собой, стараясь не смущать сына излишними проявлениями любви. Он обнимает Джейка за плечи, притягивает к себе, нарочито небрежно целует в лоб, и они направляются к станции метро.

— Здорово, приятель!

— Привет, папа!

Джейк жизнерадостно рассказывает о новой электронной игре. Пол с улыбкой кивает, но при этом ловит себя на том, что думает совсем о другом, прорабатывая в уме детали предстоящего разговора. Что он должен ей сказать? И надо ли говорить правду? И сумеет ли она понять, если он ей все объяснит? А может, лучше держаться от нее подальше? Ведь, в конце концов, главное для него — это работа. Что он давным-давно усвоил.

Но он смотрит на сына, увлеченно нажимающего на кнопки и полностью поглощенного пикселизированной игрой, но мысли его далеко. Он будто снова чувствует рядом с собой мягкое, податливое тело Лив, видит, как она, словно оглушенная заставшим ее врасплох чувством, поднимает на него затуманенные глаза.

— Ну как, ты еще не купил новый дом?

— Нет. Еще не купил.

«Я все время думаю о тебе».

— Сходим вечером поесть пиццы?

— Не вопрос.

— Правда?

— Ммм... — кивает он.

Боль и обида на ее лице, когда он повернулся, чтобы уйти. Она такая же открытая, как и ее дом. Все ее чувства написаны у нее на лице, как будто она не привыкла ничего скрывать.

— И мороженого?

— Конечно.

«Мне страшно. Правда, в хорошем смысле».

А ему пришлось позорно бежать. Не потрудившись хоть что-то объяснить.

— Ты мне купишь «Супербратьев Марио» для моего «Нинтэндо»?

— Ну, хотеть не вредно.

Выходные тянутся в томительном молчании. Мо приходит и уходит. Ее новый вердикт относительно Пола: «Разведенный Ядовитый Холостяк. Худшая разновидность особей мужского рода». Она лепит миниатюрную фигурку, символизирующую Пола, и заставляет Лив втыкать туда острые предметы.

Лив приходится признать, что голова Мини-Пола вылеплена удивительно правдоподобно.

— Думаешь, у него и вправду заболит живот?

— Ничего обещать не могу, но тебе точно сразу полегчает.

Лив берет шпажку для канапе и неуверенно тыкает Мини-Пола в область пупка, но тут же в приступе раскаяния выравнивает пластилин пальцем. Она не способна соотнести эту фигурку с образом реального Пола, но ей хватает ума понять, что некоторые вещи все же не стоит делать, а потому, последовав другому совету Мо, бежит до тех пор, пока не начинают болеть икры. Она затевает генеральную уборку Стеклянного дома, вылизав его от пола до потолка. Выкидывает лодочки с бантиками. Четыре раза проверяет мобильник на предмет сообщений и, проклиная себя за слабохарактерность, выключает его.

— Слабовато. Ты даже не проткнула пальцы на ногах. Хочешь, я сделаю это за тебя? — осмотрев фигурку в понедельник утром, спрашивает Мо.

— Нет. Все прекрасно. Я серьезно.

— Тебе бы побольше твердости. Значит, так: когда я вернусь с работы, мы его скатаем в шарик и вылепим из него пепельницу.

И к тому времени как Лив снова появляется на кухне, Мо успевает воткнуть ему в голову целых пятнадцать шпажек.

А в понедельник днем Лив получает наконец деловое предложение. Каталог какой-то маркетинговой компании пестрит синтаксическими и орфографическими ошибками. К шести вечера Лив практически переписала все заново. И хотя расценки оказались неприлично низкими, Лив наплевать. Работа отвлекает от грустных мыслей, и она готова составить им бесплатно хоть новый каталог.

Неожиданно кто-то звонит в дверь. Должно быть, Мо оставила ключи на работе. Лив с трудом встает из-за письменного стола, потягивается и идет к домофону.

— Ты опять забыла ключи.

— Это Пол.

— Привет, — обмирая, произносит она.

— Мне можно подняться?

— Вовсе не обязательно. Я...

— Ну пожалуйста! Нам надо поговорить.

На то, чтобы посмотреть на себя в зеркало или причесаться, времени уже нет. Она стоит, держа палец на кнопке домофона, и ее раздирают сомнения. Потом жмет на кнопку и отшатывается, словно боится, что дверь вот-вот взорвется.

Лифт, дребезжа, ползет наверх, и по мере его приближения у нее все сильнее крутит живот. А вот и он сам. Смотрит на нее из-за решетчатой двери лифта. На нем мягкая коричневая куртка, а взгляд непривычно усталый. И вообще вид какой-то измученный.

— Привет. — Он выходит из лифта и стоит в коридоре.

— Здравствуй, — зябко скрестив руки на груди, отвечает она.

— Мне... можно войти?

— Чего-нибудь выпьешь? — попятившись, спрашивает она. — Я хочу сказать, ты

останешься?

Он чувствует надрыв в ее голосе и поспешно говорит:

— Было бы здорово. Спасибо.

На негнущихся ногах она идет на кухню, он проходит за ней. Она заваривает чай, чувствуя на себе его взгляд. Поворачивается к нему, чтобы отдать кружку, и видит, что он задумчиво трет виски. Поймав ее удивленный взгляд, он говорит почти извиняющимся тоном:

— Голова просто раскалывается.

Лив смотрит на пластилиновую фигурку на холодильнике и виновато краснеет. И, проходя мимо, как бы ненароком смахивает ее на пол.

Пол ставит кружку на стол:

— Ну ладно. Мне действительно сейчас тяжело. Я, конечно, должен был прийти раньше, но у меня сейчас гостит сын, и вообще хотелось обдумать, как быть дальше. Послушай, я не собираюсь темнить и все тебе расскажу. Но думаю, тебе лучше сесть.

— Боже мой! Ты женат! — ахает она.

— Нет, я не женат. Хотя так было бы... даже проще. Лив, пожалуйста. Присядь и выслушай меня.

Но она остается стоять. Тогда он вынимает из кармана куртки конверт и протягивает ей.

— Что это?

— Прочти. А я постараюсь тебе объяснить.

КРВ

Лондон W1,

Грантем-стрит, 115, кв. 6

15 октября 2006 г.

Дорогая миссис Халстон!

Мы действуем от лица организации, носящей название «Компания по розыску и возврату», созданной с целью возвращения частным лицам произведений искусства, перемещенных в годы войны.

Насколько нам известно, Вы являетесь обладателем картины французского художника Эдуарда Лефевра «Девушка, которую ты покинул». Наследники мистера Лефевра представили нам письменное свидетельство того, что картина была в собственности жены художника и стала предметом вынужденной или сомнительной сделки. Истцы, которые являются гражданами Франции, требуют возвращения картины в семью художника, согласно Женевской конвенции и положениям Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Таким образом, мы хотели бы Вам сообщить, что отныне будем действовать от их имени.

В ряде случаев произведения искусства могут быть возвращены законным владельцам в досудебном порядке. В этой связи мы хотели бы пригласить Вас на встречу с участием представителей семьи Лефевр с целью урегулирования данного вопроса.

Мы отдаем себе отчет в том, что подобная новость может Вас неприятно удивить. Но хотим Вам напомнить, что имеются многочисленные прецеденты, возвращения произведений искусства, перемещенных в военное время, а также добавить, что Вам может быть выплачена в счет компенсации определенная сумма.

По нашему мнению, осознание того факта, что работа возвращена законным владельцам, должно принести некоторое удовлетворение всем заинтересованным лицам.

За дополнительной информацией вы можете обращаться к нам в любое время.

Пол Маккаферти,

Джейн Дикинсон,

директора КРВ

Она смотрит на имя внизу письма, и комната вдруг плывет перед глазами. Она снова перечитывает последние слова, надеясь, что письмо — просто дурацкий розыгрыш. Нет, это какой-то другой Пол Маккаферти, совершенно другой. Да, их в стране, должно быть, не меньше сотни. Очень распространенное имя. Но потом она вспоминает, как он смотрел на картину три дня назад и как старательно прятал глаза. Она обессиленно опускается на стул.

— Это что, шутка такая?

— Если бы так!

— Что, черт возьми, означает КРВ?

— Мы разыскиваем пропавшие произведения искусства и возвращаем их законным владельцам.

— Мы?! — Она непонимающе смотрит на письмо. — Ну а я-то... здесь при чем?

— Картина «Девушка, которую ты покинул» — предмет запроса по реституции. Портрет принадлежит кисти художника Эдуарда Лефевра. Его семья хочет вернуть картину.

— Но... это нелепо. Она у меня уже много лет. Чуть ли не десять.

Тогда он снова лезет в карман и достает уже другое письмо, с фотокопией статьи из журнала.

— Это пришло в наш офис несколько недель назад. Поступило ко мне с входящими документами. Однако я тогда занимался другими делами и не смог сложить два и два. И когда ты той ночью пригласила меня к себе, я сразу узнал работу.

Она внимательно изучает фотокопию. Ее картина смотрит на нее с цветной страницы, хотя цвета несколько смазаны.

— «Архитектурный дайджест».

— Да, полагаю, тот самый журнал.

— Он пришли, чтобы написать статью о Стеклянном доме, когда мы еще только поженились, — в отчаянии прижимает она руку ко рту. — Дэвид решил, что публикация станет для него хорошей рекламой.

— Семья Лефевр проводила ревизию работ Эдуарда Лефевра, в ходе которой обнаружилось, что несколько работ отсутствуют. Среди них «Девушка, которую ты оставил». После тысяча девятьсот семнадцатого года никаких документальных свидетельств о ней не сохранилось.

— Сумасшедший дом какой-то! Картина была... Дэвид купил ее у одной американки. В Барселоне.

— Хозяйки галереи? У тебя сохранился чек?

— Нечто вроде. Но это просто бумажка. Она собиралась выбросить картину. Уже выставила ее на улицу.

— Ты знаешь, кто была та женщина? — устало проводит Пол рукой по лицу.

— Господи, столько лет прошло! — качает головой Лив.

— Лив, ты должна вспомнить. Это крайне важно.

— Да не могу я ничего вспомнить! — взрывается она. — Ты заявляешься ко мне и требуешь, чтобы я подтвердила право собственности на свою картину, и только потому, что кто-то где-то

решил, будто миллион лет назад картина принадлежала ему! Я ничего не понимаю, — говорит она. — У меня просто в голове не укладывается!

Пол в отчаянии закрывает лицо руками. Потом поднимает голову и в упор смотрит на Лив:

— Лив, мне правда очень жаль. У меня еще никогда не было такого поганого дела.

— Дела?

— Это моя работа. Я разыскиваю украденные произведения искусства и возвращаю их владельцам.

И она слышит стальные нотки в его голосе.

— Но картина не была украдена. Дэвид честно купил ее. А потом подарил мне. Она моя.

— Лив, она была украдена. Да, почти сто лет назад, но все же украдена. Послушай, у меня есть и хорошие новости. Они предлагают тебе компенсацию.

— Компенсацию?! Так ты считаешь, дело в деньгах?!

— Я просто говорю...

— Знаешь что, Пол? Думаю тебе лучше уйти, — прижимая руку ко лбу, говорит Лив.

— Понимаю, картина очень много для тебя значит, но ты должна понять...

— Я серьезно. Тебе лучше уйти.

Они стоят, сверля друг друга глазами. Лив кипит от ярости, что с ней впервые в жизни.

— Послушай, я просто пытаюсь придумать, как урегулировать вопрос до суда...

— Прощай, Пол. — И она провожает его к выходу, а когда захлопывает за ним дверь, ей кажется, будто трясется весь дом.

Их медовый месяц. Или вроде того. Дэвид работал над проектом нового центра конференций в Барселоне, монолитного сооружения, в стеклянных стенах которого должны были отражаться голубое небо и мерцающее море. Она помнит, как ее слегка удивило, что он свободно владеет испанским языком. И вообще, он так много всего знал, о чем она даже не подозревала, что это внушало ей благоговейный трепет. Жили они в гостинице, и каждый день проходил примерно так: после полудня они обычно лежали в постели, а затем бродили по средневековым улочкам Готического квартала или Борна, стараясь укрыться в тени и время от времени останавливаясь, чтобы выпить мохито. От жары кожа становилась влажной, и их тела прилипали друг к другу. Она до сих пор помнила тяжесть его руки на своем бедре. У него были руки мастера. И он всегда немного расставлял руки, будто держал невидимые чертежи.

Они как раз подходили к площади Каталонии, когда услышали громкий женский голос с американским акцентом. Она истерично кричала на трех мужиков, которые с бесстрастными лицами выносили из парадного подъезда мебель, домашнюю утварь, разные безделушки и оставляли их на тротуаре перед домом.

— Вы не имеете права! — орала женщина.

Выпустив руку Лив, Дэвид подошел поближе. Женщина — худая блондинка средних лет — только горестно охнула, когда на улицу выкинули очередной стул. Возле нее уже начали собираться зеваки.

— С вами все в порядке? — взяв ее под руку, спросил Дэвид.

— Это все хозяин дома. Избавляется от маминого имущества. А я никак не могу втолковать ему, что мне их держать просто негде.

— А где ваша мать?

— Умерла. Я специально приехала, чтобы рассортировать мамины вещи, а он заявил, чтобы я прямо сегодня забирала свое барахло. Эти люди просто вышвырнули вещи на улицу, и я ума не приложу, что мне делать.

Лив помнит, как Дэвид взял все в свои руки: велел ей отвести женщину в кафе на другой стороне площади и отчитал по-испански тех мужиков. Американка, которую звали Марианной Джонсон, пила ледяную воду, обеспокоенно наблюдая за происходящим. Оказывается, она только прилетела этим утром и не знает, куда ей идти и что делать.

— Простите, а когда умерла ваша мать?

— О, три месяца назад. Я понимаю, что мне следовало приехать раньше. Но возникает столько сложностей, когда не говоришь по-испански. А мне ведь еще надо было, чтобы тело отправили для захоронения на родину... а я только что развелась, и все легло на мои плечи...

Ее корявые пальцы были сплошь унизаны жуткими пластмассовыми кольцами, на голове — бирюзовый шарф, который она постоянно теребила.

Дэвид разговаривал с каким-то мужчиной, по-видимому хозяином дома. Поначалу тот держался агрессивно, но уже десять минут спустя они уже обменивались теплым рукопожатием. И вот Дэвид уже подсел к ним за столик. Ей надо отобрать вещи, которые она хочет оставить, сказал Дэвид, а он даст ей адреса транспортных компаний, которые все упакуют и переправят в Америку. Хозяин дома разрешил оставить имущество до завтра. Все остальное можно отдать за небольшую плату грузчикам, которые уж потом распорядятся по собственному усмотрению.

— Как у вас с деньгами? — деликатно спросил он. И в этом он был весь.

Марианна Джонсон чуть не плакала от благодарности. Они помогли ей рассортировать вещи: отодвинуть их налево и направо, в зависимости от того, что она собиралась оставить себе.

И пока они этим занимались, Лив повнимательнее пригляделась к предметам на тротуаре. Там была пишущая машинка «Корона», толстые альбомы в кожаных переплетах с пожелтевшими вырезками из газет.

— Мама была журналисткой, — объяснила женщина, бережно складывая альбомы на каменные ступени. — Ее звали Луанна Бейкер. Я с детства помню, как она делала подборки.

— А это что такое? — показала Лив на какой-то коричневый предмет.

Он почему-то наводил на нее ужас, хотя издали невозможно было его толком разглядеть. Ей показалось, будто мелькнуло что-то похожее на зубы.

— Ах, это! Мамины высушенные головы. Она любила собирать всякую всячину. Там где-то есть фашистский шлем. Как думаете, музеи могут заинтересоваться?

— Вы не оберетесь хлопот, когда будете провозить их через таможню.

— О боже! Придется оставить все на улице. Ну и жара! Я сейчас умру, — вытерла она взмокший лоб.

А потом Лив увидела картину, прислоненную к креслу-качалке. Даже среди всей этой неразберихи лицо на портрете невозможно было не заметить, оно завораживало и заинтриговывало. Лив подошла поближе и развернула картину. С полотна в облупившейся позолоченной раме на нее вызывающе смотрела молодая девушка. Густые золотисто-рыжие волосы рассыпались по плечам, горделивый изгиб губ, раскрытых в намеке на улыбку, явно говорил о чем-то сокровенном. О чем-то чувственном.

— Она похожа на тебя, — шепнул ей на ухо Дэвид. — Посмотри, ты выглядишь именно так!

У Лив были белокурые, а не рыжие волосы, к тому же коротко стриженные. Но она сразу поняла, что он хочет сказать. Она поймала его взгляд, и все окружающее словно исчезло.

— Вы собираетесь оставить портрет себе? — повернулся Дэвид к Марианне Джонсон.

Она выпрямилась и бросила на него вопросительный взгляд:

— Ой, нет. Я так не думаю.

— Тогда разрешите мне купить его у вас, — понизив голос, произнес Дэвид.

— Купить? Можете забрать его просто так. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать, учитывая, что вы буквально спасли мне жизнь.

Однако Дэвид отказался. Они стояли на тротуаре и торговались самым причудливым образом. Дэвид настаивал на том, чтобы заплатить больше денег, чем ей было удобно принять. Наконец Лив увидела из-за вешалок с одеждой, которую принялась снова разбирать, что они обменялись рукопожатием. Значит, все же сошлись на цене.

— С превеликим удовольствием отдаю ее вам, — сказала Марианна, пока Дэвид отсчитывал деньги. — Честно признаться, мне она никогда не нравилась. Когда я была маленькой, мне вечно казалось, будто она смеется надо мной. Уж больно она высокомерная.

Начало смеркаться. Снабдив Марианну Джонсон номером мобильного телефона Дэвида, они оставили ее на пустом тротуаре паковать вещи, с которыми она собиралась ехать в отель. Они шли обратно по самой жаре, и Дэвид светился от счастья так, словно приобрел бесценное сокровище. Он благоговейно обнимал картину обеими руками, а поздно вечером точно так же будет обнимать Лив.

— Это будет моим свадебным подарком, — сказал он. — Учитывая, что я так ничего тебе и не подарил.

— А мне казалось, что ты не хочешь нарушать чистоту линий своих стен, — решила поддразнить его Лив.

Они остановились на многолюдной улице, чтобы снова взглянуть на картину. Она до сих пор помнит, как напекло тогда солнцем спину и как взмокли от пота руки. Знойные улицы Барселоны, блики полуденного солнца в его глазах.

— Мне кажется, если что-то сильно нравится, то можно и нарушить правила.

— Значит, вы с Дэвидом были добросовестными приобретателями картины. Так? — спрашивает Кристен и тут же переключается на свою дочь подросткового возраста, залезшую без спросу в холодильник: — Нет. Никакого шоколадного мусса. Иначе ты не будешь ужинать.

— Да. Мне удалось найти расписку. — Расписка лежит у нее в сумочке: оторванный от обложки журнала потрепанный клочок бумаги. «Получено с благодарностью за портрет, вероятно носящий название „Девушка, которую ты покинул“, 200 евро. Марианна Бейкер (мисс)».

— Тогда она твоя. Ты ее купила, у тебя имеется расписка. Дело закрыто. Тасмин, передай Джорджу, что ужин через десять минут.

— Хотелось бы верить. А женщина, у которой мы купили портрет, сказала, что он чуть ли не полвека был у ее матери. И вообще она собиралась не продать его нам, а просто подарить. Дэвид настоял на том, чтобы заплатить.

— Вся эта история откровенно нелепа. — Кристен перестает мешать салат и вскидывает руки. — Я хочу сказать, что такие вещи могут завести очень далеко. Например, ты покупаешь дом на земле, которую в Средние века, во время междоусобных войн, кто-то у кого-то оттяпал. И что, в один прекрасный день кто-то предъявит права на твой дом? Или мы что, должны вернуть мое бриллиантовое кольцо, так как камень мог быть добыт не в той части Африки? Господи помилуй, ведь все произошло еще в Первую мировую! Почти сто лет назад. Нет, законодательство так далеко заходить не должно.

Лив садится на свое место. Еще не оправившись от потрясения, она прямо днем позвонила Свену, и тот пригласил ее на ужин. Свен на редкость спокойно выслушал рассказ Лив о письме, а прочитав его, только пожал плечами:

— Возможно, какая-то новая разновидность адвокатов-стервятников. Звучит крайне неправдоподобно. Я, конечно, все проверю. Но, по-моему, ты зря беспокоишься. У тебя есть расписка, ты купила картину законным путем, поэтому, как мне кажется, нет никаких оснований передавать дело в суд.

— А кто вообще этот художник? — спрашивает Кристен, поставив миску с салатом на стол. — Ты любишь оливки?

— Очевидно, его зовут Эдуард Лефевр. Но картина не подписана. И да. Спасибо.

— Я собиралась тебе сказать... после нашего последнего разговора... — Кристен строго смотрит на дочь и выпроваживает ее за дверь: — Иди, Тасмин. Мамочке тоже надо отдохнуть. — И замолкает, пока Тасмин не выходит из комнаты, по дороге успев бросить на мать сердитый взгляд. — Это Родж, — продолжает Кристен.

— Кто?

— У меня для тебя плохие новости. — Морщась, точно от боли, Кристен облакачивается на стол. Потом театрально вздыхает и говорит: — Я хотела тебе сказать на прошлой неделе, но не решилась. Понимаешь, он считает, что ты ужасно милая, но, боюсь, ты не... в общем... не совсем его тип.

— Что-что?

— На самом деле ему нужна девушка... помоложе. Прости. Просто я считаю, что ты должна знать правду. Я не могу, чтобы ты сидела и ждала его звонка.

Лив пытается придать лицу серьезное выражение, так как в комнату входит Свен. В руках у него какие-то сделанные на скорую руку записи.

— Я только что разговаривал по телефону с приятелем из «Сотбис». Итак... Из плохих новостей — это то, что КРВ вполне уважаемая организация. Они разыскивают похищенные

произведения искусства, хотя в результате им приходится заниматься более сложными делами, так как речь идет о вещах, украденных во время войны. За последние годы им удалось вернуть несколько выдающихся работ, причем некоторые из национальных собраний.

— Но «Девушка» вовсе не является выдающимся произведением искусства. Всего-навсего небольшая картина маслом, которую мы купили во время медового месяца.

— Ну, ты отчасти права. Лив, когда ты получила письмо, то, случайно, не проверила, что за парень этот Лефевр?

Конечно, это было первое, что она сделала. Не самый значительный представитель школы импрессионизма начала прошлого века. В статье была еще подцвеченная сепией фотография крупного мужчины с темно-кариими глазами и волосами до воротничка рубашки. Какое-то время он был учеником Матисса.

— Теперь я начинаю понимать, почему его работа — если это, конечно, его работа — стала предметом запроса о реституции.

— Продолжай, — закидывая оливку в рот, просит Лив. Кристен, с посудным полотенцем в руках, стоит рядом.

— Я, естественно, не стал говорить ему о предъявленном тебе требовании, а он, естественно, не видя картины, не может оценить ее, но, судя по последним торгам, где выставлялись работы Лефевра, а также по провенансу, картина может стоить от двух до трех миллионов фунтов.

— Что? — слабым голосом переспрашивает Лив.

— Да. Маленький свадебный подарок Дэвида оказался выгодным вложением денег. Два миллиона фунтов как минимум, вот что он дословно сказал. На самом деле он рекомендовал немедленно произвести оценку ее страховой стоимости. Наш Лефевр, несомненно, высоко котируется на антикварном рынке. Русские от него просто торчат, что взвинтило цену до небес.

От неожиданности Лив подавилась оливкой и теперь задыхается. Кристен колотит ее по спине и дает стакан воды. Лив пьет и одновременно прокручивает в голове слова Свена. Но их смысл до нее все равно не доходит.

— Поэтому, как мне кажется, нет ничего удивительного, что из ниоткуда возникают какие-то люди, желающие отхватить кусок пожирнее. Я попросил Ширли из офиса покопаться в аналогичных делах и послать мне информацию по электронной почте. Так вот, все эти истцы сперва копаются немножко в семейной истории, предъявляют права на картину, рассказывая трогательную историю о том, как ею дорожили бабушка и дедушка, каким ударом для них было потерять ее... Потом они получают картину обратно, и знаешь, что делают?

— Откуда мы можем знать, — говорит Кристен.

— Они ее продают. И получают такие деньги, которые им и не снились.

На кухне воцаряется мертвая тишина.

— Два-три миллиона фунтов? Но мы заплатили за нее всего двести евро.

— Надо же, прямо «Антикварное шоу»! — На лице Кристен появляется счастливая улыбка.

— В этом весь Дэвид. Он как царь Мидас. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото, — наливает себе бокал вина Свен. — Какая жалость, что появилась та фотография с картиной в твоём доме. Думаю, не имея других свидетельств, они вряд ли смогли бы доказать, что картина у тебя. А они это точно знают?

Лив вспоминает о Поле. И у нее внутри все опускается.

— Да, — отвечает она. — Они это точно знают.

— Ну ладно, — садясь рядом с Лив, кладет ей руку на плечо Свен. — Нам надо найти тебе хорошего адвоката. Причем срочно.

Следующие несколько дней Лив ходит точно во сне, в висках стучит, сердце бьется как сумасшедшее. Она посещает дантиста, покупает молоко с хлебом, заканчивает работу к назначенному сроку, относит Фрэн кружки с чаем, а потом поднимается с ними обратно наверх, так как Фрэн жалуется, что Лив забыла положить сахар. Но все как-то не откладывается в памяти. Она вспоминает о поцелуях Пола, об их случайной встрече, о его предложении помочь. Интересно, планировал ли он все с самого начала? И, с учетом стоимости портрета, не была ли она с самого начала жертвой грандиозного обмана? Она набирает в Google «Пол Маккаферти» и читает отзывы о его работе в антикварном отделе нью-йоркской полиции, о его «таланте криминалиста», «стратегическом мышлении». И все ее прежние представления о нем исчезают как дым. Мысли вихрем крутятся в голове, мозг лихорадочно работает, причем уже в другом — опасном — направлении. Ей уже дважды становилось так плохо, что приходилось вставать из-за стола и, прислонившись лбом к холодной фарфоровой раковине, сбрызгивать лицо холодной водой.

В ноябре прошлого года КРВ помогла вернуть Сезанна еврейской семье из России. Стоимость картины составляла примерно пятнадцать миллионов фунтов. Причем, согласно информации в разделе «О компании» на ее сайте, КРВ работает за комиссионные.

Он посылает ей уже три сообщения: «Мы можем поговорить? Я знаю, что тебе тяжело, но, пожалуйста, давай все обсудим». И все это звучит вроде бы разумно. Словно он человек, заслуживающий доверия. Она спит урывками и с трудом заставляет себя есть.

Мо наблюдает за Лив, но на сей раз ничего не говорит.

Лив продолжает бегать. По утрам. Случается, что и по вечерам. Ведь когда бегаешь, то ни о чем не думаешь. И вообще, можно не есть, а иногда и не спать. Она бежит до тех пор, пока не начинают гореть икры и болеть легкие, которые, кажется, вот-вот взорвутся. Теперь она бежит по новому маршруту: по закоулкам Саутуарка, через мост и дальше в сияющие улочки Сити, — сталкиваясь на ходу с банкирами в строгих костюмах и секретаршами со стаканчиками кофе в руках.

В пятницу в шесть часов вечера она направляется на пробежку. Вечер прохладный, но удивительно красивый, такое ощущение, что весь Лондон стал фоном для романтического фильма. Из рта вылетают облачка пара, и она натягивает на голову шерстяную шапку, которую обязательно снимет поближе к мосту Ватерлоо. Вдалеке светятся огни Квадратной мили,^[29] по набережной ползут автобусы, на улицах стоит оживленный гул. Она подключает к своему iPod наушники, закрывает парадную дверь, бросает ключи в карман коротких штанов и переходит на бег. Она позволяет себе бездумно плыть по волнам танцевальной музыки, не оставляющей места для грустных мыслей.

— Лив. — Он застывает ей дорогу, и она спотыкается, вытягивает вперед руку, но, когда понимает, кто перед ней, тут же, словно обжегшись, отдергивает ее. — Лив, нам надо поговорить.

На нем коричневая куртка, воротник поднят от холода, под мышкой какие-то бумаги. Их взгляды встречаются, она, не думая, круто разворачивается и, стараясь справиться с сердцебиением, бежит назад.

Он за ее спиной. Она не смотрит назад, но слышит его голос, прорывающийся сквозь танцевальные ритмы. Она включает музыку на полную мощность, но все равно ощущает, как от его шагов дрожит тротуар.

— Лив! — трогает он ее за плечо, и тогда она инстинктивно поднимает правую руку и в приступе ярости с размаху бьет его по лицу.

Пол настолько потрясен, что, прижав к носу ладонь, машинально пятится назад.

— Оставь меня в покое! — снимая наушники, кричит она. — Проваливай!

— Мне надо с тобой поговорить. — У него между пальцев сочится кровь. — Господи! — стонет он, бросает бумаги, засовывает руку в карман, достает большой носовой платок и пытается остановить кровь. Другую руку в знак примирения он поднимает вверх. — Лив, я знаю, что ты на меня сейчас злишься, но...

— Злюсь на тебя? Злюсь на тебя? Это даже *близко* не отражает, что я сейчас по отношению к тебе чувствую! Ты обманом проник в мой дом, навесив мне лапши на уши, будто нашел мою сумочку, запудрил мне мозги, уговорив лечь с тобой в постель, и тут — вау! какой сюрприз! — прямо перед тобой висит картина, которую тебя наняли найти за жирный куш в виде комиссионных.

— Что? — Из-за носового платка на лице его голос звучит глухо. — Ты что, думаешь я специально украл твою сумочку? Что я *все* подстроил? Ты с ума сошла?

— Не подходи ко мне! — Голос ее дрожит, глаза горят. Она идет по дорожке прочь от него, и прохожие, привлеченные их криками, уже начинают останавливаться.

— *Нет*. Послушай меня, — идет он за ней. — Удели мне хотя бы минуту. Да, я бывший коп. Но я не занимаюсь воровством сумок и тем более их возвращением. Я встретил тебя, и ты мне сразу понравилась, но потом, по какой-то злой причуде Судьбы, оказалось, что у тебя именно та картина, которую меня наняли отыскать. И можешь мне поверить, если бы я мог перепоручить эту работу кому-нибудь другому, то непременно так и сделал бы. Мне очень жаль. Но ты должна меня выслушать. — Он опускает руку, которой прижимал к лицу носовой платок, у него на губе кровь. — Лив, картина была украдена. Я миллион раз проверял и перепроверял документы. На портрете — Софи Лефевр, жена художника. Ее забрали немцы, а вскоре исчезла и картина. Ее украли.

— Это было *сто лет* назад.

— И ты считаешь, что ты права? А ты хоть представляешь, каково это, когда у тебя силой отнимают любимую вещь?

— Самое смешное, что да, — презрительно фыркает она. — Прекрасно знаю.

— Лив, я не сомневаюсь, что ты хороший человек. И понимаю, что история с картиной оказалась для тебя ударом, но если ты хоть немножко подумаешь, то примешь правильное решение. Время ничего не меняет, и черное не становится белым. А твоя картина была украдена у семьи той несчастной девушки. Портрет — это все, что от нее осталось, и он по праву принадлежит им. И самым правильным будет вернуть его назад. — Его голос звучит мягко, почти вкрадчиво. — Когда ты узнаешь правду о том, что с ней произошло, то, уверен, согласишься на портрет Софи Лефевр другими глазами.

— Ради бога, только избавь меня от этих ханжеских ля-ля.

— Что?

— Думаешь, я не знаю, сколько он стоит?! — кричит она и, поймав его недоумевающий взгляд, продолжает: — Думаешь, я не навела справки насчет тебя и твоей компании? Не узнала, как вы работаете? И послушай меня, Пол, я прекрасно понимаю, в чем тут дело, и все твои «что такое хорошо и что такое плохо» — разговоры в пользу бедных, — морщится она. — Боже, ты меня что, совсем за идиотку держишь? Типа, нашел дурочку, которая сидит одна в пустом доме, оплакивает умершего мужа и не видит, что творится у нее прямо под носом? Нет, Пол, здесь исключительно вопрос *денег*. А ты ну и тот, кто стоит за твоей спиной, хотите получить картину, потому что она стоит целое состояние. Но для меня это не вопрос денег. Я не продаюсь, а уж она и подавно. Все, теперь оставь меня одну.

Она поворачивается и, не дав ему хоть слово сказать, бежит назад, оглушающая музыка в наушниках поглощает все остальные звуки. И, только оказавшись в районе Саут-Бэнка, она чуть-чуть сбавляет темп и оборачивается. Его нигде не видно, его наверняка поглотила толпа людей,

спешащих домой по лондонским улицам. И когда она подходит к входной двери, то уже с трудом сдерживает слезы. Ее мысли заняты Софи Лефевр. «Портрет — это все, что от нее осталось. И самым правильным будет вернуть его назад».

— Будь ты проклят! — еле слышно повторяет она, пытаясь освободиться из паутины его слов. — Будь ты проклят! Будь ты проклят! Будь ты проклят!

— Лив! — слышит она и буквально подпрыгивает от неожиданности, когда из парадной выходит какой-то мужчина.

Но это всего лишь ее отец, на голове плоский черный берет, на шее шарф всех цветов радуги, потрепанное твидовое пальто ниже колен. В свете натриевого фонаря его лицо отликает золотом. Он раскрывает объятия, демонстрируя линялую футболку с эмблемой «Секс пистолз».

— Ну наконец-то! Со дня твоего романтического свидания от тебя ни слуху ни духу. Вот я и решил заскочить, чтобы узнать, как все прошло!

— Не желаете ли кофе?

— Спасибо, — поворачивается Лив к секретарше.

Лив неподвижно сидит в мягком кожаном кресле, невидящими глазами уставившись в газету, которую последние пятнадцать минут делает вид, что читает.

На Лив ее единственный костюм. Возможно, фасон слегка устарел, но ей просто необходимо чувствовать себя сегодня собранной и подтянутой. После своего первого посещения адвоката она была совершенно выбита из колеи. И теперь, чтобы чувствовать себя более уверенно, ей необходимо соответствующе выглядеть.

— Генри будет встречать их в фойе. Полагаю, ждать осталось недолго. — Одарив Лив профессиональной улыбкой, женщина поворачивается на высоких каблуках и уходит.

Кофе хороший. Как, собственно, и должно быть, если учесть, сколько она платит за час работы. Бесплезно ввязываться в борьбу, сказал Свен, без соответствующей огневой поддержки. Он навел справки среди друзей в аукционных домах и знакомых в коллегии адвокатов, чтобы найти лучшего специалиста по реституционным искам. К сожалению, добавил Свен, чем известнее адвокат, тем дороже он стоит. И каждый раз, как она смотрит на Генри Филлипса — на его модную стрижку, на туфли ручной работы, на дорогой загар на пухлом лице, — то ей на ум приходит только одно: «Ты разбогател за счет таких людей, как я».

Лив слышит шаги и голоса за дверью приемной. Она встает, расправляет юбку, делает строгое лицо. А вот — за широкой спиной Генри — и он сам, в синем шерстяном шарфе на шее, с папкой под мышкой; с ним еще двое, которых она не знает. Он ловит ее взгляд, и она поспешно отворачивается, чувствуя, как по шее ползут мурашки.

— Лив? А вот и мы. Предлагаю пройти в зал заседаний. Я распорядюсь, чтобы туда подали кофе.

Она пристально смотрит на Генри, который проходит мимо нее, пропуская вперед другую женщину. Она чувствует присутствие Пола, будто тот излучает тепло. На нем джинсы, словно подобные встречи для него что легкая прогулка.

— Сколько еще женщин ты успел обобрать за это время? — спрашивает она вполголоса, так чтобы, кроме него, никто не услышал.

— Ни одной. Некогда было. Воровал сумочки и соблазнял невинных девушек.

Она выдерживает его пристальный взгляд с гордо поднятой головой. К своему удивлению, она обнаруживает, что он тоже в ярости.

Зал заседаний отделан деревянными панелями, массивные стулья обтянуты кожей. Одна стена сплошь в стеллажах с книгами в кожаных переплетах. Все здесь говорит об основательности и пронизано величавой мудростью. Лив следует за Генри, и уже через несколько секунд все рассаживаются по обе стороны длинного стола. Она смотрит на лист бумаги перед собой, на свои руки, на чашку с кофе, словом, на что угодно, только не на Пола.

— Итак, — Генри ждет, когда ему нальют кофе, затем складывает руки домиком, — мы здесь, чтобы беспристрастно обсудить претензию, предъявленную миссис Халстон через организацию КРВ, и определить, имеются ли возможности для урегулирования данного дела в досудебном порядке.

Лив смотрит на сидящих напротив людей. Женщине лет тридцать с хвостиком. У нее темные волосы в тугих кудряшках и напряженное лицо. Она что-то старательно пишет в блокноте. Мужчина рядом с ней явно француз, у него крупные черты лица, придающие ему неуловимое сходство с Сержем Гейнзбуром. Лив всегда считала, что по внешности человека

сразу можно определить его национальность. Свиду он типичный галл, возможно, даже курит «Голуаз» и носит на шее связку лука.

Ну и последний в этой компании — Пол.

— Думаю, для начала было бы неплохо представить присутствующих. Меня зовут Генри Филлипс, и я представляю интересы миссис Халстон. Это Шон Флаерти, действующий от лица КРВ, Пол Маккаферти и Джейн Дикинсон, директора этой организации. А это месье Андре Лефевр, представитель семьи Лефевр, который и выдвигает претензию во взаимодействии с КРВ. Миссис Халстон, КРВ — организация, специализирующаяся на розыске и возврате...

— Я знаю, чем они занимаются, — перебивает его Лив.

Боже, как он близко! Прямо напротив нее. Она видит каждую жилку у него на руках, торчащие из рукавов запястья. Он надел ту же самую рубашку, что была на нем в тот вечер, когда они познакомились. И стоит ей вытянуть ногу под столом, она коснется его колена. Она прячет ноги под стул и тянется за кофе.

— Пол, может быть, вы объясните миссис Халстон, на каком основании ей предъявляют претензию.

— Да, — произносит она ледяным тоном. — Хотелось бы узнать.

Она поднимает глаза и видит, что Пол смотрит на нее в упор. Интересно, догадывается ли он, как она волнуется. Хотя, наверное, все и так понятно: ее выдает тяжелое дыхание.

— Итак... Я хотел бы для начала принести извинения, — говорит Пол. — Я прекрасно понимаю, что для вас это стало потрясением. Что весьма прискорбно. И конечно, не может не огорчать тот факт, что подобные дела не решаются к обоюдному удовольствию.

Пол смотрит прямо на нее. Лив чувствует, что он ждет, чтобы она подала ему хоть какой-то знак. Она опускает руки под стол и вонзает ногти в колени, чтобы боль отвлекла ее от всего, что происходит.

— Никто ни у кого не собирается отнимать вещь, принадлежащую на законных основаниях. Мы здесь собрались по другому поводу. Но существуют неопровержимые доказательства того, что во время войны была похищена чужая собственность. Картина кисти художника Эдуарда Лефевра «Девушка, которую ты покинул», принадлежавшая его жене, попала в руки немцев.

— Вы не можете это знать наверняка.

— Лив, — одергивает ее Генри.

— У нас имеется документальное подтверждение, дневник, хранившийся у соседей мадам Лефевр, в котором говорится, что портрет жены художника был украден или получен насильственным путем немецким комендантом города, где жила мадам Лефевр. Что ж, дело крайне необычное, поскольку обычно мы возмещаем ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, тогда как в данном случае кража произошла во время Первой мировой. Но положения Гаагской конвенции по-прежнему в силе.

— Но почему именно сейчас? — возмущается Лив. — Спустя сто лет после кражи. Не потому ли, что работы месье Лефевра стоят на сегодняшний день гораздо дороже?

— Стоимость картины не имеет значения.

— Прекрасно. Значит, стоимость картины не имеет значения. Тогда я вам ее возмещу. Прямо сейчас. Хотите, я отдам за нее ровно столько, сколько мы заплатили? Потому что у меня сохранилась расписка. Может быть, возьмете деньги и оставите меня в покое?

В комнате становится тихо.

Генри осторожно трогает ее за плечо. Она так сильно сжимает ручку, что костяшки пальцев побелели.

— С вашего позволения, — вкрадчиво начинает он, — цель сегодняшней встречи — найти способы возможного разрешения ситуации и выбрать из них наиболее приемлемый.

Джейн Дикинсон перешептывается с Андре Лефевром. Своим наигранным спокойствием она чем-то напоминает учительницу начальных классов.

— Должна заметить, что для семьи Лефевр единственным приемлемым решением является возможность получить свою картину обратно, — произносит она.

— Но это не их картина, — не выдерживает Лив.

— Согласно положениям Гаагской конвенции, картина принадлежит им, — невозмутимо парирует Джейн.

— Чушь собачья!

— Это закон.

Лив снова поднимает глаза и замечает, что Пол по-прежнему смотрит прямо на нее и выражение глаз у него слегка виноватое. Словно он просит у нее прощения. Интересно за что. За неприличную перебранку за полированным столом красного дерева? За украденную ночь? За украденную картину? Она не знает. «Не смотри на меня», — говорит ее взгляд.

— Может быть... — вмешивается в разговор Шон Флаерти. — Может быть, прислушаемся к совету Генри и, по крайней мере, наметим пути решения проблемы.

— Ради бога, намечайте сколько угодно! — взрывается Лив.

— Существует множество прецедентных дел. Так, миссис Халстон может выплатить искомую сумму. Это означает, миссис Халстон, что вы выплачиваете семье Лефевр стоимость картины и оставляете ее у себя.

— Как я уже отметила, семья не заинтересована в деньгах. Они хотят получить картину, — не отрывая взгляд от блокнота, произносит Джейн Дикинсон.

— Прекрасно, — не выдерживает Лив. — Вы что, думаете, я раньше никогда не вела переговоров? И не знаю, что существуют особые условия?

— Лив, — останавливает ее Генри. — Если бы мы могли...

— Я отлично понимаю, что здесь сейчас происходит. «О нет, какие деньги! Нам не надо никаких денег». И так до тех пор, пока речь не заходит о сумме, равной крупному выигрышу в лотерею. И тогда все сразу забывают о своих задетых чувствах.

— Лив... — прерывает ее Генри. Она тяжело вздыхает, руки под столом ходят ходуном. — Существует возможность достичь соглашения о совместном владении картиной. Хотя подобные дела, когда речь идет о так называемых неделимых вещах, таких как эта, чрезвычайно сложны. И тем не менее имели место случаи, когда сторонам удавалось договориться о поочередном праве использования произведения искусства в течение определенного срока или о совместном пользовании, но при условии экспонирования работы в крупной художественной галерее. Естественно, вещь должна быть снабжена соответствующей табличкой, информирующей посетителей об истории экспроприации картины, а также о великодушии предыдущих ее владельцев, — заканчивает Генри, но Лив молча качает головой. — Кроме того, существует возможность продать картину и разделить полученную сумму...

— Нет, — одновременно говорят Лив и Лефевр.

— Мисс Халстон?

— Миссис Халстон, — поправляет она.

— Миссис Халстон... — В голосе Пола появляются металлические нотки. — Я обязан вам сообщить, что наше дело имеет хорошую судебную перспективу. У нас собрано достаточно доказательств того, что имела место незаконная экспроприация, существует также ряд прецедентных дел, и это увеличивает наши шансы на успех. Поэтому советую вам, в ваших же интересах, подумать о заключении соглашения.

В комнате снова повисает тишина.

— Вы что, запугиваете меня? — спрашивает Лив.

— Нет, — медленно говорит он. — Я просто хочу вам напомнить, что в наших общих интересах решить вопрос полюбовно. Так как на этом дело не закончится. Я... Мы не намерены отступать.

И она вдруг видит его руки на своей обнаженной талии, его спутанные каштановые волосы у себя на груди, его улыбающиеся в полутьме глаза.

— Картина не ваша, и не вам ее забирать у меня, — вздергивает она подбородок. — До встречи в суде.

Они в кабинете у Генри. Она уже выпила приличную порцию виски. Она еще никогда в жизни не пила днем виски, но Генри, не спрашивая, наливает ей, будто так и положено. Он ждет, пока она допьет, и только потом говорит:

— Должен вас предупредить, что это дело обойдется вам недешево.

— Насколько недешево?

— Ну, в ряде случаев приходится продавать произведение искусства, просто чтобы покрыть судебные издержки. Не так давно у меня был истец из Коннектикута, которому возвратили украденные работы стоимостью двадцать два миллиона долларов. И одному только адвокату ему пришлось заплатить более десяти миллионов. Нам придется платить официальным экспертам, в частности французским, учитывая историю картины. И имейте в виду, что подобные дела обычно тянутся долго.

— Но ведь, если мы выиграем, судебные издержки оплачивают они. Так?

— Не обязательно.

— Так о какой цифре идет речь? — пытается переварить полученную информацию Лив. — О пятизначной?

— Я бы сказал, что о шестизначной. Все зависит от того, что они смогут предъявить. Тем более что имеются прецеденты, — пожимает плечами Генри. — Мы можем доказать, что у вас имеется подтверждение права собственности. Но в истории картины есть существенные пробелы, и если они найдут доказательства, что картина была изъята во время войны, то...

— Значит, говорите, шестизначная... — нервно меряет Лив шагами кабинет. — Поверить не могу. Поверить не могу, что кто-то может просто так вторгнуться в мою жизнь и потребовать мою вещь. То, что всегда мне принадлежало.

— Их дело не такое уж бесспорное. Но не могу не отметить, что в данный момент политический климат благоприятен для тех, кто предъявляет права на перемещенные произведения искусства. В прошлом году «Сотбис» продал уже тридцать восемь подобных работ. А еще десять лет назад — ни одной.

Лив до сих пор не отошла от переговоров. Ее нервные окончания обострены до предела.

— Он... Они ее не получают, — хмурится она.

— Но деньги... Ведь вы сами намекали, что находитесь в стесненных обстоятельствах.

— Я перекредитуюсь, — говорит она. — Что я могу сделать, чтобы уменьшить плату?

— Вы очень много можете сделать, — перегибается через стол Генри. — Самое главное, чем больше вы найдете о провенансе картины, тем сильнее будут наши позиции. В противном случае мне придется озадачить этим кого-нибудь другого и включить вам в счет почасовую оплату его трудов, и это не считая оплаты услуг экспертов, которые понадобятся нам в суде. Полагаю, что если вы справитесь, то будет понятно, на каком мы свете, и я смогу проинструктировать барристера.

— Тогда я начинаю поиски.

У нее до сих пор в ушах звенят их уверенные голоса. «Наше дело имеет хорошую судебную перспективу. У нас собрано достаточно доказательств того, что имела место незаконная

экспроприация, существует также ряд прецедентных дел, и это увеличивает наши шансы на успех». Она словно видит лицо Пола и слышит его полной притворной заботы голос: «В наших общих интересах решить вопрос любовно».

Лив делает глоток виски и чуть-чуть расслабляется. Внезапно она чувствует себя страшно одинокой.

— Генри, а что сделали бы вы? Я хочу сказать, если бы были на моем месте.

Он опять складывает руки домиком и задумчиво произносит:

— Мне кажется, что все это чертовски несправедливо. Но, Лив, я бы хорошенько подумал, прежде чем передавать дело в суд. Подобные тяжбы иногда становятся... отвратительными. Так что вам стоит хотя бы подумать о возможности все как-то урегулировать.

У нее перед глазами до сих пор стоит лицо Пола.

— Нет, — упрямо говорит она. — Он ее не получит.

— Даже если...

— Нет.

И, чувствуя на себе его взгляд, она берет сумочку и выходит из комнаты.

Пол уже четвертый раз набирает номер, кладет палец на кнопку вызова, но потом передумывает и засовывает телефон в задний карман. Через дорогу какой-то мужчина в деловом костюме, отчаянно жестикулируя, спорит с равнодушно вззирающим на него дорожным инспектором.

— Ты идешь на ланч? — появляется в дверях Джейн. — Столик заказан на час тридцать.

Похоже, она только что надушилась. Резкий запах чувствуется даже на расстоянии.

— А мое присутствие обязательно? — Он не в настроении вести застольную беседу.

Ему вовсе не хочется быть очаровательным, описывая потрясающие достижения их компании в деле поиска пропавших ценностей. Не хочется сидеть рядом с Джейн, которая словно случайно будет к нему прислоняться, под столом прижимаясь коленом к его ноге. И ему все больше не нравился Андре Лефевр, с его бегаящими глазками и брюзгливо поджатым ртом. Пол еще никогда не испытывал подобной антипатии к клиенту.

«Могу я поинтересоваться, когда вы впервые обнаружили пропажу картины?» — спросил Пол Лефевра.

«Мы обнаружили это во время ревизии».

«Значит, лично вы не испытывали моральных страданий из-за отсутствия картины?»

«Лично? — пожал тот плечами. — Почему кто-то должен получить финансовую выгоду от работы, которая по праву принадлежит мне?»

— Ты что, не хочешь идти? — спрашивает Джейн. — Почему? У тебя другие дела?

— Думаю, мне стоит закончить кое-какую бумажную работу.

Джейн задерживает на нем взгляд. Она накрасила губы помадой. Надела туфли на высоком каблуке. И у нее красивые ноги, равнодушно отмечает Пол.

— Пол, нам необходимо это дело. И необходимо, чтобы Андре поверил, что мы сможем выиграть.

— Тогда, наверное, мне лучше потратить время на изучение истории картины, чем на ланч с клиентом. — Пол не смотрит на Джейн, его подбородок упрямо выдвинут вперед. И вообще он уже целую неделю в дурном настроении. — Возьми Мириам, — говорит он. — Она заслужила хороший ланч.

— Послушай, бюджет у нас не резиновый, и мы не можем позволить себе угощать секретарш, когда нам это взбредет в голову.

— Не понимаю, почему бы и нет. И Лефевру она вполне может понравиться. Мириам!

Мириам! — кричит он и, продолжая в упор смотреть на Джейн, откидывается на спинку кресла.

Мириам просовывает голову в дверь, во рту у нее непрожеванный сэндвич с тунцом:

— Да?

— Не хочешь вместо меня сходить на ланч с месье Лефевром?

— Пол, мы... — стискивает зубы Джейн.

Взгляд Мириам мечется между ее начальниками. Она с трудом проглатывает сэндвич:

— Очень мило с вашей стороны, но...

— Но Мириам уже ест сэндвич. А еще куча ненапечатанных контрактов. Спасибо

Мириам. — Джейн ждет, пока Мириам закроет за собой дверь, и задумчиво поджимает губы. — Пол, все в порядке?

— Все прекрасно.

— Ну, тогда... — не может скрыть некоторую резкость своего тона Джейн. — Похоже, уговорить тебя не удастся. Жду твоего доклада о том, что тебе удалось нарыть по этому делу. Уверена, что все будет достаточно убедительно. — Она задерживается на секунду дольше, чем нужно, и выходит.

Пол слышит, как она в коридоре что-то говорит по-французски Лефевру, который сидит, глядя прямо перед собой.

— Эй, Мириам! — снова зовет Пол секретаршу и, когда та появляется все с тем же сэндвичем во рту, виновато хмурится. — Простите, это было...

— Все в порядке, — улыбается она, запихивает обратно выпавший кусочек хлеба и добавляет что-то уж совсем нечленораздельное.

Интересно, слышала ли она хоть что-то из его разговора с Джейн?

— Кто-нибудь звонил?

— Только глава Ассоциации музеев. Я уже вам говорила. Соединить вас с ним? — шумно проглатывает она сэндвич.

— Нет, не беспокойтесь, — раздвигает он губы в вымученной улыбке, а когда она закрывает за собой дверь, тяжело вздыхает.

Лив снимает портрет со стены. Она осторожно проводит рукой по поверхности картины, трогает кончиками пальцев выпуклые мазки, удивляясь, что они нанесены рукой известного мастера, и смотрит на изображенную на полотне женщину. Золото на старинной раме местами облупилась, но Лив находит в этом особую прелесть, ей нравится контраст между витиевато украшенным золоченым деревом и четкими, чистыми линиями стен. Ей нравится, что картина «Девушка, которую ты покинул» — единственное яркое пятно в комнате — похожа на сверкающую драгоценность на белой стене.

Только теперь полотно — уже не просто портрет девушки, а кусочек истории, интимная шутка, понятная только двоим. Теперь Лив знает, что девушка — жена известного художника, которая пропала, а возможно, была убита во время войны. Она — это последнее связующее звено между внешним миром и ее мужем, сидевшим в лагере для военнопленных. Она — это пропавшая картина, будущий предмет судебного разбирательства, будущий объект расследования. Лив еще не понимает, как относиться к такому повороту событий, но твердо знает, что ей уже не стать прежней.

«Картина... попала в руки немцев».

Андре Лефевр, выглядевший слегка агрессивно, даже не потрудился посмотреть на лицо Софи на фотокопии. И Маккаферти. Каждый раз, когда она вспоминает, как Пол вел себя на встрече, у нее от злости начинает стучать в висках. Иногда ей кажется, что внутри все горит, словно она перегрелась на солнце.

Лив достает из-под кровати коробку с кроссовками, надевает обтягивающие штаны для бега и, засунув ключи и телефон в карман, отправляется на пробежку.

Она проходит мимо Фрэн, которая сидит на перевернутой коробке, молча провожая ее глазами, и приветственно машет рукой. Разговаривать ей не хочется.

День в самом разгаре, и на набережной Темзы полным-полно возвращающихся с ланча офисных работников, бредущих под присмотром раздраженных учителей школьников, толкающих перед собой детские коляски замученных мамаш. Лив бежит, огибая прохожих и локтями прокладывая себе дорогу. Она становится неотъемлемой, невидимой частью этой толпы и немного сбавляет скорость, только когда чувствует, что задыхается. Бежит до тех пор, пока не начинают нестерпимо болеть икры, на спине не расплывается влажное пятно, а глаза не заливают пот. Бежит до тех пор, пока не забывает обо всем, кроме чисто физической боли.

Она переходит на шаг и, уже проходя мимо Сомерсет-хауса, слышит звуковой сигнал пришедшего на мобильник сообщения. Она останавливается, достает из кармана телефон, смахивает со лба пот.

«Лив. Позвони мне».

Лив почти бежит к парапету, резко поднимает руку и, не раздумывая, швыряет телефон в Темзу. Телефон беззвучно, незаметно для посторонних глаз, камнем уходит в свинцовые воды Темзы.

Февраль 1917 г.

Драгоценная моя сестра!

Прошло уже три недели и четыре дня с тех пор, как ты нас покинула. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо и дошли ли другие; мэр наладил новую линию связи и обещал мне отправить письмо при первом удобном случае. Мне остается только молиться и ждать.

Вот уже четырнадцать дней идет дождь, превращая все, что осталось от наших дорог, в жидкую грязь, в которой вязнут лошади и вечно мокнут ноги. Мы теперь не рискуем выходить из дома: слишком холодно и слишком опасно, и, по правде говоря, мне не хочется оставлять детей, даже на несколько минут. После того как тебя забрали, Эдит три дня неподвижно просидела у окна, пока я, испугавшись за ее здоровье, насильно не отвела ее к столу, а потом не уложила в постель. Она перестала говорить, от нее остались одни глаза, она постоянно держится за мою юбку, словно все время ждет, что кто-то придет и заберет и меня. Но, боюсь, у меня почти нет времени утешать ее. Хотя теперь у нас уже столуется меньше немцев, у меня все равно хлопот по горло, потому что приходится готовить и убирать до глубокой ночи.

Орельен исчез. Сразу после того, как тебя забрали... От мадам Лувье я узнала, что он по-прежнему в Сен-Перроне, живет у Жака Арьежа над табачной лавкой, но, откровенно говоря, у меня нет никакого желания его видеть. Он обошелся с тобой не лучше коменданта Хенкена. Я знаю, ты веришь в людей, но считаю, что если бы комендант искренне желал тебе добра, то не вырвал бы тебя так жестоко из наших объятий, оповестив весь город о твоих мнимых грехах. Ни в одном из его поступков я не нахожу даже намека на проявление гуманности. Просто не нахожу.

Софи, я молюсь за тебя. Просыпаясь утром, я вижу твое лицо, а поворачиваясь на другой бок, удивляюсь, почему ты не лежишь, с заплетенной на ночь толстой косой, на соседней подушке и не смешишь меня рассказами о еде, которая тебе приснилась. И, обслуживая посетителей в баре, я инстинктивно поворачиваюсь, чтобы позвать тебя, но в ответ тишина. Мими частенько заглядывает в твою спальню, словно тоже ожидает тебя там найти. Увидеть, как ты сидишь за своим бюро и что-то пишешь или мечтательно смотришь вдаль. А ты помнишь, как мы в детстве стояли возле окна, гадая, что там за ним? Представляли, что мы сказочные принцессы, и ждали благородного рыцаря, который нас освободит. Могло ли наше детское воображение нарисовать, во что превратится наш город, с его разбитыми дорогами, похожими на призраков мужчинами в лохмотьях и умирающими с голоду ребятишками?

После того как тебя забрали, город точно притих. Будто вместе с тобой исчез и сам его дух. Мадам Лувье, сменив наконец гнев на милость, теперь приходит постоянно, она не хочет, чтобы твое имя было забыто. И говорит о тебе со всеми, кто готов ее слушать. Господин комендант теперь у нас не ужинает. Похоже, он боится посмотреть мне в глаза. А может, он знает, что я с удовольствием воткнула бы в него разделочный нож, а потому предпочитает держаться от меня подальше.

До нас до сих пор доходят крупницы информации: так, клочок бумаги, который я давеча нашла под дверью, рассказал о новой эпидемии инфлюэнцы в Лилле, о захваченном под Дуэ конвое союзников, о пущенных на мясо лошадях на бельгийской границе. От Жана Мишеля ни слова. От тебя тоже.

Иногда мне кажется, что меня завалило в шахте и я слышу только эхо голосов где-то там, вдалеке. У меня отняли всех, кого я люблю, за исключением детей, и я не знаю, живы ли вы либо уже умерли. Иногда страх за тебя словно парализует, нападает на меня в самое неподходящее

время, когда я помешиваю суп или накрываю на стол, и мне стоит больших трудов заставить себя дышать, стараться быть сильной ради детей. И больше, чем что бы то ни было, мне нужна вера. «А что бы на моем месте сделала Софи?» — спрашиваю я себя, уже заранее зная ответ.

Возлюбленная сестра моя, пожалуйста, береги себя! И не стоит понапрасну злить немцев, даже если ты считаешь их своими мучителями. И как бы тебе ни хотелось, ради бога, не надо рисковать! Самое главное, чтобы вы все вернулись ко мне живыми. И ты, и Жан Мишель, и твой ненаглядный Эдуард. Я говорю себе, что это письмо обязательно тебя найдет. Иногда я надеюсь, что, быть может, да, быть может, вам двоим удалось соединиться, и вовсе не в том смысле, о котором я боюсь даже думать. Я говорю себе, что Бог справедлив, хотя в эти мрачные дни Он и играет нашими судьбами.

Софи, береги себя.

Твоя любящая сестра

Элен

Пол откладывает письмо, в свое время хранившееся в тайниках тех, кто участвовал в Сопротивлении во время Первой мировой. Это письмо, единственное свидетельство жизни семьи Софи Лефевр, которое ему удалось найти, похоже, тоже не дошло до адресата.

Судьба картины «Девушка, которую ты покинул» теперь стала для Пола делом первостепенной важности. Он использует все свои обычные источники: музеи, архивы, аукционные дома, экспертов в области всемирной истории искусства. А в частном порядке беседует со старыми знакомыми из Скотленд-Ярда и с представителями криминального мира, например с румыном, славящимся тем, что буквально с математической точностью регистрирует тайные перемещения целых партий украденных произведений европейского искусства.

Ему удастся установить следующее: до недавнего времени Эдуард Лефевр был наименее известным художником из Академии Матисса. Только два академика специализируются на его работах, причем оба они знают о картине «Девушка, которую ты покинул» ровно столько же, сколько и он сам.

Фотография и дневники, имеющиеся в распоряжении семьи Лефевр, свидетельствуют только о том, что картина была выставлена на всеобщее обозрение в отеле под названием «Красный петух» в Сен-Перроне, городе, оккупированном немцами в годы Первой мировой войны. И бесследно исчезла вскоре после ареста Софи Лефевр.

Затем пробел длиной в тридцать лет, после чего картина появляется вновь, уже в Америке, в доме у некой Луанны Бейкер, провисев там следующие тридцать лет, пока миссис Бейкер не переехала в Испанию, где Дэвид Халстон и купил картину уже после ее смерти.

Но что произошло между этими двумя отрезками времени? Если картина действительно была украдена, то где потом хранилась? Что случилось с Софи Лефевр, дальнейшая судьба которой покрыта мраком? Имеющиеся факты похожи на точки в логической игре «Соедини точки», которые невозможно соединить одной прямой. О портрете Софи Лефевр написано больше, чем о ней самой.

Во время Второй мировой войны перемещенные ценности содержались в хорошо защищенных специальных подземных хранилищах. Произведения искусства, которых насчитывалось несколько миллионов, были отобраны с военной скрупулезностью с помощью нечистоплотных экспертов и дилеров. Такие ценности не были обычными боевыми трофеями: нет, их отчуждение производилось систематизированно и регламентированно. Все документировалось и контролировалось.

Однако после Первой мировой войны документов относительно перемещенной собственности, особенно с севера Франции, сохранилось крайне мало. И, как сказала Джейн с некоторой долей гордости в голосе, это означает, что данный случай имеет принципиальное значение для решения аналогичных дел. А откровенно говоря, и для их компании. Поскольку сейчас, как грибы после дождя, возникают аналогичные организации, которые также занимаются установлением провенанса, отыскивают вещи, которые наследники уже отчаялись найти. Теперь им в затылок дышат фирмы, работающие исключительно на условиях получения гонорара только в случае выигрыша дела. Они обещают достать луну с неба людям, готовым поверить во что угодно, лишь бы вернуть обратно любимую вещь.

По словам Шона, адвокат Лив пытается использовать все легальные возможности закрыть дело. И заявляет, что срок давности по данному делу истек, а Дэвид — добросовестный приобретатель, на законных основаниях купивший картину у Марианны Бейкер. Но в силу ряда причин его аргументы не были приняты во внимание, жизнерадостно сообщает Шон, и дело

передается в суд.

«Похоже, суд состоится через неделю. Судьей назначен Бергер. Как правило, в подобных случаях он всегда выносит решение в пользу истца. Звучит многообещающе!»

На стене кабинета Пола среди множества фотографий разыскиваемых произведений искусства висит лист бумаги формата А-4 с фотокопией картины «Девушка, которую ты покинул». Он периодически бросает взгляд на картину, каждый раз надеясь, что хоть сейчас с портрета на него не будет смотреть Лив Халстон. Пол снова возвращается к лежащим перед ним на столе бумагам.

«Кто бы подумал, что в убогом провинциальном отеле можно встретить такой шедевр, — написал комендант в письме жене. — По правде говоря, я не в силах оторвать от него глаз».

«От него? — гадает Пол. — Или от нее?»

В нескольких милях от офиса Пола Лив тоже не сидит сложа руки. Она встает в семь, надевает кроссовки и бежит по набережной, в ушах ее звучит музыка, дыхание ровное. Возвращается она уже после ухода Мо на работу, принимает душ, завтракает, относит Фрэн чашку чая, но не остается в четырех стенах, а проводит день в специализированных искусствоведческих библиотеках и пыльных архивах художественных галерей, а еще лазает по Интернету, пытаясь найти ключ к решению проблемы. Она ежедневно общается с Генри, участвует во всех совещаниях, объясняет важность экспертизы с привлечением французских судебных экспертов, сетует на то, что сложно получить грамотное экспертное заключение.

— Итак, вы в принципе хотите получить от меня конкретные свидетельские показания относительно наличия связи между картиной, не имеющей подтверждающих ее провенанс документов, и женщиной, которой, похоже, уже давно нет в живых.

Генри нервно улыбается. Именно этого он от нее и хочет.

Лив буквально живет этой картиной. Забывает о приближении Рождества, не обращает внимания на жалобные звонки отца. Она ничего не видит и не слышит, но знает только одно: Пол не должен получить портрет. Генри снабдил ее всеми открытыми материалами, предоставленными противной стороной, а именно копиями переписки Софи с мужем, а также материалами с упоминанием картины и городка, где жила ее хозяйка.

Она просматривает сотни академических и политических документов, газетные статьи на тему реституции, где повествуется, например, о семье, уничтоженной в Дахау, и о ее здравствующих потомках, которым пришлось влезть в долги, чтобы получить обратно своего Тициана; или о польской семье, единственная оставшаяся в живых представительница которой благополучно скончалась после того, как ей вернули скульптуру Родена, принадлежавшую еще ее отцу. Большинство статей написано с позиции истцов, например семьи, потерявшей все, а потом случайно нашедшей бабушкину картину. И читателя приглашают разделить радость тех, кто получил обратно фамильные ценности. Буквально в каждом абзаце встречается слово «несправедливость». Причем авторы статей редко сочувствуют тем, кто добросовестно приобрел вещь, но по решению суда лишился ее.

Но в каком бы направлении Лив ни вела поиски, она везде натыкалась на следы Пола, словно не о том спрашивала и не там искала. В результате ей приходилось просто-напросто обрабатывать уже полученную им информацию.

Она встает со стула, расправляет затекшие ноги и нервно ходит по комнате. Во время работы Лив переставляет картину на книжную полку, словно ожидая, что изображенная там девушка подарит ей прилив вдохновения. Теперь Лив ловит себя на том, что не может отвести взгляд от лица на портрете, она будто чувствует, что их время стремительно истекает. День суда все ближе, уже слышится барабанный бой, возвещающий о предстоящем сражении. «Софи, дай мне ответ.

Дай, черт возьми, хоть какую-нибудь подсказку!»

— Привет! — На пороге появляется Мо с баночкой йогурта в руках.

Мо уже шесть недель живет в Стеклянном доме, и Лив безмерно благодарна судьбе, что в трудную минуту не осталась одна.

— Что, уже три часа? — потягиваясь, говорит она. — Господи, я сегодня почти не продвинулась!

— Ты должна взглянуть вот на это. — Мо достает из-под мышки номер лондонской вечерней газеты и протягивает Лив. — Страница три.

Лив находит нужное место и начинает читать.

«Вдова именитого архитектора борется за произведение искусства ценой в миллионы долларов, украденное нацистами во время войны», — гласит заголовок. Под ним крупная, на полстраницы, фотография ее и Дэвида, сделанная много лет назад на каком-то благотворительном мероприятии. На ней платье цвета электрик, в руках бокал с шампанским, словно она чокается с камерой. Рядом помещен снимок картины «Девушка, которую ты покинул» с подписью: «Картина художника-импрессиониста стоимостью несколько миллионов была „украдена немцем“».

— Красивое платье, — замечает Мо.

У Лив кровь отливает от лица. Она не узнает улыбающуюся светскую львицу на фото. Женщину совсем из другой жизни.

— Боже мой! — У нее такое чувство, будто кто-то распахнул настежь двери ее дома, выставив напоказ спальню.

— Думаю, они специально делают из тебя этакую ведьму из высшего общества. Так им легче раскрутить историю о бедном французе, ставшем жертвой богатой хищницы. — (Лив закрывает глаза. Может быть, если сидеть вот так, с закрытыми глазами, все само собой исчезнет.) — И вообще, это неверно с исторической точки зрения. Я имею в виду, что во время Первой мировой еще не было никаких нацистов. Сомневаюсь, что кто-то поведется на эту туфту. Я хочу сказать, что на твоём месте я не стала бы брать в голову и вообще... — Мо долго молчит, а потом добавляет: — И не думаю, что тебя кто-то узнает. Ты здорово изменилась за последнее время. Выглядишь... — пытается подобрать нужное слово Мо, — что ли, победнее. И типа постарше.

Лив открывает глаза. И снова видит себя рядом с Дэвидом. Видит беззаботную, обеспеченную женщину, какой когда-то была.

Мо вынимает ложку изо рта и внимательно ее рассматривает.

— Только не вздумай читать интернет-издание. Договорились? Комментарии некоторых читателей слишком уж... забористые, — говорит Мо и, поймав взгляд Лив, добавляет: — Ну ты понимаешь. В наши дни у каждого есть свое мнение. Но все это полная хрень. — Мо включает чайник. — Послушай, а как ты посмотришь на то, если Раник проведет здесь уик-энд? С ним в квартире живет еще человек пятнадцать, не меньше. И ему, естественно, хочется вытянуть ноги перед телевизором, чтобы не лягнуть кого-то еще.

Пытаясь усмирить растущее беспокойство, Лив трудится весь вечер. У нее перед глазами до сих пор стоит та газетная статья и фото светской дамы с бокалом шампанского в руках. Она звонит Генри, и тот советует не обращать внимания, так как в преддверии судебного процесса это обычная практика. Она ловит себя на том, что придирчиво вслушивается в интонации его речи в надежде определить, так ли он уверен, как кажется.

— Лив, послушай меня. Это громкое дело. И они будут вести грязную игру. Ты должна

набраться мужества.

Генри, который уже проинструктировал барристера, называет Лив его имя с таким видом, словно она обязана его знать. Она спрашивает, во сколько ей все обойдется, и слышит, как Генри шуршит бумагами. А когда он называет сумму, Лив чувствует, что начинает задыхаться.

Телефон звонит три раза, Первый звонок от отца, который сообщает что получил работу в гастрольной постановке «Беги за женой». Она рассеянно отвечает, что рада за него, и настоятельно советует ни за кем не бегать.

— Золотые слова! Именно *так* и сказала Кэролайн! — восклицает отец и вешает трубку.

Второй звонок от Кристен.

— Боже мой! — говорит она, забыв поздороваться. — Я только что видела газету.

— Да уж, не самое приятное послеобеденное чтение.

Лив слышит, как Кристен, закрыв рукой трубку, с кем-то шепчется.

— Свен советует, чтобы ты ни с кем не вступала в разговоры. Молчи как рыба.

— Я и не вступала.

— Тогда откуда они взяли весь этот ужас?

— Генри считает, что здесь не обошлось без КРВ. В их интересах допустить утечку информации, чтобы по возможности выставить меня не в лучшем свете.

— Мне приехать? У меня как раз есть свободное время.

— Кристен, очень мило с твоей стороны, но я в порядке. — Лив сейчас не в том настроении, чтобы общаться.

— Ну, если хочешь, я пойду с тобой на суд. И вообще, могу представить дело в выгодном для тебя свете. У меня достаточно связей. Например, в журнале «Хелло!».

— Ни в коем случае. Спасибо, — кладет трубку Лив.

Да, тогда уж точно все кругом будут в курсе. Кристен обладает уникальной способностью распространять информацию лучше всякой вечерней газеты. И Лив даже подумать страшно о том, как она будет объясняться с родственниками и друзьями. Картина, в сущности, ей больше не принадлежит. Она стала предметом публичных обсуждений, символом несправедливости.

Но не успела Лив повесить трубку, как телефон снова звонит, и она от неожиданности подпрыгивает на месте:

— Кристен, я...

— Это Оливия Халстон? — раздается мужской голос.

— Да? — неуверенно отвечает она.

— Меня зовут Роберт Шиллер. Я пишу статьи об искусстве для «Таймс». Простите, если звоню в неурочное время, но я собираю материал об истории вашей картины и хотел бы, чтобы вы...

— Нет-нет, благодарю, — бросает она трубку.

Лив подозрительно смотрит на телефон, затем в страхе, что он может снова зазвонить, снимает трубку с рычага. Затем кладет трубку на место, но телефон тут же начинает отчаянно трезвонить. Журналисты пытаются представиться и дать ей номер мобильного. Все они крайне дружелюбны, даже вкрадчивы. Клянутся в своей беспристрастности, извиняются, что отнимают у нее время. Лив сидит в пустом доме, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца.

Мо, вернувшись около часа ночи, застает Лив за компьютером, рядом лежит снятая телефонная трубка. Лив рассылает имейлы всем известным специалистам в области французской живописи конца девятнадцатого — начала двадцатого века:

«Меня интересует, известно ли вам что-либо о... Я пытаюсь восстановить историю... Возможно, вы что-то знаете или чем-то располагаете... Все, что угодно...»

— Чаю хочешь? — снимая пальто, спрашивает Мо.

— Спасибо, — не отрывает взгляд от экрана компьютера Лив.

Глаза у нее красные и воспаленные. Она понимает, что дошла до точки, когда начинает механически открывать один сайт за другим, снова и снова проверять свою электронную почту. Но остановиться не может. Любое занятие, даже такое бессмысленное, — все лучше, чем сидеть сложа руки.

Мо усаживается на кухне напротив Лив и придвигает к ней кружку.

— Выглядишь ужасно.

— Спасибо.

Мо равнодушно наблюдает, как Лив стучит по клавиатуре, затем отхлебывает чай и придвигает стул поближе к подруге:

— Ну ладно. А теперь позволь мне. Я как-никак бакалавр искусств, имеющий диплом с отличием. Ты прошерстила все музейные архивы? Каталоги аукционов? Дилеров?

— Да, я всех их проверила, — устало закрывает компьютер Лив.

— Ты вроде говорила, что Дэвид купил портрет у одной американки. А нельзя ли у нее узнать, откуда взялась картина у ее матери?

Лив устало перебирает записи:

— Представитель... противной стороны уже спрашивал ее. Она не знает. Картина была у Луанны Бейкер, а потом ее купили мы с Дэвидом. Это все, что ей известно. Все, что, черт возьми, ей и надо знать!

Она смотрит на экземпляр вечерней газеты с намеками на то, что они с Дэвидом вообще не имели морального права владеть картиной. И снова видит перед собой лицо Пола, вспоминает, как он смотрел на нее в кабинете у адвоката.

— Ты в порядке? — В голосе Мо чувствуется несвойственная ей мягкость.

— Да. Нет. Мо, я люблю эту картину. Действительно люблю. Знаю, мои слова, наверное, звучат глупо, но при одной мысли, что я могу ее потерять... это как потерять частицу себя, — говорит Лив и, заметив удивленно поднятые брови Мо, продолжает: — Извини. Просто... Узнать, что газеты делают из тебя врага общества номер один... Ох, Мо, я и сама ни фиги не понимаю, что делаю... Сражаюсь с мужиком, который этим живет, подбираю за ним крошки и ни хрена не имею, даже тоненькой ниточки, способной привести к решению проблемы. — И Лив, к своему стыду, понимает, что вот-вот разревется.

— Все, тебе пора проветриться, — заявляет Мо, придвигая к себе папки. — Иди на балкон, посмотри минут десять на небо и постарайся вспомнить, что все это суета сует на фоне бессмысленности бытия. И вообще, нашу маленькую планету рано или поздно проглотит черная дыра, так что в любом случае дергаться бессмысленно. А я пока погляжу, что могу для тебя сделать.

— Но ты, наверное, здорово устала, — шмыгает носом Лив.

— Ничутьто. Мне надо расслабиться после смены. Чтобы лучше спать. Топай давай! — И Мо начинает перебирать лежащие на столе папки.

Лив вытирает глаза, натягивает свитер и выходит на балкон. И здесь, в бескрайней черноте ночи, она ощущает себя на удивление бесплотной. Она окидывает взглядом раскинувшийся внизу город и с удовольствием вдыхает холодный воздух. Потягивается, расправляя затекшие плечи. Но в голове скребется неприятная мысль, будто она упустила нечто не столь явное, но очень важное.

Когда она десять минут спустя появляется на кухне, Мо что-то корябает в блокноте.

— Ты помнишь мистера Чамберса? — спрашивает она.

— Чамберса?

— Средневековая живопись. Уверена, что ты была на его занятиях. Я все думаю о его

словах, которые меня тогда поразили, прямо-таки запали в душу. Он сказал, что иногда история картины — это история не только произведения искусства, а целой семьи, с ее секретами и тайными грехами, — говорит Мо, барабанив шариковой ручкой по столу. — Ну, задачка, скажем прямо, не для среднего ума, но меня все же разбирает любопытство, если учесть, что Софи жила с родственниками, когда картина исчезла, когда *она сама* исчезла, и что эти ребята явно темнят. Странно, почему не сохранилось свидетельств о судьбе семьи самой Софи.

Лив всю ночь напролет просматривает толстые папки с документами, проверяет и перепроверяет бумаги. Надев очки, ползает по Интернету. И когда наконец, уже около пяти утра, находит то, что нужно, благодарит Всевышнего за французскую педантичность при ведении записей актов гражданского состояния. Потом она откидывается на спинку стула и ждет, когда проснется Мо.

— Интересно, у меня есть хоть какой-нибудь шанс вырвать тебя на уик-энд из объятий Раника? — спрашивает она, когда на пороге появляется заспанная Мо с распущенными волосами цвета воронова крыла. Без жирной черной подводки для глаз ее лицо кажется удивительно розовым и даже беззащитным.

— Нет уж, спасибо. Если ты о пробежке, то я пас. Потеть ты меня точно не заставишь.

— Ты ведь свободно говоришь по-французски. Так? Хочешь поехать со мной в Париж?

— Это что, твой способ сказать, что ты сменила ориентацию? — тянется за чайником Мо. — Я, конечно, люблю Париж, но дамы меня пока не интересуют.

— Нет, это мой способ сказать, что ты, со своим выдающимся знанием французского языка, поможешь мне поболтать с одним восьмидесятилетним господином.

— Роскошный уик-энд!

И я даже гарантирую однозвездочную гостиницу! И возможно, шопинг в «Галерее Лафайет». Пополощем глазки.

— Грех отказываться от столь заманчивого предложения, — подмигивает Мо. — Когда выезжаем?

Они встречаются с Мо на вокзале Сент-Панкрас в семнадцать тридцать, и при виде Мо, небрежно машущей рукой с зажатой в ней сигаретой, у Лив становится легче на душе. К своему стыду, она просто счастлива, что можно хоть немного отдохнуть от звенящей тишины Стеклянного дома. Два дня вдали от телефона, который буквально стал для нее источником радиоактивного излучения: еще четырнадцать журналистов оставили на ее автоответчике более или менее дружелюбные сообщения. Два дня вдали от Пола, сам факт существования которого напоминал ей о том, как жестоко она заблуждалась.

Накануне вечером она изложила Свену свой план, и он тут же спросил:

«А ты можешь себе это позволить?»

«Я ничего не могу себе позволить. Но я перезаложила дом, — отрывисто бросила она, и молчание Свена было красноречивее всяких слов.

— Мне пришлось. Адвокатская контора требовала гарантий. — (Судебные издержки съедали все ее деньги. Один только барристер брал пятьсот фунтов в час, а он еще даже не выступал в суде.) — Но если я сумею сохранить картину, оно того стоит».

Лондон купается в вечернем тумане, заходящее солнце расцветивает грязно-фиолетовое небо оранжевыми сполохами.

— Надеюсь, я тебя ни от чего такого не оторвала? — спрашивает Лив, когда они занимают свои места.

— Ну разве что от хорового пения в доме для престарелых. — Мо выкладывает на столик стопку глянцевого журналов и шоколадки. — Но вряд ли меня можно удивить новыми аккордами «We're Going To Hang Out The Washing On The Siegfried Line».^[30] Итак, с кем мы должны встретиться? Как этот человек связан с твоим делом?

Филипп Бессетт — это сын Орельена Бессетта, младшего брата Софи Лефевр. Именно Орельен, объясняет Лив, жил с сестрами в отеле «Красный петух» в годы немецкой оккупации. При нем немцы забрали Софи, и он еще несколько лет после исчезновения сестры оставался в родном городе.

— Если кто и знает, куда делась картина, так это он. Я беседовала с директрисой интерната для престарелых, где он сейчас содержится, и она сообщила, что он находится в здравом уме и вполне способен общаться, но только не по телефону, так как у него проблемы со слухом, и мне надо приехать лично.

— Всегда рада помочь.

— Спасибо.

— Но ты должна знать, что на самом деле я не говорю по-французски.

— Что?! — резко поворачивает голову Лив.

Мо как ни в чем не бывало разливает вино из маленькой бутылочки по пластиковым стаканчикам.

— Я не говорю по-французски. Хотя прекрасно разбираю, что там бормочут себе под нос старики. Может, что-нибудь и пойму, — заявляет Мо, но, увидев, как Лив бессильно сползает с сиденья, поспешно говорит: — Да шучу я, шучу. Господи, какая же ты доверчивая! — Мо берет свой стакан и делает большой глоток. — Иногда я даже за тебя беспокоюсь. Реально беспокоюсь.

Лив плохо помнит, как они ехали в поезде. Они пьют вино — Мо открывает уже третью бутылку — и разговаривают. У нее уже давно не было такого вечера откровений. Мо рассказывает о своих непростых отношениях с родителями, которые не могут простить ей

отсутствие амбиций и работу в доме для престарелых.

— О, я прекрасно понимаю, что мы, персонал интернатов, находимся в самом низу социальной лестницы, но старики очень хорошие. Среди них попадаются на редкость умные и очень много забавных. Мне они нравятся гораздо больше, чем мои ровесники.

Лив ждет продолжения: «За исключением присутствующих», но не слишком обижается, так и не дождавшись его.

И наконец она рассказывает Мо о Поле. И Мо как-то странно затихает.

— Ты что, спала с ним, предварительно не проверив его в Google? — обретя наконец дар речи, спрашивает она. — Боже мой, когда ты сказала мне, что выбыла из числа тех, кто ходит на свидания, мне и в голову не могло прийти... Господи, никогда не ложись в постель с мужчиной, предварительно не узнав всю его *подноготную*. — Мо садится на свое место, наполняет стаканы и неожиданно бросает на Лив озорной взгляд: — Эй, до меня только что дошло. Лив Халстон, похоже, у тебя был самый дорогой перепих в мировой истории.

Ночь они провели в дешевом отеле на окраине Парижа, где вся ванная — это литой кусок желтого пластика, а шампунь по запаху и цвету — точь-в-точь жидкость для мытья посуды. Позавтракав черствыми жирными круассанами с чашкой кофе, они звонят в интернат для престарелых. Лив пакует вещи, чувствуя, как от волнения внутренности сплетаются в один тугий узел.

— Все, полный облом, — хмурится Мо, вешая трубку.

— Что?

— Он нездоров. И сегодня посетителей не принимает.

Лив, которая как раз собиралась чуть-чуть подкраситься, потрясенно смотрит на Мо.

— А ты не сказала, что мы специально приехали из Лондона?

— Я сказала, что мы приехали из Сиднея. Но та женщина ответила, что он так слаб, что говорить с ним совершенно бесполезно: он все равно будет спать. Я дала ей номер своего мобильного, и она обещала позвонить, если он оклемается.

— А что, если он умрет?

— Лив, у него всего-навсего простуда.

— Но он ведь такой старый.

— Да ладно тебе, Лив! Пошли пропустим по стаканчику и поглазеим на шмотки, которые не можем себе позволить. Если она позвонит, ты даже не успеешь сказать «Жерар Депардье», как мы уже будем в такси.

Все утро они бродят по украшенным к Рождеству бесконечным отделам «Галереи Лафайет». Лив пытается отвлечься и насладиться жизнью, но ее неприятно удивляют здешние цены. С каких это пор двести фунтов стали нормальной ценой для пары джинсов? И действительно ли увлажняющий крем за сто фунтов разглаживает морщины? Она ловит себя на том, что, не успев взять понравившуюся вещь, сразу кладет ее на место.

— Что, неужели все действительно так плохо?

— Барристер обходится мне пять сотен в час.

Мо явно принимает это за шутку и с минуту ждет продолжения, но потом говорит:

— Ух ты! Надеюсь, картина того стоит.

— Генри, похоже, считает, что у нас сильная линия защиты. Он сказал, что они просто надувают щеки.

— Тогда, ради бога, кончай волноваться. Расслабься и получай удовольствие. Ну давай же, а то испортишь уик-энд!

Но Лив не в состоянии получать удовольствие. Она здесь, чтобы заставить

восьмидесятилетнего старика напрячь мозги, причем он, может, будет, а может, не будет с ней разговаривать. Рассмотрение в суде начинается уже в понедельник, и ей жизненно важно получить новые свидетельства в свою пользу.

— Мо?

— Ммм? — Мо держит в руках черное шелковое платье и, слегка нервируя Лив, вызывающе смотрит на установленные на потолке камеры слежения.

— Могу я предложить тебе кое-что другое?

— Не вопрос. Куда хочешь поехать? В Пале-Рояль? В квартал Маре? Можем найти бар с танцами специально для тебя, если ты и правда хочешь попытаться снова стать самой собой.

Но Лив достает из сумочки карту и начинает медленно ее разворачивать:

— Нет, я хочу поехать в Сен-Перрон.

Они берут автомобиль напрокат и едут на север от Парижа. Мо не водит машину, поэтому за руль, тряхнув стариной, садится Лив, которой непрерывно приходится напоминать себе о необходимости держаться правой стороны дороги. По мере приближения к Сен-Перрону у нее в ушах все громче звучит барабанная дробь. Окраины Парижа плавно переходят в поля, крупные промышленные зоны, а через два часа езды — в равнины северо-востока страны. Они следуют указателям, но все равно умудряются немного поплутать, из-за чего два раза возвращаются назад. И вот наконец к четырем часам дня они медленно въезжают на главную улицу города. На мощенной серым булыжником площади пусто, немногочисленные рыночные палатки уже закрыты.

— Умираю хочу выпить. Не знаешь, где здесь ближайший бар?

Они подъезжают поближе к стоящему на площади отелю. Лив опускает стекло, чтобы лучше рассмотреть кирпичный фасад.

— А вот то, что нам нужно.

— Что именно?

— «Красный петух». ОТЕЛЬ, в котором они жили.

Лив медленно вылезает из машины и, прищурившись, разглядывает вывеску. Похоже, она сохранилась с начала прошлого века. Рамы окон покрашены яркой краской, в ящиках для цветов рождественские цикламены. Вывеска висит на кованом кронштейне. За аркой виднеется посыпанный гравием двор с припаркованными там дорогими машинами. Лив замирает в томительном предчувствии чего-то, но чего именно — она и сама толком не понимает.

— Надо же, звезда Мишлена! Здорово, — радуется Мо и, заметив недоумевающий взгляд Лив, говорит: — Ну ты даешь! Это все знают. В ресторанах со звездой Мишлена работают лучшие повара.

— А... Раник?

— Иностранные правила. В чужой стране не считается.

Мо уже входит в бар и останавливается у стойки. Ее приветствует красивый до невозможности молодой человек в накрахмаленном переднике. И пока она болтает с ним по-французски, Лив скромно стоит в сторонке.

Лив вдыхает ароматы хорошей кухни, надушенных роз в вазах и обшаривает взглядом стены. Ее картина жила здесь. Почти сто лет назад. Портрет «Девушки, которую ты покинул» жил здесь, так же как и его модель. И Лив неожиданно кажется, что она вот-вот снова увидит картину на стене, словно только здесь ее законное место...

— Узнай, являются ли Бессетты до сих пор хозяевами этого места? — Лив поворачивается к Мо.

— Бессетты? Non.

— Нет. Все принадлежит какому-то латышу. У него сеть таких отелей.

Лив явно разочарована. Она представляет себе бар, где полным-полно немцев, а за стойкой — рыжеволосую девушку с горящими от ненависти глазами.

— А что он знает об истории бара? — Лив достает из сумочки фотокопию.

Мо переводит вопрос на французский. Бармен склоняется над фотоснимком, потом пожимает плечами.

— Он работает здесь только с августа. Утверждает, что ничего об этом не знает, — переводит Мо, а когда бармен еще что-то добавляет, театрально закатывает глаза: — Говорит, что она хорошенькая. А еще говорит, что ты уже второй человек, который его об этом спрашивает.

— Что?

— Да, так он и сказал.

— Спроси: как выглядел тот человек?

Хотя все было ясно без слов. Лет тридцать с хвостиком или около сорока, ростом примерно шесть футов, короткие волосы с проседью.

— Похож на жандарма. Вот, оставил визитную карточку, — говорит бармен, протягивая ее Лив.

Пол Маккаферти
директор КРВ

У Лив внутри все кипит. *Опять?* Ты даже здесь меня обскакал. Он будто над ней издевается.

— Можно оставить карточку себе? — спрашивает она.

— Ну конечно, — пожимает плечами бармен. — Мадам, не хотите ли сесть за столик?

Лив густо краснеет. «Нам это не по карману».

Но Мо, внимательно изучающая меню, неожиданно кивает:

— Да, ведь скоро Рождество. Давай позволим себе хоть раз вкусно поесть.

— Но...

— Я угощаю. Всю жизнь я обслуживала других. Кутить так кутить! И лучше всего здесь, в ресторане со звездой Мишлена и в обществе смазливых Жанов Пьеров. Я заслужила. Ну давай, не тушуйся, я твоя должница.

И они обедают в ресторане.

Мо болтает без умолку, флиртует с официантами, ахает и охает над каждым блюдом, а затем торжественно сжигает визитную карточку Пола в пламени длинной белой свечи.

Лив изо всех сил пытается получать удовольствие. Да, еда действительно выше всяких похвал. Официанты знающие и услужливые. Мо не устает твердить, что она в nirване. Но с Лив творится что-то странное. Она забывает, что сидит в переполненном обеденном зале. И снова видит Софи Лефевр за стойкой бара, слышит топот немецких сапог по половицам из старого вяза. Видит горящие поленья в камине, слышит мерную поступь солдат, далекие раскаты орудий. Видит заплеванной тротуар, женщину, которую запихивают в военный грузовик, ее рыдающую сестру, что в отчаянии склонилась над стойкой бара.

— Это всего лишь картина, — недовольно говорит Мо, когда Лив, отказавшись от шоколадной помадки, во всем ей признается.

— Я понимаю, — отвечает Лив.

Когда они возвращаются к себе в отель, она берет папки с документами в пластиковую ванную комнату и, пока Мо спит, в сотый раз перечитывает их при безжизненном свете люминесцентной лампы, стараясь понять, что же она все-таки пропустила.

В воскресенье утром, когда Лив уже догрызает последний уцелевший ноготь, звонит директриса интерната. Она диктует им адрес заведения, расположенного на северо-востоке города, и они едут туда на взятой напрокат машине, блуждая по незнакомым улочкам на забытой богом окраине. Мо, которая накануне вечером выпила почти две бутылки вина, явно не в настроении. Лив, измученная бессонной ночью, тоже молчит, ее голова пухнет от вопросов, на которые пока нет ответов.

Она ожидала увидеть нечто унылое и мрачное: кирпичную коробку постройки семидесятых годов, с окнами из полихлорвинила и аккуратной стоянкой для машин. Но они подъезжают к внушительному четырехэтажному дому, на увитом плющом фасаде которого красиво смотрятся элегантные окна со ставнями. За оградой с массивными коваными воротами раскинулся ухоженный сад, разделенный на отдельные зоны мощеными дорожками.

Лив звонит в дверь, а Мо спешно красит губы.

— Ты у нас кто, Анна Николь Смит? — ехидно спрашивает Лив, Мо отрывисто смеется в ответ, и возникшая было напряженность тут же исчезает.

Они уже несколько минут стоят в приемной, но на них никто не обращает внимания. Через стеклянную дверь слева по коридору они видят, как коротко стриженная девушка играет на электрооргане, и слышат нестройное пение. В тесном кабинете две средних лет женщины составляют график.

Наконец одна из них оборачивается:

— Добрый день.

— Добрый день, — отвечает Мо по-французски. — К кому мы можем снова обратиться?

— Насчет месье Бессетта? — спрашивает женщина, и Мо что-то отвечает на хорошем французском. Женщина кивает: — Англичанки?

— Да.

— Пожалуйста, распишитесь. Протрите руки. Потом пройдите вон туда.

Они записывают свои имена в толстую книгу для посетителей, тщательно протирают каждый палец антибактериальной жидкостью.

— Славное местечко, — с видом знатока шепчет Мо.

Затем, едва поспевая за женщиной, они идут бесконечными коридорами, пока та не останавливается перед полуоткрытой дверью.

— Monsieur? Vous avez des visiteurs. [\[31\]](#)

Они неловко топчутся под дверью, а женщина что-то бурно обсуждает, обращаясь, как им кажется, к спинке кресла. Наконец она возвращается.

— Можете войти. Надеюсь, вы что-нибудь для него приготовили?

— Директриса сказала, что надо принести миндальное печенье.

Женщина бросает оценивающий взгляд на красиво упакованную коробку:

— Ah, oui, — сдержанно улыбается она. — Это он любит.

— Спорим, не позднее пяти печенье уже будет в комнате для персонала, — тихо говорит Мо, когда женщина скрывается из виду.

Филипп Бессетт сидит в вольтеровском кресле и смотрит в окно на внутренний дворик с фонтаном. Рядом столик на колесиках с кислородной подушкой, соединенной тонкой трубкой с носом старика. Лицо его серое и сморщенное, будто осевшее от времени, под просвечивающей кожей видна сеточка вен. У него шапка густых седых волос, а острый взгляд говорит о том, что Филипп Бессетт не такой дряхлый, каким кажется.

Девушки обходят кресло, чтобы стоять к старику лицом, Мо даже слегка сутулится, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Да, похоже, Мо чувствует себя здесь как дома, думает Лив. Словно тут ей все родное и близкое.

— Здравствуйте, — говорит Мо, представляясь.

Они обмениваются рукопожатиями, и Лив протягивает коробку с печеньем. Он внимательно изучает коробку, затем стучит пальцем по крышке. Лив открывает ее и показывает содержимое. Тогда он жестом предлагает Лив угощаться, а когда та отказывается, медленно выбирает печенье и ждет.

— Наверное, надо положить ему в рот, — шепчет Мо.

После секундного колебания Лив предлагает свою помощь. Бессетт, совсем как птенец, открывает и закрывает рот, закатывает глаза, наслаждаясь вкусом.

— Скажи ему, что мы хотели бы задать несколько вопросов о семье Эдуарда Лефевра.

Бессетт прислушивается к разговору и тяжело вздыхает.

— Вы знали Эдуарда Лефевра? — спрашивает Лив и ждет, пока Мо переведет.

— Я никогда с ним не встречался. — Речь старика очень медленная, будто каждое слово дается ему с огромным трудом.

— Но ваш отец, Орельен, знал его?

— Мой отец несколько раз с ним встречался.

— Ваш отец жил в Сен-Перроне?

— Вся моя семья жила в Сен-Перроне, пока мне не исполнилось одиннадцать лет. Тетя Элен жила в отеле, отец — над табачной лавкой.

— Мы были вчера вечером в отеле, — говорит Лив, но старик остается безучастным. Тогда она достает фотокопию. — Ваш отец упоминал об этой картине? Она, по всей видимости, висела в «Красном петухе», но потом исчезла. Мы пытаемся выяснить ее историю.

— Софи, — роняет старик, посмотрев на снимок.

— Да, Софи, — энергично кивает Лив, в ее душе загорается огонек надежды.

Взгляд Бессетта невозможно прочесть, он смотрит на снимок слезящимися, запавшими глазами, в которых, казалось, собраны все горести и радости прошедших лет. Морщинистые веки тяжело опускаются, и старик становится похож на какое-то странное доисторическое существо. Наконец он поднимает голову:

— Я ничего не могу вам сказать. Нам не разрешалось о ней говорить.

— Что? — Лив бросает удивленный взгляд на Мо.

— В нашем доме... было запрещено произносить имя Софи.

— Но ведь она была вашей тетей, да? — удивленно моргает Лив. — Она была замужем за известным художником.

— Отец никогда не говорил об этом.

— Не понимаю.

— Не все, что происходит в отдельной семье, можно объяснить.

В комнате становится тихо. Мо явно чувствует себя неловко. И Лив пытается сменить тему:

— А о меся Лефевре вы что-нибудь знаете?

— Ничего. Но у меня в свое время были две его картины. После исчезновения Софи некоторые работы были отправлены в отель парижским дилером, это случилось незадолго до моего рождения. И так как Софи больше не было, Элен две картины оставила себе, две отдала моему отцу. Он сказал, что не нуждается в них, но после его смерти я нашел их на чердаке. А когда узнал, сколько они стоят, то был приятно удивлен. Одну картину я отдал дочери, она живет в Нанте. Вторую продал несколько лет тому назад. И в результате смог оплатить свое пребывание в интернате. Здесь... очень хорошо. Поэтому, может быть, я, несмотря ни на что, хорошо отношусь к тете Софи. — Выражение его лица неожиданно смягчается.

— Несмотря ни на что? — переспрашивает Лив.

Однако взгляд старика остается непроницаемым. Лив даже начинает беспокоиться:

случаем, не задремал ли он. Но старик продолжает свой рассказ:

— В Сен-Перроне поговаривали... ходили такие слухи... будто моя тетя сотрудничала с немцами. Именно поэтому отец запретил упоминать ее имя. Ему было удобнее делать вид, что ее не существовало. И когда я был мальчишкой, ни отец, ни тетя Элен никогда не упоминали о ней.

— Сотрудничала? Как шпионка?

Старик медлит, обдумывая правильный ответ.

— Нет. Но ее отношения с немецкими оккупантами были... не вполне корректными, — поворачивается он к посетительницам. — Очень больной вопрос для нашей семьи. Только человек, живший в те времена в маленьком провинциальном городке, способен это понять. Поэтому никаких писем, никаких картин, никаких фотографий. С той самой минуты, как ее забрали, тетя перестала существовать для отца. Он не умел прощать, — вздыхает старик. — К сожалению, и остальные члены семьи предпочли без следа стереть память о ней.

— Даже ее сестра?

— Даже Элен.

Лив потрясена. Она всегда считала Софи воплощением жизни, ведь ее взгляд казался таким торжествующим, а любовь к мужу — всепобеждающей. И вот теперь Лив отчаянно пытается привести свою Софи в соответствие с образом этой запятнавшей себя позором, списанной со счетов женщины.

В тяжелом прерывистом дыхании старика чувствуется невысказанная боль. Лив внезапно становится ужасно стыдно за то, что пробудила в нем горькие воспоминания.

— Мне очень жаль, — произносит она, не зная, что еще можно сказать.

Теперь она понимает, что здесь ей ничего не светит. Неудивительно, что Пол Маккаферти даже не потрудился сюда заехать.

Молчание затягивается. Мо украдкой кладет в рот печенье. Подняв глаза, Лив ловит на себе пристальный взгляд Филиппа Бессетта.

— Спасибо, что согласились принять нас, месье, — дотрагивается она до его руки. — Очень трудно найти связь между женщиной, что вы описали, и женщиной, которую я вижу перед собой. У меня... у меня есть ее портрет. И я всегда очень любила его. Я искренне считала, что она похожа на женщину, твердо уверенную в том, что любима. Она казалась мне такой... сильной духом.

Старик слегка приподнимает голову и, пока Мо переводит, в упор смотрит на Лив.

В дверях появляется сиделка. Из-за ее спины в комнату нетерпеливо заглядывает женщина со столиком на колесиках. По коридору расползается запах еды.

И когда Лив уже собирается уходить, старик останавливает ее взмахом руки.

— Подождите, — говорит он и тычет указательным пальцем в сторону книжных полок. — Та, что с красной обложкой.

Лив пробегает рукой по корешкам и, когда он наконец кивает, достает с полки потрепанную папку.

— Это бумаги моей тети Софи, ее письма. Они помогут вам узнать о ее взаимоотношениях с Эдуардом Лефевром. Все это нашли в тайнике в ее комнате. Но, насколько я помню, там ни слова о вашей картине. Но письма дадут вам более ясное представление о ней. В свое время, когда все, кому ни лень, чернили ее имя, они открыли мне, что моя тетя... была человеком. Замечательным человеком.

Лив осторожно открывает папку. В ней почтовые открытки, пожелтевшие от времени письма, какие-то рисунки. Она видит витиеватый почерк на куске бумаги с потрепанными краями, подпись *Софи*. И у Лив перехватывает дыхание.

— После смерти отца я нашел это в его вещах. Он сказал Элен, будто все сжег, все до

последнего. И Элен шла за его гробом, считая, что после Софи ничего не осталось. Вот такой он был человек.

Лив не в силах оторвать глаза от лица старика.

— Я сделаю копии и отошлю вам назад, — запинаясь, бормочет она.

Но он только небрежно машет рукой:

— Какой мне теперь от них прок? Я больше не могу читать.

— Месье... я все же должна спросить. Ничего не понимаю. Ведь семья Лефевр наверняка хотела бы на это посмотреть.

— Да.

— Тогда почему вы не отдали бумаги им? — переглядывается Лив с Мо.

— Да, тогда они впервые пришли ко мне, — говорит он, и его глаза слегка затуманиваются. — Спрашивали, что я знаю о картине. Чем могу им помочь? Вопросы, вопросы... — качает он головой, и его голос неожиданно набирает силу: — Раньше им не было дела до Софи. Так почему они должны получить выгоду за ее счет? Семейю Эдуарда не волнует никто, кроме них самих. И все деньги, деньги, деньги... Я был бы рад, если бы они проиграли дело. — На его лице появляется упрямое выражение.

Совершенно очевидно, что разговор закончен. Сиделка в дверях демонстративно показывает на часы. Лив берет пальто. Она понимает, что они уже и так злоупотребили здешним гостеприимством, но ей необходимо спросить еще об одном.

— Месье, а вам ничего не известно, что случилось с вашей тетей Софи, после того как она покинула отель? Вам удалось ее разыскать?

Старик смотрит на фотокопию, накрывает ее рукой. Лив слышит тяжелый вздох, словно исходящий из недр его души.

— Ее арестовали немцы и увезли в лагерь. И с тех пор от нее, как и от всех, кто туда попал, не было ни слуху ни духу.

1917 г.

Грузовик для перевозки скота трясся по колдобинам, а когда попадались особенно большие ямы, время от времени съезжал на поросшие травой обочины. Моросил мелкий противный дождь, мотор протестующе ревел, вытягивая грузовик из разбитой колеи, отчаянно крутящиеся колеса поднимали столбы жидкой грязи.

После двух лет заточения в нашем городишке я была потрясена разрухой за его пределами. Города и деревни, лежащие всего в нескольких милях от Сен-Перрона, были практически полностью уничтожены, превратившись в груды серого кирпича и булыжника. Посреди камней зияли воронки с водой, затянутой зеленой ряской, и это свидетельствовало о том, что воронки появились отнюдь не вчера. Немногочисленные уцелевшие жители молча провожали глазами наш грузовик. Мы уже проехали три города, но я так и не смогла их идентифицировать. Медленно, но верно до меня стал доходить истинный масштаб разрушений.

Я смотрела в щель между бортом и брезентовым полотнищем на колонны кавалеристов на тощих лошадях; на тащивших носилки солдат с серыми лицами, в грязных и мокрых шинелях; на проезжавшие мимо грузовики, из которых выглядывали измученные люди с потухшими глазами. Время от времени шофер останавливал грузовик, чтобы перекинуться парой слов с другими водителями, и тут я горько пожалела, что не знаю немецкого и не могу понять, куда меня везут. Из-за дождя не видно было даже теней, но, похоже, мы ехали на северо-восток. В сторону Арденн, говорила я себе, стараясь дышать ровно. Я решила, что единственный способ побороть душивший меня животный страх — это продолжать уговаривать себя, что я еду к Эдуарду.

По правде сказать, я словно онемела. И если бы мне задали вопрос, то не смогла бы на него ответить. В ушах до сих пор звенели пронзительные голоса горожан, перед глазами стояло лицо брата, смотревшего на меня с холодной брезгливостью, а во рту было горько от осознания того, что произошло. Я видела страдальческие глаза сестры, чувствовала маленькие ручонки Эдит, вцепившиеся в меня мертвой хваткой. И в эти минуты мой страх становился таким сильным, что я боялась опозориться. Страх этот накатывал волнами, у меня начинали дрожать ноги и стучать зубы. Но затем, глядя на лежавшие в руинах города, я начинала понимать, что многие люди оказались в худшем положении, чем я, и приказывала себе успокоиться. Что ж, впереди лишь очередной этап, необходимый для моего воссоединения с Эдуардом. Ведь именно это я и просила. И прочь все сомнения!

Когда мы уже порядочно отъехали от Сен-Перрона, мой конвоир сложил руки, прислонился головой к борту и уснул. Он явно понял, что я не представляю для него угрозы, а может, его убаюкало покачивание грузовика. И когда ко мне стал снова подбираться страх, словно хищник к жертве, я закрыла глаза, прижала к себе сумку и погрузилась в воспоминания о муже...

Эдуард тихонько посмеивался.

«Что случилось?» — спросила я, обняв его за шею так, чтобы его дыхание щекотало мне кожу.

«Я думал о тебе прошлым вечером, когда загонял месье Фаража за его собственный прилавок».

Наши долги стали непомерными. Я таскала Эдуарда по барам в районе площади Пигаль, требовала денег с тех, кто был ему должен, отказываясь уйти, пока они не заплатят. Фараж не захотел платить, к тому же и оскорбил меня, поэтому мой всегда добродушный Эдуард уложил

его одним мощным ударом. Фараж отключился сразу, еще не коснувшись пола. И под дикие крики, звон разбитой посуды и грохот перевернутых столов нам пришлось спешно ретироваться из бара. Но я наотрез отказалась бежать, а сперва, чинно подобрав юбки, спокойно подошла к кассе и взяла ровно столько, сколько был должен Фараж.

«Ты моя бесстрашная маленькая женушка!»

«Да. Когда ты рядом со мной».

Я, должно быть, задремала и проснулась только тогда, когда грузовик остановился, так как ударилась головой о железную скобу крыши. Мой конвоир беседовал с каким-то солдатом. Потирая голову и расправляя затекшие, оковеневшие конечности, я выглянула наружу. Мы приехали в какой-то город, но железнодорожная станция теперь носила совершенно непонятное для меня новое, немецкое, название. Тени стали длиннее, а свет не таким ярким. Значит, скоро вечер. Кто-то откинул брезентовый край кузова, и я увидела лицо немецкого солдата, он явно удивился, обнаружив внутри только меня одну. Он что-то заорал и жестом велел мне выходить. А поскольку я двигалась недостаточно проворно, потянул меня за руку. Я споткнулась, сумка упала на мокрую землю.

Я уже два года не видела в одном месте столько людей. Станция, состоящая из двух платформ, кишела народом, и, насколько я поняла, в основном это были солдаты и военнопленные, которых выдавали нарукавные повязки да изорванная грязная одежда. И все как один стояли, понуро опустив голову. Когда меня вели через толпу, я напряженно вглядывалась в их лица, словно пыталась отыскать Эдуарда, но конвоир настойчиво толкал меня в спину, и все они превратились в одно большое расплывчатое пятно.

«Hier! Hier!» Дверь вагона отъехала в сторону, и меня запихнули в багажный отсек, набитый похожими на призраков людьми. Дверь за мной закрылась, я осталась стоять, вцепившись в сумку, пока глаза не привыкли к тусклому свету.

Вдоль стен вагона тянулись длинные скамьи, на которых плотной массой сидели люди; кому не хватило места — теснились на полу. Те, кто был ближе к краю, лежали, подсунув под голову узелки с одеждой. Вокруг стояла такая вонь, что невозможно передать словами. Воздух был тяжелым от отвратительного запаха немых тел и испражнений.

— Français? — спросила я в полной тишине, но ответом мне были только пустые, безразличные взгляды.

— Ici, — послышался чей-то голос, и я стала медленно пробираться по вагону, стараясь не тревожить спящих. В гомоне голосов мне послышалась даже русская речь. Я кому-то наступила на волосы, и мне вслед полетели проклятия. Наконец я все-таки попала в конец вагона. На меня смотрел мужчина с обритой налысо головой. Все его похожее на череп лицо, с обтянутыми кожей, выступающими скулами, было изрыто шрамами, точно он недавно переболел ветряной оспой.

— Français? — удивился он.

— Да, — ответила я. — Где мы? И куда едем?

— Куда едем? — удивленно переспросил он, но, поняв, что я вовсе и не думала шутить, грустно улыбнулся: — В Тур, Амьен, Лилль. Откуда мне знать? Они устроили бесконечную поездку через всю страну, чтобы никто из нас не понимал, где находится.

Я уже собиралась продолжить разговор, но неожиданно заметила на полу чей-то неясный силуэт. Черное манто было знакомо до боли, поэтому поначалу я даже не рискнула присмотреться получше. И все же я протиснулась вперед и опустилась на колени.

— Лилиан? — Теперь я хорошо видела ее обезображенное побоями лицо, со свисавшими по бокам жидкими прядями когда-то роскошных волос. Она приоткрыла один глаз, будто решила,

что слышалась. — Лилиан! Это я, Софи.

— Софи! — выдохнула она, изумленно посмотрев на меня. Затем осторожно дотронулась до моей руки: — Эдит? — В ее голосе звучал неприкрытый страх.

— Она с Элен. В полной безопасности, — сказала я, но в ответ она только устало опустила веки. Лицо ее покрывала смертельная бледность. — Ты что, больна?! — ужаснулась я, только сейчас заметив пятна засохшей крови на юбке. — И давно она в таком состоянии? — спросила я француза.

Тот лишь равнодушно пожал плечами, словно за это время насмотрелся такого, что уже не способен был испытывать ничего даже отдаленно похожего на сострадание.

— Когда нас посадили в вагон несколько часов назад, она уже была здесь.

Губы у Лилиан потрескались, глаза ввалились.

— У кого-нибудь есть вода?! — закричала я, но увидела лишь безучастные лица.

— Ты что, думаешь, здесь вагон-ресторан? — с горечью спросил француз.

Тогда я сделала вторую попытку, еще сильнее повысив голос.

— Найдется у кого-нибудь хотя бы глоток воды? — (Люди недоуменно переглядывались, но продолжали молчать.) — Эта женщина рисковала жизнью, чтобы передавать информацию о действительном положении дел. Если у кого-то есть вода, дайте хоть каплю! — (По толпе пробежал тихий ропот.) — Пожалуйста! Ради всего святого!

И, к моему величайшему удивлению, буквально через минуту мне передали эмалированную миску, на дне которой плескалось что-то, похожее на дождевую воду. Крикнув спасибо, я осторожно приподняла голову Лилиан и влила ей в рот драгоценную влагу.

Француза мой поступок, похоже, явно вдохновил.

— Пока идет дождь, мы должны подставить кружки, миски — словом, все, что есть! Мы не знаем, когда нас в следующий раз будут кормить или поить.

Лилиан с трудом проглотила воду. Я села на пол, чтобы она могла ко мне прислониться. А поезд, скрежеща колесами о металлические рельсы, через всю страну увозил нас в пугающую неизвестность.

Не помню, как долго мы находились в том вагоне. Поезд еле полз, то и дело беспричинно останавливаясь.

Я сидела, обняв притулившуюся ко мне Лилиан, и сквозь щели в обшивке смотрела на бесконечное передвижение войск, военнопленных, мирных граждан по моей несчастной, разграбленной и разрушенной стране. Дождь зарядил сильнее, и люди в вагоне стали передавать по кругу добытую воду. Я замерзла, но все равно радовалась дождю и холодной погоде: страшно было даже представить себе, в какое адское пекло с невыносимой вонью превращается такой вагон в жару. Чтобы как-то скоротать время я завязала беседу с тем самым французом. Я спросила, что означает номер, нашитый на его кепи, и красная полоска на рукаве куртки. Он объяснил, что его перевели из Zivilarbeiter Battalion (ZAB), где пленных использовали на самых тяжелых работах, отправляли прямо на линию огня, подставляя под пушки союзных войск. Француз рассказал мне о поездах, которые видел каждую неделю; они везли юношей, женщин и совсем молоденьких девушек на принудительные работы в сторону Соммы, Эско и Арденн. Сегодня вечером, объяснил он, нас определяют на ночлег в разрушенные бараки, школы или здания фабрик в эвакуированных деревнях. И он точно не знает, отправят ли нас в лагерь или рабочий батальон.

— Нас специально плохо кормят, чтобы не осталось сил на побег. Некоторые благодарят Бога уже за то, что выжили.

Он поинтересовался, есть ли у меня в сумке хоть какая-нибудь еда, и был страшно

разочарован, когда я сказала «нет». Я отдала ему носовой платок, который Элен положила с остальными вещами, так как чувствовала себя обязанной хоть как-то его отблагодарить. Он смотрел на чисто выстиранный платок из простого хлопка так, будто держал в руках тончайший шелк, но, подумав, вернул его мне.

— Оставь у себя, — сказал он, снова замкнувшись в себе. — Отдашь своей подруге. В чем ее преступление?

И когда я рассказала ему о ее беспримерном мужестве, о ее помощи в передаче информации, благодаря которой наш город имел связь с внешним миром, он посмотрел на нее совсем другими глазами: она теперь была для него не просто очередным лежащим на полу безжизненным телом, а человеческим существом. Я поведала ему, что хочу разузнать о судьбе мужа, которого отправили в Арденны. Лицо моего собеседника сразу помрачнело.

— Я пробыл в том лагере несколько недель. Ты знаешь, что там свирепствует брюшной тиф? Остается только молиться, чтобы твой муж остался в живых.

— А где остальные люди из вашего батальона? — проглотив комок в горле, спросила я, чтобы сменить тему разговора.

Поезд замедлил ход, и мы увидели еще одну колонну устало бредущих военнопленных. Ни один из них не поднял головы, чтобы посмотреть на проходящий поезд, словно их мучил стыд за то, что они невольно оказались на положении рабов. Пристально вглядываясь в серые измученные лица, я боялась увидеть среди них Эдуарда.

Именно в этот момент мой собеседник устало обронил:

— Я единственный, кому удалось уцелеть.

Уже через несколько часов после того, как стемнело, поезд остановился на запасном пути. Двери со скрежетом открылись, и немцы криками стали выгонять нас наружу. Люди устало подымались с пола и, прижимая к груди миски, проходили по вагону к выходу. Мы шли между двумя рядами пехотинцев, которые ружейными прикладами загоняли нас в строй. И я вдруг почувствовала себя уже не человеком, а животным, которое гонят на убой. Мне вспомнился смелый побег молоденького военнопленного там, в Сен-Перроне, и только теперь я поняла, что подвигло его на столь отчаянный поступок, заранее обреченный на провал.

Я вела под руку Лилиан, крепко прижав ее к себе. Она шла медленно, слишком медленно. Какой-то немец стал подгонять ее пинками.

— Оставь ее! — закричала я, но в ответ получила прикладом по голове. Пошатнулась и упала на землю. Чьи-то руки подняли меня, я снова шла в общем строю, мутная пелена застилала глаза. Когда я дотронулась до виска, рука стала липкой от крови.

Нас пригнали на огромную пустую фабрику. Пол был усыпан осколками стекла, ледяной ветер свистел в разбитых окнах. Вдалеке слышались раскаты орудий, небо озаряли вспышки от рвущихся снарядов. Я пыталась понять, где мы находимся, но все кругом было скрыто под покровом ночи.

— Сюда, — услышала я чей-то голос. Оказывается, француз нашел для нас с Лилиан свободный угол. — Смотрите, а вот и еда.

На длинном столе в двух огромных котлах дымился суп, который разливали несколько заключенных. Я не ела с самого утра. Суп был водянистый, в нем плавали какие-то странные ошметки, но у меня уже совсем подвело живот от голода. Француз налил суп в свою миску, а потом — в кружку, которой снабдила меня Элен. Мы пристроились в уголке, хлебая суп и заедая его куском черного хлеба. Так как у Лилиан были сломаны пальцы левой руки, нам пришлось ей помогать. Покончив с супом, мы дочиста вылизали посуду.

— Еду дают не всегда. Похоже, нам улыбнулась удача, — без особой уверенности в голосе

произнес француз.

Он снова направился к столу с котлами, вокруг которых в надежде на добавку уже толпились заключенные, и я выругала себя за нерасторопность. Хотя в любом случае нельзя было оставлять Лилиан одну. Наш новый друг вернулся уже через минуту с полной миской в руках. Остановившись возле нас, он протянул мне миску и ткнул пальцем в сторону Лилиан:

— Вот, пожалуйста. Ей надо набираться сил.

Лилиан приподняла голову. Она смотрела на него так, словно давным-давно забыла, что такое нормальное человеческое обращение, и глаза мои наполнились слезами. Француз кивнул нам, как будто мы снова оказались в другой жизни, где принято желать друг другу доброй ночи, и отправился спать туда, где расположились мужчины. Я сидела и осторожно, глоток за глотком, как малого ребенка, поила Лилиан супом. Покончив с содержимым миски, она судорожно вздохнула, привалилась ко мне и сразу уснула. Я сидела в темноте в окружении осторожно переползающих с места на место, кашляющих и всхлипывающих людей; до меня доносилась русская, английская, польская речь. Через пол я чувствовала дрожь земли от разрывов снарядов, к чему остальные уже, похоже, успели привыкнуть. Я прислушивалась к далеким орудийным залпам, к шепоту других заключенных, и по мере того как понижалась температура, все больше замерзала. Тогда я представила свой дом, Элен, мирно спавшую рядом со мной, крошку Эдит, зарывшуюся лицом мне в волосы, и беззвучно заплакала. И вот так, лежа в темноте, я рыдала до тех пор, пока изнеможение не сделало свое дело и меня не сморил сон.

Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. Мне показалось, что Эдуард, придавив меня тяжестью своего тела, обнимает меня. Короткий временной провал, когда я с облегчением подумала: «Он здесь!» — и страшное осознание того, что на мне лежит чужой мужчина. Его рука настойчиво пробиравалась ко мне под юбку, он действовал под покровом темноты, явно рассчитывая на то, что страх и усталость лишат меня воли к сопротивлению. Я лежала как каменная, в душе бушевала холодная ярость, так как только сейчас до меня дошло, чего он добивался. Может быть, надо закричать? Но кто мне поможет? А вдруг немцы сочтут шум в неурочное время удобным поводом лишней раз наказать меня? Тогда я осторожно высвободила руку и, пошарив по полу, нащупала острый осколок оконного стекла. Затем сжала холодное стекло, перевернулась на бок и, не дав себе времени хорошенько подумать, приставила к горлу своего обидчика.

— Тронешь еще раз — перережу тебе глотку, — прошептала я.

Я чувствовала его гнилостное дыхание, кожей ощущала его животный страх. Он явно не ожидал получить отпор. Не знаю, понял ли он мои слова. Но что может сделать с его шеей осколок стекла, понял наверняка. Он поднял вверх руки, показывая, что сдается. А может быть, даже извиняется. Я не сразу убрала стекло, чтобы продемонстрировать ему, что шутить не намерена. И, судя по его горящему в темноте взгляду, он явно до смерти испугался. Ведь он тоже очутился в мире, где нет правил игры и нет определенного порядка. Да, здесь он может запросто напасть на незнакомую женщину, но и эта незнакомая женщина может так же запросто перерезать ему горло. И не успела я убрать руку, как он вскочил на ноги и черной тенью пробрался мимо лежащих на полу людей в тот конец помещения, где спали мужчины.

Тогда я спрятала осколок в карман юбки, села, заслонив собой Лилиан, и стала ждать.

Наверное, я все же заснула, буквально на несколько минут; меня разбудили грубые окрики немецких конвоиров, которые ходили по помещению, толкали спящих прикладами и пинали их сапогами. Я снова приняла сидячее положение. Голову пронзила такая резкая боль, что я с трудом удержалась от стога. Слово в тумане, я увидела, что к нам направляются немцы, и стала

тормошить Лилиан, чтобы та успела подняться, прежде чем ее ударят.

В безжизненном синем свете наступающего утра мне наконец удалось разглядеть, где мы находимся. Огромная фабрика была наполовину разрушена, в потолке зияла гигантская дыра, на полу валялись обломки балок и оконных рам. В дальнем конце зала на сделанных из подмостей столах стояли чайники с чем-то вроде кофе и лежали ломти черного хлеба. Я помогла Лилиан встать на ноги — нам еще нужно было успеть пройти через все помещение, прежде чем закончится еда.

— Где мы? — спросила она, выглядывая в разбитое окно. Грохот рвущихся снарядов говорил о том, что фронт совсем близко.

— Понятия не имею, — ответила я, радуясь, что она уже в состоянии хоть немного разговаривать.

Нам налили кофе в мою кружку и миску француза. Забеспокоившись, что мы его обделили, я стала искать его глазами, но мужчин возле стола уже не было. Немецкий офицер разбил их на группы, одна за другой постепенно покидавшие здание фабрики. Нас с Лилиан присоединили к группе, состоящей исключительно из женщин, и отвели в общественный туалет. И вот сейчас, при свете дня, я разглядела въевшуюся в их кожу грязь и ползающих по волосам серых вшей. У меня сразу все зачесалось, я опустила глаза, обнаружила вошь прямо на юбке и тут же смахнула ее, понимая всю тщетность своих усилий. Не приходилось сомневаться, что меня эта напасть тоже не обойдет стороной. При таком тесном контакте с другими женщинами избежать заражения было просто нереально.

В помещение, рассчитанное на двенадцать человек, набилось не менее трехсот женщин, и всем им надо было умыться и сходить в туалет. Когда мы с Лилиан наконец протиснулись к кабинкам, нас обеих сразу же вырвало. Мы кое-как помылись под струей холодной воды из водокачки, последовав примеру остальных женщин, которые приводили себя в порядок, не снимая одежды. Они устало оглядывались по сторонам, словно ожидали от немцев какого-нибудь подвоха.

— Иногда конвоиры вламываются сюда, — объяснила Лилиан. — Поэтому куда удобнее — и безопаснее — не раздеваться.

Пока немцы занимались мужчинами, я отыскала среди битого кирпича прутья и обрывок веревки. И, как могла, при тусклом солнечном свете наложила лонгет на сломанные пальцы Лилиан. Она держалась удивительно стойко и даже глазом не моргнула, когда я несколько раз невольно причинила ей боль. Кровотечение у нее прекратилось, но ходила она по-прежнему очень осторожно, словно через силу. Однако я не осмелилась спросить, что с ней произошло.

— Как хорошо, что ты рядом, Софи, — сказала она, осматривая перевязанную руку.

Несмотря на все выпавшие на ее долю несчастья, в ней осталось что-то от женщины, знакомой мне по Сен-Перрону.

— В жизни еще так не радовалась встрече с другим человеком, — вытерев ей лицо чистым носовым платком, ответила я и не покривила душой.

Мужчин отправили на работы. Я издали наблюдала за тем, как они сначала стоят в очереди за лопатами и кирками, а потом колонной уходят в сторону горизонта, откуда доносился весь этот адский шум.

Я мысленно помолилась за благополучное возвращение нашего благодетеля-француза, а затем, как всегда, — за Эдуарда. Тем временем женщин повели в сторону железнодорожных вагонов. При мысли о предстоящем мучительном путешествии у меня екнуло сердце, но я тут же взяла себя в руки. А вдруг нас с Эдуардом разделяет всего несколько часов езды? И быть может, именно этот поезд отвезет меня к нему.

Я безропотно забралась в вагон, который оказался гораздо меньше предыдущего. Но похоже,

немцы рассчитывают на то, чтобы загнать туда всех женщин. И те, тихо переругиваясь между собой, пытались хоть как-то рассестись. С большим трудом я нашла для Лилиан свободное место на скамье, запихнула под нее сумку, которую берегла как зеницу ока, усадила Лилиан, а сама устроилась возле ее ног. Рядом разорвался снаряд, кто-то истошно закричал — и поезд потихоньку тронулся.

— Расскажи мне об Эдит, — попросила Лилиан, когда мы отъехали от станции.

— Она в добром здравии, — ответила я, стараясь придать голосу уверенности. — Хорошо кушает, крепко спит и не отходит от Мими. А еще души не чает в малыше, и он ее тоже обожает.

Лилиан слушала мой рассказ о том, как живет ее дочери в Сен-Перроне, с закрытыми глазами. И непонятно было, то ли это от облегчения, то ли от горя.

— Эдит счастлива?

— Конечно, она еще совсем ребенок и скучает по маме, — стараясь говорить беззаботно, ответила я. — Но в «Красном петухе» она в безопасности.

Что еще я могла сказать? Она теперь знает все, что нужно знать. Я не стала говорить о ночных кошмарах, что мучают Эдит, о ее горьких слезах, когда она всю ночь напролет зовет свою маму. Лилиан была далеко не глупа и наверняка сердцем чувствовала правду. Когда я закончила свой рассказ, она отвернулась и стала молча смотреть в окно.

— Но, Софи, как ты попала сюда? — через какое-то время спросила она.

Наверное, ни один человек на свете не смог бы понять меня лучше, чем Лилиан. Я взгляделась в ее лицо, по-прежнему страхась открыть правду. Но соблазн снять груз с души и разделить его с кем-то еще был слишком велик.

И я рассказала ей все. Рассказала о коменданте, о ночи, что провела в казарме, о сделке, которую ему предложила. Она окинула меня долгим взглядом. Но не сказала, что я наивная идиотка, что мне не следовало ему верить, что моя неспособность угодить коменданту обернется для меня неминуемой смертью или, еще хуже, гибелью тех, кого я любила.

Она вообще ничего не сказала.

— Я действительно верю, что он выполнит свои обязательства. Верю, что он соединит меня с Эдуардом, — произнесла я, вложив в свои слова всю веру, которая у меня еще оставалась.

Тогда она протянула здоровую руку и нежно сжала мне пальцы.

Уже в сумерках поезд, проезжая через небольшой лесок, со скрипом остановился. Мы думали, что он постоит и пойдет дальше, но, к явному недовольству женщин, многие из которых только-только прикорнули, дверь в конце вагона неожиданно отъехала в сторону. Я тоже задремала и проснулась от голоса Лилиан прямо над ухом:

— Софи, просыпайся! Просыпайся!

В проходе стоял один из конвоиров. Я не сразу поняла, что он выкликает мое имя. Вскочив на ноги, я взяла сумку и знаком велела Лилиан не отставать.

— Karten, — пролаял немец.

Мы с Лилиан протянули ему удостоверения личности. Он сверился со списком и махнул рукой в сторону грузовика. И под разочарованный шепот оставшихся женщин дверь за нами закрылась.

Нас с Лилиан подтолкнули к грузовику. Я чувствовала, что она начинает отставать.

— Что такое? — спросила я.

Меня удивило явное сомнение, написанное на ее лице.

— Не нравится мне все это, — оглянувшись на уходящий поезд, прошептала она.

— Все хорошо, — уверенно сказала я. — Полагаю, нас выделили из общей массы. И наверняка благодаря коменданту.

— Именно этого-то я и боюсь, — ответила она.

— Но... послушай... я больше не слышу звука орудий. Должно быть, мы удаляемся от линии фронта. Что, наверное, уже лучше.

Мы доковыляли до грузовика, и я помогла Лилиан забраться в кузов. От укусов пробравшихся под одежду вшей у меня снова зачесалось все тело. Но я старалась не обращать внимания. То, что нас сняли с поезда, — явно хороший знак.

— Нельзя терять веры, — сжала я ей руку. — По крайней мере, мы сможем спокойно вытянуть ноги.

Молоденький конвоир, забравшийся вслед за нами в кузов, не спускал с нас глаз. Я попыталась улыбнуться ему, всем своим видом давая понять, что мы не собираемся бежать, но он, с нескрываемым отвращением посмотрев на меня, на всякий случай еще крепче сжал ружье. И тогда я поняла, что пахнет от меня, вероятно, ужасно, а еще немного — и насекомые поползут по волосам. Поэтому я тщательно осмотрела одежду и стряхнула всех вшей, что смогла найти.

Грузовик ехал, трясясь по ухабам, и Лилиан морщилась при каждом толчке. Боль настолько измучила ее, что уже через несколько миль она не выдержала и заснула. У меня тоже голова просто раскальвалась, и я была рада, что орудийная стрельба прекратилась. «Нельзя терять веры», — молча пожелала я нам обеим.

Мы уже примерно с час ехали по пустынной дороге — зимнее солнце лениво заходило за далекие горы с шапками искрящегося снега, — когда брезентовый клапан кузова приоткрылся и блеснул дорожный знак. Не может быть, подумала я. Наклонившись вперед, я приподняла край брезента, чтобы не пропустить следующий дорожный знак. И вот наконец:

«Mannheim».^[32]

Мир вокруг, казалось, замер и остановился.

— Лилиан, — потрясла я ее за плечо. — Выгляни наружу. Что ты видишь?

Грузовик ехал медленно, объезжая ямы и рытвины, так что можно было хорошо разглядеть местность, по которой нас везли.

— Мы должны были ехать на юг, — сказала я. — На юг, в сторону Арденн. — Теперь я видела, что тени лежали сзади. Значит, мы направлялись на восток. — Но ведь Эдуард находится в лагере в Арденнах! — Я уже не могла скрыть панические нотки в голосе. — Мне сообщили, что он там. Мы должны были ехать на юг, в Арденны. На юг!

Лилиан опустила брезент. Затем, не глядя на меня, начала говорить. Ее лицо стало еще бледнее.

— Софи, мы больше не слышим раскатов орудий, потому что переехали линию фронта, — без всякого выражения произнесла она. — Мы едем в Германию.

В поезде стоит гул жизнерадостных голосов. Группа женщин в конце четырнадцатого вагона разражается громким хохотом. Напротив сидит обвешанная мишурой чета средних лет. Скорее всего, возвращается домой после предрождественской поездки. Багажные полки забиты покупками, в воздухе витают аппетитные ароматы выдержанных сыров, вина, дорогого шоколада. Но для Лив с Мо обратный путь — испытание не для слабонервных. Они сидят, практически не разговаривая. Мо целый день мучается от жуткого похмелья, которое можно снять только с помощью очередных маленьких, неоправданно дорогих бутылочек вина. Лив читает и перечитывает полученные записи, переводит слово за словом с помощью лежащего перед ней на столике карманного англо-французского словаря.

Содеянное Софи Лефевр омрачает Лив всю поездку. Ей не дает покоя судьба Софи, жизнь которой, как она всегда считала, сложилась блестяще. Действительно ли та была коллаборационисткой? Что с ней случилось?

Официант везет по проходу тележку с напитками и сладостями. Но Лив настолько увлечена перипетиями судьбы этой девушки, что даже не поднимает головы. Мир, где тоскуют по пропавшим в лагере мужьям, умирают от голода, живут в постоянном страхе перед немцами, стал для нее реальнее своего собственного. Она словно чувствует запах дыма из трубы на крыше «Красного петуха», слышит звук шагов по разохшимся половицам. Всякий раз, как она закрывает глаза, лицо девушки на картине превращается в испуганное лицо реальной Софи Лефевр, которую немцы заталкивают в грузовик и от которой отвернулась собственная семья.

Листы бумаги тонкие, пожелтевшие и сухие. Это письма Эдуарда к Софи, датированные тем временем, когда он был зачислен в пехотный полк, а она вернулась к сестре в Сен-Перрон. Эдуард пишет, что так сильно тоскует по ней, что иногда по ночам начинает задыхаться. Он рассказывает ей, что рисует ее сперва мысленно, а потом — в морозном воздухе. А жена в своих письмах ревнует его к этой воображаемой Софи, молится за него и одновременно бранит. Она называет мужа *poilu*.^[33] Даже несмотря на трудности перевода, образ любящей пары получается настолько ярким, что у Лив перехватывает дыхание. Лив проводит пальцем по выцветшим от времени страницам, восхищаясь женщиной, вдохновившей мужа на такие слова. Теперь Софи Лефевр уже не просто пленительное лицо на портрете, а выпуклое, трехмерное изображение, незаурядная личность, живой — чувствующий и дышащий — человек. Женщина, которую волнуют чистое белье, нехватка продуктов, подгонка военной формы мужа, собственные страхи и разочарования. И Лив еще больше укрепляется в своем решении бороться за портрет Софи.

Лив берет две следующие страницы. Здесь почерк более убористый, а между страничками лежит подкрашенная сепией фотография Эдуарда Лефевра. Он строго Смотрит прямо перед собой.

Октябрь 1914 г.

Северный вокзал — это бушующее людское море, состоящее из солдат и рыдающих женщин, в воздухе стоит тяжелый дымный запах человеческого горя. Я понимала, что Эдуард не хотел видеть моих слез. Кроме того, разлука будет недолгой, об этом писали все газеты.

«Я хочу знать о каждом твоём шаге, — сказала я. — Не ленись делать наброски. И старайся лучше питаться. И не делай глупостей: не напивайся, не лезь в драку, чтобы

тебя, не дай бог, не арестовали. И возвращайся поскорее домой».

А он взял с меня обещание, что мы с Элен будем осторожны.

«Дай слово, если вдруг почувствуешь, что линия фронта смещается в сторону твоего города, то сразу вернешься в Париж, — сказал он, а когда я кивнула, добавил: — Софи, и не смотри на меня так загадочно. Пообещай думать в первую очередь о себе. Я не смогу хорошо воевать, если буду постоянно бояться, что ты в опасности».

«Ты же знаешь, что я сделана из очень прочного материала».

Он оглянулся, чтобы посмотреть на часы. Недалеко от нас пронзительно загудел паровоз. И толпу на платформе тут же окутали клубы вонючего дыма. Я приподнялась на цыпочки, чтобы поправить его синюю фуражку. Затем сделала шаг назад, чтобы лучше его видеть. Господи, какой человечище! Все остальные на его фоне просто пигмеи. Он на полголовы выше стоящих рядом мужчин, а военная форма только подчеркивает ширину его плеч. Я ощущала его присутствие на физическом уровне: при одном взгляде на него у меня замирало сердце. И все равно не могла до конца поверить, что он действительно уезжает.

Неделей раньше он написал гуашью на листе бумаги мой портрет. И вот теперь он похлопал себя по нагрудному карману. «Я забираю тебя с собой», — сказал он.

«И я тебя», — прижав руку к сердцу, ответила я; было ужасно обидно, что у меня нет его портрета.

Я огляделась по сторонам. Двери вагонов открывались и закрывались, люди тянули друг к другу руки, пальцы сплетались в прощальной ласке.

«Эдуард, не хочу видеть, как ты уезжаешь, — сказала я ему. — Я закрою глаза, чтобы сохранить твой образ и унести его с собой».

Эдуард кивнул. Он все понял.

«На прощание», — неожиданно произнес он, привлек меня к себе, облапив огромными ручищами, поцеловал долгим, страстным поцелуем. Крепко зажмурившись, я обнимала Эдуарда, вдыхала терпкий мужской запах, словно хотела пронести его, как связующую нить, через долгие дни разлуки. Я, казалось, только теперь поняла, что он действительно уезжает. Мой муж уезжает. И когда терпеть больше не оставалось сил, я, решительно сжав губы, вырвалась из его рук.

Все так же, не открывая глаз, чтобы не видеть выражение его лица, я схватила его за руку, а потом резко развернулась и стала протискиваться назад сквозь толпу.

Не знаю, почему мне тогда не захотелось проводить мужа до вагона. Теперь я жалею об этом буквально каждый божий день.

А вернувшись домой, я случайно полезла в карман и нашла листок бумаги, который он засунул туда, когда прижимал меня к себе. Небольшая карикатура на нас обоих. Себя он изобразил в виде медведя в военной форме, который обнимает меня, очень миниатюрную, с тонюсенькой талией и гладко зачесанными волосами. А внизу сделал приписку своим смешным, с завитушками, почерком: «До встречи с тобой я не знал, что такое счастье».

Лив на секунду закрывает глаза. Потом аккуратно складывает бумаги в папку. Ее мозг напряженно работает. Затем разворачивает фотокопию портрета Софи Лефевр, смотрит на ее улыбающееся лицо, лицо соучастницы. Нет, месье Бессетт, должно быть, ошибается. Разве может женщина, влюбленная в своего мужа, изменить ему, причем изменить с врагом? Нет, просто невероятно. Лив складывает фотокопию и убирает папку в сумку.

— Ну что ж, до Сент-Панкраса остался час езды. Как думаешь, ты нашла то, что искала? —

сняв наушники, спрашивает Мо.

Лив пожимает плечами. Говорить ей мешает комок в горле. Черные как смоль волосы Мо разделены на зачесанные назад тонкие пряди, лицо, особенно щеки, молочно-белое.

— Ты нервничаешь по поводу завтрашнего дня?

Лив судорожно сглатывает и изображает некое подобие улыбки. Последние шесть недель она не может думать ни о чем другом.

— Учитывая, чего тебе это стоило, — продолжает Мо с таким видом, будто долго размышляла на эту тему. — Мне почему-то не кажется, что мистер Маккаферти хочет тебя подставить.

— Что?

— Я знаю кучу поганых, лживых людишек. Но он не из таких. — Мо задумчиво щиплет себя за палец и наконец говорит: — Мне кажется, что Судьба выкинула одну из своих грязных шуток и развела вас по разные стороны баррикад.

— Но он не должен был приходить ко мне ради картины.

Лив задумчиво смотрит в окно на предместья Лондона и снова чувствует комок в горле. Сидящая напротив пара в мишуре сидит привалившись друг к другу. Их руки сплетены.

Она так до конца и не понимает, что заставило ее так поступить. На вокзале Мо объявляет, что идет к Ранику. Она советует Лив не сидеть всю ночь в Интернете в поисках мутных реституционных дел и велит сунуть камамбер в холодильник, пока он куда-нибудь не делся и не провонял весь дом. Лив стоит в переполненном вестибюле вокзала, сжимая в руке пластиковый пакет с сыром, и провожает глазами направляющуюся в сторону метро маленькую черную фигурку с небрежно закинутой на плечо сумкой. Интересно, Мо говорит о Ранике слегка развязно, самодовольно, но всегда серьезно. Такое впечатление, будто в их отношениях произошел явный сдвиг.

Лив ждет, пока Мо не исчезает в толпе. Ее, словно камень, положенный для перехода через реку, обтекает поток спешащих куда-то пассажиров. И все в основном идут парами, обмениваются нежными, взволнованными взглядами, а если кто и один, то он тоже явно спешит домой, к любимому человеку. Она видит обручальные кольца, кольца, подаренные в честь помолвки, слышит приглушенные разговоры о прибытии поезда, о молоке, которое надо купить по дороге, и вопросы типа: «Ты меня сможешь встретить на станции?» Потом она, конечно, вспомнит о тех, кого тоже немало, о тех, кто боится возвращения к своему партнеру, ищет предлога опоздать на поезд, прячется в барах. Но сейчас она не замечает уставших от жизни, несчастных и одиноких людей. Нет, сейчас вид всей этой толпы для нее словно пощечина, напоминание о ее одиночестве. Да, когда-то я была одной из вас, думает она, и уже плохо представляю, каково это — снова стать такой.

«До встречи с тобой я не знал, что такое счастье».

На информационном табло зажигается время прибытия поездов, за стеклянными витринами магазинчиков толпятся те, кто припозднился с рождественскими подарками. Возможно ли снова стать тем человеком, которым ты когда-то был? Лив решает не дожидаться, пока ответ на этот вопрос лишит ее остатков воли, а поднимает дорожную сумку и быстрым шагом, почти бегом, направляется к станции метро.

Без Джейка даже тишина в квартире становится немножко другой. Это совсем не та уютная тишина, когда Джейк на пару часов уходит в гости к другу. Нет, она тяжелая, она давит на плечи. Ему иногда кажется, что болезненное спокойствие его дома в такие часы имеет горький привкус вины, привкус поражения. И еще хуже становится на душе от осознания того, что в ближайшие

четыре дня на встречу с сыном рассчитывать не приходится. Пол заканчивает уборку кухни — Джейк решил испечь шоколадные кексы, и теперь все кухонные принадлежности в воздушном рисе, — садится, открывает воскресную газету, которую по привычке покупает, но никогда не читает.

После того как Леони его бросила, тяжелее всего он переносил раннее утро. Он даже не представлял, насколько любил слушать топот босых ног Джейка, когда тот приходил в родительскую спальню — волосы встрепаны, глаза заспаны, — чтобы забраться в постель и лечь между родителями. Как было приятно согреть его холодные ступни и вдыхать чистый детский запах его кожи. И когда сын зарывался рядом в одеяло, у Пола возникало странное, идущее изнутри ощущение полной гармонии с миром. И теперь Джейк больше не живет с ним, и эти утренние часы в холодной постели словно возвещают об очередном дне жизни сына, проведенном без отца. Джейка ждут новые — крупные или мелкие — события и приключения, которые помогут ему стать таким, каким ему суждено быть, но Пол не будет при этом присутствовать.

Сейчас он чувствует себя по утрам немного лучше (в какой-то степени потому, что Джейк, которому уже девять, теперь не просыпается так рано), но первые несколько часов после его отъезда Пол все равно ходит потерянный.

Он погладит несколько рубашек, может быть, сходит в тренажерный зал, потом примет душ и позавтракает. А там уже и вечер недалеко. Пара часов перед телевизором, возможно, работа с бумагами, просто чтобы убедиться, что все в порядке, а затем спать.

Он как раз заканчивает с рубашками, когда раздается телефонный звонок.

— Привет, — говорит Джейн.

— Кто это? — спрашивает Пол, прекрасно зная, кто звонит.

— Это я, — отвечает она, изо всех сил пытаюсь скрыть легкую обиду в голосе. — Джейн. Просто хотела узнать насчет завтрашнего дня.

— Мы в полной боевой готовности, — говорит он. — Шон еще раз проверил документы. Барристер проинструктирован. Сделали все, что могли.

— Удалось что-нибудь узнать насчет того, как все-таки исчезла картина во время оккупации?

— Не слишком много. Но у нас достаточно письменных свидетельств третьих лиц, чтобы поставить жирный знак вопроса.

— «Бригг и Состой» открывают собственное сыскное агентство, — немного помолчав, сообщает Полу Джейн.

— Кто-кто?

— Аукционный дом. Очевидно, хотят иметь запасной вариант. У них хорошие спонсоры.

— Проклятье! — бросает Пол взгляд на бумаги на письменном столе.

— Уже переманивают персонал у других агентств. Набирают бывших полицейских из антикварного отдела. — В ее голосе слышится скрытый вопрос. — Любого с опытом работы детектива.

— Ну, по крайней мере, ко мне они не обращались.

Джейн снова замолкает. Интересно, поверила ли она ему?

— Пол, мы должны выиграть это дело. Надо показать, что мы лучшие из лучших. И именно к нам следует обращаться по вопросам розыска и возвращения пропавших ценностей.

— Я все понял, — говорит Пол.

— Вот и хорошо, — после очередной затянувшейся паузы небрежно бросает она и переходит к пустой болтовне о прошедшем уик-энде, о поездке к родителям, о свадьбе, на которую ее пригласили в Девоне.

Она очень долго мусолит тему свадьбы, и у него закрадывается подозрение, что она просто хочет набраться смелости пригласить его, тогда он резко меняет тему. Наконец она кладет трубку.

Пол включает музыку на полную громкость, чтобы заглушить жужжание транспорта за окном. Вообще-то, ему всегда нравился оживленный уличный гул, кипучая жизнь Вест-Энда, но с течением времени до него стало доходить, что если он не в том настроении, то шум большого города только усиливает непременную меланхолию воскресного вечера. Пол выключает громкость. Он понимает, почему ему грустно, но не хочет этого признавать. — Бессмысленно думать о том, чего не можешь изменить.

Он только-только заканчивает мыть голову, когда в Дверь кто-то звонит. Тихо выругавшись, Пол тянется за полотенцем и вытирает лицо. Он мог бы запросто спуститься вниз с полотенцем на бедрах, но у него есть нехорошее подозрение, что это Джейн. Крайне нежелательно, чтобы она восприняла это как приглашение.

Надев футболку прямо на мокрое тело, он на ходу прокручивает в голове варианты извинений.

«Прости, Джейн, но я как раз собирался уходить».

«Да-да. Обсудим это на работе. Надо собрать совещание, чтобы все приняли участие».

«Джейн, я действительно считаю, что ты супер! Но идея не слишком хорошая. Мне очень жаль».

Когда он открывает дверь, именно последняя фраза, как самая удачная, почти срывается у него с языка.

На тротуаре перед домом стоит Лив Халстон с дорожной сумкой в руках. Ночное небо над ее головой расцвечено праздничной иллюминацией. Она роняет вещи к ногам и поворачивает к нему очень бледное, серьезное лицо с таким видом, будто собиралась что-то сказать, но забыла что.

— Слушания по делу начинаются завтра, — увидев, что она упорно молчит, произносит он, не в силах оторвать от нее глаз.

— Я знаю.

— По идее, мы с тобой не должны общаться.

— Не должны.

— У нас у обоих могут быть большие проблемы.

Пол стоит перед дверью собственного дома и ждет. Ее лицо, в обрамлении поднятого воротника плотного черного пальто, выдает крайнее напряжение, глаза лихорадочно блестят, словно в ее душе идет тяжелая внутренняя борьба, о которой он не должен знать. Он начинает извиняться, но она его опережает:

— Послушай, я понимаю, что все это глупо, но давай на время забудем о деле. Хотя бы на один вечер, — неуверенно произносит она. — Давай станем просто обычными людьми.

В ее голосе есть нечто такое, что задевает его за живое. Пол Маккаферти собирается что-то сказать, но передумывает. Он молча поднимает ее сумку и заносит в прихожую. И, отрезав им обоим путь к отступлению, притягивает ее к себе, обнимает обеими руками и неожиданно осознает, что весь остальной мир перестает для него существовать.

— Эй, соня-засоня!

Она медленно садится, потихоньку начиная понимать, где находится. Пол наливает кружку кофе и протягивает ей. Он выглядит на удивление свежим. На часах 6.32.

— А еще я приготовил тебе тосты. Я тут подумал, что, может быть, ты захочешь заскочить домой до...

«До...»

Начала слушаний. У нее уходит секунда на то, чтобы переварить информацию. Он ждет, пока она не протрет глаза, наклоняется и нежно целует ее. Она машинально отмечает, что он уже успел почистить зубы, и вспоминает, что она еще нет.

— Я только не знал, что ты намазываешь на тост. Думаю, джем подойдет, — берет он с подноса тост. — Джейк любит именно так. Содержание сахара девяносто восемь процентов. Или типа того.

— Спасибо, — говорит она, прищурившись на тарелку у себя на колене. Она уж и забыла, когда в последний раз ей приносили кофе в постель.

Они пристально смотрят друг на друга. Ну и ну, думает она, вспоминая предыдущую ночь. И все, больше она ни о чем не в состоянии думать. Пол, словно читая ее мысли, улыбается одними глазами.

— Ты не хочешь... обратно в постель? — спрашивает она.

Тогда он ложится рядом, его ноги, теплые и сильные, переплетаются с ее. Она слегка приподнимается, чтобы он мог обнять ее за плечи, а затем льнет к нему, наслаждаясь близостью его крепкого тела. И пахнет от него чем-то сонно-сладким. Ей хочется просто лежать, уткнувшись ему в грудь, вдыхать запах его кожи, вбирать его в себя, пока не заболят легкие. И Лив внезапно вспоминает о мальчике, с которым встречалась еще подростком. Она тогда была влюблена по уши, но, когда они наконец поцеловались, ее неприятно удивило, что от его кожи, волос, от него самого пахло как-то не так. Словно химический состав его тела имел специфическое свойство отпугивать ее. А аромат кожи Пола, совсем как запах хороших духов, она может вдыхать бесконечно.

— Ты в порядке?

— И даже лучше, — отвечает она, делая глоток кофе.

— Я снова полюбил воскресные вечера. И с чего бы это?

— Все потому, что воскресные вечера явно недооценивают.

— Так же как и неожиданных гостей. А я было подумал, что ты свидетель Иеговы. Хотя если бы вся женская половина свидетелей Иеговы вытворяли то же, что и ты прошлой ночью, они, несомненно, встречали бы более радушный прием.

— Тебе стоит им это посоветовать.

— Что я непременно и сделаю.

А потом они в уютной тишине молча едят тосты, прислушиваясь к урчанию мотора мусоровоза и приглушенному стуку переворачиваемых мусорных баков.

— Лив, я скучал по тебе, — говорит он.

Она склоняет голову и еще крепче прижимается к нему. На улице кто-то громко беседует по-итальянски. У нее приятно болит все тело, словно она, сама того не зная, долго находилась в состоянии напряжения, от которого наконец избавилась. Она сама себе удивляется. Интересно, что сказала бы сейчас Мо? Хотя Лив и так знает ответ.

А затем тишину нарушает голос Пола.

— Лив... боюсь, это дело тебя разорит, — говорит он и, увидев, что она сидит, уставившись на кружку с кофе, тихо повторяет: — Лив...

— Не желаю говорить об этом деле.

— Но я и не собираюсь обсуждать... подробности. Просто хочу сказать, что беспокоюсь за тебя.

— Не стоит, — вымученно улыбается она. — Ведь ты еще не выиграл.

— Но даже если дело выиграешь ты, это колоссальные судебные издержки. Я уже несколько раз участвовал в подобных процессах и представляю, во что они обходятся. — Пол ставит

кружку, берет ее за руку. — Послушай, на прошлой неделе у меня состоялась приватная беседа с семьей Лефевр. Джейн, наш второй директор, об этом даже не знает. Я вкратце обрисовал им твою ситуацию, рассказал, как тебе дорога картина и как тяжело с ней расставаться. И заставил их согласиться на достойную компенсацию. Цифра вполне серьезная, шестизначная. Это покроет судебные издержки, и кое-что останется.

Лив смотрит на свои руки, покоящиеся в его широких ладонях. И хорошее настроение в одночасье испаряется.

— Ты что, хочешь... уговорить меня пойти на попятную?

— Но вовсе не потому, почему ты думаешь.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Я нашел доказательства. — Он смотрит не на нее, а прямо перед собой.

— Во Франции? — холодея, спрашивает она.

Он упрямо сжимает губы, словно не знает, как много имеет право сказать.

— Я нашел старую газетную статью, написанную американской журналисткой, которой принадлежала твоя картина. В статье она рассказывает, как получала картину на складе краденых произведений искусства неподалеку от Дахау.

— И что?

— А то, что все эти работы были крадеными. И с нашей стороны это веский довод в пользу того, что картина незаконно поступила в собственность немецких оккупантов.

— Но это всего лишь предположение.

— Но оно ставит под сомнение легальность владения картиной всех ее последующих хозяев.

— Это ты так считаешь.

— Лив, я хорошо знаю свое дело. Мы уже на полпути. И если имеются дополнительные доказательства, можешь не сомневаться, я обязательно их найду.

Она чувствует, что начинает каменеть.

— Мне кажется, ключевое слово здесь «если», — выдергивает она руку.

Пол резко поворачивается и смотрит ей в глаза:

— Ну, хорошо. Я только одного понять не могу. Ладно, отбросим в сторону высокие слова относительно того, что нравственно, а что безнравственно. Нет, я не могу понять, почему такая умная женщина, как ты, цепляется за картину, которая досталась ей почти даром, и не соглашается отдать ее за кучу денег. За хренову кучу денег, гораздо больше, чем она за нее заплатила.

— Дело не в деньгах.

— Ой, только вот *этого* не надо! Я говорю об очевидных вещах. Что, если ты продолжишь тяжбу и проиграешь? Потеряешь сотни тысяч фунтов. Быть может, даже свой дом. Личную безопасность. И все ради картины? Ты это серьезно?

— Софи не была членом их семьи. Им на нее... им на нее наплевать.

— Софи Лефевр уже восемьдесят лет, если не больше, как умерла. И мне кажется, что сейчас ей уж точно все равно.

Лив слезает с кровати, лихорадочно ищет свои брюки.

— Ты что, действительно ничего не понимаешь? — спрашивает она, рывком застегивая молнию. — Господи! Ты не тот человек, за которого я тебя принимала.

— А вот и нет. Я тот человек, который, как ни странно, не хочет, чтобы ты зазя потеряла свой дом.

— Ох да, я и забыла! Ты тот человек, который пробрался в мой дом, чтобы там нагадить.

— Ты что, думаешь, не нашелся бы кто-нибудь другой, кто взялся бы за такую работу? Лив,

дело простое, как дважды два. Кругом полно организаций типа нашей, и никто из них не стал бы отказываться.

— Ну что, мы закончили? — Она уже надела бюстгальтер и теперь натягивает через голову джемпер.

— Вот черт! Послушай, я только советую тебе хорошенько подумать. Я... я не хочу, чтобы ты из какого-то дурацкого принципа потеряла все.

— Надо же! Значит, все дело в заботе обо мне. Ладно.

Пол потирает лоб, словно хочет сохранить остатки самообладания. Затем качает головой:

— Знаешь что, моя дорогая? Полагаю, причина вовсе не в картине. Причина в твоей неспособности двигаться вперед. Отдать картину — значит оставить Дэвида в прошлом. И ты на это не способна.

— Я сделала шаг вперед! Ты сам знаешь, что я сделала шаг вперед! А что, по-твоему, черт возьми, означала для меня прошлая ночь?!

— Послушай меня, — смотрит он на нее. — Я не знаю. Действительно не знаю.

И когда она вихрем проносится мимо него, он даже не пытается ее остановить.

Двумя часами позже Лив, сидя в такси, смотрит, как Генри на ходу уминает датское печенье и запивает его кофе. От этого зрелища у нее начинаются спазмы в животе.

— Пришлось отвести детей в школу, — объясняет он, стряхивая крошки на колени. — Вечно не успеваю толком поесть.

На Лив темно-серый приталенный пиджак, из-под которого виднеется голубая блузка. Для нее подобный наряд — своего рода доспехи. Ей надо что-то ответить Генри, но она не в состоянии открыть рот. Сказать, что она нервничает, — значит ничего не сказать. Она вся точно натянутая струна. Дотронешься до нее — и, кажется, она зазвенит.

— Стоит мне только сесть за стол, чтобы спокойно выпить кофе, как тут же кто-нибудь из детей требует дать ему тост или овсянку.

Она молча кивает. В ушах до сих пор стоит голос Пола: «Все эти работы были краденными».

— Я, наверное, год питался лишь тем, что мог найти, уже убегая на работу, в хлебнице. Даже пристрастился к пресным лепешкам.

У здания суда ждут какие-то люди. А на ступеньках лестницы собралась небольшая толпа. Лив думает, что это зеваки, но когда она выходит из такси, Генри хватается за руку.

— О господи! Постарайтесь пониже опустить голову, — говорит он.

— Что?

И едва она успевает ступить на тротуар, как ее ослепляют вспышки фотокамер. На секунду Лив будто парализует. Но вот уже Генри чуть ли не волоком тащит ее за собой, кто-то пихает ее локтем, кто-то выкрикивает ее имя. Кто-то всовывает ей в ладонь записку, и она слышит панические нотки в голосе Генри, когда толпа начинает сжиматься вокруг нее. Она видит вокруг себя пиджаки, пиджаки и темные призрачные отражения огромных объективов.

— Всем посторониться! Пожалуйста, назад!

Она замечает блеск латуни на полицейской форме и закрывает глаза, а потом чувствует, что Генри усиливает хватку, так как ее отпихивают в сторону.

Наконец они проходят через охрану и оказываются в торжественной тишине здания суда. Лив ошеломленно моргает, не в силах оправиться от шока.

— Какого черта здесь происходит? — тяжело дыша, спрашивает она.

Генри приглаживает волосы и поворачивается, чтобы выглянуть из дверей на улицу:

— Газетчики. Боюсь, дело вызвало слишком большой ажиотаж.

Она одергивает пиджак, осматривается вокруг и именно в этот момент видит, как через охрану с бумагами под мышкой проходит Пол, надевший по такому случаю бледно-голубую рубашку и темные брюки. Похоже, репортеры не стали ему досаждать, так как вид у него абсолютно невозмутимый. Их глаза на секунду встречаются, и во взгляде Лив читается молчаливая ярость. Он чуть-чуть замедляет шаг, но выражение его лица остается прежним. Оглянувшись на секунду, он направляется в сторону зала заседаний номер два.

Лив разворачивает бумажку, что ей сунули в руку, и читает:

Владеть тем, что забрали немцы, — ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Положите конец страданиям еврейского народа. Верните то, что по праву принадлежит им. Поступите по совести, пока еще НЕ ПОЗДНО.

— Что там такое? — заглядывает ей через плечо Генри.

— Почему они мне это дали? Ведь истцы даже не евреи! — восклицает Лив.

— Я предупреждал вас, что трофейные произведения искусства — взрывоопасная тема.

Боюсь, что в вас вцепятся все группы заинтересованных лиц вне зависимости от того, пострадали они или нет.

— Ведь это же нелепо. Мы не крали чертову картину. Она принадлежала нам почти десять лет.

— Ну все, хватит, Лив. Нам нужно попасть в зал судебных заседаний номер два. Я попрошу кого-нибудь принести вам стакан воды.

Места для прессы полностью забиты. Она видит сидящих впритирку репортеров. Они переговариваются, обмениваются шутками, просматривают до появления судьи сегодняшние газеты. Стая хищников, бдительно следящих за своей жертвой. Лив пытается отыскать знакомых ей представителей истца. Ей хочется встать и закричать прямо в мерзкие рожи газетчиков: «Для вас все это игрушки. Не так ли? Завтрашняя газета, в которую потом завернут рыбу с чипсами». Она чувствует, как бешено колотится сердце и стучит в висках.

Судья, сообщает ей Генри, усаживаясь на свое место, очень опытный в ведении таких дел и безусловно честный. Но на вопрос Лив, как часто судья выносил решение в пользу ответчиков, Генри отвечает уклончиво.

У представителей обеих сторон толстые папки с документами, экспертными заключениями, толкованием неясных пунктов французского судебного права. Генри шутливо замечает, что Лив так поднаторела в тонкостях судебных процессов, что после окончания тяжбы он готов предложить ей работу.

— Все может быть. Возможно, мне действительно срочно придется искать себе работу, — мрачно отвечает она и слышит: «Всем встать, суд идет».

— Ну вот и началось, — ободряюще улыбнувшись, трогает ее за локоть Генри.

Лефевры, двое мужчин в возрасте, уже сидят на скамье рядом с Шоном Флаерти, и молча наблюдают за тем, как их барристер Кристофер Дженкс излагает суть претензий. У истцов на удивление мрачный вид, руки сложены на груди, словно они уже заранее демонстрируют свое недовольство исходом дела. Кристофер Дженкс объясняет суду, что Морис и Андре Лефевры являются доверительными собственниками имеющихся работ Эдуарда Лефевра. И крайне заинтересованы в сохранении его творческого наследия.

— И в набивании собственных карманов, — еле слышно бормочет Лив, на что Генри только качает головой.

Дженкс расхаживает по залу, только изредка сверяясь с записями и обращаясь исключительно к судье. Поскольку в последние годы популярность Лефевра значительно возросла, его наследники решили провести ревизию оставшихся работ и нашли упоминание о картине «Девушка, которую ты покинул», в свое время принадлежавшую жене художника Софи Лефевр.

Фотография и дневниковые записи подтверждают, что картина была выставлена на всеобщее обозрение в отеле под названием «Красный петух» в Сен-Перроне — городе, оккупированном немцами во время Первой мировой войны.

Установлено, что комендант города, некто Фридрих Хенкен, неоднократно выказывал свое восхищение картиной. «Красный петух» был выбран немцами в качестве места для офицерской столовой. Софи Лефевр открыто выражала недовольство присутствием немцев в их доме.

Она была арестована и увезена в неизвестном направлении в начале 1917 года.

Все сказанное выше наводит на мысль, заявляет Дженкс, о противоправном завладении приглянувшейся коменданту картиной. Однако это, многозначительно говорит он, не единственное предположение в пользу того, что картина была украдена.

Получены свидетельства того, что после Второй мировой войны картина находилась в

Берхтесгадене, Германия, в так называемом сборном пункте, где хранились награбленные немцами произведения искусства. Дженкс дважды повторяет слово «награбленные», словно хочет придать еще большую весомость своему заявлению. Здесь, продолжает Дженкс, картина самым таинственным образом становится собственностью американской журналистки Луанны Бейкер, которая провела целый день на сборном пункте и написала об этом статью в американской газете. В ее отчетах содержится упоминание о том, что она получила, так сказать, «подарок» или «сувенир» на память о том дне. Картина висела у нее дома — факт, подтвержденный ее родственниками, — до тех пор, пока десять лет назад не была продана Дэвиду Халстону, который в качестве свадебного подарка преподнес ее своей жене.

Лив это все уже хорошо известно, ей дали возможность ознакомиться с полученными противной стороной доказательствами. Но теперь, когда она слушает историю своей картины, рассказываемую в ходе судебного заседания, ей трудно понять, какое отношение имеет портрет, спокойно висевший на стене ее спальни, к драматическим событиям апокалиптического масштаба.

Она поворачивает голову в сторону скамьи для прессы. Репортеры явно впечатлены, впрочем, так же как и судья. И Лив отрешенно думает, что, если бы от исхода дела не зависело все ее будущее, она тоже, вероятно, была бы впечатлена. На другом конце скамьи, воинственно сложив руки на груди, сидит Пол.

Лив рассеянно смотрит по сторонам, но, неожиданно поймав на себе его взгляд, слегка краснеет и отводит глаза. Он что, собирается присутствовать на каждом заседании? Интересно, а можно ли убить человека в переполненном зале?

Теперь Кристофер Дженкс стоит прямо напротив них.

— Ваша честь, мне искренне жаль миссис Халстон, которая невольно была вовлечена в цепь правонарушений, совершенных на протяжении исторического отрезка времени, что не мешает им тем не менее оставаться правонарушениями. С нашей точки зрения, картина была украдена дважды: сначала из дома Софи Лефевр, а потом — во время Второй мировой — у ее потомков, поскольку была незаконно изъята из пункта сбора и подарена постороннему лицу именно в тот период, когда в Европе царил хаос и мисдиминор^[34] просто не регистрировался. Но, согласно Женевской конвенции и существующим законам о реституции, все правонарушения должны получить справедливую правовую оценку. Таким образом, мы стоим на том, что картину следует вернуть законным владельцам, семье Лефевр. Спасибо за внимание.

Лицо Генри остается бесстрастным.

А Лив смотрит в угол зала, где на подставке выставлена репродукция картины «Девушка, которую ты покинул». Флаерти добивался, чтобы Лив сдала картину на хранение, но Генри заверил ее, что она вовсе не обязана этого делать.

И все же Лив слегка нервнует то, что репродукция выставлена здесь, в зале суда. Ей кажется, что девушка на портрете смеется над происходящим действием. В последнее время Лив ловит себя на том, что то и дело ходит в спальню, так как не может наглядеться на портрет. Очень уж велика вероятность того, что она больше никогда его не увидит.

Полдень, кажется, никогда не кончится. Воздух в зале суда спертый и душный из-за центрального отопления. Кристофер Дженкс с видом усталого биолога, препарирующего лягушку, с помощью юридических уловок на корню пресекает их попытку перенести рассмотрение иска. Иногда Лив слышит выражения типа «изменение права собственности» или «неполный провенанс». Судья кашляет и изучает свои записи. Пол что-то шепчет на ухо сидящей рядом женщине, второму директору их компании. А та в ответ улыбается, демонстрируя безупречные мелкие белые зубы.

И вот Кристофер Дженкс начинает читать.

15 января 1917 г.

Сегодня забрали Софи Лефевр. Душераздирающее зрелище. Она как раз спустилась в винный погреб «Красного петуха», когда через площадь прошли двое немцев и, словно преступницу, выволокли ее наружу. Ее сестра, рыдая, умоляла их отпустить Софи, плакала и осиротевшая дочь Лилиан Бетюн; все, кто оказался рядом, громко протестовали, но немцы просто отмахивались от них, точно от назойливых мух. В возникшей суматохе двоих стариков сбили с ног. Господь свидетель, на Страшном суде немцы ответят за все.

Они увезли бедную девушку в грузовике для перевозки скота. Мэр пытался их остановить, но он в эти дни совсем пал духом из-за смерти дочери. Да и вообще, он всегда слишком уж стелился под немцев. Вот почему они и не воспринимали его всерьез. Когда грузовик исчез из виду, мэр вошел в бар «Красного петуха» и громко заявил, что он этого так не оставит. Но никто из нас даже слушать не стал. Ее несчастная сестра Элен рыдала, положив голову на стойку бара, ее брат Орельен как ошпаренный выскочил на улицу, а девочка, которую пригрела Софи, — дочь Лилиан Бетюн, — словно маленькое привидение, застыла в углу.

«Не плачь, Элен тебя не оставит», — сказала я ей и, наклонившись, вложила ей в руку монетку, но она только взглянула на денежку так, будто не понимает, что это такое. А потом посмотрела на меня огромными, как блюдца, глазами. «Не бойся, дитя мое. Элен — добрая женщина. Она о тебе позаботится».

Мне говорили, что, прежде чем Софи увезли, у нее с братом возникла перебранка, но слуху меня уже не тот, и во всей этой кутерьме я не поняла, в чем дело. И все же боюсь, что немцы обошлись с ней дурно. Я знала, что с тех пор, как они облюбовали «Красный петух», бедная девочка была обречена, но она никогда не слушала меня. Должно быть, Софи как-то их оскорбила, уж больно она была своенравной. Но я ее не виню: думаю, что, если бы немцы заняли мой дом, я бы тоже их оскорбила.

Конечно, у нас с Софи Лефевр были разногласия, но сегодня на сердце у меня тяжело. Видеть, как ее заталкивают в грузовик для скота, словно тушу животного, представлять, какая судьба ее ждет... Да, настали черные дни. Вот уж не думала, что доживу до такого! Иногда по ночам мне кажется, что в нашем маленьком городке правит бал безумие.

Кристофер Дженкс зачитывает воспоминания очевидца проникновенным, звучным голосом. В зале суда становится тихо, слышно только, как строчит стенографистка. Под потолком лениво вращаются лопасти вентилятора, не способного разогнать застойный воздух.

— «Я знала, что с тех пор, как они облюбовали „Красный петух“, бедная девочка была обречена». Дамы и господа, полагаю, эта дневниковая запись ясно свидетельствует о том, что отношения Софи Лефевр с немцами, приходившими в «Красный петух», были далеко не безоблачными. — Он прогуливается по залу суда, будто человек, вышедший подышать воздухом на побережье, и только изредка заглядывает в фотокопии дневниковых записей. — Но это не единственное свидетельство. Все та же местная жительница, Вивьен Лувье, оказалась прекрасным летописцем жизни маленького городка. Вот как она описывает события, происходившие за несколько месяцев до того.

Немцы столуются в «Красном петухе». Они заставляют сестер Бессетт готовить им такую роскошную еду, что аппетитные запахи, сводя нас с ума, витают даже над площадью. Давеча я сказала Софи Бессетт — хотя теперь она Лефевр, — что ее отец

такого бы не потерпел, но она ответила, что ничего не может поделать.

Дженкс поднимает голову. «Ничего не может поделать». Немцы оккупировали отель, принадлежавший жене художника, заставили ее готовить на себя. Враг — буквально в ее собственном доме, а она абсолютно бессильна. Обстоятельства выше ее. И это не единственное свидетельство. В архивах семьи Лефевр сохранилось письмо Софи Лефевр к мужу. Очевидно, письмо так и не дошло до адресата, но оно может пролить свет на наше дело. Дженкс берет лист бумаги и демонстративно подносит поближе к люстре.

Господин комендант не так глуп, как Бекер, и это нервирует меня еще больше. Он постоянно разглядывает мой портрет, который ты написал, и мне хочется сказать ему, что он не имеет на это права. Эта картина принадлежит только нам двоим. Но, Эдуард, знаешь, что самое интересное? Комендант действительно восхищается твоими работами. Он слышал о них, слышал об Академии Матисса, о Вебере и Пурманне. Странно, но иногда я ловлю себя на том, что объясняю твою манеру письма немецкому коменданту.

И, несмотря на все уговоры Элен, я отказываюсь снять портрет. Он напоминает мне о тебе и о тех временах, когда мы были счастливы вместе. Напоминает мне о том, что люди способны не только творить разрушения, но и видеть красоту.

Мой любимый, я каждый день молюсь о твоём благополучии и скором возвращении.

Вечно твоя Софи

— «Эта картина принадлежит только нам двоим», — цитирует Дженкс и делает многозначительную паузу. — Итак, письмо, обнаруженное через много лет после смерти жены художника, красноречиво говорит о том, что картина очень много значила для нее. Из письма явно следует, что немецкий комендант, так сказать, положил глаз на картину. И что он неплохо разбирался в рынке произведений искусства. Он был, если хотите, *aficionado*.^[35] — Адвокат обкатывает во рту звучное слово, как камешек, выделяя каждый слог. — Так вот, мародерство в Первую мировую войну стало предвестником грабежей времен Второй мировой. Ведь образованные немецкие офицеры знали толк в хороших вещах и сразу отбирали все более или менее ценное.

— Протестую! — вскакивает с места королевский адвокат Анжела Сильвер, представляющая интересы Лив. — Существует огромная разница между тем, кто восхищается картиной и знает творчество художника, и тем, кто силой отнимает ее. Мой ученый друг не представил ни одного свидетельства того, что комендант забрал картину, а только сообщил нам уже известный факт, что тот восхищался портретом и столовался в отеле, где жила мадам Лефевр. Это все лишь умозрительные заключения.

— Протест принят, — бормочет судья.

— Я просто пытаюсь обрисовать, если угодно, общую картину жизни в городке Сен-Перрон в тысяча девятьсот шестнадцатом году, — вытирает лоб Кристофер Дженкс. — Поскольку, для того чтобы понять причины произошедшего, необходимо знать, что немцы имели карт-бланш на реквизицию приглянувшихся им ценностей практически из любого дома.

— Протестую. — Анжела Сильвер сверяется с записями. — Это не относится к делу. Нет никаких доказательств того, что картина была конфискована.

— Протест принят. Мистер Дженкс, не отклоняйтесь от сути дела.

— Я только еще раз пытаюсь... живописать обстановку, милорд.

— С вашего позволения, мистер Дженкс, оставьте живопись Лефевру, — говорит судья под одобрительный смех зала.

— Мне хотелось подчеркнуть тот факт, что немецкие войска реквизировали ценности без регистрации, поскольку, вопреки обещаниям немецкого командования, «не заплатили» за них. Именно поэтому я и упомянул о царящей тогда обстановке, так как, по нашему убеждению, картина «Девушка, которую ты покинул» оказалась в числе тайно изъятых ценностей. «Он постоянно разглядывает мой портрет, который ты написал, и мне хочется сказать ему, что он не имеет на это права». Ваша честь, мы настаиваем на том, что комендант Фридрих Хенкен считал, что имел на это полное право. И что последующие тридцать лет картина оставалась в собственности Германии.

Пол смотрит на Лив, но та отворачивается.

Она пытается сконцентрироваться на портрете Софи Лефевр, непроницаемый взгляд которой направлен на каждого сидящего в этом зале. «Глупцы», — словно хочет сказать девушка на портрете.

«Да, — думает Лив. — Мы все глупцы».

В половине четвертого объявлен перерыв. Анжела Сильвер ест сэндвич прямо у себя в кабинете. Ее парик лежит на маленьком столике, а на письменном столе стоит кружка с чаем. Генри сидит напротив.

Они пытаются убедить Лив, что первый день прошел именно так, как они и ожидали. Но в царящей в комнате атмосфере чувствуется предельное напряжение, совсем как запах соли, который ощущается даже вдали от морского побережья. Пока Генри беседует с Анжелой, Лив перелистывает стопку фотокопий переводов.

— Лив, разве вы не упоминали, что во время беседы с племянником Софи Лефевр он намекнул, будто она чем-то скомпрометировала себя? Может, стоит покопаться в этом направлении?

— Не понимаю, — заметив обращенные на нее выжидательные взгляды адвокатов, отвечает Лив.

Сильвер прожевывает сэндвич и только потом начинает говорить:

— Ну, если она была скомпрометирована, не означает ли это, что их отношения с комендантом основывались на взаимном согласии? Таким образом, если у нее была внебрачная связь с немецким офицером, значит картина могла быть ему подарена. Ведь нет ничего невозможного в том, что в угаре страсти женщина дарит любовнику свой портрет.

— Да, но только не Софи.

— А вот этого нам не дано знать, — вступает в разговор Генри. — Вы ведь сами сказали, что после исчезновения Софи ее имя больше никогда не произносилось ее родственниками вслух. Но если бы она была чиста как первый снег, они непременно захотели бы сохранить память о ней. Но здесь все наоборот. Значит, с Софи Лефевр связана какая-то постыдная тайна.

— Не думаю, что она добровольно вступила в какие-то особые отношения с комендантом. Посмотрите на эту почтовую открытку, — снова открывает Лив папку с бумагами. — «Ты моя путеводная звезда в этом безумном мире». И это всего за три месяца до того, как она предположительно стала «коллорационисткой». Так способны писать только очень любящие друг друга супруги.

— Да, перед нами действительно любящий муж, — кивает Генри. — Но мы не имеем ни малейшего представления о том, какой монетой оплатила ему за любовь жена. К тому времени она могла безумно влюбиться в немецкого офицера. Ей могло быть одиноко. Ее могли ввести в

заблуждение. То, что Софи любила мужа, вовсе означает, будто она не могла полюбить другого мужчину.

Лив нервно смахивает челку со лба:

— Это звучит отвратительно! Получается, что мы хотим запятнать ее имя.

— Ее имя уже запятнано. У родственников не нашлось для нее ни одного доброго слова.

— Нет, я не желаю использовать против нее слова племянника, — говорит Лив. — Похоже, он единственный, кому она небезразлична. Просто... просто я не уверена, что мы знаем полную историю ее жизни.

— Полная история никого и не интересует. — Анжела Сильвер комкает упаковку из-под сэндвича и аккуратно бросает в мусорную корзину. — Послушайте, миссис Халстон! Если мы сможем доказать, что у нее был роман с комендантом, наши шансы сохранить картину существенно увеличатся. Но если противная сторона докажет, что картина была похищена или получена насильственным путем, наши позиции окажутся не столь бесспорны. — Она вытирает руки и надевает парик. — В такой игре все средства хороши. И я не сомневаюсь, что противная сторона использует недозволенные приемы. Собственно, вопрос состоит исключительно в том, насколько сильно вы хотите сохранить картину.

Лив садится за стол — ее сэндвич так и остается нетронутым, — а оба адвоката уже поднимаются, чтобы идти обратно в зал. Она смотрит на лежащие перед ней записи. Нет, она не может чернить память о Софи. Но и не может допустить, чтобы картину забрали. А самое главное, не может позволить Полу выиграть дело.

— Я еще раз все хорошенько проверю, — говорит она.

Нет, я не боюсь, хотя странно видеть, как они преспокойно едят и весело смеются под крышей отчего дома. В основном они вежливы, даже внимательны. И я верю, что господин комендант не допустит никаких вольностей со стороны своих офицеров. Вот и началось наше шаткое перемирие.

Самое удивительное, что господин комендант высококультурный человек. Он даже знает о Матиссе! О Вебере и Пурманне! Можешь себе представить, как это странно — обсуждать технику твоей живописи с немцем?

Сегодня мы наконец смогли утолить голод. Господин комендант пришел на кухню и велел нам доесть остатки рыбы. Малыш Жан заплакал, когда ему не дали еще. Я не знаю, где ты сейчас, но молюсь, чтобы у тебя было достаточно еды.

Лив читает и перечитывает отрывки, пытаясь понять то, что написано между строк. Очень сложно установить хронологию, так как письма Софи написаны на случайных клочках бумаги, да и чернила местами выцвели, но все они явно свидетельствуют о постепенном налаживании отношений с Фридрихом Хенкеном. Софи намекает на душевные разговоры, случайные проявления доброты, на дополнительные продукты с офицерского стола. Несомненно, Софи не стала бы говорить об искусстве с тем, кого считала бы извергом. Не стала бы принимать от него еду.

И постепенно перед мысленным взором Лив встает образ Софи Лефевр. Лив читает историю о поросенке-младенце — делает повторный перевод, чтобы проверить, не перепутала ли чего, — и радуется тому, что все так хорошо закончилось. Она возвращается к своим записям из зала суда, перечитывая слова мадам Лувье о равенстве Софи, ее смелости и добром сердце. И дух Софи словно сходит со страниц документов. На секунду Лив даже становится жаль, что нельзя обсудить это с Полом.

Она аккуратно закрывает папку. И бросает виноватый взгляд на письменный стол, где лежат бумаги, которые она решила не показывать Генри.

Взгляд коменданта пристальный, пронизывающий, но непроницаемый, будто он хочет спрятать свои истинные чувства. И я испугалась, как бы он не заметил, что я начинаю терять остатки самообладания.

Конец записей отсутствует, словно был специально оторван. А может, просто ветхая бумага рассыпалась от старости.

«Я потанцую с вами, господин комендант, — сказала я. — Но только на кухне».

Среди документов есть записка, написанная явно не рукой Софи. Там было сказано: «Что сделано, того не воротишь». Когда Лив это прочла в первый раз, у нее оборвалось сердце.

Лив перечитывает содержание записки и мысленно представляет себе женщину, покоящуюся в объятиях мужчины, который, в сущности, является ее врагом. А потом решительно захлопывает папку и осторожно кладет в самый низ стопки документов.

— И сколько сегодня?

— Четыре, — отдает она Генри дневной улов анонимных писем.

Генри велел ей не открывать письма, написанные незнакомым почерком. Это сделают его

сотрудники, которые в случае обнаружения писем с угрозами незамедлительно доложат ему. Она старается относиться спокойно к подобному повороту событий, но всякий раз вздрагивает, когда видит незнакомое письмо. Ей кажется, что там сконцентрирована вся направленная на нее ненависть, которая в любую минуту может попасть в цель. Она уже не может вот так просто взять и набрать «Девушка, которую ты покинул» в поисковой системе. Когда-то она получала в ответ на подобный запрос всего две исторические ссылки, но теперь выскакивают электронные версии статей мировых печатных изданий и еще обсуждения в чатах их с Полом эгоистичного поведения и очевидного непонимания того, что хорошо, а что плохо. И каждое слово точно удар: «Захваченное. Украденное. Награбленное. Сука».

Уже дважды ей подкладывают в почтовый ящик собачье дерьмо.

Но сегодня Лив встречает только одну протестующую — взъерошенную средних лет женщину в синем плаще, — которая пытается всучить ей самопальную листовку о холокосте.

— Это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему делу, — говорит Лив, отпихивая руку с листовкой.

— Тогда ты соучастница! — Лицо женщины искажено от ярости.

Генри оттаскивает Лив в сторону.

— Не стоит связываться, — советует он.

Странно, но его слова не уменьшили смутного чувства вины в ее душе.

Все это явные свидетельства общественного порицания. Но имеются и скрытые признаки. Соседи больше не говорят ей «привет», а сухо кивают, не поднимая глаз. С тех пор как дело получило широкую огласку, ее перестали куда бы то ни было приглашать. Ни на обед, ни на закрытый показ, ни на посвященное архитектуре мероприятие, на которые время от времени ее звали, хотя она обычно и отказывалась. Сперва Лив было решила, что это простое совпадение, но теперь перестала удивляться.

Газеты каждый день описывают ее внешний вид, используя такие характеристики, как «унылая» и «сдержанная». Причем слово «белокурая» присутствует обязательно. Интерес репортеров ко всем аспектам дела, похоже, и не думает угасать. Правда, она не знает, пытался ли кто-нибудь получить от нее комментарии, потому что уже давно выдернула шнур телефонного аппарата из розетки.

Лив бросает взгляд в сторону скамьи, где сидят Лефевры. На их лицах, как и в первый день процесса, застыло замкнутое, сдержанно-агрессивное выражение. Интересно, что они почувствуют, когда узнают, что в свое время семья отвернулась от Софи и она осталась совсем одна? Изменят ли они свое к ней отношение или даже не заметят, что за всей этой историей стоит личность Софи, так как в глазах у них только фунтовые банкноты?

Пол каждый раз садится на дальний конец скамьи. Она на него не смотрит, но ощущает его присутствие, как электрический импульс.

Слово берет Кристофер Дженкс. Он собирается представить доказательства того, что картина «Девушка, которую ты покинул» является перемещенным произведением искусства. По его словам, дело крайне необычное, поскольку портрет был получен нечистоплотными методами не один раз, а дважды. И каждый раз при слове «нечистоплотный» Лив вздрагивает.

— Халстоны, последние владельцы картины, купили ее после смерти некой Луанны Бейкер. «Бесстрашная мисс Бейкер», как ее называли во время Второй мировой, была в сорок пятом году одной из немногих женщин — военных корреспондентов. В «Нью-Йорк реджистер» сохранились вырезки из газет, где описывается ее пребывание в Дахау с союзными войсками в конце Второй мировой. Эти материалы позволяют получить достаточно подробную картину освобождения лагеря.

Лив смотрит, как репортеры что-то лихорадочно записывают.

— Ага, значит, Вторая мировая, — бормочет Генри. — Пресса любит тему нацистов.

— Так, в одной из статей подробно рассказывается, как мисс Бейкер провела целый день на огромном складе, известном как сборный пункт и расположенном в бывшей нацистской канцелярии под Мюнхеном, где войска Соединенных Штатов охраняли трофейные ценности.

И Дженкс начинает рассказывать историю другой репортерши, которая тогда же за помощь союзникам получила в подарок картину. Но после судебного разбирательства вынуждена была вернуть картину прежним владельцам. При этих словах Генри недовольно качает головой.

— Милорд, хочу представить копию статьи под названием «Как я стала комендантом Берхтесгадена», из которой ясно видно, как простая американская корреспондентка Луанна Бейкер не слишком благовидным путем получила в собственность шедевр современного искусства.

В зале суда становится шумно, журналисты склоняются над блокнотами, приготовившись записывать. Кристофер Дженкс начинает читать:

В военное время надо быть готовым ко всему. Но я никак не была готова к тому, чтобы в один прекрасный день стать комендантом Берхтесгадена, где Геринг собрал трофейные произведения искусства на сумму в сто миллионов долларов.

И до Лив, словно через десятилетия, доносится голос молоденькой репортерши, смелой и уверенной в себе. Она высадилась вместе с частями воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы» в зоне под кодовым названием «Омаха-бич» и оказалась вместе с ними под Мюнхеном. Журналистка записывает разговоры солдат, впервые оказавшихся вдалеке от родных берегов, рассказывает об их напускной браваде и тайной тоске по дому. И вот однажды утром войсковые подразделения выдвигаются в сторону концентрационного лагеря, расположенного в нескольких милях от Берхтесгадена, предоставив в ее распоряжение двух пехотинцев и пожарную машину. «Армия США не могла допустить даже возможность малейшего инцидента, когда под ее охраной находились такие сокровища». Она рассказывает о страсти Геринга к произведениям искусства, о найденных ею в стенах этого здания доказательствах систематического изъятия ценностей в течение многих лет, о своем облегчении, когда американские подразделения наконец вернулись и она смогла сложить с себя полномочия по охране трофейных вещей.

И здесь Кристофер Дженкс делает театральную паузу.

Когда я уезжала, сержант в качестве благодарности за честно выполненный патриотический долг предложил мне взять сувенир на память. Что я и сделала. Я до сих пор храню эту вещь как напоминание о самом странном дне своей жизни.

Затем Кристофер Дженкс многозначительно приподнимает брови и говорит:

— Какой-то сувенир.

Анжела Сильвер тут же вскакивает с места:

— Возражение. В статье ничего не сказано о том, что в качестве сувенира она получила картину «Девушка, которую ты покинул».

— Ну конечно, то, что именно ей разрешили взять вещь из хранилища, просто случайное совпадение.

— В статье нет никаких указаний на то, что этой вещью была картина. Тем более именно эта картина.

— Возражение принимается.

Слово берет Анжела Сильвер.

— Милорд, мы изучили документацию из Берхтес-гадена и не нашли никаких записей о поступлении на сборный пункт интересующей нас картины. Ее нет ни в одной инвентаризационной описи того времени. Поэтому со стороны моего коллеги не слишком корректно проводить подобные ассоциации.

— Мы уже представляли документальные подтверждения изъятия в военное время ценностей без должной регистрации. И, согласно показаниям выступавших здесь экспертов, имеется целый ряд произведений искусства, которые никогда не считались краденными, но на деле оказались именно таковыми, — вносит уточнение Дженкс.

— Милорд, если мой ученый друг утверждает, что картина «Девушка, которую ты покинул» хранилась в Берхтесгадене в числе трофейных произведений искусства, тогда вся тяжесть получения неопровержимых доказательств ложится на плечи истцов, которые в первую очередь должны достоверно подтвердить, что картина хранилась именно там.

— Если верить заявлению, сделанному в свое время лично Дэвидом Халстоном, при покупке картины дочь Луанны Бейкер сообщила ему, что ее мать получила картину в сорок пятом году в Германии. У хозяйки картины не было ее провенанса, а он, в свою очередь, не знал, что провенанс требуется обязательно, поскольку плохо разбирался в рынке произведений искусства. И не кажется ли вам странным, что исчезнувшая из Франции во времена немецкой оккупации картина, которую тогда облюбовал немецкий комендант, вдруг появляется в доме женщины, приехавшей из Германии с дорогим сувениром и больше ни разу там не бывавшей?

В зале царит гробовая тишина. На скамье неподалеку от Лив сидит, положив крупные узловатые руки на спинку передней скамьи, темноволосая женщина в чем-то лимонно-зеленом и многозначительно кивает. Лив кажется, что где-то она ее уже видела. На скамьях для публики очень много пожилых людей. Интересно, кто из этих стариков еще помнит последнюю войну? Сколько картин пропало лично у них?

— И снова, милорд, это все умозрительные заключения, — обращается к судье Анжела Сильвер. — В статье нет конкретного упоминания картины. Сувениром, с вашего позволения, может быть как солдатский значок, так и простая галька. Высокий суд должен руководствоваться исключительно доказательствами. А в приведенной статье Луанна Бейкер ни разу прямо не упоминает картину, — произносит Анжела Сильвер и добавляет: — Могу я вызвать Марианну Эндрюс?

Женщина в лимонно-зеленом тяжело встает, проходит к месту свидетеля и, дав клятву говорить только правду, и ничего, кроме правды, подслеповато озирается по сторонам. Она так крепко вцепилась в сумочку, что костяшки пальцев побелели. И Лив начинает вспоминать, где уже видела ее. Да, раскаленная улочка Барселоны, почти десять лет назад, ее волосы не цвета воронова крыла, а белокурые. *Марианна Джонсон.*

— Миссис Эндрюс, вы единственная дочь Луанны Бейкер?

— Мисс Эндрюс. Я вдова. Да, я ее единственная дочь, — отвечает женщина, и Лив вспоминает этот сильный американский акцент.

— Мисс Эндрюс, вы узнаете картину — копию картины, — что находится перед вами? — показывает на портрет Анжела Сильвер.

— Конечно узнаю. Картина все мое детство провисела в нашей гостиной. Она называется «Девушка, которую ты покинул». Художник Эдуард Лефевр. — Фамилию Лефевр она произносит как Ле Февер.

— Мисс Эндрюс, ваша мать когда-нибудь рассказывала вам о сувенире, о котором она упоминает в своей статье?

— Нет, мэ.м.

— Она никогда не говорила, что это именно картина?

— Нет, мэм.

— А она когда-нибудь рассказывала, откуда она взяла картину Лефевра?

— Нет, только не мне. Но я хочу сказать, что мама никогда не взяла бы картину, если бы считала, что она принадлежит узникам тех лагерей. Она была не из таких.

— Мисс Эндрюс, мы должны оставаться в рамках того, что твердо известно. И не можем рассматривать мотивы поведения вашей матери, — наклонившись вперед, говорит судья.

— Ну, все вы такие, — пыхтит она. — Вы ее не знали. Она верила в честную игру. Ее сувенирами были исключительно высушенные головы, старые ружья или номерные знаки. Вещи, которые никому не нужны. — Она с минуту думает и добавляет: — Ну, высушенные головы, конечно, когда-то кому-то принадлежали, но хозяева явно не попросят их назад. Так? — (В зале слышатся смешки.) — Она была действительно очень расстроена тем, что случилось в Дахау. Даже много лет спустя не могла об этом говорить. И я знаю, что мама никогда ничего бы не взяла, что могло бы потревожить на небесах их бедные души.

— Значит, вы не верите, что ваша мать взяла картину из хранилища в Берхтесгадене?

— Мама в жизни ничего ни у кого не украла. Она привыкла платить за все. Вот таким она была человеком.

— Все это очень хорошо, мисс Эндрюс, — вскакивает Дженкс. — Но, как вы сами только что заявили, у вас нет ни малейшего представления, откуда взялась картина. Все верно?

— Как я уже сказала, я твердо знаю, что она не была способна на воровство.

Лив внимательно следит за тем, как судья что-то пишет. Она смотрит на Марианну Эндрюс, которая болезненно морщится, видя, как прямо на ее глазах подвергают сомнению безупречную репутацию матери. Смотрит на Джейн Дикинсон, которая победно улыбается братьям Лефевр. Смотрит на Пола, который, положив руки на колени, подался вперед, словно в безмолвной молитве.

Лив отворачивается от репродукции своей картины, чувствуя, как ее, будто одеялом, накрывает с головой что-то тяжелое, заслоняющее свет.

— Эй! — вернувшись домой, кричит Лив.

Уже половина пятого, но Мо не слышно и не видно. Лив проходит на кухню и обнаруживает на столе записку: «Я у Раника. Вернусь завтра. Мо».

Выронив записку, Лив тихо вздыхает. Она уже привыкла к тому, что Мо снует туда-сюда по дому, привыкла к звуку ее шагов, шуму в глубине дома, журчанию воды в ванной комнате.

В последние дни Мо от нее слегка отдалилась. Интересно, догадалась ли она, что случилось с Лив после возвращения из Парижа? Что заставило Лив снова броситься в объятия Пола?

Но думать сейчас о Поле абсолютно бессмысленно.

В почтовом ящике пусто, если не считать рекламы встроенных кухонь и двух счетов.

Лив снимает пальто и наливает себе чаю. Звонит отцу, но его нет дома. И только автоответчик звучно призывает ее оставить сообщение: «Вы должны! Мы РАДЫ будем услышать вас снова!» Лив включает радио, но музыка действует на нервы, а новости угнетают. В Интернет влезать тоже неохота: вряд ли она получит новые предложения относительно работы, но зато может обнаружить новые комментарии относительно судебного процесса. Лив боится, что пикселизированная ярость миллионов человек, которые раньше о ней даже не слышали, через компьютер обрушится на ее бедную голову.

На улицу выходить тоже не хочется.

«Ну давай же! — ругает она себя. — Ты сильная, ты справишься. Вспомни, через что пришлось пройти Софи».

Лив включает музыку, так как не может больше слышать эту звенящую тишину. Загружает

белье в стиральную машину, чтобы создать ощущение обычной домашней жизни. Затем берет стопку конвертов и документов, скопившихся за последние две недели, придвигает кресло к письменному столу и начинает их изучать.

Счета она складывает в центр стола, письма из банка — с правой стороны. То, что не слишком срочное, отодвигает влево. Счета от адвокатов идут в отдельную стопку.

Потом она записывает цифры колонкой в большом блокноте. Она методично складывает и вычитает нужные суммы и подводит итог внизу страницы. Снова садится в кресло, поднимает глаза на черное небо наверху, потом долго смотрит на полученные цифры.

Наконец она откидывается на спинку кресла, пытаясь разглядеть свет далеких звезд. Но темнота стоит такая, словно уже полночь, хотя на часах около шести. Она смотрит на прямые, безупречные линии творения Дэвида, еще раз обращая внимание на то, что через стеклянный потолок с любого ракурса видно небо. Смотрит на стены из термического стекла с подложкой из невероятно тонкого теплоизоляционного материала, который Дэвид в свое время выписал из Китая и Америки, а именно из Калифорнии, чтобы в доме всегда было тихо и тепло. Смотрит на белую бетонную стену, на которой, еще в первые дни совместной жизни с Дэвидом, после очередной ссоры из-за ее неаккуратности маркером написала: «Почему бы тебе не отвязаться от меня?» И, несмотря на все усилия специалистов по реставрации, при определенных атмосферных условиях на стене видны призрачные очертания тех ужасных слов. Она снова смотрит на небо сквозь прозрачную стену, которая есть в каждой комнате, что создает ощущение, будто Стеклоанный дом висит прямо в воздухе над шумными, суетливыми улицами.

Лив проходит в спальню, к портрету Софи Лефевр. И, как всегда, встречает направленный прямо на нее взгляд Софи. Хотя сегодня девушка на картине вовсе не кажется высокомерной или безучастной. Сегодня за дерзким выражением лица Софи Лив видит какую-то тайну. Словно та знает что-то такое, что неведомо другим.

«Софи, так что же на самом деле с тобой произошло?»

Лив прекрасно понимает, что рано или поздно придется принять это решение. Всегда понимала. И все же чувствует себя предательницей.

Она перелистывает телефонную книгу, снимает трубку и набирает номер:

— Алло! Это риелторское агентство?

— Итак, когда пропала ваша картина?

— В тысяча девятьсот сорок первом. Возможно, в сорок втором. Трудно сказать, так как все, на чьей памяти это произошло, уже умерли, — горько усмехается блондинка.

— Ну да, по вашим словам получается так. А вы можете представить мне полное описание?

Женщина придвигает к нему папку:

— Все, что у нас есть. Основные факты изложены в письме, которое я отправила вам еще в ноябре.

Пол, пытаясь освежить в памяти детали, изучает содержимое папки.

— Значит, вы установили, что картина находится в галерее в Амстердаме. И сделали первоначальный запрос...

Постучав в дверь, Мириам приносит кофе. Пол ждет, пока она поставит чашки на стол, виновато качает головой, словно секретарша прервала их на самом интересном месте, беззвучно шевеля губами, изображает «спасибо», на что Мириам удивленно таращит глаза.

— Да, я написала им письмо. Как, по-вашему, сколько она стоит?

— Простите?

— Как, по-вашему, сколько она стоит?

Пол отрывает глаза от документов. Женщина сидит, свободно откинувшись на спинку кресла. У нее красивое, хорошо очерченное лицо, гладкая кожа без признаков старения. Но лицо какое-то безжизненное, будто она привыкла скрывать свои чувства. А возможно, все дело в ботоксе. Он украдкой смотрит на ее густые волосы. Вот Лив в два счета определила бы, натуральные они или нет.

— Потому что Кандинский стоит кучу денег. По крайней мере, так говорит мой муж.

— Несомненно, если удастся доказать, что картина принадлежит вам, — осторожно подбирая слова, отвечает Пол. — Однако мы забегаем вперед. Давайте вернемся к вопросу собственности. У вас имеются какие-либо свидетельства о том, где была приобретена картина?

— Ну, мой дедушка дружил с Кандинским.

— Понятно. Но у вас есть какое-либо документальное подтверждение? — спрашивает Пол и, увидев озадаченное выражение ее лица, уточняет: — Фотографии? Письма? Упоминания о том, что они дружили?

— Ой, нет. Но дедушка часто об этом рассказывал.

— Он еще жив?

— Нет. Я уже говорила об этом в своем письме.

— Простите меня. А как звали вашего деда?

— Антон Перовский. — Она произносит фамилию по слогам, одновременно показывая на то место в его бумагах, где приводится фамилия Перовский.

— А остался ли кто-нибудь из членов семьи, который мог бы об этом знать?

— Нет.

— А картина уже где-нибудь выставлялась?

— Нет.

Пол с самого начала знал, что давать рекламу их агентства было большой ошибкой, поскольку это неизбежно привело бы к появлению сомнительных дел типа этого. Но Джейн настояла.

«Мы должны работать на опережение, — перейдя на лексикон из области менеджмента, заявила она. — Нам необходимо стабилизировать свое положение на рынке, упрочить

репутацию. Мы должны занять все ниши этого рынка». Джейн составила список аналогичных агентств и предложила отправить туда Мириам под видом клиентки, чтобы узнать методы их работы. Пол сказал, что она сошла с ума, но Джейн упорно стояла на своем.

— Вы пробовали узнать историю картины? Например, в Google? Или в книгах по искусству?

— Нет. Полагаю, именно за это я и собираюсь вам платить. Вы ведь лучшие в этом бизнесе. Так? И именно вы нашли картину Лефевра. — Она выпрямляется в кресле, скрестив ноги, и бросает взгляд на часы. — Как долго обычно тянутся такие дела?

— Ну, это трудно сказать. Некоторые дела удается решить на редкость быстро, но только в том случае, если у нас имеются все необходимые документы и провенанс. Но некоторые тянутся годами. И вы, наверное, знаете, что само судебное разбирательство может обойтись очень недешево. Так что мой вам совет — все хорошенько обдумать.

— А вы работаете за комиссионные?

— Когда как. Хотя обычно мы берем небольшой процент от окончательной стоимости. И у нас есть штат специальных сотрудников.

Пол еще раз просматривает бумаги. Но там всего несколько фотографий картины и нотариально заверенный аффидевит^[36] Антона Перовского о том, что Кандинский подарил ему картину в 1938 году. В 1941-м всю семью забрали прямо из дома, и больше они картины не видели. В деле имеется письмо правительства Германии о признании претензии, а также письмо из музея Рикс в Амстердаме, где говорится, что такой картины в экспозиции нет. Да, зацепиться особенно не за что.

Пол как раз взвешивает все за и против, когда клиентка подает голос:

— Я была еще в одной фирме. «Бригг и Состой», кажется. Они сказали, что возьмут на процент меньше, чем вы.

Рука Пола застывает на открытой папке.

— Я не понял?

— Комиссионные. Они сказали, что вернут картину и возьмут на процент меньше, чем вы.

С трудом взяв себя в руки, Пол говорит:

— Мисс Харкот, у нашей фирмы безупречная репутация. Если вы хотите использовать наш многолетний опыт, профессионализм и деловые контакты для того, чтобы мы попытались найти любимую картину вашей семьи, я, естественно, рассмотрю вашу просьбу и постараюсь сделать все от меня зависящее. Но я не собираюсь сидеть здесь и торговаться с вами.

— Ну, это же куча денег. Если Кандинский стоит миллионы, в моих интересах заключить сделку на более выгодных условиях.

Пол чувствует, как у него начинают играть желваки на подбородке.

— С учетом того, что еще восемнадцать месяцев назад вы и понятия не имели об этой картине, в случае если мы ее найдем, это так или иначе станет для вас выгодной сделкой.

— То есть тем самым вы хотите сказать, что не желаете обсуждать более... приемлемые условия оплаты? — тупо смотрит она на него.

Она сидит с абсолютно неподвижным лицом, но элегантно скрестив ноги в изящно болтающихся на пальцах босоножках. Женщина, явно привыкшая получать то, чего хочет, не вкладывая в это даже частицы души.

Пол кладет авторучку. Закрывает папку и придвигает ее к посетительнице.

— Мисс Харкот, было очень приятно с вами познакомиться. Но, думаю, мы закончили.

— Простите? — удивленно моргает она.

— Полагаю, нам больше нечего сказать друг другу.

Джейн входит в офис с коробкой рождественских шоколадок в руках и встает как вкопанная,

услышав шум перебранки.

— Никогда еще не встречала такого грубияна, как вы, — шипит мисс Харкот, зажав под мышкой дорожную сумочку.

— Позвольте с вами не согласиться, — отвечает Пол, который выпроваживает дамочку из кабинета, одновременно пытаясь всучить ей папку с бумагами.

— Если вы считаете, что так можно вести дела, то вы еще глупее, чем я думала.

— Вот и договорились. Тогда вам нет нужды возлагать на меня эпохальные поиски вашей ненаглядной картины, — бесцветным голосом говорит Пол.

Он открывает дверь, и мисс Харкот, оставляя за собой шлейф дорогих духов и выкрикивая нечто невразумительное, выскакивает в приемную.

— Какого черта здесь происходит? — спрашивает Джейн, когда мимо нее на всех парах пролетает мисс Харкот.

— Лучше не начинай. Не надо. Договорились? — просит Пол и, захлопнув за собой дверь, садится за стол, а когда наконец поднимает голову, первое, что он видит, — это портрет «Девушки, которую ты покинул».

Он набирает ее номер, стоя на углу Гудж-стрит, рядом со станцией метро. Всю дорогу по Мэрилбоун-роуд он думал, что ей сказать, но, услышав ее голос, тут же обо всем забывает.

— Лив?

Она долго не отвечает, значит, прекрасно знает, кто звонит.

— Что тебе надо, Пол? — Голос у нее резкий, усталый. — Если ты о Софи...

— Нет, я звоню совсем по другому поводу... Просто... — Он хватается за голову и оглядывается на забитую транспортом улицу. — Просто хотел узнать... как ты там. Все ли у тебя в порядке.

В трубке снова длинная пауза.

— Ну, я все еще здесь.

— Я вот что подумал... Может, когда все кончится... мы сможем встретиться. — Он слышит свой голос, слегка дрожащий и неуверенный, и неожиданно понимает, что словами тут не поможешь. Не исправишь того, что он сделал, перевернув всю ее жизнь. Разве она это заслужила?

Поэтому ее ответ не стал для него неожиданностью.

— Извини, но сейчас я могу думать только о следующем судебном заседании. Все... слишком усложнилось. — И снова молчание.

Мимо с ревом пролетает автобус, и он прижимает трубку к уху, чтобы лучше слышать. Закрывает глаза. Она даже не делает попытки прервать затянувшуюся паузу.

— Ты куда-нибудь уезжаешь на Рождество?

— Нет.

«Потому что суд сожрал все мои деньги, — словно слышит он безмолвный ответ. — Потому что ты так со мной поступил».

— Я тоже. Собираюсь сходить к Грегу. Но это...

— Как ты уже однажды мне сообщил, Пол, мы даже не имеем права разговаривать друг с другом.

— Ну хорошо. Ладно, я рад, что ты в порядке. Думаю, это все, что я хотел тебе сказать.

— У меня все отлично.

На сей раз тишина становится просто невыносимой.

— Тогда до свидания.

— До свидания, Пол. — И она вешает трубку.

Пол стоит на Тоттенхэм-корт-роуд, бессильно опустив руку с мобильником, а в ушах у него звучат рождественские хоралы. Затем он решительно засовывает телефон в карман и медленно бредет обратно к своему офису.

— Итак, здесь кухня. Как вы уже могли заметить, отсюда открывается потрясающий вид на Темзу и на весь город. Справа вы увидите Тауэрский мост, а внизу — Лондонский глаз. А в солнечные дни стоит нажать на кнопку — правильно, миссис Халстон? — и крыша открывается.

Лив смотрит на супружескую пару, которые, задрав голову, смотрят в небо. На носу у мужчины, бизнесмена лет пятидесяти, очки, свидетельствующие об экстравагантности их дизайнера. Он осматривает дом с абсолютно каменным лицом, возможно опасаясь, что чрезмерное проявление энтузиазма помешает ему при заключении сделки сбить цену.

Но даже он не способен скрыть своего удивления при виде открывающегося потолка. Крыша с шумом отъезжает в сторону, и покупатели видят над головой безбрежную синеву. Зимний воздух потихоньку проникает на кухню, шевеля верхние страницы лежащих на столе документов.

— Не бойтесь, мы не будем слишком долго держать крышу открытой.

За сегодняшнее утро прошло уже три показа, и молоденькой риелторше страшно понравилось открывать и закрывать крышу. Она театрально дрожит, а затем с нескрываемым удовольствием смотрит, как крыша наконец задвигается. Покупательница, миниатюрная японка, с замысловато завязанным на шее шарфом, прижимается к мужу и шепчет что-то ему на ухо. Он кивает и снова поднимает глаза к прозрачному потолку.

— И крыша, как и большая часть дома, выполнена из специального стекла, способного сохранять тепло, как обычная стена с теплоизоляцией. И дом с точки зрения экологии гораздо безопаснее обычного дома с балконом.

Нет, эти двое явно не похожи на людей, когда-либо бывавших в домах с балконом. Японка ходит по кухне, открывает дверцы, выдвигает ящички, с напряженным вниманием изучая их содержимое, точно хирург, готовый вонзить скальпель в открытую рану.

Лив, безмолвно стоящая возле холодильника, ловит себя на том, что жует внутреннюю поверхность щеки. Она догадывалась, что будет нелегко, но не предполагала насколько. Ее мучило чувство вины, ей было чертовски неуютно в присутствии чужих людей, которые шарили холодными, бесчувственными взглядами по личным вещам. На ее глазах они трогают стеклянные поверхности, проводят пальцем по полкам, шепотом обсуждают, куда лучше повесить картины, чтобы «немного это смягчить», и ей хочется вытолкнуть их всех вон.

— Кухонная техника самого высокого качества и продается вместе с домом, — открывая дверцу холодильника, замечает риелторша.

— А духовкой вообще практически не пользовались, — раздается голос с порога кухни. Мо покрасила веки блестящими фиолетовыми тенями, а на форменную блузу дома-интерната набросила парку. — Я личный помощник миссис Халстон, — не обращая внимания на ошарашенную риелторшу, как ни в чем не бывало продолжает Мо. — Прошу нас простить, но ей пора принимать лекарства.

Со смущенной улыбкой на губах риелторша поспешно ведет супружескую пару в сторону атриума. Мо тянет Лив за руку.

— Давай-ка сходим попьем кофейку, — говорит она.

— Мне надо быть здесь.

— Нет, не надо. Это чистой воды мазохизм. Ну давай же, надевай пальто и пойдем.

Лив уже тысячу лет не видела Мо. И внезапно испытывает огромное облегчение оттого, что подруга рядом. Она понимает, что ужасно скучала по девочке-готу, ростом всего пять футов, с

фиолетовыми тенями на веках и в белоснежной форменной блузке. Ведь Лив теперь ведет призрачную, эфемерную жизнь, сосредоточившись на дуэли двух барристеров в зале суда, с их «возражаю» и «предлагаю», с мировыми войнами и грабителями-комендантами. Она словно находится под домашним арестом, и центр ее нового мироздания — фонтан на втором этаже Высокого суда, место на жесткой скамье, судья с его забавной манерой поглаживать себя по носу перед каждым выступлением, репродукция портрета на подставке.

И Пол. За сотни миль от нее, на скамье для истцов.

— Ты что, серьезно хочешь все это продать? — кивает Мо в сторону Стеклянного дома.

Лив собирается было открыть рот, но потом понимает, что, если начнет говорить о том, что чувствует на самом деле, ее уже будет не остановить. Она будет болтать, болтать — и так до следующего Рождества. Лив хочется рассказать Мо, что статьи о процессе каждый день появляются в газетах, ее имя треплют все, кому не лень, а репортеры непрерывно жонглируют такими словами, как «кража», «справедливость» и «преступление». Ей хочется рассказать, что больше не занимается бегом, так как однажды какой-то мужчина подкараулил ее за несколько кварталов от дома и плюнул в нее. А еще, что лечащий врач выписал ей снотворное, но она боится его принимать. Когда она описывала ему свое состояние в его кабинете, то, похоже, увидела в его глазах осуждение.

— Да. Все нормально, — отвечает Лив и, заметив округлившиеся глаза Мо, добавляет: — Правда. Ведь это, в конце концов, только кирпичи и раствор. Ну и конечно, стекло и бетон.

— У меня когда-то была своя квартира. А продав ее, я целый день просидела на полу и проплакала как ребенок, — помешивая кофе, сообщает Мо, и Лив застывает с чашкой в руке. — Я ведь была замужем. Но не сложилось, — пожимает плечами Мо и переходит к разговорам о погоде.

В Мо произошла какая-то неуловимая перемена. И не то чтобы она стала говорить слишком уклончиво, но между ними образовался невидимый барьер, нечто вроде стеклянной стены.

«Возможно, это моя вина, — думает Лив. — Я была так занята поисками денег и судом, что совершенно перестала интересоваться ее жизнью».

— Знаешь, я тут подумала насчет Рождества, — после непродолжительной паузы произносит Лив. — Послушай, а Раник не согласится переночевать у нас? Я руководствуюсь чисто эгоистическими соображениями. Может, вы двое возьмете на себя приготовление еды? Я никогда раньше не готовила рождественских обедов, а папа с Кэролайн по-настоящему хорошие кулинары, так что не хочется ударить лицом в грязь, — продолжает лепетать Лив.

«Мне просто надо иметь хоть какую-то перспективу, — вертится у нее на языке. — Иметь возможность спокойно улыбаться и не думать о том, какая лицевая мышца сейчас работает».

Мо смотрит на свои руки, у нее на большом пальце шариковой ручкой записан телефонный номер.

— Угу. Кстати, тут вот какое дело...

— Я прекрасно знаю, что у него всегда полно народу. Поэтому, если он захочет встретить Рождество у себя, это нормально. Ведь поймать такси будет просто невозможно, — натужно улыбается Лив. — Но мы могли бы повеселиться. Думаю, мы смогли бы немного развлечься.

— Лив, это не катит.

— Что?

— Он не придет, — поджимает губы Мо.

— Не понимаю.

Мо тщательно подбирает слова, словно осознавая неотвратимые последствия каждого из них.

— Раник из Боснии. Его родители лишились дома во время войны на Балканах. И твой

процесс, все это дерьмо... и его тоже касается. Он... не хочет к тебе приходить. И не хочет ничего с тобой праздновать. Мне очень жаль.

Лив смотрит на нее в упор, фыркает и отодвигает от себя сахарницу.

— Ну да, понятно. Только, Мо, ты на минуточку забыла, что я слишком хорошо тебя знаю.

— Что-что?

— Миссис Святая Простота. Но на сей раз ты меня не проведешь.

Однако Мо и не думает шутить. Она даже не смотрит Лив в глаза. Но поскольку Лив ждет ответа, собирается с духом и говорит:

— Я не во всем согласна с Раником. Хотя, типа, тоже считаю, что ты должна вернуть картину.

— Ты о чем?!

— Послушай, мне по барабану, кому она принадлежит, но ты, Лив, можешь потерять все. И если ты сама не способна этого понять, то со стороны оно виднее. Я читала газеты. У тебя нет шансов. И если продолжишь бороться, останешься без штанов. И ради чего?! Нескольких старых масляных клякс на холсте!

— Я не могу отдать ее просто так.

— Но почему, черт возьми, нет?!

— Потому что им плевать на Софи. Они видят только фунты стерлингов.

— Лив, ради всего святого, это же просто картина!

— Нет, это не просто картина! Ее предали близкие. Ее бросили! И у меня, кроме нее, больше ничего не осталось.

— Ты что, серьезно? Я бы не отказалась иметь это твое ничего.

Они смотрят друг на друга и поспешно отводят глаза. Лив чувствует, что у нее краснеет шея.

Мо делает глубокий вдох и наклоняется вперед:

— Насколько я понимаю, здесь вопрос о доверии. И ты влезла в эту историю в том числе из-за Пола. Но пора остановиться. И если честно, никто, кроме меня, тебе об этом не скажет.

— Что ж, спасибо большое. Я буду вспоминать об этом всякий раз, когда придется открывать треклятую утреннюю почту с новой порцией ненависти или показывать свой дом очередному незнакомцу.

Они обмениваются холодными взглядами. Возникшая за столом тишина говорит сама за себя. Рот Мо упрямо сжат, словно она пытается сдержать чертову уйму слов.

— Ну ладно, — наконец произносит она. — А еще я хочу сказать, коли уж пошел такой разговор, что съезжаю. — Она наклоняется, поправляет под столом туфлю, и ее голос доносится откуда-то снизу. — Я собираюсь остаться с Раником. И дело вовсе не в твоей тяжбе. Ты ведь сама говорила, что я могу пожить у тебя только недолго.

— Значит, вот как?

— Думаю, так будет лучше для всех.

Лив застывает на стуле. Двое мужчин за соседним столиком беззаботно продолжают болтать, но один из них, явно чувствуя возникшее в воздухе напряжение, как бы ненароком скользит взглядом по лицам девушек.

— Я, конечно, тебе очень благодарна за то... что разрешила мне так надолго остаться.

Лив отворачивается, с трудом сдерживая слезы. У нее ноет под ложечкой. И даже за соседним столиком возникла неловкая тишина.

Мо допивает кофе, отодвигает чашку:

— Вот такие дела.

— Понятно.

— Я уеду завтра, если не возражаешь. У меня сегодня вечерняя смена.

— Прекрасно. — Лив старается не выдать дрожи в голосе. — Спасибо, что просветила. — Лив и сама не ожидала от себя такого саркастического тона.

Мо выжидает секунду-другую, а потом решительно поднимается с места, надевает парку, закидывает на плечо рюкзак.

— И последнее, Лив. Не то чтобы я, типа, его знала и вообще... Но ты столько о нем рассказывала. Я вот все думаю: а что бы сделал на твоём месте Дэвид? — (Его имя будто взрывает тишину.) — Я серьёзно. Если бы твой Дэвид был жив и возникла бы вся эта заварушка — хренотень с историей картины, откуда она взялась, какие страдания выпали на долю бедной девушки и её семьи, — что, по-твоему, сделал бы Дэвид?

И, оставив вопрос висеть в воздухе, Мо поворачивается и выходит из кафе.

Звонок Свена застаёт Лив уже на улице. Голос у него какой-то напряжённый.

— Ты не можешь заскочить ко мне в офис?

— Свен, сейчас не самое подходящее время. — Лив трет глаза, смотрит на Стекланный дом. У неё до сих пор дрожат руки.

— Это очень важно. — И, не дав ей возможности возразить, Свен выключает телефон.

Повернувшись спиной к дому, Лив направляется в сторону офиса Свена. Она теперь постоянно ходит с низко опущенной головой, в шапке, натянутой до бровей, старательно избегая взглядов прохожих. И по дороге уже дважды смахивает наворачнувшиеся на глаза слезы.

Когда она наконец добирается до офиса архитектурного бюро «Солберг-Халстон», то встречает только двоих сотрудников: Ниш, молодую женщину со стрижкой «боб», и парня, имени которого Лив не помнит. Оба делают вид, что страшно заняты, и не здороваются. Лив входит в кабинет Свена, и тот сразу же захлопывает за ней дверь. Он целует девушку в щеку, но кофе не предлагает.

— Ну, как твоя тяжба?

— Не слишком хорошо, — отвечает Лив.

Она слегка раздражена настойчивостью Свена. У неё в голове вертится вопрос Мо: «Что, по-твоему, сделал бы Дэвид?»

Но затем Лив замечает, какое у Свена осунувшееся, серое лицо. И ведёт он себя как-то странно. Сидит, уставившись на лежащий перед ним блокнот.

— У тебя всё нормально? — спрашивает Лив, начиная паниковать. «Ну пожалуйста, скажи, что Кристен с детьми в порядке».

— Лив, у меня проблемы, — начинает Свен, и Лив без сил опускается на стул, положив сумочку на колени. — Братья Голдштейн отказываются от сотрудничества.

— Что?

— Они разрывают контракт. И всё из-за твоей тяжбы. Саймон Голдштейн звонил сегодня утром. Он следит за публикациями в газетах. Говорит... говорит, нацисты отобрали у его семьи всё и они с братом не хотят иметь дело с теми, для кого это нормально.

В комнате вдруг становится очень тихо. Она поднимает глаза на Свена:

— Но... они не могут так поступить. Я ведь даже не компаньон фирмы. Так ведь?

— Лив, ты по-прежнему почётный директор, а имя Дэвида играет немаловажную роль в линии защиты. Саймон хочет воспользоваться оговоркой, напечатанной мелким шрифтом в контракте. Ты борешься за это дело в суде вопреки здравому смыслу, а заодно бросаешь тень на репутацию нашей фирмы. Я объяснил ему, какое это опрометчивое решение, на что он ответил, что мы можем попробовать опротестовать его, но у них бездонные карманы. Повторяю дословно: «Свен, вы, конечно, можете судиться со мной, но я непременно выиграю». Они собираются предложить другой фирме завершить работы по проекту.

Лив цепенеет. Голдштейн-билдинг должен был стать апофеозом творчества Дэвида: зданием, призванным увековечить его.

Она смотрит на неподвижный, словно вырубленный из камня профиль Свена.

— У них с братом крайне болезненное отношение ко всем вопросам, связанным с реституцией.

— Это же несправедливо. Мы ведь так и не знаем всей правды об истории картины.

— Не в этом дело.

— Но мы...

— Лив, я целый день пытаюсь разрулить вопрос. Единственный способ уговорить их продолжить работу с нашей компанией, — набирает в грудь побольше воздуха Свен, — сделать так, чтобы имя Халстон никаким боком не было связано с проектом. Иными словами, ты отказываешься от звания почетного директора. И мы меняем название фирмы.

Лив мысленно прокручивает слова Свена, чтобы осознать до конца их смысл.

— Так ты что, собираешься навсегда вычеркнуть имя Дэвида?

— Да. Мне очень жаль. Я понимаю, что это для тебя потрясение. Но и для нас тоже.

И тут она неожиданно вспоминает о еще одной, очень важной для нее вещи.

— А как насчет моей работы с детьми? — спрашивает она.

— Мне очень жаль, — качает головой Свен.

У Лив внутри будто все заледенело. Помолчав немного, она начинает говорить, только очень и очень медленно, ее голос звучит неестественно громко в звенящей тишине.

— Итак, вы приняли такое решение только потому, что я не захотела отдать нашу картину — картину, которую Дэвид совершенно законно купил много лет назад, — и тем самым якобы опозорила фамилию Халстон. И вы вычеркиваете наше имя из благотворительных проектов и названия фирмы. Вычеркиваете имя архитектора, который создал это здание.

— Не надо смотреть на вещи так мелодраматично. — Вид у Свена слегка обескураженный. — Лив, возникла чертовски сложная ситуация. Но если я встану на твою сторону, сотрудники компании рискуют потерять работу. Ты же знаешь, как мы завязаны на Голдштейн-билдинг. «Солберг-Халстон» просто не выживет, если они откажутся от наших услуг. — Свен наклоняется над письменным столом и тихо добавляет: — Сама понимаешь, клиенты-миллиардеры на дороге не валяются. И мне приходится думать о своих служащих.

За дверью кто-то громко прощается. Слышится взрыв хохота. Но в кабинете сейчас стоит напряженная тишина.

— Итак, если я отдам картину, они сохранят имя Дэвида как автора проекта?

— Мы еще не обсуждали. Возможно.

— Возможно, — переваривает Лив это слово. — А если я скажу «нет»?

Свен нервно постукивает шариковой ручкой по письменному столу:

— Мы ликвидируем фирму и учредим новую.

— И тогда Голдштейны останутся с вами?

— Скорее всего, да.

— Значит, от моего ответа ничего не зависит. И ты пригласил меня чисто из вежливости.

— Лив, мне страшно жаль. Но положение пиковое. Я в пиковом положении.

Лив молча сидит секунду-другую, затем встает и, ни слова не говоря, выходит из кабинета.

Час ночи. Лив, задрвав голову, прислушивается, как Мо ходит по гостевой комнате, застегивает молнию портплекда, тяжело опускает его на пол возле двери. Она слышит звук спускаемой воды в туалете, осторожные шаги наверху — и все, тишина. Мо уже спит. Лив лежит и не знает, что делать. Может, все-таки стоит подняться наверх и попробовать уговорить Мо не

уезжать, но слова, возникающие в голове Лив, упорно не хотят выстраиваться в нужном порядке. Она вдруг вспоминает о находящемся в нескольких милях отсюда недостроенном стеклянном здании, имя архитектора которого будет закопано на глубину фундамента.

Тогда она берет лежащий возле кровати мобильный телефон. И смотрит на светящийся экран.

Никаких новых сообщений.

Одиночество накатывает на нее, причиняя почти физическую боль. Стены спальни вдруг кажутся очень уж непрочными, не способными защитить от враждебного мира снаружи. Дом больше не прозрачный и безупречный, как задумал его Дэвид: его пустые пространства холодны и безжизненны, а чистые линии нарушены переплетениями с линиями судьбы, стеклянные поверхности запачканы прикосновениями к изнанке жизни.

Лив пытается подавить приступ тихой паники. Она вспоминает о дневнике Софи, о заключенной, которую везут в поезде неведомо куда. Если она покажет документы в суде, то, возможно, сумеет сохранить картину.

«Но тогда, — размышляет Лив, — Софи навечно останется в памяти людей как женщина, переспавшая с немцем и предавшая свою страну, так же как и своего мужа. И я буду ничуть не лучше жителей Сен-Перрона, которые в трудную минуту оставили ее одну».

Что сделано, того не веротишь.

1917 г.

Я перестала оплакивать родной дом. Трудно сказать, как долго мы ехали, поскольку день перепутался с ночью, а сон — с явью. Когда мы уже порядочно отъехали от Мангейма, у меня вдруг страшно разболелась голова, а потом начался такой жар, что я с трудом поборола желание сбросить с себя всю одежду. Лилиан сидела рядом, вытирала мой мокрый лоб своей юбкой и помогала мне во время коротких остановок. Ее глаза запали, лицо осунулось от напряжения.

— Мне скоро полегчает, — твердила я ей, одновременно уговаривая себя, что это всего лишь простуда — неизбежный результат напряжения последних дней, холода и стресса.

Грузовик трясся и вилял, объезжая рытвины, брезент раздувало ветром, и внутрь залетали ледяные капли дождя. Голова нашего молоденького конвоира моталась из стороны в сторону. Иногда после особенно сильных толчков он открывал глаза и грозно смотрел на нас, будто хотел предупредить, чтобы мы сидели смирно.

Я прикорнула на плече у Лилиан, время от времени просыпаясь и вглядываясь сквозь щель в брезенте в пейзаж за нашей спиной. Я видела, как разбомбленные приграничные поселки сменялись более-менее аккуратными городками с уцелевшими рядами домов. Их потемневшие балки казались черными на фоне белой штукатурки стен, в их садах виднелись подстриженные кусты и аккуратно возделанные грядки. Мы ехали мимо больших озер, шумных городов, пробирались, увязая в грязи, по разбитым лесным дорогам. Нас с Лилиан практически не кормили; лишь изредка нам в кузов бросали, точно свиньям, по куску черного хлеба, который мы запивали водой.

Но потом жар еще больше усилился, и есть почти расхотелось. Болело буквально все тело: голова, суставы, шея, поэтому я уже не обращала внимания на сосущее чувство в животе. Аппетит пропал, и Лилиан приходилось уговаривать меня, несмотря на боль в горле, сделать хотя бы глоток воды. И хоть чуть-чуть поесть, чтобы совсем не ослабеть. Она говорила со мной с таким надрывом, будто хорошо знала, что нас ждет, но скрывала от меня. После каждой остановки ее глаза все больше округлялись от страха, и, несмотря на то что разум мой слегка помутился от болезни, ее страх передался и мне.

А во сне черты лица Лилиан были страдальчески искажены, что говорило о терзающих ее кошмарах. Иногда, просыпаясь, она хваталась руками за воздух и стонала от несказанной муки. И тогда я брала ее за руку, пытаясь вернуть назад в действительность. Я смотрела на немецкую землю, по которой нас везли, хотя и сама не знала, какой теперь в этом смысл.

Я потеряла всякую надежду, когда поняла, что мы не едем в Арденны. Комендант и заключенная между нами сделка остались в ином измерении; и отель с его полированной барной стойкой из красного дерева, и моя сестра, и городок, в котором я выросла, похоже, были только плодом большого воображения. Ведь непридуманная жизнь оказалась совсем другой: в ней царили лишения, холод, боль и постоянный страх, стучавшийся в виски. Я попыталась вспомнить лицо Эдуарда, его голос — и не смогла. В памяти возникали только отдельные фрагменты — завитки каштановых волос на воротничке, его сильные руки, — но никакого целостного образа. Теперь единственной реальностью для меня была сломанная рука Лилиан, покоящаяся в моей ладони. Я смотрела на самодельную лонгетку, наложенную на ее искаленные пальцы, и пыталась напомнить себе, что должен же во всем этом быть хоть какой-то смысл: возможно, именно так Бог проверяет на прочность нашу веру, хотя с каждой следующей милей сомнения терзали меня все больше.

Дождь кончился. Мы остановились в какой-то деревушке, наш конвоир, с трудом расправив затекшие конечности, вылез из машины. Мотор заглох, и мы слышали снаружи немецкую речь. Мне хотелось попросить у них немного воды, так как губы совсем пересохли, а ноги дрожали от слабости.

Лилиан, сидевшая напротив, вдруг застыла, совсем как заяц, принюхивающийся, нет ли где опасности. У меня стучало в висках, звенело в голове, но, прислушавшись, я услышала типичный шум рыночной площади: веселые крики торговцев, степенные переговоры покупательниц с владельцами торговых палаток. Тогда я на секунду прикрыла глаза и постаралась представить, что язык не немецкий, а французский и мы находимся в Сен-Перроне, городе моего детства. Потом представила себе сестру с корзиной под мышкой; она покупает томаты и баклажаны, взвешивает их в руке и осторожно кладет на место. И почти ощутила солнечные лучи на своей коже, почувствовала запах копченых колбас и сыров, увидела себя медленно идущей между торговыми рядами. Но тут чья-то бледная рука отогнула брезентовый край, и передо мной появилось женское лицо.

От неожиданности я даже поперхнулась. Женщина с секунду смотрела на меня в упор — и я решила, что она собирается предложить нам поесть, — но потом отвернулась и, не выпуская края брезента, что-то крикнула по-немецки. Лилиан подползла ко мне и притянула меня к себе:

— Закрой голову руками, — прошептала она.

— Что?

Но ответить она не успела, так как в кузов влетел бульжник и больно стукнул меня по руке. Растерявшись, я собралась было выглянуть наружу, но получила удар камнем по голове. Я зажмурилась, а открыв глаза, увидела еще одну женщину, затем вторую, третью, четвертую... С искаженными от ярости лицами они швыряли в нас все что ни попадя: камни, гнилую картошку, старые деревяшки.

— Huren!^[37]

Мы с Лилиан забились в самый дальний угол, напрасно пытаюсь защитить голову от сыпавшихся градом камней; руки у меня покрылись синяками. Мне хотелось крикнуть им: «Зачем вы так? Что мы вам плохого сделали?» Но их лица были такими злобными, а в голосах было столько ненависти, что я не решилась. Эти женщины открыто нас презирали. Дай им волю — и они разорвали бы нас на части. От ужаса у меня стало горько во рту. Страх вдруг принял некую физическую форму, стал живым существом, способным заставить меня забыть, кто я есть, лишить возможности думать и сдерживать естественные отправления организма. Я молилась — молилась, чтобы они оставили нас в покое, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. А когда я отважилась поднять глаза, то увидела нашего молоденького конвоира. Он стоял в сторонке, прикуривая сигарету, и спокойно обозревал рыночную площадь. И тогда я почувствовала холодную ярость.

Между тем нас продолжали закидывать камнями. Атака длилось всего несколько минут, но мне они показались часами. Кусок кирпича смазал меня по губам, и я почувствовала во рту металлический привкус крови. Лилиан не кричала, но болезненно вздрагивала от каждого нового удара. Я изо всех сил обнимала ее обеими руками, словно она была именно той соломинкой, за которую можно было еще зацепиться в этом безумном мире.

Но тут все как-то сразу прекратилось. В ушах у меня звенело, а по виску, прямо в уголок глаза, стекала теплая струйка крови. Прозвучала какая-то команда, мотор взревел, молодой солдат неохотно залез к нам в кузов, и грузовик тронулся с места.

Из моей груди вырвался даже не вздох, а всхлип облегчения. «Сукины дети», — прошептала я. Лилиан сжала мне ладонь здоровой рукой. С бьющимся сердцем, трепеща от страха, мы снова уселись на скамью. А когда негостеприимный город остался позади, всплеск эмоций сменился

диким изнеможением. Ужасно хотелось спать, но я боялась заснуть, страшась того неизведанного, что ждало нас впереди, Лилиан тоже не спала, она смотрела широко раскрытыми глазами на тоненькую полоску дороги, которая виднелась из-под брезента. И тогда внутренний голос подсказал мне, что она будет на страже и присмотрит за мной. Немного успокоившись, я положила голову на скамью, закрыла глаза и провалилась в небытие.

Когда мы остановились, я увидела сплошную заснеженную равнину. Только редкий лесок да разрушенный сарай оживляли пейзаж. Нас вытащили из кузова прямо в темноту и прикладами подтолкнули в сторону деревьев, знаками показав, что здесь можно справиться нужду. У меня практически не осталось сил. Измученная лихорадкой, я дрожала от холода и едва держалась на ногах. Лилиан захромала подальше от мужских глаз в сторону сарая. А я, почувствовав приступ дурноты, повалилась в снег. На мужчин, нетерпеливо стучавших ногами о борт машины, мне уже было наплевать. Прикосновение холодного снега к разгоряченным ногам оказалось удивительно сладостным. И я отдалась во власть холода, от которого коченело тело, стыла кровь в жилах, испытывая странную радость от ощущения того, что наконец лежу на земле. Я глядела в бездонное небо со сверкающими точками звезд до тех пор, пока у меня не закружилась голова. И неожиданно вспомнила, как много месяцев назад смотрела на звезды в тайной надежде, что Эдуард сейчас тоже любит звездным небом. И тогда я протянула руку и написала пальцем на искрящемся снегу: «ЭДУАРД».

Затем то же самое — с другой стороны, словно хотела себя убедить, что он сейчас хоть и далеко, но живой и невредимый и что он — мы — существуем. Я водила посиневшим пальцем по снегу — десять, двадцать раз — до тех пор, пока не написала «Эдуард» со всех сторон от себя. Эдуард. Эдуард. Эдуард. И уж больше ничего не видела, кроме дорогого мне имени. Я лежала в кольце из заветных слов, и они кружились в танце вокруг меня. Какой простой выход — остаться здесь, в снежном плену, под знаком Эдуарда, а там будь что будет! Я откинулась на спину и засмеялась.

Из-за сарая вышла Лилиан. Она замерла, увидев меня. Лицо у нее было совсем как когда-то у Элен: лицо женщины, измученной жизненными невзгодами, женщины, не уверенной в том, хватит ли ей сил на еще одну схватку с судьбой. И что-то заставило меня привстать.

— Я... Я... намочила юбку, — было единственным, что я смогла произнести.

— Пустяки, это всего лишь снег. — Потянув меня за руку, она помогла мне подняться, отряхнула от снега.

И вот так — хромая и покачиваясь — мы побрели навстречу равнодушным солдатам с их ружьями, чтобы забраться обратно в кузов грузовика.

Свет. Лилиан, зажав мне рот рукой, смотрела на меня в упор. Я удивленно заморгала и невольно отшатнулась от нее, но она прижала палец к губам. И только когда я кивнула в знак того, что все поняла, она убрала руку. Я обнаружила, что грузовик снова остановился. Мы были в лесу. Снег, покрывший неровными заплатами землю, приглушал все звуки и мешал двигаться вперед.

Лилиан показала на конвоира. Тот лежал, растянувшись на скамье, с вещевым мешком под головой, и спал как убитый. Он храпел, вытянув тонкую беззащитную шею, а его кобура была совсем рядом от нас. Я инстинктивно сунула руку в карман, где лежал острый осколок стекла.

— Прыгай, — шепнула Лилиан.

— Что?

— Прыгай. Если постараемся идти по склону, где нет снега, то не оставим следов. И к тому времени, когда они проснутся, будем уже далеко.

— Но мы же в Германии.

— Я немножко говорю по-немецки. Мы выберемся.

Она очень оживилась и прямо-таки излучала уверенность. С тех пор как нас увезли из Сен-Перрона, я еще ни разу не видела ее такой. Прищурившись, я посмотрела на спящего солдата, потом — на Лилиан, которая, отогнув брезент, вглядывалась в свет нового дня.

— Но нас непременно пристрелят, если поймают.

— Нас пристрелят, если мы останемся. Да и лучше бы пристрелили, так как дальше будет только хуже. Пошли. Нельзя упускать такой шанс. — Она еще раз повторила последнее слово, беззвучно шевеля губами, и ткнула пальцем в мою сумку.

Тогда я встала, выглянула наружу. И остановилась.

— Не могу.

Лилиан повернулась ко мне всем телом. Сломанную руку она прижимала к груди, чтобы лишний раз не травмировать. При дневном свете мне были хорошо видны синяки и царапины на ее лице, оставшиеся после вчерашней атаки разъяренных женщин.

— А что, если меня все-таки везут к Эдуарду? — сглотнув, спросила я.

— Ты что, ненормальная? — уставилась на меня Лилиан. — Ну давай же, Софи! Пошли! Это наш шанс.

— Не могу.

Она снова придвинулась ко мне поближе, нервно оглядываясь на спящего конвоира, затем схватила меня здоровой рукой за запястье. Лицо ее было искажено от ярости.

— Софи, они не везут тебя к Эдуарду, — сказала она так, словно обращалась к неразумному ребенку.

— Комендант говорил...

— Он же немец, Софи! Ты унизила его. Не смогла разглядеть в нем мужчину! Неужели ты надеешься, что он отплати тебе добром?

— Я знаю, надежды почти нет. Но это... единственное, что у меня осталось. — И, чувствуя на себе ее пристальный взгляд, я придвинула к ней свою сумку: — Послушай, ты иди. Возьми все, что есть. Ты справишься.

Лилиан схватила сумку и снова выглянула наружу. Она словно готовилась к прыжку, прикидывая, в какую сторону лучше бежать. Я же со страхом косилась на спящего конвоира, который мог проснуться в любую минуту.

— *Иди!*

Я не могла понять, почему она не двигается. Она медленно повернула ко мне страдальческое лицо:

— Если я скроюсь, тебя убьют.

— Что?

— Как пособницу.

— Но тебе действительно стоит попытаться бежать. Тебя обвиняют в подрывной деятельности. У меня совсем другая ситуация.

— Софи, ты единственная отнеслась ко мне по-человечески. Не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести.

— Со мной все будет в порядке. Как всегда.

Лилиан Бетюн посмотрела на мое грязное платье, на мое дрожащее от холода и лихорадки худое тело. Она постояла еще немного, затем тяжело опустилась на скамью, а сумку бросила на пол, явно не заботясь о том, услышат ее или нет. Я пристально посмотрела на нее, но она отвела глаза. И тут мотор внезапно заработал. Послышались отрывистые команды. Грузовик медленно тронулся с места, подпрыгнув на рытвине, отчего мы с Элен повалились на бок. Наш конвоир

только громко всхрипнул, но не проснулся.

Дотронувшись до руки Лилиан, я прошептала:

— Беги, Лилиан! Пока не поздно. Ты еще успеешь. Они не заметят.

Но она пропустила мои слова мимо ушей. Подтолкнула сумку ногой поближе ко мне, села рядом со спящим солдатом. И, привалившись к стенке кузова, уставилась невидящими глазами прямо перед собой.

Тем временем грузовик вырвался из леса на открытую дорогу, и несколько миль мы ехали молча. Где-то вдалеке слышались звуки выстрелов и время от времени мелькали другие военные машины. Замедлив ход, наш грузовик миновал колонну тащившихся вдоль обочины оборванных мужчин. Они шли, низко опустив голову, и напоминали скорее призраков, чем живых людей. Я заметила, как Лилиан неотрывно глядит на них, и на душе стало еще тяжелее. Если бы не я, она сделала бы это. Мы сделали бы это вместе. И когда в голове немного прояснилось, я поняла, что лишила ее последнего шанса вернуться к дочери.

— Лилиан...

Она покачала головой, словно не желала ничего слышать.

А мы ехали все дальше. Небо нахмурилось, снова пошел дождь, холодные капли, проникавшие сквозь прорехи в брезенте, обжигали кожу. Озноб у меня усилился, при каждом новом толчке грузовика боль стрелой пронизывала тело. Мне хотелось сказать Лилиан, что я сожалею. Хотелось сказать, что я поступила ужасно эгоистично. Я не имела права лишать ее единственного шанса. Ведь она была абсолютно права: надеяться на то, что комендант оплатит мне добром, — самообман.

— Софи, — прервав мои мрачные раздумья, позвала Лилиан.

— Да? — с готовностью откликнулась я.

Она судорожно сглотнула и уставилась себе под ноги:

— Если... если со мной что-то случится, как думаешь, Элен присмотрит за Эдит? Я имею в виду, будет ли любить ее как родную?

— Конечно. Любить детей больше, чем их любит Элен, просто невозможно. Она скорее... ну, не знаю — свяжется с бошем, чем откажет в ласке ребенку, — попыталась улыбнуться я. Мне очень хотелось убедить ее, что мне уже лучше. Тогда, быть может, она сможет поверить, что еще не все потеряно. Я попыталась выпрямиться, малейшее движение болью отдавалось во всем теле. — Но ты не должна даже думать об этом. Лилиан, мы выстоим, и ты вернешься домой к своей дочке. Может, уже в ближайшие месяцы.

Лилиан дотронулась здоровой рукой до багрового шрама, тянувшегося от виска до подбородка. Казалось, она погружена в глубокое раздумье и сейчас где-то далеко от меня. Я молилась, чтобы моя уверенность помогла ей хоть чуть-чуть приободриться.

— Ведь мы уже столько всего пережили. Разве нет? — продолжила я. — И по крайней мере, мы едем в нормальном грузовике, а не в чертовом драндулете для перевозки скота. А разве это не подарок судьбы, что мы оказались вместе? — Неожиданно она напомнила мне Элен в ее худшие времена. Ужасно хотелось взять Лилиан за руку, но даже на это не было сил. — Ты не должна терять веру. Все еще наладится. Я твердо знаю.

— Ты что, действительно считаешь, будто мы можем вернуться домой, в Сен-Перрон? После всего, что мы сделали?!

Конвоир, сердито протирая глаза, стал подниматься с места. Вид у него был сердитый, наш разговор его явно разбудил.

— Ну... возможно, не сразу, — запинаясь, произнесла я. — Но мы сможем вернуться во Францию. В один прекрасный день. Все еще будет...

— Софи, мы с тобой на «ничьей земле». У нас больше нет дома.

Лилиан резко подняла голову. Ее глаза расширились и потемнели. Я еще раз с горечью отметила, что в ней не осталось ничего от той холеной дамы, которую я видела возле отеля. Но дело было не только в уродливых шрамах и синяках. Нет, у нее в душе образовался гноящийся нарыв.

— И ты действительно веришь, что пленные, которых везут в Германию, оттуда возвращаются?

— Ну пожалуйста, Лилиан, не надо так говорить. Пожалуйста. Ты просто должна... — Мой голос дрогнул.

— Дорогая моя Софи, с твоей слепой верой в людей, с твоим оптимизмом, — ощерилась она в жуткой улыбке, — ты даже не можешь представить, что они способны с нами сделать.

И с этими словами она вытащила пистолет у конвоира из кобуры, приставила себе к виску и спустила курок.

— Итак, мы подумали, что неплохо было бы запастись каким-нибудь фильмом на сегодня. А утром Джейки поможет мне выгулять собак. — Машину Грег ведет хуже некуда, нажимая на педаль газа в такт музыке, и пока они едут по Флит-стрит, Пола то и дело бросает вперед.

— А я смогу взять «Нинтендо»?

— Нет, Скрин-бой, ты не сможешь взять «Нинтендо». Так как опять врежешься в дерево.

— Я учусь ходить по деревьям, как Супер-Марио.

— Ну что ж, дерзай, карапуз!

— Папа, а когда ты вернешься?

— Ммм?

Пол, который сидит на переднем сиденье, просматривает газеты. Нашел три репортажа о вчерашнем судебном заседании. Заголовки предрекают победу КРВ и Лефеврам. Пол уж и не припомнит такого, чтобы его настолько не радовал вердикт в пользу их фирмы.

— Папа?

— Черт! Новости. — Он смотрит на часы и переключает приемник.

«Бывшие узники нацистских концлагерей призывают правительства их стран ускорить принятие законодательства, способствующего возврату украденных во время войны ценностей...

Семь бывших узников умерли в этом году в ожидании судебных разбирательств по возвращению фамильных ценностей. Ситуация, которую иначе, как „трагической“, назвать невозможно.

К нам поступают звонки по поводу рассматриваемого в данный момент в Высоком суде дела о картине, которая, как утверждают, была похищена во время Первой мировой...»

— Как сделать погромче? — наклонившись вперед, спрашивает Пол. «Черт! И откуда они только все это берут?!»

— Ты хотел попробовать «Пакмана». Есть такая компьютерная игра.

— Что?

— Папа, который час?

— погоди, Джейк. Мне надо послушать новости.

«...Халстон, которая утверждает, что ее покойный супруг вполне законно купил картину. Данное противоречивое дело свидетельствует о возникновении юридических трудностей в связи с резким увеличением за последние десять лет числа реституционных претензий. Иск Лефевров привлек внимание мировой общественности...»

— Господи Иисусе! Бедная мисс Лив, — качает головой Грег.

— Что?

— Не хотел бы я сейчас оказаться на ее месте.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ну, вся эта шумиха в газетах, по радио... Просто мрак!

— Бизнес, и ничего, кроме бизнеса, — отвечает Пол, но Грег смотрит на него так, будто он посетитель, который просит отпустить выпивку в кредит. — Все очень сложно.

— Да неужели? А мне казалось, будто ты говорил, что здесь все черно-белое.

— Грег, отстань, ради бога! Если не хочешь, чтобы я начал учить тебя, как управлять баром.

Грег с Джейком многозначительно переглядываются. Что, как ни странно, действует Полу на нервы. Он оборачивается и говорит:

— Джейк, я позвоню, как только закончится судебное заседание. Договорились? Сходим в кино или еще куда-нибудь.

— Но мы ведь уже решили взять какой-нибудь фильм. Грег только что тебе об этом сказал.

— Высокий суд находится с правой стороны. Мне развернуться? — Грег показывает фарами поворот налево и сворачивает так резко, что Пола бросает вперед. Мимо них, неодобрительно сигналив, проносится такси. — Не уверен, что здесь можно останавливаться. Если мне выпишут штраф, платить придется тебе. Идет? Эй, похоже, это она!

— Кто? — наклоняется к окну Джейк.

Пол смотрит на толпу, собравшуюся возле здания Высокого суда. Все пространство перед лестницей запружено людьми, которых по сравнению с началом процесса стало существенно больше. Но, даже несмотря на легкий туман на улице, Пол замечает сегодня какие-то неувлимые изменения: слишком напряженную атмосферу, едва скрытую антипатию на лицах.

— О-хо-хо, — говорит Грег, и Пол прослеживает направление его взгляда.

Лив, опустив голову, словно в глубоком раздумье, и крепко зажав в руках сумочку, переходит через дорогу и направляется в сторону главного входа. Она поднимает глаза, видит демонстрацию перед зданием суда, и на лице ее появляется опасливое выражение. Кто-то выкрикивает ее имя: «Халстон! Халстон!» Демонстранты надвигаются на нее, а она ускоряет шаг, стараясь побыстрее пройти мимо, но люди снова и снова скандируют ее имя, по толпе пробегает угрожающий ропот.

Генри, заметив, что происходит, выскакивает из здания суда и спешит навстречу Лив. Та переходит на бег, Генри делает большой шаг вперед, но толпа волнуется, колышется и поглощает Лив, словно гигантский организм.

— Господи!

— Какого...

Пол бросает папки, выскакивает из машины и мчится в сторону здания суда. Вклинивается в толпу и под оглушающие крики пробивается к центру. Вокруг него людской водоворот, море поднятых рук с плакатами. На одном из них крупными буквами написано слово «кража». Пол, ослепленный вспышками камер, все же находит Лив, хватая ее за руку и слышит, как она кричит от страха. Толпа надвигается, почти сбивая его с ног. Пол находит глазами Генри, который уже рядом с Лив, протискивается к нему, материт какого-то мужчину, схватившего его за пальто. Но тут появляются полицейские в блестящих плащах и оттесняют демонстрантов. «Прекратить! НАЗАД! НАЗАД!» У Пола перехватывает дыхание, кто-то со всей силы врезает ему по почкам — и вот наконец они с Генри беспрепятственно поднимаются по лестнице, ведя Лив под руки, словно марионетку. Под треск раций крепкие полисмены проводят их через охрану, и они оказываются в относительной тишине по ту сторону дверей. Толпа негодует, выкрикивает лозунги протеста, громкие голоса эхом разносятся по пустому вестибюлю.

Лив белая как полотно. Она молча стоит, вся взъерошенная, держась рукой за поцарапанную щеку.

— Господи! И куда вы только смотрели! — сердито одергивая пиджак, кричит на полицейских Генри. — Где ваша служба безопасности? Вы обязаны были это предвидеть!

Полицейский рассеянно кивает, одновременно отдавая приказы в переносную рацию.

— Это безобразие!

— Ты в порядке? — спрашивает Пол, отпуская руку Лив.

Она машинально кивает и, словно только сейчас осознав, кто рядом с ней, пятится от него. У нее дрожат руки.

— Благодарю вас, мистер Маккаферти, — поправляя воротничок рубашки, произносит Генри. — Благодарю, что вмешались. Это было... — начинает он и замолкает.

— Можно принести Лив чего-нибудь попить? И ее срочно нужно усадить.

— Боже мой! — тихо говорит Лив, глядя на свой рукав. — В меня кто-то плюнул.

— Ничего. Надо поскорей снять пальто. Просто снять, — бормочет Пол, помогая ей раздеться.

Она вдруг кажется ему совсем маленькой и беззащитной. Ее плечи согнулись, не выдержав груза обрушившейся на нее ненависти.

Генри забирает у него пальто Лив.

— Не стоит беспокоиться. Я попрошу кого-нибудь из своих сотрудников почистить его. А обратно мы проведем вас через запасной выход.

— Да, мадам, — кивает полицейский. — Мы выведем вас через заднюю дверь.

— Словно преступницу, — глухо говорит она.

— Я больше не допущу, чтобы с тобой так обращались. — Пол делает шаг навстречу Лив. — Мне правда очень... очень жаль.

Она смотрит на него сузившимися глазами и неловко пятится.

— С какой стати мне тебе доверять?

Но прежде чем Пол успеваает ответить, Генри берет Лив под руку и уводит по коридору в зал заседаний, где ее уже ждет команда юристов. В своем черном пиджаке она кажется совсем маленькой и, вероятно, даже не подозревает, что ее конский хвост выбился из-под резинки.

Пол, расправив плечи, переходит через дорогу. Грег, с бумагами и кожаным портфелем брата в руках, уже ждет его возле машины. С неба моросит мелкий дождь.

— Ты в порядке? — интересуется Грег и, получив в ответ утвердительный кивок, спрашивает: — А она?

— Угу... — Пол оборачивается на здание суда, задумчиво ерошит волосы. — Типа того. Послушай, мне пора идти. Увидимся позже.

Грег смотрит на брата, потом — на толпу возле здания суда, которая, похоже, снова стала ручной. Люди спокойно прохаживаются туда-сюда и оживленно болтают, будто тех десяти минут страха и не было вовсе.

— Итак, — бросает он, садясь обратно в машину. — Ну и как теперь работает твой принцип быть всегда на страже добра? — И, даже не обернувшись на Пола, жмет на педаль газа.

Пол видит за задним стеклом бледное лицо сына, который безучастно смотрит на него, пока машина не исчезает из виду.

Пока он поднимается по лестнице в зал заседаний, рядом возникает Джейн. Волосы у нее аккуратно заколоты, на губах ярко-красная помада.

— Надо же, как трогательно, — говорит она.

Но он делает вид, что не слышит.

Шон Флаерти бросает папки с бумагами на скамью и готовится пройти через металлодетектор.

— Это уж явный перебор. Никогда такого не видел.

— Да уж. Похоже, вся взрывоопасная хрень, которую мы сливали через средства массовой информации, именно сейчас и сработала. — Потирая подбородок, Пол смотрит в упор на Джейн.

— Что ты этим хочешь сказать?

— А я хочу сказать, что тому, кто делает заявления для прессы или накручивает группы заинтересованных лиц, абсолютно до фонаря, как далеко все может зайти.

— И с каких это пор ты у нас такой трепетный? — пристально вглядываясь в лицо Пола, спрашивает Джейн.

— Джейн, протесты у здания суда — твоя работа?

— Не говори глупостей, — замешкавшись на долю секунды, отвечает она.

— Боже мой!

Взгляд Шона мечется между ними, словно Шон только сейчас начинает понимать, что между партнерами явные нелады. Он тут же просит его извинить, бормочет что-то насчет барристера, которого нужно срочно проинструктировать, и оставляет Пола наедине с Джейн в пустом коридоре.

— Не нравится мне все это. Совсем не нравится, — оглянувшись на зал заседаний, произносит Пол.

— Бизнес, и ничего больше. Раньше тебя все устраивало. — Она смотрит на часы и выглядывает в окно. Стрэнд отсюда не видно, но, как кричат манифестанты, слышно прекрасно. Угрожающе сложив руки на груди, Джейн переходит в наступление: — В любом случае нечего изображать из себя невинность.

— Ты о чем?

— А ты не хочешь просветить меня, что происходит? Между тобой и миссис Халстон.

— Ничего не происходит.

— Ты явно недооцениваешь мои умственные способности.

— Ладно. В любом случае это тебя не касается.

— Если у тебя с ответчиком неофициальные отношения, то очень даже касается.

— У меня нет с ней никаких отношений.

— Пол, не вешай мне лапшу на уши, — продолжает наступать Джейн. — Ты за моей спиной пытался устроить ей соглашение с Лефеврами.

— Ну да, я как раз собирался тебе рассказать...

— Мне все и так ясно. Ты хотел повернуть для нее сделку до вынесения судебного решения!

— Хорошо. — Пол снимает пиджак и тяжело опускается на скамью. — Хорошо, — кивает он и, поймав выжидательный взгляд Джейн, продолжает: — Да, у меня были с ней непродолжительные отношения еще до того, как я узнал, кто она такая. И все закончилось, когда мы оказались по разную сторону баррикад. Вот такие дела.

Джейн стоит, задумчиво глядя в сводчатый потолок.

— А ты планируешь продолжать с ней встречаться, — нарочито небрежно спрашивает она, — когда все закончится?

— Это мое личное дело.

— Черта с два! Я должна знать, что, работая на меня, ты выкладываешься на все сто. И не провалишь дело.

Голос Пола взрывает тишину коридора.

— Мы ведь уже выигрываем! Так ведь? Чего еще тебе от меня надо?!

В зал уже прошли последние юристы. Из-за тяжелой дубовой двери появляется лицо Шона, который, выразительно жестикулируя, призывает их поторопиться.

Сделав глубокий вдох, Пол переходит на примирительный тон:

— Послушай, давай оставим личные дела в стороне. Но я действительно считаю, что будет справедливо как-то урегулировать данный вопрос. Мы все-таки...

— Об этом не может быть и речи, — сунув под мышку папку с документами, произносит Джейн.

— Но...

— Да и с какой стати? Мы вот-вот выиграем самое крупное дело из всех, что нам доводилось вести.

— Мы разрушаем чью-то жизнь.

— Она сама разрушила собственную жизнь в тот самый день, когда решила с нами судиться.

— Но ведь мы хотим забрать то, что она по праву считает своим. И она, естественно, решила бороться. Брось, Джейн, мы говорим о восстановлении справедливости.

— Какая там справедливость! Ее нет и быть не может. Не смей людей! — Она громко сморкается, затем смотрит на Пола горящими от ярости глазами: — Слушания должны продлиться еще два дня. И если ничего непредвиденного не произойдет, Софи Лефевр вернется туда, где ей и надлежит быть.

— А ты уверена, что точно знаешь, где именно?

— Абсолютно. Так же как, надеюсь, и ты. А теперь нам лучше пройти в зал, пока Лефевры не начали удивляться, куда это мы подевались.

Пол входит в зал заседаний, не обращая внимания на недовольные взгляды судебного пристава. Садится и, чувствуя, что голова прямо раскалывается, делает несколько глубоких вдохов, чтобы привести мысли в порядок. Джейн демонстративно не обращает на него внимания. Она поглощена разговором с Шоном. Уняв сердцебиение, Пол вспоминает умудренного жизнью отставного детектива, с которым любил беседовать, когда еще только-только переехал в Лондон. «Единственное, что имеет значение, Маккаферти, — это правда, — говаривал детектив за кружкой пива, пока был еще достаточно трезв, чтобы речь его оставалась членораздельной. — А без этого ты просто жонглируешь чужими фантазиями».

Пол достает блокнот, пишет несколько слов, отрывает листок и аккуратно складывает пополам. Оглядывается по сторонам, осторожно хлопает по плечу сидящего впереди мужчину.

— Будьте добры, передайте вон тому адвокату, — говорит он и смотрит, как листок передают из рук в руки в передний ряд младшему адвокату, затем — Генри, который, бросив на листок беглый взгляд, вручает его Лив.

Она устало разворачивает его и внезапно замирает, когда до нее доходит смысл написанного:

Я ВСЕ ИСПРАВЛЮ.

Лив поворачивается и ищет его глазами, а обнаружив, упрямо выставляет вперед подбородок: «Почему я должна тебе верить?»

Время останавливает свой ход. Она отворачивается.

— Передай Джейн, что мне надо идти. Срочная встреча, — говорит Пол Шону, встает и начинает протискиваться к выходу.

Впоследствии Пол так и не смог понять, что привело его именно сюда. Квартира в доме на Мэрилбоун-роуд оклеена оранжево-розовыми обоями, кажущимися персиковыми благодаря серебристым завитушкам. Розовые занавески. Темно-розовые диваны. Стены сплошь заставлены полками, на которых крохотные фарфоровые животные соседствуют с елочной мишурой и рождественскими открытками, добрая половина которых тоже розовые. А перед ним стоит Марианна Эндрюс, в слаксах и длинном кардигане. Ядовитого лимонно-желтого цвета.

— Вы из команды мистера Флаерти. — Она слегка горбится, будто дверной проем слишком мал для нее. Про таких женщин мать Пола говорила, что они «ширококостные», и у нее действительно отовсюду, совсем как у верблюда, выпирают кости.

— Прошу простить меня за вторжение. Но мне надо с вами поговорить. О судебном деле.

У нее такой вид, будто она готова дать ему от ворот поворот, но затем она снисходительно машет рукой:

— Ну ладно, так и быть, входите. Но хочу вас предупредить, я на вас жутко зла за то, что вы

все так плохо отзывались о моей маме, будто она преступница какая. И газетчики ничуть не лучше. Последние дни мне постоянно звонят друзья из дома. Они все читали об этой истории и теперь намекают, будто мама сделала что-то ужасное. Я только что разговаривала со своей школьной подругой Мирой, так мне пришлось ей сказать, что за шесть месяцев мама принесла больше пользы, чем ее проклятый муж, уже тридцать лет просиживающий свою толстую задницу в «Бэнк оф Америка».

— Не сомневаюсь.

— Еще бы ты сомневался, дружок! — Она кивает ему, чтобы шел следом, и, шаркая ногами, проходит в комнату. — Мама была очень социально активной. Писала о правах рабочих, о тяжелом положении беспризорных детей. Об ужасах войны. Она скорее пригласила бы Геринга на свидание, чем взяла бы что-то чужое. Что ж, думаю, вы не откажетесь чего-нибудь выпить?

Пол согласился на диетическую колу и опустил на один из низких диванов. С улицы доносился, растворяясь в духоте комнаты, характерный для часа пик шум транспорта. Огромный кот, которого Пол по ошибке принял за подушку, выгнув спину, прыгнул ему на колени и стал сладострастно чесать спину о его бедро.

Марианна Эндрюс садится на место, закуривает сигарету. Театрально вздыхает.

— Это бруклинский акцент?

— Я из Нью-Джерси.

— Хмм... — Она спрашивает его старый адрес и удовлетворенно кивает, мол, знаю-знаю. — И давно вы здесь?

— Семь лет.

— А я шесть. Переехала сюда с лучшим из моих мужей. Дональдом. Он умер в июле, — сообщает она, а затем уже более приветливо спрашивает: — Но не будем о грустном. Так чем могу быть вам полезна? Вряд ли мне есть что добавить к сказанному в суде.

— Да я и сам не знаю. Похоже, просто пытаюсь понять, нет ли чего-то такого, что мы могли упустить.

— Нет. Я уже говорила мистеру Флаерти, что без понятия, откуда взялась картина. Честно говоря, самым любимым воспоминанием мамы из ее лихого репортерского прошлого было то, как однажды в самолете ее заперли в туалете с Джоном Фицджеральдом Кеннеди. Да мы с папой особенно и не спрашивали. Уж можете мне поверить, если ты слышал хоть одну репортерскую байку, считай, что слышал их все.

Пол с интересом изучает квартиру, а когда поворачивается к Марианне Эндрюс, обнаруживает, что та смотрит на него немигающим взглядом. Выпустив в затхлый воздух очередное кольцо сигаретного дыма, она неожиданно спрашивает:

— Мистер Маккаферти, а ваши клиенты не потребуют у меня компенсации, если суд докажет, что картина краденая?

— Нет. Им нужна только картина.

— Еще бы не нужна! — качает головой Марианна Эндрюс, с трудом закидывая ногу на ногу. — Мне кажется, что от этого дела воняет. Мне не нравится, что имя мамы втаптывают в грязь. Или имя мистера Халстона. Ему очень нравилась мамина картина.

— Быть может, мистер Халстон просто хорошо знал ее реальную стоимость? — не сводя глаз с кота, спрашивает Пол.

— При всем моем уважении, мистер Маккаферти, вас там не было. И если вы намекаете, что я должна чувствовать, будто меня обвели вокруг пальца, не на ту попали.

— Вас что, действительно не волнует ее цена?

— Подозреваю, что мы с вами по-разному понимаем слово «цена», — качает головой Марианна Эндрюс, а ее кот неприязненно смотрит на Пола жадными и немного злыми глазами.

Марианна Эндрюс тем временем гасит сигарету и продолжает: — И мне просто больно смотреть на бедную Оливию Халстон.

— Да уж. Мне тоже, — после секундной паузы неожиданно тихо говорит Пол и, заметив удивленно поднятые брови хозяйки, вздыхает: — Дело такое... сложное.

— Сложное-то оно сложное. Что, однако, не помешало вам разорить бедную девочку.

— Я просто выполняю свою работу, мисс Эндрюс.

— Угу. Полагаю, маме тоже пару раз приходилось слышать эту фразу, — добродушно говорит она, и Пол чувствует, что краснеет.

Она внимательно смотрит на него, затем, напугав кота, издает громкое «ба!» и говорит:

— Бог ты мой, а не выпить ли нам чего-нибудь покрепче? Мне сейчас точно не помешает, да и время уже подходящее. — Она встает с дивана и подходит к буфету. — Бурбон?

— Не откажусь.

И вот, со стаканом бурбона в руке, наслаждаясь родным акцентом, спотыкаясь и запинаясь, будто его слова могут нарушить тишину этого дома, он выкладывает ей все. Начинает с истории об украденной сумочке и заканчивает слишком резким «прощай» перед залом заседаний. Неожиданно для себя Пол вспоминает даже мельчайшие детали. Свою нечаянную радость от их знакомства, чувство вины, постоянное недовольство, которое уже стало его второй натурой. Пол и сам не знает, с чего вдруг открывает душу этой женщине. Не знает, с чего вдруг именно от нее ждет понимания.

Но Марианна Эндрюс внимательно слушает, и ее лицо с крупными чертами время от времени страдальчески морщится.

— Ну и кашу же вы заварили, мистер Маккаферти!

— Да, что есть, то есть.

Она прикуривает очередную сигарету, шугает кота, который жалобно воеет, выпрашивая еду на кухне.

— Голубчик, даже и не знаю, что сказать. Или ты разобьешь ей сердце, отняв у нее картину, или она разобьет сердце тебе, лишив тебя работы.

— Или мы обо всем забудем.

— И тогда оба останетесь с разбитым сердцем.

Ее слова попадают в самую точку. В комнате становится тихо. Слышен только рев машин за окном.

Пол потягивает бурбон и напряженно думает.

— Мисс Эндрюс, а ваша мать сохранила свои блокноты? Репортерские блокноты?

— Я действительно привезла их из Барселоны, — поднимает глаза Марианна Эндрюс. — Но боюсь, что большую часть уже выкинула. Их подчистую съели термиты. Одну из высушенных голов тоже. Издержки моего непродолжительного замужества во Флориде. Хотя... — Она встает, помогая себе сохранить равновесие руками. — Ты навел меня на мысль. В чулане в коридоре до сих пор хранятся ее личные журналы.

— Личные журналы?

— Дневники. Что-то в этом роде. Мне ужасно хотелось, чтобы кто-нибудь написал ее биографию. У нее ведь была такая яркая жизнь! Может, кто-то из моих внуков. Я почти уверена, что там еще есть коробка с вырезками и дневники. Сейчас найду ключ и пойдем посмотрим.

Пол идет за Марианной Эндрюс в общий коридор. Тяжело дыша, она спускается вниз на два пролета, где лестница уже не покрыта ковром, а на стенах сплошняком висят велосипеды.

— Квартирки здесь маленькие, — пока Пол открывает пожарный выход, объясняет Марианна Эндрюс. — Поэтому некоторые жильцы арендуют свободные чуланы зрителя

здания. Они у нас на вес золота. В прошлом году мистер Чуа из соседней квартиры предлагал мне четыреста фунтов за то, чтобы я уступила ему чулан. Четыреста фунтов! Я обещала подумать, если он утроит сумму.

Они подходят к высокой синей двери. Марианна Эндрюс, что-то бормоча себе под нос, перебирает ключи на связке, пока не находит нужный.

— Здесь, — говорит она, нажимая на выключатель.

В тусклом свете единственной лампочки возникает большой темный чулан. Вдоль стены тянутся металлические стеллажи, пол заставлен картонными коробками, стопками книг, среди которых торчит старомодная лампа. Пахнет старыми газетами и пчелиным воском.

— Давно пора навести здесь порядок, — морща нос, вздыхает Марианна Эндрюс, — но как-то все руки не доходят.

— Помочь вам достать что-нибудь сверху?

— Знаешь что, дружок? — зябко ежится Марианна. — Не возражаешь, если я тебя оставлю? Копайся себе на здоровье. У меня от этой пыли астма разыгралась. Здесь нет ничего ценного. Потом запрешь дверь и кликнешь меня, если найдешь что интересное. Ой, и если увидишь такую зеленовато-голубую сумочку с золотой застежкой, прихвати ее наверх. А то я ее уже обыскала.

Пол целый час сидит в захлавленном чулане, складывая заинтересовавшие его коробки вдоль стены плохо освещенного коридора. Попадаются пожелтевшие газеты за 1941 год с оборванными углами. Крошечная комнатка без окон будто Тардис — машина времени. По мере того как чулан пустеет, все его богатства — чемоданы, набитые старыми картами, глобус, шляпные картонки, траченные молью шубы, высушенная голова, скалящаяся на Пола четырьмя огромными зубами, — все больше загромождают коридор. Пол все складывает вдоль стены, прикрывая от пыли голову гобеленовой наволочкой от диванной подушки. Лицо и руки все в пыли. Журналы с моделями юбок «Новый взгляд» от Кристиана Диора, фотографии с коронации, катушки магнитофонных пленок. Пол все вытаскивает наружу и кладет на пол. Он уже насквозь пропылился, а глаза как песком засыпаны. Находит кипу блокнотов, на обложке, слава те господи, стоят даты: 1968, ноябрь 1969, 1971. Он читает о бедственном положении бастующих пожарных в Нью-Джерси, о судебных процессах, связанных с именем президента. На полях кое-где имеются небрежно накорябанные пометки: «Дин! Танцы в пятницу в 19:00» или «Сказать Майку, что звонил Фрэнки». Но ничего относящегося к военному времени или картине.

Пол методично перебирает содержимое каждой коробки, перелистывает каждую книгу, просматривает каждую папку с бумагами. Он перетряхивает каждую картонку, а потом аккуратно кладет все на место. Древний стереофонический проигрыватель, две коробки старых книг, шляпная картонка с сувенирами. Вот уже одиннадцать часов дня, двенадцать, половина первого. Пол смотрит на часы, понимая, что дело абсолютно безнадежное. Ловить здесь нечего.

Он тяжело вздыхает, вытирает пыльные руки о штаны, горя желанием поскорее покинуть душное замкнутое пространство. И неожиданно для себя понимает, что тоскует по безупречной белизне дома Лив с его воздушностью и строгостью линий.

Ну вот и все. Он опустошил весь чулан. Но где бы ни таилась правда, она явно лежала не здесь, в захлавленном чулане, к северу от шоссе А-40. И неожиданно в самом низу Пол замечает разохшийся, раздвоившийся, как тонкий кусок вяленого мяса, ремень от старого кожаного ранца.

Тогда он шарит рукой под стеллажом и вытаскивает ранец на свет божий.

Он дважды чихает, трет глаза и наконец поднимает клапан. Внутри четыре тетради формата А-4 в твердом переплете. Пол открывает первую и сразу же видит надпись, сделанную

каллиграфическим почерком. И сразу обращает внимание на дату: 1944 год. Пол судорожно роется в тетрадях, в ажиотаже бросая их одна за другой на пол, — и вот пожалуйста, предпоследняя тетрадь датирована 1945 годом.

Пол на заплетающихся ногах выходит в коридор и дрожащими руками перелистывает тетрадь в свете неоновой лампы.

30 апреля 1945 г.

Сегодня все сложилось для меня совершенно неожиданно. Четыре дня назад подполковник Дейнс сказал, что я могу поехать с ними в концлагерь Дахау...

Потом Пол читает еще несколько строчек и громко, от души матерится. Он стоит неподвижно, с каждой секундой все лучше понимая значение своей находки. Перелистывает страницы и снова матерится.

Его мозг лихорадочно работает. Конечно, можно засунуть все обратно в дальний угол чулана, вернуться прямо сейчас к Марианне Эндрюс и сказать, что поиски не увенчались успехом. А затем можно легко выиграть дело, получив приличный бонус. Можно отдать Софи Лефевр законным владельцам.

Или...

Перед его глазами возникает Лив — страдающая от несправедливости общественного мнения, терпящая поношения от совершенно незнакомых ей людей, стоящая на краю финансовой пропасти. Он видит, как она идет, понурившись, в зал заседаний, ее конский хвост выбился из-под резинки.

Он видит ее счастливую улыбку после их первого поцелуя.

«Если ты это сделаешь, обратной дороги не будет».

Пол Маккаферти бросает тетрадь и ранец рядом со своим пиджаком и начинает затаскивать коробки обратно в чулан.

Она появляется на пороге, когда он, весь потный и грязный, заканчивает с последними коробками. В руках у нее, точь-в-точь как у продвинутых девиц 20-х годов прошлого века, длинный мундштук с сигаретой.

— Боже мой, а я уж начала беспокоиться, куда это ты подевался.

— Смотрите-ка, что я нашел, — распрямляет спину Пол, протягивая ей зеленовато-голубую сумочку с золотой застежкой.

— Надо же! Ой, вот молодец! — Она хлопает в ладоши, берет сумочку и любовно разглаживает ее. — А я уж, грешным делом, решила, что где-то потеряла ее. Я такая растеряха. Спасибо. Спасибо большое. Бог знает, как ты сумел отыскать ее в таком бардаке.

— Я еще кое-что нашел, — говорит Пол и, поймав ее рассеянный взгляд, спрашивает: — Не возражаете, если я на время это у вас одолжу? — И он показывает ей ранец с тетрадями.

— Неужели все-таки нашел? И что там сказано?

— Там сказано... — собирается с духом Пол, — что ваша мать действительно получила картину в подарок.

— А что я вам всем говорила! Я же говорила, что моя мать не была воровкой! Всю дорогу твердила! — восклицает Марианна Эндрюс и, не дождавшись ответа от Пола, медленно произносит: — Значит, вы отдадите их миссис Халстон.

— Не уверен, что это самое правильное решение. При наличии дневников мы с треском проиграем дело.

— Как прикажешь тебя понимать?! — хмурится Марианна Эндрюс. — Ты что, не отдашь ей

дневники?

— Да, вы все правильно поняли, — говорит Пол и лезет в карман за авторучкой. — Но если я оставлю их здесь, не вижу препятствий, чтобы вы сами отдали ей дневники. — Он что-то пишет на бумажке и протягивает ее мисс Эндрюс: — Вот номер ее сотового.

Они с минуту молча смотрят друг на друга. Марианна Эндрюс вся сияет, словно только что произвела переоценку ценностей.

— Я сделаю это, мистер Маккаферти.

— Мисс Эндрюс?

— Я тебя умоляю, зови меня просто Марианна!

— Марианна, думаю, лучше держать язык за зубами. Не уверен, что в некоторых кругах нас правильно поймут.

— Вас здесь не было, молодой человек, — энергично кивает она и на секунду задумывается. — А вы уверены, что не хотите, чтобы я рассказала миссис Халстон? Что именно вы...

Пол мотает головой и засовывает ручку обратно в карман:

— Пусть все идет, как идет. Мне достаточно того, что она выиграла. — Он наклоняется и целует ее в щеку: — Самая важная тетрадь за апрель сорок пятого. Дневник с загнутым уголком.

— Апрель сорок пятого.

От понимания чудовищности того, что он сделал, Полу становится нехорошо. КРВ, Лефевры теперь проиграют дело. Должны проиграть, судя по тому, что он прочел. «Интересно, предательство ради благой цели считается таковым или нет?» Ему срочно нужно выпить. Ему срочно нужно глотнуть свежего воздуха. Словом, что-то срочно нужно сделать. «А не сошел ли я с ума?» Но пред глазами вновь стоит лицо Лив, на котором написано облегчение. Ему хочется снова увидеть ее слегка растерянную, широкую, застенчивую улыбку.

Пол надевает пиджак, протягивает Марианне связку ключей. Но та неожиданно трогает его за плечо.

— Знаешь, я скажу тебе, каково это — пять раз побывать замужем. Вернее, пять раз побывать замужем и остаться друзьями с ныне здравствующими бывшими мужьями, — говорит она и, загибая узловатые пальцы, уточняет: — Выходит, с тремя. Такое не проходит зря. Ты узнаешь все про любовь, — важно кивает она, и Пол расплывется в ухмылке. Но, похоже, она еще не закончила. Ее рука, лежащая у него на плече, оказывается на удивление сильной. — Но самое главное, мистер Маккаферти, чему я научилась, так это пониманию того, что жизнь состоит не из одних только побед.

Генри встречает ее у заднего входа в здание суда. Он говорит с набитым ртом сквозь облако крошек от шоколадного круассана. Лицо его, как всегда, румяно, а речь нечленораздельна.

— Она не хочет это отдавать никому другому.

— Что? Кто не хочет?

— Она. Она у главного входа. Пошли! *Пошли!*

И, не дав ей опомниться, Генри тащит ее за руку через лабиринт коридоров, заставляет преодолеть несколько пролетов каменной лестницы и приводит в центральный вестибюль за постом охраны. Марианна Эндрюс, в фиолетовом пальто, с широкой клетчатой повязкой на голове, уже ждет у ограждения. При виде Лив она издает громкий вздох облегчения.

— Господи, с вами просто невозможно связаться! — выговаривает она Лив, протягивая ей пахнущий плесенью старый ранец. — Я вам звоню, звоню, и все без толку.

— Простите, — удивленно моргает Лив. — Я больше не подхожу к телефону.

— Все тут, — показывает Марианна на дневник. — Все, что вам нужно. Апрель сорок пятого.

Лив изумленно смотрит на потрепанную тетрадь у нее в руках. И не может поверить своим глазам.

— Все, что мне нужно?

— Картина, — сердито отвечает Марианна. — Я тебя умоляю, девочка! Ну не рецепт же гумбо с креветками!

И завертелось. Генри бежит к судье с просьбой сделать перерыв в заседании. С дневников снимаются копии, нужные места подчеркиваются, их содержание предоставляется адвокатам Лефевра для ознакомления, согласно норме о предоставлении информации. Лив с Генри сидят в уголке кабинета, изучая отмеченные закладками места в тетрадях, а Марианна трещит без остановки, она, дескать, всегда знала, что ее мама не воровка, и этот чертов мистер Дженкс может теперь сварить свою голову и съесть ее на завтрак.

Помощник адвоката приносит кофе с сэндвичами. Но у Лив от волнения кусок не лезет в горло. Сэндвичи так и остаются лежать нетронутыми в картонной упаковке. Лив смотрит на дневник, до сих пор не в силах поверить, что в этой тетради с обтрепанными страницами, возможно, таится ответ на все ее вопросы.

— Ну, что скажете? — спрашивает она, когда Генри и Анжела Сильвер заканчивают разговор.

— Скажу, что это, возможно, хорошая новость, — отвечает Генри, но его широкая улыбка говорит о том, что он явно преуменьшает значение произошедшего.

— Ну, похоже, все совершенно ясно, — вступает в разговор Анжела Сильвер. — Если мы сможем доказать, что в последних двух эпизодах передачи картины из рук в руки не было ничего противоправного, а также с учетом того, что доказательства по первому эпизоду крайне неубедительны, тогда мы, если можно так выразиться, снова в игре.

— Спасибо вам большое, — улыбается Лив, не в силах поверить своему счастью. — Спасибо, мисс Эндрюс.

— Ой, а уж я-то как рада! — машет Марианна рукой с сигаретой. Никто не решился ей сказать, что здесь не курят. Женщина наклоняется вперед и кладет костлявую руку Лив на колено: — *А еще он нашел мою любимую сумочку.*

— Простите?

Марианна сразу перестает улыбаться и делает вид, что поправляет браслет.

— Ай, да ничего особенного. Не обращай на меня внимания, — слегка краснеет она под пристальным взглядом девушки и быстро меняет тему: — Ты будешь есть сэндвичи?

Раздается телефонный звонок.

— Ну ладно, — положив трубку, говорит Генри. — Все нормально? Мисс Эндрюс, вы готовы зачитать суду отрывки из дневников?

— У меня как раз с собой мои лучшие очки для чтения.

— Прекрасно, — делает глубокий вдох Генри. — Все, нам пора.

30 апреля 1945 г.

Сегодня все сложилось для меня совершенно неожиданно. Четыре дня назад подполковник Дейнс сказал, что я могу поехать с ними в концлагерь Дахау. Дейнс неплохой парень. Сперва он показался мне слегка заносчивым, но после того, как я высадилась в «Омаха-бич» с «Кричащими орлами» и стало понятно, что я не какая-то там скучающая домохозяйка, которая будет приставать к нему с кулинарными рецептами, он немножко оттаял. Сто первая воздушно-десантная дивизия сделала меня почетным товарищем, и теперь, когда у меня есть такая же нарукавная повязка, я стала одной из них. Итак, решено, я поеду с ними в лагерь, напишу материал о тех, кто там сидит, может, возьму парочку интервью у узников об условиях заключения и подошью к делу. На радио тоже ждут короткого обзора, так что надо запастись магнитофонной пленкой.

Итак, в 6:00 я уже была в полной боевой готовности, даже с нарукавной повязкой, и чертыхнулась, когда он вошел без стука.

— Что так, подполковник? — игриво спросила я, продолжив причесываться. — А я и не знала, что вы на меня запали.

Это стало между нами расхожей шуткой. Он, в свою очередь, любил говорить, что у него есть пара походных ботинок, которые, пожалуй, постарше меня будут.

— Планы изменились, дорогуша, — сказал он, закуривая, чего обычно не делал. — Не могу тебя взять.

Я так и застыла с расческой в волосах.

— Ты что, меня разыгрываешь? — В «Нью-Йорк реджистер» уже освободили для меня две полосы, и никакой рекламы.

— Луанна... мы даже не предполагали, что обнаружим такое. И у меня приказ до завтрашнего дня никого туда не пускать.

— Ой, да брось!

— Я не шучу, — сказал он и, понизив голос, добавил: — Ты прекрасно знаешь, что я собирался взять тебя с собой. Но ты даже представить себе не можешь, что мы вчера увидели... Мы с парнями всю ночь заснуть не могли. Там повсюду были старые женщины и дети, и они бродили, как... Я хочу сказать, совсем малыши... — Он покачал головой и отвернулся. Дейнс — парень не из слабонервных, но, клянусь, он готов был расплакаться точно ребенок. — А еще снаружи там стоял поезд, а в нем трупы... тысячи трупов... Человек такого сделать не может. Точно не может.

Если он хотел меня отговорить, то добился совершенно обратного.

— Подполковник, ты просто обязан меня туда отвезти.

— Сожалею. Но приказ есть приказ. Послушай, Луанна. Подожди один день. А там чем смогу, помогу. Ты будешь единственным репортером, которого туда пустили. Обещаю.

— Ну конечно. И ты будешь по-прежнему меня любить. Да ладно тебе...

— Луанна, сегодня на территорию лагеря пускают только военных и представителей Красного Креста. Мне понадобится помощь всех моих парней.

— Помощь в чем?

— В том, чтобы взять под стражу тамошних нацистов. А еще надо помочь узникам. Помешать нашим парням прикончить ээсовских сволочей. Когда Маслович увидел, что они сотворили с поляками, он будто сума сошел, кричал, плакал, совсем с катушек слетел. Пришлось приставить к нему сержанта. Так что мне понадобятся железные парни. И... — судорожно сглотнул он, — надо еще решить, что делать с трупами.

— С трупами?

— Да, с трупами, — покачал он головой. — Там их тысячи. Они сложены, как дрова для костра. Костра! Ты не поверишь... — Он перевел дух. — Так или иначе, дорогуша, я все равно собирался попросить тебя об одном одолжении.

— Ты собирался попросить меня об одолжении?

— Хочу сделать тебя ответственной за склад, — сказал он, а когда я удивленно вытаращилась на него, продолжил: — На окраине Берхтесгадена есть склад. Мы его открыли прошлой ночью, он под завязку набит произведениями искусства. Один из их главных нацистов, Геринг, собрал столько трофейных ценностей, что будьте любезны. По мнению высокого начальства, добра там на несколько сотен миллионов долларов, и все краденое.

— А я-то здесь при чем?

— Мне надо, чтобы кто-то, кому я могу доверять, присмотрел бы за складом. Всего на один день. В твоём распоряжении будет пожарный расчет и двое морпехов. В городе черт знает что творится, полный хаос, а я должен быть уверен, что туда никто не войдет и оттуда никто не выйдет. Уж больно там много ценного, дорогуша. Я не слишком хорошо разбираюсь в искусстве, но там что-то вроде — ну, не знаю — «Моны Лизы» или типа того.

Знаете, каков вкус разочарования? Словно металлическая стружка в холодном кофе. Именно это я и чувствовала, когда старина Дейнс вез меня к складу. А я ведь тогда еще и не знала, что Маргарет Хиггинс все же попала в лагерь вместе с бригадным генералом Линденом.

Это не было складом как таковым, скорее огромным серым строением вроде общественного здания, например школы или муниципалитета. Дейнс представил меня двум морпехам, которые отдали мне честь, а потом провел в кабинет рядом с главным входом, где я должна была сидеть. По правде говоря, я не могла сказать подполковнику «нет», но согласилась с большой неохотой. Ведь мне было совершенно ясно, что все самое интересное будет происходить совсем в другом месте. Наши парни, обычно веселые и полные жизни, теперь стояли кучками и нервно курили. Старшие по званию тихо переговаривались, выражение лиц у всех было серьезное, даже мрачное. Мне хотелось знать правду, пусть даже самую ужасную, о том, что они там нашли. Нет, я должна была быть вместе с ними, чтобы потом обо всем написать. И вообще, чем дальше, тем легче будет командованию мне отказать. Каждый прошедший впустую для меня день увеличивал шансы моих конкурентов.

— Итак, Крабовски обеспечит тебя всем необходимым, а Роджерсон свяжется со мной, если возникнут непредвиденные трудности. Ты в порядке?

— Конечно. — Я положила ноги на письменный стол и театрально вздохнула.

— Тогда замetano. Сегодня ты мне удружишь, а завтра я помогу тебе. Доставлю

тебя в лагерь.

— Спорим, ты говоришь это всем девушкам, — ответила я, но он впервые за время нашего знакомства даже не попытался улыбнуться.

Я просидела битых два часа, глядя в окно. День был погожий, солнечные лучи отражались от мощных тротуаров, но почему-то возникало такое ощущение, что температура ниже, чем кажется. По главной улице ездил туда-сюда военный транспорт, набитый солдатами. Мимо провели колонну немецких солдат, которые шли, положив руки за голову. Возле домов жались друг к другу растерянные немки с детьми, явно ожидающие решения своей участи. (Уже позже я узнала, что их мобилизовали хоронить мертвецов.) И за городом, где наверняка творились какие-то ужасы, непрерывно завывали сирены санитарных машин. Ужасы, очевидцем которых мне не довелось стать.

Не знаю, чего это Дейнс так волновался: никто в сторону склада даже и не смотрел. Я попробовала писать, но только зря перевела бумагу, потом выпила две чашки кофе, выкурила полпачки сигарет, а настроение становилось только паршивее. Все понятно: он это специально подстроил, чтобы держать меня в стороне от реальных событий.

— Пошли, Крабовски, — устав сидеть на одном месте, сказала я. — Покажешь мне объект.

— Мэм, я не знаю, имеем ли мы право... — начал он.

— Крабовски, ты слышал, что сказал подполковник. Сегодня дама за главную. И она приказывает тебе показать помещение.

У него был такой взгляд, точь-в-точь как у моего пса, когда тот боится получить ногой по... ну, вы понимаете, по какому месту. Однако Крабовски перебросился парой фраз с Роджерсоном, и мы пошли.

Сперва я вроде не увидела ничего особенного. Просто сплошные ряды деревянных полок, прикрытых сверху серыми одеялами военного образца. Но затем я подошла поближе и сняла с одной из подставок картину в широкой золоченой раме: лошадь на фоне абстрактного пейзажа. Но даже в полутьме видно было, как сверкали и переливались краски. Я перевернула картину и посмотрела, что написано на обороте. Это был Жорж Брак. Налюбовавшись, я осторожно поставила холст на место и двинулась дальше. Потом я начала вытаскивать произведения искусства наугад: средневековые иконы, картины импрессионистов, огромные полотна эпохи Возрождения, изящные рамы, иногда в специальных ящиках. Я провела пальцем по полотну кисти Пикассо, сама удивившись своей смелости: это же надо, прикоснуться к картине, которую я знала только по репродукциям в журналах!

— Боже мой, Крабовски! Ты видел?

— Хмм... Да, мэм, — посмотрел он на картину.

— А ты знаешь, кто это? Пикассо, — сказала я, но он отреагировал как-то вяло. Тогда я повторила: — Пикассо! Известный художник?

— Мэм, я не особо разбираюсь в искусстве.

— И ты, небось, считаешь, что твоя младшая сестренка нарисовала бы не хуже?

— Да, мэм, — облегченно улыбнулся он.

Поставив полотно на место, я вынула следующее.

Портрет маленькой девочки, с аккуратно сложенными на коленях руками. На обороте я прочитала: «Кира, 1922».

— И что, здесь все помещения такие?

— На втором этаже есть два помещения, где уже не картины, а статуи, модели и прочее. Но в основном да. Тринадцать помещений с картинами, мэм. Это самое маленькое.

— Боже ты мой! — Я оглядела пыльные полки, аккуратными рядами уходившие вдаль, и снова посмотрела на портрет, что держала в руках. Маленькая девочка ответила меня печальным взглядом. И только тогда до меня действительно дошло, что каждая из этих картин кому-то принадлежала. Висела на чей-то стене, кто-то ею любовался. За каждой из них стоял реальный человек: кто-то копил деньги на картину, кто-то писал ее, кто-то надеялся оставить шедевр своим детям. Потом мне на память пришли слова Дейнса о том, как сложены были мертвые тела там, в нескольких милях отсюда. Я вспомнила его осунувшееся, скорбное лицо и содрогнулась.

Аккуратно поставив портрет девочки на подставку, я накрыла его одеялом.

— Пошли отсюда, Крабовски. Сделай-ка мне лучше чашку хорошего кофе, — махнула я рукой.

Утро незаметно перешло в полдень, и дело шло к вечеру. Температура медленно, но верно повышалась, воздух был неподвижным. Я написала для «Реджистер» статью о складе, взяла у Роджерсона и Крабовски интервью для женского журнала относительно настроения молодых солдат и их надежд вернуться домой. Затем вышла на улицу, чтобы чуть-чуть размять ноги и выкурить сигарету. Я влезла на капот армейского джипа и устроилась поудобнее, чувствуя сквозь хлопковые брюки тепло металла. На дорогах воцарилось временное затишье. Не слышно было ни голосов людей, ни пения птиц. Даже сирены, похоже, перестали завывать. А потом я подняла глаза и, сощурившись от яркого солнца, увидела, что в мою сторону ковыляет какая-то женщина.

Двигалась она с трудом, припадая на одну ногу, хотя лет ей было не больше шестидесяти. Заметив меня, она остановилась, озираясь по сторонам. Она внимательно посмотрела на мою нарукавную повязку, которую я, узнав, что поездка в лагерь отменяется, от расстройства забыла снять.

— Англичанка?

— Нет, американка.

Она кивнула. Мой ответ ее, очевидно, устроил.

— Здесь хранятся картины? Да?

Я ничего не ответила. Она не была похожа на шпионку, но я не знала, насколько засекречена информация о складе. Смутное время, и вообще.

Тогда она протянула мне какой-то пакет, который держала под мышкой:

— Пожалуйста, возьмите это.

Я слегка попятилась.

Пристально посмотрев на меня, она сняла обертку. У нее в руках была картина, портрет женщины, насколько я разглядела.

— Пожалуйста, возьмите это. Положите туда.

— Леди, почему вы просите положить туда вашу картину?

Она опасливо оглянулась, словно ей было неловко стоять рядом со мной.

— Пожалуйста, возьмите. Не хочу держать ее в своем доме.

Я взяла у нее картину. Портрет девушки примерно моего возраста, с длинными рыжеватыми волосами. Не красавица, но было в ней, черт возьми, нечто такое, что притягивало взгляд.

— Картина ваша?

— Принадлежала мужу.

У женщины было пухлое, добродушное лицо, такие обычно бывают у заботливых бабушек, но когда она бросила взгляд на картину, рот ее, точно от обиды, сжался в тонкую полоску.

— Но картина очень красивая. Почему вы отдаете такую чудесную вещь?

— Я никогда не хотела, чтобы она висела в моем доме. Муж заставил. Тридцать лет я вынуждена была смотреть на лицо другой женщины. Постоянно. Стряпая, занимаясь уборкой, сидя рядом с мужем.

— Ведь это всего-навсего картина. Нельзя же ревновать к картине.

Но она не слушала меня.

— Она смеялась надо мной почти тридцать лет. Когда-то мы с мужем были счастливы, но она развела ему душу. Ее проклятое лицо преследовало меня буквально каждый божий день. И так все тридцать лет нашей семейной жизни. Теперь он умер, и я не обязана держать ее портрет в своем доме. Пусть возвращается туда, откуда пришла, — смахнула она слезы с глаз, а потом, будто плюнув, добавила: — Если не хотите взять, сожгите портрет.

И я взяла картину. А что еще мне оставалось делать?

Ну вот, я опять оказалась за письменным столом у себя в комнате. Дейнс, белый как полотно, сидел рядом и клятвенно уверял, что завтра непременно возьмет меня с собой.

— Дорогуша, а ты уверена, что хочешь увидеть весь этот ужас? — спросил он. — Зрелище не для слабонервных и явно не для барышень.

— С чего это вдруг ты начал называть меня барышней? — пошутила я, но ему явно было не до шуток.

Он тяжело опустился на край койки и закрыл лицо руками. И я неожиданно заметила, что у него трясутся плечи. Широкие плечи уже немолодого человека. Я стояла в полной растерянности, не зная, что делать. Потом достала из сумки сигарету прикурила и протянула ему. Он поблагодарил меня взмахом руки, утер слезы, но поднять голову не решился.

Тогда я слегка занервничала, что для меня, уж поверьте, совершенно нехарактерно. — И... спасибо, что помогла. Парни сказали, что все прошло отлично.

Не знаю, почему я не рассказала ему о картине. Наверное, мне следовало ему доложить, хотя, с другой стороны, картина ведь была не со склада. А той старой немке было глубоко наплевать, что станет с портретом девушки, лишь бы та больше не смотрела на нее со стены.

И знаете что? В глубине души мне понравилась идея иметь картину такой невероятной силы, что она смогла разрушить некогда прочный брак. Да и девушка вроде очень даже хорошенькая. От нее невозможно отвести глаз. А если учесть, что здесь творится сущий кошмар, неплохо иметь под рукой вещь, на которую приятно посмотреть.

Когда Марианна Эндрюс закрывает дневник, в зале заседаний воцаряется мертвая тишина. Лив находится в таком напряжении, что еще немножко — и она упадет в обморок. Девушка бросает осторожный взгляд в сторону и видит Пола, который сидит, напряженно вытянув шею и уперев локти в колени. Рядом с ним Джейн Дикинсон что-то яростно строчит в блокноте.

«Сумочка».

Слово берет Анжела Сильвер:

— Итак, мисс Эндрюс, давайте уточним. Получается, что в тот момент, когда вашей матери добровольно отдали картину, известную вам под названием «Девушка, которую ты покинул», данное произведение не находилось, причем никогда не находилось, на складе произведений искусства.

— Нет, не находилось, мэм.

— Тогда хотелось бы повторить еще раз. Да, на складе действительно хранилось огромное количество трофейных — награбленных — произведений искусства. Однако именно эту картину отдали в руки вашей матери вне стен одного склада.

— Да, мэм. Картину отдала немецкая дама. Так сказано в дневнике.

— Ваша честь, этот дневник, написанный рукой Луанны Бейкер, неопровержимо доказывает, что картина никогда не хранилась на сборном пункте. Портрет собственноручно отдала женщина, ненавидевшая его всю свою жизнь. *Отдала.* По какой причине — то ли из ревности на сексуальной почве, то ли из чувства давней обиды, — нам не дано знать. Но самое главное здесь то, что искомая картина, которая, как вы ясно слышали, могла быть просто уничтожена, была *подарена*. Ваша честь, за последние две недели стало совершенно ясно, что провенанс находящегося перед вами произведения искусства не полный, впрочем, как и у большинства картин, переживших бурные периоды истории двадцатого столетия и сохранившихся до нашего времени. Однако на настоящий момент можно твердо доказать, что две последние сделки по передаче картины были абсолютно чистыми. Дэвид Халстон был добросовестным покупателем. Он совершенно законно приобрел ее для своей жены в тысяча девятьсот девяносто седьмом году, и у нее есть расписка, подтверждающая сей факт. Луанна Бейкер, предыдущая владелица картины, получила ее в дар в тысяча девятьсот сорок пятом, и мы имеем ее письменное свидетельство, свидетельство женщины, известной своей честностью и скрупулезностью. На основании всего сказанного выше мы утверждаем, что картина «Девушка, которую ты покинул» должна остаться у ее нынешней владелицы Оливии Халстон. В противном случае это будет насмешкой над правосудием.

Анжела Сильвер садится. Пол смотрит на Лив, и в тот короткий момент, когда их взгляды встречаются, девушка видит улыбку в его глазах.

Судебное заседание прерывается на обед. Марианна, с висящей на локте голубой сумочкой, курит у заднего входа и смотрит на серую улицу.

— Все прошло грандиозно. Не так ли? — увидев Лив, заговорщицки улыбается она.

— Вы выступали блестяще.

— Боже мой, должна признаться, я сама получила большое удовольствие. Теперь пусть заткнут себе в глотку все, что говорили о моей маме. Уж я-то знаю, она в жизни не взяла чужого. — Марианна кивает, стряхивает пепел. — Они называли ее Бесстрашной мисс Бейкер.

Лив молча облокачивается на перила и зябко поднимает воротник пальто. Марианна докуривает сигарету жадными короткими затяжками.

— Это ведь он. Правда?

— Ой, милочка, я обещала, что буду держать язык за зубами, — строит забавную гримасу Марианна. — Утром я таки была готова себя убить. Ну конечно он. Бедняга по тебе с ума сходит.

Слово берет Кристофер Дженкс:

— Мисс Эндрюс, простой вопрос. А ваша мать поинтересовалась, как зовут эту потрясающе щедрую старую даму?

— Не имею представления, — растерянно моргает Марианна Эндрюс.

Лив тем временем не может отвести взгляд от Пола. «Неужели ты сделал это ради меня?»

— молча спрашивает она его. Но он почему-то упорно прячет глаза. Он сидит рядом с Джейн Дикинсон, причем постоянно смотрит то на часы, то на дверь, и чувствуется, что он явно не в своей тарелке. И Лив пока даже не представляет, что будет ему говорить.

— Не кажется ли вам, что немного странно принимать подобные подарки от совершенно незнакомого человека?

— Ну да, подарок странный, но ведь и время тоже было странное. Вот вас бы туда сейчас!

По залу пробегает тихий смешок. Марианна Эндрюс слегка пританцовывает на месте. В ней явно пропал сценический талант, думает Лив.

— И в самом деле. Вы прочли все дневники вашей матери?

— Господи боже мой, да конечно же нет, — говорит Марианна Эндрюс. — Там ведь собраны материалы за тридцать лет. Мы — я — только вчера вечером их нашли, — смотрит она в сторону передней скамьи. — Но нашли самый важный отрывок. Там, где говорится, как маме отдали картину. В той тетради, что я и принесла сюда.

Она делает акцент на слове «отдали», кивая и искоса поглядывая на Лив.

— Значит, вы не читали дневник Луанны Бейкер за тысяча девятьсот сорок восьмой год?

В воздухе повисает длинная пауза. Лив видит, что Генри начинает рыться в записях.

Дженкс протягивает руку, и солиситор отдает ему лист бумаги.

— Милорд, могу я попросить вас открыть дневник на записи от одиннадцатого мая тысяча девятьсот сорок восьмого года, озаглавленной «Переезд»?

— Что происходит? — Лив снова сосредоточивается на слушании дела. Она наклоняется к Генри, который лихорадочно просматривает лежащие перед ним страницы.

— Я ищу, — шепчет он.

— В этом отрывке из дневника Луанна Бейкер описывает переезд из Ньюарка, округ Эссекс, в Сэддл-Ривер, Нью-Джерси.

— Все верно, — говорит Марианна. — Сэддл-Ривер. Я там выросла.

— Так вот... Вы видите, что она детально описывает проблемы переезда. Жалуется на то, что не может найти кастрюли и как трудно жить среди не распакованных коробок. Думаю, мы все через это прошли. Но когда она ходит по новому дому, ее больше всего волнует... — Дженкс делает эффектную паузу, чтобы показать, что читает дословно, — это необходимость «найти самое удачное место для картины Лизл».

Лизл.

Лив смотрит, как журналисты копаются в своих записях. И с ужасом начинает понимать, что знает имя.

— Твою мать! — говорит Генри.

Дженкс тоже знает имя. Люди Шона Флаерти далеко впереди. Похоже, они бросили целую команду на штудирование записей во время обеденного перерыва.

— А теперь, милорд, хочу обратить ваше внимание на официальные записи о дислокации частей немецкой армии во время Первой мировой войны. Коменданта оккупационных войск, стоявших в Сен-Перроне начиная с тысяча девятьсот шестнадцатого года, а именно человека, который со своими солдатами столовался в отеле «Красный петух», звали Фридрих Хенкен. — Дженкс снова делает паузу. — Согласно регистрационным записям, единственным комендантом, который ужинал в «Красном петухе» и так восхищался портретом жены Эдуарда Лефевра, был тот же самый Фридрих Хенкен. А теперь хочу предложить вниманию Высокого суда данные переписи населения за тысяча девятьсот сорок пятый год для города Берхтесгадена. Бывший комендант Фридрих Хенкен и его жена Лизл поселились там после его отставки. И жили всего через несколько улиц от сборного пункта. Также сохранились записи о том, что Лизл Хенкен страдала хромотой после перенесенного в детстве полиомиелита.

— Это снова умозрительные заключения, — вскакивает с места королевский адвокат ответчика.

— Итак, герр и фрау Фридрих Хенкен. Милорд, мы настаиваем на том, что комендант Фридрих Хенкен в тысяча девятьсот семнадцатом году забрал картину из отеля «Красный петух». Картину он перевез к себе домой, несомненно, против желания жены, которая, естественно, возражала против того, чтобы хранить в доме, так сказать, образ другой женщины. Картина оставалась у них вплоть до его смерти, после которой фрау Хенкен приняла твердое решение избавиться от портрета, для чего не поленилась пройти несколько улиц до места, где, насколько ей было известно, хранились трофейные произведения искусства и где ее картина могла бесследно раствориться среди других вещей, — произносит Дженкс и, когда Анжела Сильвер садится на место, с удвоенной энергией продолжает: — Мисс Эндрюс, давайте вернемся к воспоминаниям вашей матери того времени. Не могли бы вы нам зачитать следующий отрывок? Из дневниковых записей за тот же период времени. Где Луанна Бейкер, очевидно, находит подходящее место для картины, которую называет просто «Девушка».

Как только я поместила ее в гостиной, она стала смотреться еще лучше. Здесь нет прямых солнечных лучей, и из выходящего на юг окна падает теплый свет, заставляя краски сиять. И вид у нее тут вполне счастливый!

Марианна теперь читает гораздо медленнее, так как этот текст ей еще не знаком. Она смотрит на Лив виноватыми глазами, словно понимает, к чему все идет.

Я собственноручно забила гвоздь — Говард вечно отбивает молотком заодно и кусок штукатурки, — и когда уже собиралась повесить картину, шестое чувство заставило меня перевернуть ее и посмотреть на обратную сторону. Неожиданно я подумала о той старой женщине с таким печальным, злым лицом. Затем вспомнила одну вещь. Поначалу я не придавала ей особого значения, а после окончания войны, и вовсе обо всем забыла.

Так вот, когда Лизл вручала мне картину, она вдруг на секунду вырвала ее у меня, будто передумала. А потом стала скрести ногтями по задней стороне, будто хотела что-то стереть. Она терла и терла, словно безумная. Причем так сильно, что, похоже, ободрала костяшки пальцев.

Весь зал замер в напряжении.

Поэтому сейчас я решила снова посмотреть, что там на обороте. И в очередной раз усомнилась в том, была ли та несчастная женщина в здравом рассудке, когда отдавала мне картину. Так как, сколько ни смотри на оборот картины, кроме названия, там абсолютно ничего нет. Разве что пятно от размазанного мела.

И возникает вопрос: можно или нельзя брать хоть что-то у тех, кто не в своем уме? Однако ответа я до сих пор так и не нашла. По правде говоря, мир тогда был настолько безумным — это и страшные находки в концлагере, и рыдающие как дети взрослые мужчины, и девчонка, отвечающая за чужие вещи ценой в миллиард долларов, — что на таком фоне старая Лизл, трущая разодранными в кровь костяшками пальцев чистый оборот холста, казалась очень даже нормальной.

— Ваша честь, мы хотели бы предположить, что данное обстоятельство — а также то, что Лизл не назвала своей фамилии, — неопровержимо свидетельствует о попытке скрыть или даже

уничтожить все следы происхождения картины. Ну и ей это удалось. — Дженкс делает паузу, и кто-то из его адвокатов вручает ему листок бумаги. Он читает, переводит дыхание и бурлит глазами публику в зале. — Согласно немецким регистрационным записям, которые мы только что получили, Софи Лефевр заболела испанкой сразу после прибытия в лагерь под Штрехеном. И вскоре умерла.

Лив с трудом слышит его слова сквозь звон в ушах. Ее будто с размаху ударили, и теперь она в шоковом состоянии.

— Ваша честь, как мы уже слышали в ходе судебного заседания, по отношению к Софи была допущена ужасная несправедливость. И столь же ужасная несправедливость допущена по отношению к ее потомкам. Софи лишили всего: мужа, человеческого достоинства, свободы и даже жизни. Ее обокрали. Единственное, что осталось у семьи Софи, — ее портрет — забрал тот самый человек, который и допустил по отношению к ней ужасную несправедливость. И единственная возможность все исправить — пусть даже с большим опозданием, — отдать картину семье Лефевр.

Лив уже почти не слышит конца его речи. Пол сидит, обхватив голову руками. Она смотрит на Джейн Дикинсон и, встретившись с ней глазами, неожиданно понимает, что для некоторых участников процесса тяжба ведется уже не только за картину.

Когда они покидают зал заседаний, даже Генри выглядит подавленным. У Лив такое чувство, будто их всех переехал огромный грузовик.

Софи умерла в лагере. Больная и всеми покинутая. Так и не сумевшая снова увидеть мужа. Лив смотрит на улыбающихся Лефевров, и ей хочется быть великодушной по отношению к ним. Хочется до конца осознать, что ужасная несправедливость скоро будет исправлена. Но она, Лив, вспоминает слова Филиппа Бессетта, а также то, что в доме Бессеттов было запрещено даже произносить имя Софи. И Лив начинает казаться, что Софи уже во второй раз может попасть в руки врага. А еще ей начинает казаться, что она, Лив, снова потеряла близкого человека.

— Послушайте, еще неизвестно, что решит судья, — говорит Генри, проходя вместе с ней через пост охраны в задней части здания суда. — Постарайтесь не заикливаться на этом во время уик-энда. Мы сделали все, что могли.

— Спасибо, Генри, — вяло улыбается Лив. — Я вам позвоню.

Когда Лив выходит на улицу под лучи холодного зимнего солнца, у нее возникает ощущение, что она провела в заточении целую вечность. Как будто она попала сюда прямо из 1945 года. Генри вызывает ей такси и торопливо прощается. И в этот момент она видит у поста охраны его. Похоже, он ее там поджидал, а теперь направляется прямо к ней.

— Мне очень жаль, — говорит он, выражение лица у него мрачное.

— Пол, не надо...

— Я действительно думал... Прости за все.

Их глаза еще раз встречаются, и он идет прочь, не обращая внимания на выходящих из паба посетителей и на волочащих ручные тележки с делами помощников адвокатов. Лив видит его сгорбленную спину, понуро опущенную голову, и именно это — после всего того, что случилось в суде, — становится для нее решающим моментом.

— Пол! — На улице так шумно, что ей приходится кричать еще раз: — Пол!

Он оборачивается. Даже на таком расстоянии она видит точки его зрачков. Пол стоит неподвижно, высокий мужчина в хорошем костюме, слегка подавленный.

— Я знаю, — говорит Лив. — Я знаю. Спасибо... что попытался. — (Иногда жизнь — это цепь препятствий, когда надо просто осторожно идти вперед, а иногда — просто слепая

вера.) — Послушай, может, сходим как-нибудь выпить? — судорожно сглатывает она. — Хоть сейчас.

Он смотрит на носки ботинок, о чем-то думает и осторожно спрашивает:

— Дашь мне одну минуту?

Он снова поднимается по ступеням суда. Лив видит Джейн Дикинсон, которая увлеченно беседует с юристом их фирмы. Пол трогает ее за локоть, и они перебрасываются парой слов. Лив начинает беспокоиться — интересно, что он сейчас ей говорит? — резко поворачивается и садится в такси, стараясь заглушить сомнения. А когда снова смотрит в окно, то видит, что он сбегает со ступенек, на ходу заматывая шею шарфом. Джейн Дикинсон ошалело смотрит на такси, руки, сжимающие папки с делами, ходят ходуном.

Пол открывает дверь, залезает в салон.

— Я уволился, — облегченно вздыхает он и берет ее за руку. — Так куда едем?

Грег с невозмутимым видом открывает дверь.

— Привет, мисс Лив, — говорит он, словно только того и ждал, что она появится на пороге его дома. Пол помогает ей снять пальто, а Грег проходит в коридор, шикает на прибежавших поздороваться собак. — Я испортил ризотто, но Джейк говорит, что это не страшно, так как он все равно не любит грибы. Поэтому мы подумываем, не съесть ли нам пиццу.

— Пицца — это хорошо. Я угощаю, — отвечает Пол. — А то я тысячу лет никуда не выбирался.

Когда они шли, держась за руки, по Флит-стрит, то оба ошеломленно молчали.

«Из-за меня ты потерял работу, — наконец произнесла она. — И свой крупный бонус. И возможность купить квартиру побольше».

«Ты тут ни при чем. Я сам ушел», — ответил Пол.

— В кухне уже с половины пятого стоит открытая бутылочка красного, — поднимает бровь Грег. — Но это никак не связано с тем обстоятельством, что мне целый день приходится присматривать за племянником. Не правда ли, Джейк?

— Грег говорит, что в его доме около пяти всегда пьют вино, — доносится из соседней комнаты мальчишеский голос.

— Ябеда-корябеда, — отвечает Грег и поворачивается к Лив: — Ой нет. Пить я тебе не позволю. Только посмотри, что случилось, когда ты в прошлый раз надралась в нашей компании. Превратила моего чувствительного старшего брата в мрачного подростка-эксгибициониста с голой задницей.

— Должен тебе заметить, что ты не вполне понимаешь значение слова «эксгибиционист», — парирует Пол, провожая Лив на кухню. — Лив, тебе потребуется небольшая акклиматизация. Грег декорирует помещение по принципу «слишком много не бывает». Он не приемлет минимализма.

— На доме лежит отпечаток моей личности, и это не *tabula rasa*. ^[38]

— Здесь очень красиво, — говорит Лив, рассматривая яркие стены, увешанные красочными эстампами и маленькими фотографиями.

Лив чувствует себя удивительно легко и свободно в этом уютном коттедже с оглушительной музыкой, бесчисленным количеством сувениров на полках, с ребенком, что лежит на ковре перед телевизором.

— Привет, — говорит Пол, входя в гостиную, и мальчуган тут же, словно щенок, переворачивается на спину.

— Папа. — Джейк смотрит на Лив, и она, заметив, что мальчик явно обратил внимание на то, что они держатся за руки, с трудом преодолевает желание отодвинуться от Пола. — Вы что, та самая девушка, которая была утром?

— Надеюсь. Если, конечно, за это время не появилось другой.

— Не думаю, — ухмыляется Джейк. — Я уж было решил, они сделают из вас котлету.

— Да. Мне тоже так показалось.

— Когда папа с вами встречался, то он даже побрызгался одеколоном.

— Жидкостью после бритья, — наклоняется поцеловать сына Пол. — Ябеда-корябеда.

Значит, вот он какой, Пол в миниатюре, думает Лив, и то, что она видит, ей нравится.

— Это Лив. Лив, это Джейк.

— У меня не так много знакомых твоего возраста, — протягивает руку Лив. — Поэтому прошу заранее извинить, если буду говорить не слишком клево. Но мне очень приятно с тобой

познакомиться.

— Все нормально. Я уже привык.

Грег вручает ей бокал красного вина и переводит взгляд с нее на брата.

— И как прикажете это понимать? Неужели воюющие стороны заключили *entente cordiale*, так сказать, полюбовное соглашение? Вы двое что, теперь... тайные коллаборационисты?

Лив, пораженная несколько странной манерой Грега изъясняться, недоуменно смотрит на Пола.

— Мне плевать на потерю работы, — еще крепче сжимая руку Лив, спокойно произносит Пол. — И вообще, когда я не с тобой, то становлюсь противным и сварливым.

— Нет, — ухмыляется Лив. — Просто он только сейчас понял, что все время был не на той стороне.

Когда на Элвин-стрит появляется еще и Энди, бойфренд Грега, в крошечном домике их уже становится пятеро, но ощущения тесноты почему-то не возникает. Лив, которая сидит за круглым столом с башней из кусков пиццы, внезапно вспоминает о холодном Стеклянном доме на крыше старого склада и внезапно понимает, насколько он связан с судебным процессом, с ее в целом безрадостной жизнью, и ей не хочется возвращаться домой.

Ей не хочется смотреть в лицо Софи, так как она прекрасно знает, что должно произойти в самое ближайшее время. Она сидит в компании практически незнакомых людей, играет в разные игры, смеется их семейным шуткам и наконец понимает: возникшее в душе чувство постоянного удивления объясняется тем, что она вопреки всему впервые за долгие годы по-настоящему счастлива.

А еще рядом с ней Пол. Пол, который сейчас выглядит немного сломленным событиями нынешнего дня, будто это не она, Лив, а именно он все потерял. И каждый раз, как он к ней поворачивается, в ней что-то неуловимо меняется, словно ее душа потихоньку настраивается на возможность нового счастья.

«Все хорошо?» — спрашивает его взгляд.

«Да», — отвечает она одними глазами, что истинная правда.

— Итак, что нам принесет понедельник? — интересуется Грег, который в данный момент демонстрирует им образцы тканей для нового цветового оформления бара. Стол, за которым они сидят, усыпан крошками и заставлен бокалами с остатками вина. — Тебе что, придется отдать картину? Неужели все идет к тому, что ты проиграешь?

— Похоже, что да, — говорит Лив, бросив взгляд на Пола. — Я просто должна привыкнуть к мысли, что мне придется... с ней расстаться. — Неожиданно у Лив в горле встает комок, и она смущенно замолкает в надежде, что это сейчас пройдет.

— Извини, дорогая, — похлопывает ее по руке Грег. — Я вовсе не хотел тебя расстраивать.

— Все нормально, — пожимает она плечами. — Правда нормально. Она больше не моя. Я давным-давно должна была это понять. Похоже... похоже, я просто не хотела видеть то, что происходило у меня прямо под носом.

— По крайней мере, у тебя остался твой дом. Пол рассказывал мне, он потрясающий, — улыбается Грег и неожиданно ловит предостерегающий взгляд брата, которого его слова явно смутили. — Что за дела? Неужели она не должна знать, что ты с кем-то о ней говоришь? Мы что, пятиклассники?

— А, ты об этом, — отвечает Лив. — Ну, все немножко не так. С домом тоже придется расстаться.

— Что?

— Дом выставлен на продажу, — объясняет Лив и, увидев застывшее лицо Пола, добавляет:

— Я вынуждена продать его, чтобы оплатить судебные издержки.

— Но ведь у тебя останется еще достаточно денег, чтобы купить себе что-нибудь другое. Да?

— Пока не знаю.

— Но ведь этот дом...

— Заложен-перезаложен. И несомненно, нуждается в ремонте. После смерти Дэвида я там вообще ничего не меняла. Даже самое лучшее импортное стекло с теплоизоляционными свойствами, естественно, не может служить вечно, хотя Дэвид именно так и считал.

У Пола начинают ходить желваки на подбородке. Он резко отодвигает стул и встает из-за стола.

Лив недоуменно смотрит на Грега с Энди, потом — на дверь.

— Наверное, он в саду. Наш сад размером с носовой платок. Так что вы не потеряетесь, — морщит лоб Грег, а когда Лив встает, тихо говорит: — Приятно посмотреть, как ты лихо расправляешься с моим старшим братцем. Мне бы твои способности в четырнадцать лет!

Пола она находит в открытом внутреннем дворике, заставленном терракотовыми горшками с взъерошенными, ломкими от мороза растениями. Он стоит к ней спиной, засунув руки в карманы брюк. Вид у него совершенно раздавленный.

— Значит, ты лишилась дома. И все из-за меня.

— Но ты ведь сам говорил, что если не ты, то был бы кто-нибудь другой.

— И о чем я только думал?! О чем, твою мать, я думал?!

— Ты просто выполнял свою работу.

— Знаешь, — он задумчиво трет подбородок, — только не надо меня успокаивать.

— Я в порядке. Чистая правда.

— Какое там в порядке! Я бы на твоём месте был бы зол как черт... О господи! — В его голосе чувствуется неподдельное отчаяние.

Тогда Лив осторожно берет его за руку и тянет к садовому столику. Даже через одежду она чувствует холод металла. Тогда она пододвигает свой стул немного вперед, чтобы согреть ноги у него между коленей, и ждет, пока он не успокоится.

— Пол, — шепчет она, но лицо его остается неподвижным. — Пол, посмотри на меня! Ты должен понять только одно. Самое худшее, что могло со мной случиться, уже случилось. — Лив нервно сглатывает, зная, что слова будут даваться ей с трудом, застревать в горле. — Четыре года назад мы с Дэвидом легли спать. И все было как обычно. Почистили на ночь зубы, почитали свои книжки, обсудили, в какой ресторан завтра пойдем... А когда утром я проснулась, он лежал рядом уже холодный. И посиневший. Я даже не почувствовала, что он умирает. Даже не успела ему сказать... Можешь себе представить, каково это — осознавать, что проспала уход из жизни любимого человека? Осознавать, что могла бы ему помочь? Быть может, даже спасти. Проспала и не видела, что он смотрит на тебя, умоляя одними глазами... — Лив больше не в силах говорить, дыхание перехватывает, и уже, кажется, вот-вот нахлынет волна привычного ужаса. Тогда он нежно берет ее за руку и греет в своих ладонях до тех пор, пока она потихоньку не успокаивается. Немного справившись с волнением, Лив продолжает: — Мне казалось, что жизнь кончена. Казалось, что ничего хорошего больше уже не будет. Я постоянно чего-то боялась. Никого не хотела видеть. Но я выжила, Пол. К своему удивлению, сумела себя преодолеть. А жизнь... Ну, жизнь снова как-то наладилась. — Наклонившись к Полу поближе, Лив говорит: — Да... картина, мой дом... Я испытала настоящее потрясение, когда узнала, что случилось с Софи. Ведь это всего лишь вещи. Честно говоря, если хотят, пусть забирают. Единственное, что имеет значение, — это люди.

Пол прислоняется головой к ее виску. И они молча сидят в обледеневшем саду, вдыхают

морозный воздух и прислушиваются к доносящемуся из дома смеху его сынишки. Лив слышит звуки вечернего города: грохот кастрюль на кухнях соседних домов, бормотание телевизоров, хлопанье дверей машин, лай собаки на заднем дворе.

— Я все тебе компенсирую, — тихо говорит Пол.

— Ты это уже сделал.

— Нет. Я обязательно все компенсирую.

Лив неожиданно чувствует, что щеки у нее почему-то мокрые от слез. Она понятия не имеет, откуда они там взялись. Взгляд его голубых глаз вдруг становится сосредоточенным. Он берет ее лицо в свои руки и целует, целует каждую слезинку на щеках, его мягкие губы таят в себе обещание прекрасного будущего. Но вот они уже оба улыбаются, а Лив понимает, что не чувствует под собой ног.

— Мне пора домой. Завтра приходят покупатели, — вырывается она из его объятий.

На другом конце города стоит ее пустой Стекланный дом. Ей ужасно не хочется туда возвращаться, и она почти ждет, что он просто так ее не отпустит.

— Ты не хочешь... поехать ко мне? Джейка можно уложить в гостевой комнате. А я могу показать ему, как открывается и закрывается крыша. Заработаю пару очков в свою пользу.

— Не могу, — отводит глаза Пол и быстро добавляет: — Я бы с удовольствием. Но сейчас...

— А я увижу тебя в этот уик-энд?

— У меня живет Джейк, но... конечно. Мы что-нибудь придумаем.

Пол вдруг становится каким-то рассеянным. Лив видит тень сомнения на его лице. «Сможем ли мы простить друг другу тот факт, что так дорого заплатили за нашу любовь?» — думает она и внезапно чувствует, как по спине пробегает неприятный холодок, никак не связанный с погодными условиями.

— Я отвезу тебя домой, — говорит он.

Когда Лив наконец возвращается, дом встречает ее мертвой тишиной. Она запирает дверь, кладет на столик ключи и проходит на кухню. Ее шаги гулко разносятся по каменному полу. Ей трудно поверить, что она ушла отсюда только утром. С тех пор, кажется, прошла целая вечность.

Лив нажимает на кнопку автоответчика. Самодовольное сообщение от агента по недвижимости, который извещает ее, что покупатели пришлют завтра своего архитектора осмотреть дом. Агент надеется, что у нее все хорошо.

Журналист из малоизвестного художественного журнала хочет взять интервью о деле Лефевров.

Менеджер из банка. Явно не в курсе шумихи, поднятой средствами массовой информации. Убедительно просит позвонить при первой возможности, чтобы обсудить ситуацию с ее перерасходом. Это уже третья попытка связаться с ней, подчеркивает он.

Еще одно сообщение от отца, который целует ее много-много раз. *Кэролайн говорит, пошли их всех на хрен.*

Лив слышит глухие удары басовой музыки из квартиры снизу, хлопанье парадной двери и смех — словом, обычное звуковое сопровождение вечера пятницы. Ей будто хотят напомнить, что жизнь продолжается и она есть везде, кроме этой холодной лакуны.

А вечер тем временем идет своим чередом. Лив включает телевизор, но ничего интересного для себя не находит. Поэтому решает помыть голову. Готовит одежду на следующий день, ужинает крекерами с сыром. Но ей никак не удается унять возбуждения: у нее внутри все вибрирует и трясется, словно пустые вешалки в шкафу. Лив не может сидеть на одном месте и, несмотря на усталость, нервно меряет шагами дом. Она до сих пор ощущает вкус губ Пола, его слова стоят у нее в ушах. У нее даже возникает порыв ему позвонить; она достает телефон, но

пальцы замирают на кнопках. Да и вообще, что она ему может сказать? *Мне просто захотелось услышать твой голос?*

Проходит в гостевую спальню, пустую, девственно чистую, словно здесь никто никогда и не жил. Делает круг по комнате, легко касаясь спинок стульев и рядов ящиков. Тишина и пустота больше не успокаивают ее. Она представляет, как Мо лежит сейчас в обнимку с Раником в тесноте переполненного дома, примерно такого, какой она только что покинула.

В результате наливает кружку чая и идет к себе в спальню. Садится на кровать, подложив под спину подушки, и бросает взгляд на портрет Софи в золоченой раме.

«В глубине души мне понравилась идея иметь картину такой невероятной силы, что она смогла разрушить некогда прочный брак».

«Ну что ж, Софи, — думает Лив. — Ты разрушила нечто большее, чем их брак». Она смотрит на портрет и наконец разрешает себе вспомнить тот день, когда они с Дэвидом купили его. Они выставили картину на палящее южное солнце, краски заиграли в лучах белого света, и в них, словно в зеркале, отразилось прекрасное будущее, что ожидало их с Дэвидом. Лив помнит, как, вернувшись домой, они вешали картину в этой комнате; помнит, как смотрела на портрет и удивлялась, что общего нашел Дэвид между ней, Лив, и рыжеволосой девушкой, но столь лестное сравнение позволило ей почувствовать себя почти красавицей.

Ты выглядишь совсем как она, когда...

А еще она хорошо помнит тот день, через несколько недель после смерти мужа, когда с трудом оторвала голову от мокрой подушки и поймала на себе взгляд Софи. Все проходит, и это пройдет, казалось, говорило ее лицо. Сейчас ты, вероятно, всего не знаешь, но ты выживешь.

А вот Софи не смогла.

Лив снова чувствует комок в горле.

— Мне жаль, что тебе столько пришлось пережить, — говорит она в тишине спальни. — Как бы мне хотелось, чтобы все сложилось иначе.

Застигнутая врасплох приступом тоски, Лив встает, подходит к картине и переворачивает, чтобы не видеть больше лица Софи. Быть может, оно и к лучшему, что приходится покидать этот дом: голая стена будет служить ей вечным напоминанием о ее провале. И даже немного символично, что и Софи, оказывается, была фактически ликвидирована.

И тут Лив неожиданно останавливается.

За последние недели кавардак в кабинете с каждым днем только увеличивался. Все свободные поверхности завалены кипами бумаг. Теперь Лив, всецело захваченная новой идеей, быстро разгребает завалы, раскладывает документы по папкам и для надежности закрепляет аптечной резинкой. Хотя она и сама еще толком не знает, что будет делать со всем этим добром после окончания процесса. А вот и старая красная папка, что дал ей Филипп Бессетт. Лив перелистывает истлевшие страницы и наконец находит то, что искала. Два клочка бумаги.

Проверяет их и идет с ними на кухню. Зажигает свечу и по очереди держит бумажки над дрожащим пламенем до тех пор, пока от них остается только горстка пепла.

«Ну вот, Софи, — говорит Лив. — Раз уж я больше ничего не могу для тебя сделать, то прими от меня хоть такой подарок».

И начинает думать о Дэвиде.

— А я-то считал, что ты давным-давно уехал. Джейк заснул на середине «Самых смешных домашних видео Америки». — Зевая и шлепая босыми ногами, на кухню входит Грег. — Хочешь, поставлю раскладушку? Типа, поздновато тащить его домой.

— Было бы здорово, — говорит Пол, не отрываясь от своих досье. Ноутбук лежит у него на коленях.

— С чего вдруг ты решил в этом снова копаться? Ведь вердикт вынесут уже в понедельник. Так ведь? И вообще, хм, разве ты не бросил работу?

— Я кое-что упустил. Точно знаю. — Пол пробегает пальцем по странице, нетерпеливо перелистывая ее. — Мне нужно еще раз проверить все свидетельства.

— Пол! — Грег придвигает стул поближе к брату и уже громче повторяет: — Пол!

— Что?

— Хватит, братишка. Дело закончено. И все нормально. Она тебя простила. Ты сделал широкий жест. А теперь пора завязывать.

— Ты так думаешь? — закрыв глаза рукой, откидывается на спинку стула Пол.

— Если серьезно, то ты сейчас похож на маньяка.

Пол делает глоток кофе. Кофе совсем холодный.

— Это разрушит наши жизни.

— Не понял?

— Грег, Лив любила картину. И ее будет постоянно грызть изнутри, что... я в ответе за то, что она ее лишилась. Может, не сейчас. Может, даже не через год или два. Но это непременно произойдет.

— То же самое она может сказать и насчет твоей работы, — парирует Грег.

— Насчет работы я особо не переживаю. Мне давно пора было сваливать оттуда.

— А Лив говорит, что не переживает насчет картины.

— Ну да. Но ее загнали в угол. — И увидев, что брат разочарованно мотает головой, Пол снова склоняется над досье. — Грег, уж я-то точно знаю, как быстро все может измениться, и вещи, которые поначалу тебя особо не трогали, потом могут достать до печенки.

— Но...

— И я хорошо понимаю, как тяжело терять любимые вещи. Поэтому я не хочу, чтобы в один прекрасный день Лив, посмотрев на меня, стала усиленно гнать от себя мысль: «Вот тот парень, что разрушил мою жизнь».

Грег проходит через кухню и включает чайник. Заваривает три чашки кофе, одну отдает Полу. Потом, уже собираясь отнести две чашки в гостиную, кладет ему руку на плечо:

— Я знаю, ты любишь все доводить до конца, мой старший брат. Но хочешь, скажу откровенно? В этом деле, чтобы все получилось, тебе остается уповать лишь на Бога.

Однако Пол уже не слушает его.

— Список собственников, — бормочет он себе под нос. — Список нынешних собственников работ Лефевра.

Грег просыпается через восемь часов и обнаруживает маячащее перед ним лицо маленького мальчика.

— Я есть хочу, — заявляет малыш и яростно трет пуговку носа. — Ты говорил, у тебя есть «Коко попе», но я не нашел.

— Внизу в буфете, — сонно отвечает Грег, машинально отметив, что между занавесками не

пробивается свет.

— И у тебя нет молока.

— А который час?

— Четверть седьмого.

— Уф! — Грег зарывается под одеяло. — Даже собаки не встают в такую рань. Попроси своего папу.

— Его нет.

Грег медленно разлепляет глаза, смотрит на занавески.

— Что значит, его нет?

— Он уехал. Спальный мешок свернут. Не думаю, что он спал на диване. А мы можем купить круассаны в том месте, дальше по дороге? Шоколадные?

— Я уже встаю. Я уже встаю. Я встал. — Грег принимает сидячее положение и яростно чешет голову.

— А Пират написал на пол.

— О боже! Блестящее начало субботнего дня!

Пола действительно нет, но он оставил записку на кухонном столе. Она нацарапана на обороте свидетельских показаний и положена на кучку скомканных бумаг.

Пришлось срочно уехать. П-та, присмотри за Джейком. Я позвоню.

— Все в порядке? — увидев выражение лица Грега, спрашивает Джейк.

В кружке на столе ободок от черного кофе. Оставшиеся бумаги выглядят как после взрыва.

— Все замечательно, карапуз, — ероша волосы, отвечает Грег. Он складывает записку, убирает в карман и начинает приводить хотя бы в элементарный порядок досье и бумаги. — Вот что я тебе скажу: предлагаю испечь на завтрак блины. Как насчет того, чтобы натянуть прямо на пижамы пальто и сгонять в магазин на углу за яйцами?

И когда Джейк уходит из комнаты, Грег хватается за мобильник и посылает эсэмэску:

Если ты прямо в эту минуту трахаешься, ты мой должник по гроб жизни.

Прежде чем положить мобильник в карман, Грег с минуту смотрит на экран, но ответа не получает.

Суббота, слава богу, — очень насыщенный день. Лив сначала ждет покупателей, которые должны прийти и все оценить, затем — их строителей и архитекторов для оценки предстоящей работы, которой, естественно, непочатый край. Лив ходит вокруг чужих людей в своем доме, старается держать дистанцию, сохраняя баланс между любезностью и дружелюбием, как и подобает продавцу такого дома, и не показывать свои истинные чувства, то есть не переходить на крик: «УБИРАЙТЕСЬ ПРОЧЬ!», сопровождаемый детскими размахиваниями руками. Она пытается отвлечься, занимается уборкой и упаковкой вещей, находя утешение в выполнении мелкой работы по дому. Она уже выбросила два мешка старой одежды. Позвонила нескольким агентам по аренде квартир, но всякий раз, как она сообщала им сумму арендной платы, которую в состоянии платить, ответом ей было презрительное молчание.

— Скажите, а я вас раньше нигде не мог видеть? — спрашивает один из архитекторов, когда она кладет трубку на место.

— Нет, — поспешно отвечает она. — Не думаю.

Звонка от Пола так и нет.

Днем она отправилась к отцу.

— Кэролайн приготовила тебе к Рождеству ну очень красочный горшок, — сообщает он. — Тебе очень понравится.

— Прекрасно, — отвечает она.

На ланч они едят рыбу с мексиканским салатом. Кэролайн ест и одновременно что-то мурлычет себе под нос. Отец Лив поднялся до съемок в рекламе страхования автомобилей.

— Вероятно, я должен изображать цыпленка. Цыпленка, получившего бонус за безаварийную езду.

Лив пытается слушать болтовню отца, но все время думает о Поле. Мысленно прокручивая события вчерашнего дня. В глубине души она удивлена, что он не позвонил. «Боже мой, я превращаюсь в этакую настырную подружку. А мы ведь даже двадцати четырех часов официально не провели вместе». Надо же, «официально»! Просто смешно.

Лив не хочется возвращаться в Стекланный дом, и она задерживается у отца дольше обычного. А тот в полном восторге: слишком много пьет и достает ее черно-белые фотографии, которые нашел, разбирая ящики стола. Есть нечто непривычно земное в разглядывании фотографий, они словно напоминают ей, что она прожила целую жизнь до того: до начала судебного процесса, до появления Софи Лефевр и дома, который ей не по карману, а еще маячившего впереди ужасного последнего дня суда.

— Какое прелестное дитя!

Но, глядя на открытое, улыбающееся лицо на снимках, ей хочется плакать. Отец обнимает ее за плечи:

— Постарайся не слишком расстраиваться в понедельник. Понимаю, тебе пришлось несладко. Но, знаешь, мы тобой ужасно гордимся.

— С чего ради? — говорит она, сморкаясь. — Папа, я проиграла. Все считают, что не стоило и начинать.

Отец притягивает ее к себе. От него пахнет красным вином, а еще чем-то родным: тем, что когда-то было ее жизнью, но давным-давно прошло.

— Просто за то, что ты не сдавалась. Правда. Иногда, моя дорогая девочка, это и есть настоящий героизм.

Она звонит ему уже около половины пятого вечера. Ведь можно считать, что прошло почти двадцать четыре часа. И вообще, обычные правила ухаживания не распространяются на те случаи, когда кто-то ради тебя отказывается от доброй половины своей жизни. Она с замиранием сердца, в радостном предвкушении от удовольствия снова услышать его голос, набирает номер. И уже представляет, как вечером, в тесной квартирке Грега, они уютно устроятся на диване или на ковре, чтобы поиграть с Джейком в карты. Но после трех длинных гудков включается автоответчик. Лив быстро кладет трубку, чувствуя смутное беспокойство и ругая себя за ребячество.

Тогда она отправляется на пробежку, заваривает чай для Фрэн — «В последний раз ты положила только два куска сахара!» — садится возле телефона и в половине седьмого еще раз набирает его номер. И снова попадает на автоответчик. У нее нет номера его домашнего телефона. Может, стоит к нему съездить? А что, если он у Грега? Номера телефона Грега у нее тоже нет. После пятничных событий она была в таких растрепанных чувствах, что толком и не помнит, как они ехали к Грегу, и уж тем более не знает его точного адреса.

Это просто смешно, уговаривает она себя. Он обязательно позвонит.

Но он не позвонил.

В половине девятого, поняв, что не в состоянии провести остаток вечера в пустом доме, она встает, надевает пальто и берет ключи.

До бара Грега можно дойти совсем быстро, и еще быстрее, если у тебя на ногах кроссовки и ты почти бежишь. Она входит в бар, и ее накрывает волной невероятного шума. На крошечной сцене слева мужчина, переодетый в женщину, хрипло поет под музыку в стиле диско-бит; зрители выражают свой восторг громким свистом и криками. Все столики заняты, проходы забиты накачанными молодыми людьми в обтягивающей одежде.

Грега она обнаруживает только через несколько минут: с посудным полотенцем через плечо, он проворно двигается вдоль барной стойки. Она проталкивается вперед, ныряет кому-то под мышку и выкрикивает его имя.

Потом еще раз, так как он ее не слышит. Он поворачивается, и улыбка застывает на его губах. Выражение лица у него почему-то не слишком дружелюбное.

— Надо же, лучше поздно, чем никогда!

— Не поняла? — округляет она глаза.

— Почти девять вечера. Вы что, ребята, надо мной издеваетесь?

— Не понимаю, о чем ты.

— Я сидел с ним весь день. А у Энди была встреча сегодня вечером. Вместо этого ему пришлось все отменить и стать бекиситтером. И хочу сказать, что он от такого далеко не в восторге.

Лив с трудом слышит Грега сквозь грохот музыки. Он предупреждающе поднимает руку и наклоняется вперед, чтобы принять заказ.

— Словом, мы, конечно, его любим, — продолжает Грег. — Ужасно любим. Но относиться к нам как к убогим бекиситтерам — это уж...

— Я ищу Пола, — говорит она.

— А разве он не с тобой?

— Нет. И не отвечает на телефонные звонки.

— Знаю, что не отвечает на звонки. Но я решил, все потому, что он был... Нет, просто бред какой-то! Пройди ко мне за стойку. — Грег открывает дверцу, чтобы она могла проскользнуть, и жестом просит самых нетерпеливых немного подождать: — Две минуты, парни. Буквально две минуты.

В малюсеньком коридорчике, ведущем на кухню, от диско-бита трясутся стены, и Лив чувствует вибрации во всем теле.

— Тогда куда же он делся? — спрашивает она.

— Не знаю. — Вся злость Грега мгновенно испаряется. — Утром мы проснулись и нашли записку, что ему надо идти. Вот такие дела. Вчера вечером после твоего ухода он был какой-то странный. — Грег неловко переминается, будто и так сболтнул лишнего.

— Что?

— Не похож на себя. Слишком близко к сердцу принял всю эту фигню, — говорит Грег и прикусывает язык.

— Повтори!

Вид у Грега до крайности смущенный.

— Ну, он, типа, сказал, что считает, будто история с картиной может лишить вас обоих шанса остаться вместе.

— Так ты думаешь...

— Уверен, он не имел в виду...

Но Лив уже протискивается к выходу.

В воскресенье дел никаких нет, и день тянется бесконечно. Лив сидит в притихшем доме — телефон молчит, мысли путаются и крутятся в голове — и ждет конца света.

Она еще раз звонит ему на сотовый, но, когда срабатывает автоответчик, тут же дает отбой. У него психологическая ломка.

«Конечно нет».

У него было достаточно времени на то, чтобы понять, что он теряет, связавшись со мной.

«Ты должна ему доверять».

Как жаль, что рядом нет Мо.

Ночь осторожно подкрадывается, воздух сгущается, окутывая город пеленой тумана. Смотреть телевизор ей не хочется, она ложится, но спит плохо, урывками, и просыпается уже в четыре утра, чувствуя, как мысли сплетаются в один ядовитый узел. В половине шестого она сдается, наполняет ванну и лежит в ней, ожидая, когда небо начнет светлеть. Потом тщательно укладывает волосы феном, надевает серую блузку и юбку в тонкую полоску, что в свое время так нравилась Дэвиду. В таком виде она похожа на секретаршу, однажды заметил он, словно это был большой плюс. Наряд дополняют искусственный жемчуг и обручальное кольцо. Она аккуратно наносит макияж. Слава богу, что теперь есть средства, способные замаскировать круги под глазами и посеревшую кожу.

«Он обязательно придет, — уговаривает она себя. — И вообще, надо же хоть во что-то верить».

А город между тем потихоньку пробуждается. Стекланный дом окутан туманом, что еще больше усиливает ее чувство оторванности от остального мира. Внизу тянутся вереницы автомобилей, которые можно определить только по красным точкам габаритных огней. Машины двигаются медленно-медленно, совсем как кровь в закупоренных артериях. Она пьет кофе и съедает половинку тоста. По радио сообщают о пробках в Хаммерсмите и о заговоре с целью отравить украинского политика. Позавтракав, она наводит идеальный порядок на кухне. Затем достает из подвешного шкафчика старое одеяло и аккуратно закутывает в него «Девушку, которую ты покинул». Она закладывает и расправляет углы так, словно заворачивает подарок, стараясь держать картину обратной стороной к себе, чтобы не видеть лица Софи.

Фрэн нет в ее коробке. Она сидит на перевернутом ведре, глядя на реку, и развязывает шпагат, закрученный сотнями петель вокруг огромной связки пакетов из супермаркета.

Когда Лив подходит к ней с двумя чашками в руках, Фрэн поворачивается и сразу устремляет глаза к небу. А небо отвечает ей крупными каплями дождя, приглушающими все звуки и ограничивающими мир берегом реки.

— Что, бегать не будешь?

— Нет.

— На тебя не похоже.

— Теперь все на меня не похоже.

Лив протягивает ей кофе. Фрэн делает глоток, урча от удовольствия, смотрит на Лив:

— Не стой столбом. Присаживайся.

Лив не сразу понимает, чего от нее хотят, и только потом замечает ящик из-под молока. Придвигает его поближе, садится. Важно вышагивая по брусчатке, к ним направляется голубь. Фрэн сует руку в жеваный бумажный пакет и бросает ему корку. Здесь удивительно тихо и спокойно: Темза с мягким всплеском набегаем на берег, вдалеке слышен шум транспорта. Интересно, что написали бы газетчики, если бы увидели, с кем завтракает шикарная вдова известного архитектора? Из тумана появляется баржа и медленно проплывает мимо, ее огни

исчезают в серой рассветной дымке.

— Похоже, твоя подруга уехала.

— Откуда ты знаешь?

— Я давно здесь сижу, достаточно для того, чтобы быть в курсе. Ты умеешь слушать. Понимаешь? — стучит она пальцем по виску. — Сейчас никто никого не слышит. Все точно знают, что хотят услышать, но никто толком не слушает. — Она замолкает, словно пытаясь что-то вспомнить. — Я видела тебя в газете.

— Думаю, весь Лондон видел меня в газете, — подув на кофе, отвечает Лив.

— Газета здесь. В коробке, — машет Фрэн рукой в сторону подъезда, а потом тычет пальцем в сверток под мышкой у Лив: — Это она?

— Да, — отвечает Лив. — Это она.

Лив ждет, когда Фрэн выскажет свою точку зрения насчет преступления Лив, перечислит причины, по которым та не имела права оставлять картину себе, но Фрэн молчит. Она шмыгает носом и снова обращает взгляд на реку.

— Вот почему я и не люблю обзаводиться барахлом. Когда жила в ночлежке, у меня вечно все тырили. И неважно, где это лежало — в шкафчике или под кроватью, — они улучали момент, когда тебя нет, и просто брали. Кончилось тем, что я боялась отойти, чтобы не остаться без своего барахла. Ты только представь!

— Что представить?

— То, чего лишаешься. Хотя бы нескольких вещей. Лив смотрит в обветренное, морщинистое лицо Фрэн и внезапно с радостью понимает, что еще не все потеряно в этой жизни.

— Прямо помешательство какое-то, — говорит Фрэн. Лив идет вдоль реки, с ее свинцовыми водами, и чувствует, как глаза застилают слезы.

Генри уже ждет ее у задней двери. В этот последний день перед зданием Высокого суда полно телевизионщиков и протестующих. Генри предупреждал, что так и будет. Она выходит из такси, и, когда он видит, что у нее в руках, его улыбка превращается в гримасу.

— Неужели это то, что я... Зря вы так сделали! Если мы вдруг все же проиграем, то заставим их прислать бронированный фургон. Господи Иисусе, Лив! Вы не можете нести работу стоимостью в несколько миллионов фунтов, словно буханку хлеба.

Лив еще крепче сжимает картину.

— Пол здесь? — спрашивает она.

— Пол? — Он торопливо ведет ее к залу судебных заседаний, точно врач, который спешит отправить больного ребенка в больницу.

— Маккаферти.

— Маккаферти? Понятия не имею. — Он снова смотрит на сверток. — Твою мать! Лив, могли бы меня и предупредить.

Она идет вслед за ним через пост охраны, проходит в коридор. Генри подзывает охранника и показывает на картину. Тот, явно удивившись, кивает и что-то бормочет в переносную рацию. Дополнительные силы правопорядка, очевидно, уже на подходе. И, только оказавшись в зале суда, Генри слегка расслабляется. Он садится, облегченно вздыхает и обеими руками трет лицо. Затем поворачивается к Лив.

— Знаете, ведь дело еще не проиграно, — сочувственно улыбается он и смотрит на картину. — Едва ли это вотум доверия.

Лив молчит. Она оглядывает зал: народ все прибывает и прибывает. Сидящие на галерее для публики глядят на нее с холодным любопытством, словно она не ответчица, а подсудимая, и ей страшно встретиться с кем-то глазами. Марианна Эндрюс сегодня с головы до ног в оранжевом, с пластмассовыми серьгами в тон. Единственное дружелюбное лицо в море равнодушных лиц. Женщина ободряюще кивает Лив, поднимает вверх большой палец: мол, держись. Лив видит, как Джейн Дикинсон, о чем-то переговариваясь с Флаерти, усаживается на скамью в другом конце зала. Помещение наполняется звуками шаркающих ног, гулом голосов, скрипом стульев, стуком опускаемых на пол портфелей. Репортеры оживленно болтают, прихлебывая кофе из пластиковых стаканчиков. Они по-дружески обмениваются записями, кто-то протягивает кому-то лишнюю авторучку. Лив, чувствуя, что начинает паниковать, пытается взять себя в руки. На часах без двадцати десять. Она то и дело смотрит на дверь в надежде увидеть Пола. «Нельзя терять веры, — думает она. — Он обязательно придет».

Она говорит себе те же слова и тогда, когда до десяти часов остаются только две минуты. Примерно в десять появляется судья. Зал встает. Лив уже не в силах справиться с паникой. «Он не придет. Теперь он уж точно не придет. О боже, я не смогу это сделать, если его здесь не будет». Она пытается нормализовать дыхание и закрывает глаза, чтобы успокоиться.

Генри пролистывает документы.

— Все хорошо? — спрашивает он.

— Генри, — шепчет Лив онемевшими губами. — Я могу взять слово?

— Что?

— Могу я обратиться к суду? Это очень важно.

— Сейчас? Судья собирается вынести вердикт.

— Это действительно очень важно.

— А что вы собираетесь сказать?

— Просто попросите его. Пожалуйста.

Генри явно настроен крайне скептически, но решительное выражение лица Лив заставляет его согласиться. Он наклоняется к Анжеле Сильвер и что-то шепчет ей на ухо. Она, нахмурившись, оглядывается на Лив, встает и просит разрешения подойти к судейскому месту. Кристофер Дженкс получает приглашение присоединиться.

Лив с пылающим лицом следит за тем, как барристеры вполголоса совещаются с судьей. У нее даже ладони вспотели. Потом оборачивается на битком набитый зал суда. Атмосфера настолько враждебная, что это ощущается на физическом уровне. Чтобы снять напряжение, Лив еще сильнее сжимает картину. «Представь, что ты Софи, — твердит она себе. — Она сумела бы выдержать».

Наконец слово берет судья.

— По всей вероятности, миссис Оливия Халстон хотела бы обратиться к суду. — Он смотрит на нее поверх очков. — Начинайте, миссис Халстон.

Тогда она встает и, все так же судорожно сжимая картину, проходит вперед. Она явственно слышит каждый свой шаг по деревянному полу и как никогда остро чувствует на себе взгляды присутствующих. Генри, возможно беспокоясь за сохранность картины, остается стоять в нескольких футах от нее.

Сделав глубокий вдох, Лив начинает говорить:

— Я хотела бы сказать несколько слов о «Девушке, которую ты покинул». — Здесь она делает паузу и замечает удивление на лицах в зале, но тем не менее продолжает; голос ее, слегка дрожащий и словно чужой, звенит в мертвой тишине. — Софи Лефевр была смелой и благородной женщиной. Надеюсь, это стало совершенно очевидно после всего того, что мы слышали о ней во время процесса. — Она смутно видит Джейн Дикинсон, которая строчит что-то в блокноте, скучающие лица барристеров. Не выпуская из рук картины, Лив продолжает говорить: — Мой покойный муж, Дэвид Халстон, тоже был очень хорошим человеком. Действительно хорошим. Я уверена, что знай он тогда подлинную историю портрета Софи, своей любимой картины, то непременно давным-давно отдал бы ее. Мое участие в данном процессе привело к тому, что его славное имя как главного архитектора здания, которым он жил и о котором мечтал, было вымарано, о чем я крайне сожалею, поскольку это здание — Голдштейн-билдинг — должно было увековечить его память. — Лив видит, как оживились репортеры, снова открывшие свои блокноты. — Это дело, эта картина, уничтожило то, что должно было стать его наследием, точно так же, как было уничтожено наследие Софи. В каком-то смысле с ними обоими обошлись несправедливо. — Ее голос дрогнул. Она оглядывается по сторонам и продолжает: — Поэтому я прошу занести в протокол, что решение бороться было моим личным выбором. И я очень сожалею, что была не права. Это все. Спасибо за внимание.

Лив неловко отходит в сторону. Она видит, как лихорадочно записывают ее слова репортеры. Кто-то даже интересуется, как пишется фамилия Голдштейн. Стряпчие на скамье что-то взволнованно обсуждают.

— Хороший ход, — наклоняется к ней Генри. — Из вас вышел бы неплохой адвокат.

Я сделала это, мысленно говорит она себе. Теперь имя Дэвида будет всегда ассоциироваться с его зданием, хотят или не хотят того Голдштейны.

Судья просит тишины.

— Миссис Халстон, вы закончили предварять мой вердикт? — устало спрашивает он.

Лив кивает. В горле у нее пересохло. Джейн шепчется со своим юристом.

— А это и есть оспариваемая картина?

— Да, ваша честь. — Лив продолжает крепко держать картину, прикрываясь ею, словно щитом.

Судья поворачивается к секретарю суда:

— Позаботьтесь о том, чтобы картину поместили в хранилище. Не уверен, что здесь для нее самое подходящее место. Миссис Халстон?

Лив протягивает картину секретарю суда. Но пальцы цепляются за нее, не желая отпускать, будто ее внутреннее «я» не хочет подчиняться приказу. Когда она наконец разжимает руку, секретарь на секунду застывает, словно картина излучает радиацию.

«Прости меня, Софи», — мысленно говорит Лив и неожиданно замечает, что девушка на портрете смотрит на нее в упор.

Лив на дрожащих ногах, с одеялом под мышкой, проходит на свое место, не обращая внимания на волнение в зале. Судья поглощен разговором с барристерами. Кто-то уже направляется к выходу, наверное репортеры вечерних газет, на галерее для публики идет бурное обсуждение. Генри трогает ее за руку, бормоча, какая она молодчина.

Она садится и начинает нервно крутить на пальце обручальное кольцо, чувствуя себя совершенно опустошенной.

А потом, словно издали, слышит:

— Прошу меня извинить.

Фразу повторяют еще раз, чтобы перекрыть гул голосов в зале. Она прослеживает глазами взгляды публики и видит в дверях Пола Маккаферти.

В голубой рубашке, с двухдневной щетиной на щеках, но все с тем же непроницаемым взглядом, Пол распахивает дверь и вкатывает в зал суда инвалидное кресло. Он озирается по сторонам, ища глазами Лив, и ей вдруг на секунду кажется, что здесь, кроме них, никого больше нет. «Ты в порядке?» — спрашивает он одними губами, и она кивает, поняв, что наконец-то может нормально дышать.

Пол снова повышает голос, чтобы перекрыть шум:

— Прошу прощения, ваша честь!

Судейский молоток опускается на стол, и громкий звук пистолетным выстрелом разносится по залу. Джейн Дикинсон вскакивает с места и поворачивается посмотреть, что происходит. Пол везет по центральному проходу инвалидное кресло, в котором сидит очень старая женщина. Она совсем дряхлая и скрюченная, словно пастушеский посох. Морщинистые руки покоятся на маленькой дамской сумке.

Еще одна женщина, молодая, в темно-синем платье, торопливо семенит за Полем и что-то шепчет ему на ухо. Пол показывает на судью.

— Моя бабушка имеет крайне важную информацию, касающуюся данного дела, — говорит молодая женщина с сильным французским акцентом. Она идет по проходу, смущенно озираясь по сторонам.

Судья поднимает руки вверх.

— Почему бы и нет? — вполне отчетливо бормочет он. — Похоже, здесь у каждого есть что сказать. Может, попросим уборщицу сообщить нам свое мнение? Гулять так гулять, — вздыхает он и, заметив, что женщина ждет, раздраженно произносит: — Мадам, ради всего святого, подойдите к судейскому месту.

Они о чем-то переговариваются, потом судья подзывает обоих барристеров.

— Кто это? — спрашивает сидящий рядом с Лив Генри. — Что, скажите на милость, происходит?

Зал потихоньку успокаивается.

— В свете открывшихся обстоятельств мы должны выслушать эту женщину, — заявляет судья. Он берет в руки авторучку и перелистывает свои записи. — Интересно, есть ли хоть кто-нибудь в этом зале, кого интересует такая приземленная вещь, как вердикт?

Инвалидное кресло старой женщины ставят перед местом судьи. Она начинает свою речь по-французски, ее внучка переводит.

— Прежде чем решится судьба картины, я хочу сообщить нечто такое, что вам следует знать. Дело основано на ошибочном предположении. — Женщина делает паузу, наклоняется к старухе, чтобы лучше слышать ее слова, затем выпрямляется. — Картину «Девушка, которую ты покинул» никто не крал.

— А откуда вам это известно, мадам? — спрашивает судья.

Лив поднимает глаза на Пола и встречает его прямой торжествующий взгляд.

Старая женщина машет рукой, словно освобождая внучку от обязанностей переводчика. Прочищает горло и медленно произносит, на сей раз уже по-английски:

— Это я отдала коменданту Хенкену картину. Меня зовут Эдит Бетюн.

1917 г.

Меня выгрузили на рассвете. Не могу сказать, как долго мы были в дороге: лихорадка моя усилилась, и я уже не могла отличить сон от яви, не понимала, то ли я существую, то ли стала бесплотным духом, что прилетает из иного мира и улетает обратно. Когда я закрывала глаза, то видела свою сестру: распахнув ставни на окнах нашего отеля, она с улыбкой поворачивалась ко мне, а в ее волосах играли лучи солнца. Я видела смеющуюся Мими. Видела Эдуарда, его одухотворенное лицо, его сильные руки, слышала его голос, шепчущий мне на ухо что-то ласковое и интимное. Хотела дотронуться до него, но он почему-то исчезал, а я просыпалась на полу грузовика, видя перед глазами грубые солдатские сапоги и чувствуя тяжелые удары в голове всякий раз, как колесо попадало в очередную рытвину.

Я видела Лилиан.

Ее тело валялось где-то на ганноверской дороге, куда они сбросили его, чертыхаясь, словно куль с мукой. А я ехала дальше, с головы до ног забрызганная ее кровью и кое-чем еще похуже. Мое платье стало красным, во рту стоял вкус крови. Кровь липкой лужей растеклась по полу, с которого у меня не было сил встать. Я больше не чувствовала укусов вшей. Я окаменела. Во мне было не больше жизни, чем в мертвом теле Лилиан.

Мой конвоир отодвинулся от меня как можно дальше. Он был в ярости из-за испачканной кровью шинели, из-за головной боли, которую ему устроило начальство по поводу украденного Лилиан пистолета. Он сидел, отвернувшись, лицом к брезентовому полотнищу, пропускавшему в кузов свежий воздух. Я заметила его взгляд: в нем сквозило неприкрытое отвращение. Для этого солдата я была не человеком, а кучей грязного тряпья на полу. Я и сама чувствовала себя бесполезной вещью. Даже когда город оккупировали немцы, мне с большим трудом, но удалось сохранить остатки человеческого достоинства и самоуважения. А теперь мир сжался до кузова грузовика. До жесткого металлического пола. До темно-красного пятна на рукаве моего шерстяного платья.

А грузовик тем временем, трясясь и гроыхая, практически без остановок все ехал и ехал в ночи. Я то и дело впадала в забытие, просыпаясь либо от приступа боли, либо от очередной волны лихорадки. Глотала пропахший сигаретным дымом холодный воздух, слышала доносящиеся из кабины лающие мужские голоса и думала о том, доведется ли мне когда-нибудь снова услышать французскую речь.

Но вот на рассвете грузовик наконец остановился. Я открыла воспаленные глаза, не в силах пошевелиться, и увидела, как мой конвоир выпрыгивает из кузова. Услышала, как он со стоном потягивается, щелкает зажигалкой, тихо с кем-то переговаривается, шумно справляет нужду. Услышала пение птиц и шелест листьев.

И я поняла, что именно здесь и умру, хотя, по правде сказать, меня это уже не волновало. Все тело было пропитано болью; кожа горела от лихорадки, суставы ломило, голова раскалывалась.

Внезапно кто-то поднял брезентовый клапан и открыл кузов. Конвоир приказал мне выйти. Но я была не в силах пошевелиться. Тогда он схватил меня за руку и выволок наружу, точно непослушного ребенка. Мое исхудавшее тело стало совсем невесомым, и я перелетела как перышко.

Утренний туман еще не рассеялся. Я с трудом разглядела сквозь серую пелену забор из колючей проволоки и широкие ворота. Над ними виднелась надпись: «Штрехен». Я знала, что

это такое.

Другой конвоир, приказав мне стоять на месте, подошел к будке часового. После коротких переговоров из будки высунулся человек и внимательно оглядел меня. За воротами я увидела длинный ряд фабричных ангаров. Место было унылое и мрачное; здесь царила почти осязаемая атмосфера безнадежности и страданий. По всем четырем углам были установлены сторожевые башни с площадками для часовых.

Все. Я решила отдаться на милость судьбы. И, потеряв надежду, испытала несказанное облегчение. Сразу исчезли и боль, и страх, и страдания. Скоро я смогу прижать к себе Эдуарда. Мы навеки соединимся на Небесах. Ведь милосердный Господь не разлучит нас, лишив последнего утешения.

Я смутно поняла, что часовой о чем-то отчаянно спорит с конвоиром. Ко мне подошел какой-то человек и потребовал документы. От слабости мне не сразу удалось вытащить их из кармана. Он знаком приказал поднять удостоверение личности повыше: я настолько завшивела, что до меня страшно было дотронуться.

Сделав пометку в списке, он что-то пролаял моему конвоиру. Они опять принялись объясняться, их голоса, то появлялись, то пропадали, а я уже перестала понимать, что происходит. Рассудок, казалось, начал мне изменять. Я была точно овца, которую ведут на заклание, не человеком, а одушевленным предметом. И уже ни о чем не хотела думать. Тем более гадать, что меня ждет. Голова гудела, глаза горели. У меня осталось только одно чувство — смертельной усталости. Неожиданно я услышала голос Лилиан: «Ты даже не можешь представить, что они способны с нами сделать». Но мне почему-то не было страшно. Если бы конвоир не держал меня за руку, я, наверное, кулем упала бы навзничь.

Ворота открылись, выпустив военную машину, и снова закрылись. Я потеряла счет времени. Закрыла глаза, и мне на минуту показалось, что я сижу в парижском кафе, подставив лицо солнцу. А мой муж раскатисто смеется, поглаживая мою руку.

О, Эдуард, беззвучно плакала я, дрожа от холода. Надеюсь, ты избежал моей участи. Надеюсь, тебе было легче, чем мне.

Меня снова под крики охранников повели куда-то вперед. Я путалась в юбках, но сумку из рук не выпускала. Ворота снова открылись, и меня грубо втокнули на территорию лагеря. Около второй будки меня опять остановил часовой.

Просто отведите меня в барак. Просто дайте мне лечь. Я так устала.

Неожиданно я увидела руку Лилиан с пистолетом у виска. И ее глаза, смотрящие на меня в упор в эти последние секунды. Распахнутые навстречу зияющей бездне, они были точно два черных бездонных колодца. «Теперь ей уже не больно», — сказала я себе и поняла, что завидую ей.

Засовывая документы обратно в карман, я порезалась осколком стекла, и на меня снизошло озарение. Ведь я могу воткнуть острие себе в горло. Прямо в вену. В свое время в Сен-Перроне так закалывали свиней: один резкий удар ножом — и их глаза закатывались, словно в тихом экстазе. Я стояла и лелеяла эту спасительную мысль. Все произойдет так быстро, что они не успеют мне помешать. И тогда я навеки стану свободной.

Ты даже не можешь представить, что они способны с нами сделать.

Я решительно сжала осколок. А потом услышала голос.

Софи.

Вот так, пробил час избавления. Ласковый голос мужа звал меня домой. Я разжала пальцы, выронив осколок. Облегченно улыбнулась. И покачнулась, прислушиваясь к новым ощущениям.

Софи.

Конвоир грубо развернул меня и подтолкнул обратно к воротам. Я оступилась и чуть не

упала. Оглянувшись, я увидела, как из тумана появляется еще один конвоир. Он вел высокого сутулого мужчину, прижимавшего к животу узелок с вещами. Я прищурилась, черты его показались мне смутно знакомыми. Но ничего не увидела, так как стояла против света.

Софи.

Я попыталась сосредоточиться — и мир вдруг остановился, все звуки замерли. Немцы замолчали, моторы заглохли и даже деревья перестали шептаться. А я ничего вокруг не видела, кроме идущего мне навстречу пленного. Худой, кожа да кости, он шел так целеустремленно, будто его тянуло ко мне магнитом. Меня вдруг всю затрясло, словно тело все поняло раньше, чем разум.

— Эдуард! — сказала я хрипло. Я не могла поверить. Не смела поверить. — Эдуард!

Он почти бежал на заплетающихся ногах, сзади его подгонял конвоир. Я окаменела от страха. А вдруг это какая-то чудовищная ловушка и я снова проснусь на полу грузовика, а рядом будет немецкий сапог? *Господи, смилуйся надо мной! Ты ведь не можешь быть таким жестоким.*

Потом он остановился в нескольких футах от меня. Страшно худой, лицо изможденное, все в шрамах, голова обрита. Но боже мой, это действительно был он. *Мой Эдуард.* У меня подкосились ноги, и, выронив сумку, я стала оседать на землю. Последнее, что я помню, — подхватившие меня руки мужа.

— Софи! Моя Софи! Что же они с тобой сделали?

Эдит Бетюн откидывается на спинку инвалидного кресла, в зале стоит мертвая тишина. Секретарь суда приносит ей воды, и она благодарит его кивком головы. Даже репортеры перестали писать, они сидят открыв рот, авторучки застыли над блокнотами.

— Мы ничего не знали о ее судьбе. Я думала, что она умерла. Сеть распространения информации была снова налажена только через несколько месяцев после того, как забрали мою мать, и нам сообщили, что Софи оказалась среди тех, кто умер в лагере. Элен после этого проплакала целую неделю. Но тут однажды утром я спустилась вниз, чтобы подготовиться к трудовому дню — я помогала Элен на кухне, — и увидела письмо, подсунутое под дверь отеля. Собралась было поднять его, но Элен меня опередила. «Ты этого не видела, — сказала она. Никогда она еще не говорила со мной таким резким тоном. Ее лицо стало белым как мел. — Ты меня слышишь? Эдит, ты этого не видела. И никому ничего не скажешь. Даже Орельену. Особенно Орельену». Я кивнула, но не сдвинулась с места. Мне хотелось знать, что там написано. Дрожащими пальцами она разорвала конверт. Она стояла у стойки бара в первых лучах утреннего солнца, и руки у нее тряслись так сильно, что мне показалось, будто она вот-вот уронит письмо. А потом Элен бессильно прислонилось к стойке, прижав руки ко рту, и тихо заплакала. «Слава богу, слава богу!» — все твердила она. Они были в Швейцарии. Их снабдили поддельными удостоверениями, выданными «за заслуги перед Германией», и отвезли в лес рядом со швейцарской границей. Софи так ослабла, что до контрольно-пропускного пункта Эдуарду пришлось тащить ее на себе. Конвоир, доставивший их к границе, предупредил, чтобы они оборвали все связи с Францией и не разглашали имен тех, кто им помог. Письмо было подписано: «Мари Левиль». — Эдит Бетюн замолкает и оглядывает зал суда. — Они остались в Швейцарии. Мы понимали, что Софи не может вернуться в Сен-Перрон, так как немецкая оккупация еще была слишком свежа в памяти. Если бы она появилась, люди непременно стали бы задавать вопросы. Ну а я, естественно, к тому времени уже поняла, кто им помог.

— И кто же, мадам?

Эдит Бетюн поджимает губы, словно даже сейчас ей трудно произнести это имя.

— Комендант Фридрих Хенкен.

— Да, история действительно невероятная, — говорит судья. — Но, прошу прощения, какое отношение все это имеет к утрате картины?

Немного успокоившись, Эдит Бетюн продолжает:

— Элен не показала мне письма, но я знала, что она не может думать ни о чем другом. Она страшно нервничала в присутствии Орельена, хотя он после того, как забрали Софи, почти не бывал в «Красном петухе». Словно ему здесь нечем было дышать. И вот два дня спустя, когда Орельена, как обычно, не было дома, а малыши уже крепко спали, Элен позвала меня к себе в спальню. Она сидела на полу, поставив перед собой портрет Софи. «Эдит, ты должна сделать для меня одну вещь», — сказала она. Потом еще раз перечитала письмо, будто хотела удостовериться, покачала головой и что-то написала мелом на обратной стороне картины. Слегка откинувшись назад, посмотрела на написанное. Аккуратно завернула картину в одеяло и вручила мне. «Господин комендант сегодня днем будет охотиться в лесу. Я хочу, чтобы ты отдала ему это». — «Никогда», — ответила я, так как ненавидела его всей душой. Ведь именно он лишил меня матери. «Делай, как тебе говорят. Я хочу, чтобы ты отнесла это господину коменданту». — «Нет». Бояться я его давно перестала — все самое плохое, что он мог совершить, он уже совершил, — но мне было противно даже близко к нему подходить. Элен посмотрела на меня и, похоже, поняла, что я настроена решительно. Тогда она притянула меня к себе и твердо сказала: «Эдит, комендант должен получить картину. Конечно, лучше б он горел в аду, но мы обязаны исполнить... — запнулась она, — просьбу Софи». — «Вот ты и отнеси». — «Не могу. Потом весь город будет судачить. Мы не можем допустить, чтобы они опорочили мое доброе имя, как опорочили имя Софи. Кроме того, Орельен непременно догадается, что мы что-то затеваем за его спиной. А он не должен знать правды. Никто не должен знать. Ради ее и нашей безопасности. Ну что, сделаешь это для меня?» Выбора не было. И я согласилась. В тот день по сигналу Элен я взяла картину и отправилась задворками на пустошь, а оттуда — в лес. Картина оказалась тяжелой, рама впивалась мне в подмышку. Комендант был в лесу вместе с каким-то офицером. В руках они держали ружья. Заметив меня, комендант поспешно отослал офицера. Я медленно шла на дрожащих ногах между деревьев по холодной лесной подстилке. Когда я приблизилась, на лице у коменданта появилась обеспокоенность, и я злорадно подумала: «Что ж, теперь я навеки лишу тебя покоя». — «Что тебе надо?» — спросил он. Мне ужасно не хотелось отдавать ему картину. Вообще ничего не хотелось ему отдавать. Ведь он уже забрал у меня тех, кого я любила больше всего на свете. Я ненавидела этого человека всеми фибрами души. И, думаю, именно тогда мне в голову пришла блестящая идея. «Тетя Элен просила меня вам это отдать». Он принял из моих рук картину и развернул ее. Посмотрел на портрет, будто не веря своим глазам, потом перевернул. И когда увидел, что написано на обратной стороне, его лицо сразу изменилось. Оно на секунду смягчилось, а его бледно-голубые глаза увлажнились, будто он так растрогался, что даже прослезился. «Danke, — тихо сказал он. — Danke schön». Комендант перевернул портрет, чтобы посмотреть на лицо Софи, затем перечитал то, что было написано на обратной стороне. «Danke», — повторил он, то ли ей, то ли мне. Не знаю. Мне было больно видеть его счастливым. Ведь именно этот человек лишил меня всякой надежды на счастье. И я до смерти ненавидела его. Он сломал мне жизнь. Внезапно я услышала свой голос — звонкий, как колокольчик, в неподвижном воздухе. «Софи умерла, — сказала я. — Умерла уже после того, как мы получили ее указание отдать вам портрет. От испанки в лагере». Он явно не ожидал услышать такое. «Что?» Сама не знаю, откуда что взялось, но я говорила гладко и складно, абсолютно не опасаясь последствий. «Она умерла. Потому что ее забрали. Вскоре после того, как отправила нам весточку, где просила отдать вам это». — «Ты уверена? — спросил он дрогнувшим голосом. — Ведь в рапортах иногда...» — «Абсолютно уверена. Иначе не стала бы вам ничего говорить. Это секрет». Я стояла и смотрела, как он глядит на картину. На

лице его было написано такое страдание, что невозможно передать словами. Но ничто не шевельнулось в моей душе. Сердце мое превратилось в камень. «Надеюсь, вам понравится картина», — бросила я на прощание и побрела через лес обратно в отель. И с тех пор, как мне кажется, я забыла, что такое страх. Господин комендант провел в нашем городе еще девять месяцев. Но ни разу не зашел в «Красный петух». А я считала это своей маленькой победой.

Зал судебных заседаний притих. Репортеры смотрят на Эдит Бетюн так, будто благодаря ей на их глазах ожили страницы истории. Голос судьи звучит неожиданно мягко:

— Мадам, вы можете нам сказать, что было написано на обратной стороне картины? Это, по всей вероятности, ключевой вопрос данного судебного разбирательства. Постарайтесь вспомнить дословно.

Эдит Бетюн снова оглядывает публику в зале:

— О да. Я прекрасно все помню. А запомнила потому, что никак не могла понять, что бы это могло значить. Там было написано мелом: «Herr Kommandant, qui comprendra: pas pris, mai donne». — Она делает паузу и переводит: — «Господину коменданту, который поймет: не взято, а отдано».

Лив слышит, как шум все нарастает. Ей кажется, будто у нее над головой кружится стая птиц. Она видит, как журналисты, с авторучками наготове, окружают старую женщину в инвалидном кресле, а судья, призывая к тишине, безуспешно стучит своим молотком. Она смотрит на галерею для публики, и до нее внезапно доносится звук аплодисментов. И ей непонятно, кому аплодируют все эти люди: то ли старой женщине, то ли торжеству справедливости.

Пол с трудом пробивается к Лив. Оказавшись наконец рядом, он притягивает ее к себе и с явным облегчением в голосе шепчет ей на ухо:

— Лив, она твоя. Она твоя.

— Она выжила! — то ли смеется, то ли плачет Лив. — Они нашли друг друга.

Лив оглядывается на беснующуюся толпу и понимает, что больше не боится ее. Люди улыбаются так, будто довольны исходом дела и больше не видят в ней врага. Братья Лефевр с похоронным выражением на лицах встают с места. И Лив счастлива, что Софи не уедет с ними во Францию. Джейн Дикинсон с обиженным видом медленно собирает вещи.

— Как вам это нравится? — расплывшись от уха до уха, спрашивает Генри. — Как вам это нравится? Никто даже не слушал, как бедняга Бергер выносит вердикт.

— Пошли, — говорит Пол, обняв ее за плечи. — Пора выбираться отсюда.

К Лив подходит секретарь суда, с трудом протиснувшийся сквозь толпу. Он пытается отдышаться, как после долгой дороги.

— Вот, мадам, — протягивает он Лив картину. — Мне кажется, это ваше.

Лив смыкает пальцы на золоченой раме. Смотрит на Софи: в тусклом свете зала суда волосы девушки на портрете кажутся живыми, а улыбка — загадочной.

— Думаю, нам стоит вывести вас через заднюю дверь, — добавляет секретарь.

И рядом тут же возникает охранник, который, бормоча что-то в переносную рацию, расчищает проход.

Пол уже делает шаг вперед, но Лив останавливает его.

— Нет, — говорит она и расправляет плечи, сразу став чуть выше ростом. — Не в этот раз. Мы выйдем через парадную дверь.

С 1917 по 1922 год Антон и Мари Левиль жили в маленьком домике на берегу озера в швейцарском городе Монтре. Жизнь они вели тихую и размеренную, чурались развлечений, довольствуясь обществом друг друга. Мадам Левиль работала официанткой в местном ресторане. Ее считали приветливой, старательной, но не слишком разговорчивой. («Да уж, редкое качество для женщины!» — искоса поглядывая на свою жену, любил говорить хозяин заведения.)

Каждый вечер, в четверть десятого, Антон Левиль, высокий, темноволосый, со странной разболтанной походкой, приходил в ресторан, дорога до которого занимала пятнадцать минут. Здоровался с управляющим, вежливо приподнимая шляпу, и ждал жену снаружи. Протягивал ей руку, и они шли домой, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться закатным солнцем над озером или особенно нарядной витриной магазина. И, по свидетельству соседней, так происходило изо дня в день, и привычный распорядок Левили нарушали редко. Время от времени мадам Левиль отправляла посылки, небольшие подарки, в городок на севере Франции, а так, казалось, остальной мир их не слишком интересовал.

Выходные чета проводила, как правило, дома, изредка выбираясь в погожий день в местное кафе, где они или играли в карты, или сидели рядышком в уютной тишине, его большая ладонь накрывала ее маленькую руку.

«Отец всегда шутливо говорил месье Левилю, что если он отпустит мадам хотя бы на минуту, то ее унесет ветром, — вспоминала Анна Берчи, выросшая в доме по соседству. — А еще отец считал, что в общественном месте не принято так липнуть к жене».

Чем занимался сам месье Левиль, никто толком не знал, хотя было известно, что у него слабое здоровье. Вероятно, у него был свой скрытый источник доходов. Однажды он предложил написать портреты двоих соседских ребятишек, но из-за странного выбора красок и не слишком аккуратных мазков его работа была встречена без особого энтузиазма.

Большинство горожан сошлись на том, что предпочитают тщательно выписанные и реалистичные портреты кисти месье Блюма, живущего рядом с домом часовщика.

В канун Рождества по электронной почте пришло письмо.

О'кей. Официально сообщаю, что меня тошнит от прогнозов. И возможно, от дружеских отношений. Но я с удовольствием встретила бы с тобой, если, конечно, ты не использовала свои благоприобретенные навыки в области вуду, сделав и мою куклу тоже (чего я не исключаю, так как в последнее время у меня иногда жуткие головные боли. Если это все же твоя работа, прими мои искренние поздравления).

Номер с Раником не прошел. Делить трехкомнатную квартиру с пятнадцатью работниками отеля из Восточной Европы оказалось не слишком приятным занятием. Но кто знал?

Через Gumtree я нашла новое жилье и съехала с бухгалтером, помещенным на вампирской фишне. И вообще, он считает, что жить с девицей вроде меня, типа, круто. Похоже, он слегка разочарован, что я не забила его холодильник трупами сбитых на дороге животных или не предложила ему сделать самопальное тату. А так он нормальный. У него есть спутниковая тарелка, и его дом всего в двух минутах ходьбы от интерната, так что у меня теперь нет отмазки, почему я не поменяла миссис Винсент мочеприемник (не спрашивай).

Так или иначе, я искренне рада, что тебе удалось сохранить картину. Правда. Жаль, что дипломат из меня никакой.

Я по тебе соскучилась.

Мо

— Пригласи ее, — заглядывая ей через плечо, говорит Пол. — Жизнь ведь такая короткая.

И она, даже не успев как следует подумать, набирает номер.

— Итак, что ты делаешь завтра? — не дав Мо открыть рта, спрашивает она.

— Это что, вопрос на засыпку?

— Хочешь прийти в гости?

— И что, пропустить ежегодный бесплатный цирк у моих родителей, с испорченным пультом от телевизора и рождественским выпуском «Радио таймс»? Ты, наверное, шутишь!

— Ждем тебя в десять. Я готовлю на пять тысяч человек. И не откажусь, если кто-нибудь почистит картошку.

— Я приду, — не в силах скрыть своего восторга, говорит Мо. — И даже принесу тебе подарок. Тот, что я, по правде говоря, уже купила. Ой, но мне придется отлучиться, чтобы помочь старикам подписать открытки.

— У тебя действительно есть сердце.

— Ну да. Похоже, когда ты последний раз втыкала шпажку, то здорово промахнулась.

Маленький Жан Монпелье умер от инфлюэнцы в последние месяцы войны. Элен Монпелье впала в ступор. Она не плакала ни тогда, когда гробовщик пришел за крошечным тельцем, ни тогда, когда Жана предали земле. Она продолжала вести себя внешне нормально, в установленные часы открывала бар отеля и отвергала все предложения о помощи, но, как вспоминает мэр в своих дневниках того времени, она стала «ледяной женщиной».

Эдит Бетюн, которая безропотно взвалила на себя многие обязанности Элен, описывает, как несколько месяцев спустя однажды днем в дверях появился худой, изможденный мужчина, с рукой на перевязи. Эдит, которая в этот момент вытирала стаканы, ждала, что он войдет, но он остался стоять на пороге, разглядывая бар со странным выражением на лице. Она предложила ему стакан воды, а когда он отказался войти внутрь, спросила:

— Мне позвать мадам Монпелье?

— Да, дитя мое, — произнес он дрожащим голосом. — Будь так добра.

Мадам Бетюн рассказывает, как Элен неверной походкой вошла в бар и не поверила своим глазам. Она уронила метлу, подобрала юбки и бросилась ему на шею. И закричала так, что переполошила весь город, и даже те из ее соседей, кто очерствел сердцем за годы невзгод и лишений, смахнули нечаянную слезу.

Эдит Бетюн помнит, как сидела под дверью их спальни, прислушиваясь к их сдавленным рыданиям, когда они оплакивали своего незабвенного малыша Жана. Эдит потом с горечью признавалась, что, несмотря на всю любовь к мальчику, она не смогла выдавить ни слезинки, так как после смерти матери научилась плакать.

История гласит, что за все время, когда «Красным петухом» управляла семья Монпелье, заведение оказалось закрытым, причем на целых три недели, только один раз: в 1925 году. Местные жители вспоминают, как Элен, Жан Мишель, Мими и Эдит, никому ничего не сказав, опустили жалюзи, заперли двери и, повесив табличку «Уехали в отпуск», исчезли. Соседи слегка оторопели, местная газета получила два жалобных письма, а бар «Бланк» — дополнительный доход. Когда их стали спрашивать, где они были, Элен ответила, что ездили в Швейцарию.

— Мы решили, что тамошний воздух будет полезен для здоровья Элен, — добавил месье Монпелье.

— О, действительно, — сдержанно улыбнулась Элен. — Он такой... целительный.

А мадам Лувье написала в своем дневнике, дескать, мало того что хозяйева отеля имели наглость уехать, ни с кем не простившись, за границу, так они еще этим гордились, поскольку приехали страшно довольные собой.

Я не знаю дальнейшей судьбы Софи и Эдуарда. Они жили в Монтре до 1930-го, Элен была единственной, кто имел с ними регулярную связь, но она скоропостижно скончалась в 1934-м. После этого все мои письма возвращались с пометкой «Адресат выбыл».

Эдит Бетюн и Лив обменялись четырьмя письмами, делясь информацией, необходимой, чтобы заполнить пробелы. Лив, к которой уже обратились два издательства, начала писать книгу о Софи. Откровенно говоря, она была в ужасе, но Пол тогда сказал, что никто лучше ее не напишет.

Для ее возраста у Эдит Бетюн очень хороший почерк, ровный, разборчивый, с легким наклоном.

Я написала соседу, и тот ответил, что слышал, будто Эдуард заболел, но ничего толком не знает. И подобное отсутствие информации в течение многих лет заставило меня поверить в худшее. Кто-то вспомнил, что именно Эдуард приболел, а кто-то — что это у Софи пошатнулось здоровье. Кто-то сказал, что они просто исчезли. Мими кажется, что Элен говорила, будто они хотят перебраться в теплые края. Но за это время мне самой пришлось столько раз переезжать, что Софи при всем желании не смогла бы со мной связаться.

Здравый смысл подсказывает мне, что двух людей, перенесших голод и нечеловеческие страдания, ничего хорошего ждать не может. Но я всегда предпочитала думать, что сейчас, спустя семь-восемь лет после окончания войны, они — свободные от каких-либо обязательств, — возможно, нашли в себе достаточно сил, чтобы уехать, а потому просто собрали вещи и исчезли. Я хочу верить, что они перебрались в теплые края, где так же счастливы и довольны обществом друг друга, как тогда, когда мы приезжали к ним на каникулы.

Спальня Лив еще более голая и пустая, чем прежде, потому что на следующей неделе она переезжает. Поживет пока у Пола. Она вполне могла бы обзавестись собственным жильем, но никто из них пока не затрагивает эту тему.

Она смотрит на спящего Пола и, как всегда, чувствует радостное удивление оттого, что он рядом, такой мужественный и красивый. Потом вспоминает, что сказал отец, когда они с Кэролайн приходили в гости на Рождество. Пока остальные играли в шумные настольные игры в гостиной, он вызвался помочь ей вытереть посуду. Она неожиданно заметила, что отец странно притих, а когда подняла на него глаза, тот сказал: «Знаешь, думаю, Дэвиду он понравился бы» — и, избегая взгляда дочери, продолжил вытирать посуду.

Она смахивает слезы, которые невольно наворачиваются на глаза, когда она об этом думает (в такие минуты она становится излишне эмоциональной), и переворачивает письмо.

Я старая женщина и могу просто не дожить до этого, но я верю, что однажды

появится целая серия прекрасных, смелых и ярких картин без всякого провенанса. На них будет изображена рыжеволосая женщина, отдыхающая в тени пальмового дерева или любующаяся желтым солнцем, ее лицо, возможно, немного постареет, а в волосах будет проглядывать седина, но улыбка останется той же: открытой и полной любви.

Лив смотрит на портрет напротив кровати, и юная Софи, озаренная мягким светом лампы, отвечает ей загадочным взглядом. Лив перечитывает письмо, вглядывается в слова, пытается понять, что написано между строк. Вспоминает умные, пронизательные глаза Эдит Бетюн. И в очередной раз перечитывает письмо.

— Эй! — сонно говорит Пол, перекачиваясь к ней поближе. Подтягивает ее к себе. Кожа у него теплая, а дыхание сладкое. — Что делаешь?

— Думаю.

— Звучит угрожающе.

Лив откладывает письмо и залезает под одеяло.

— Пол.

— Лив.

Она улыбается. Она всегда улыбается, когда смотрит на него. Потом задерживает дыхание и говорит:

— Ты даже не представляешь себе, как ты хорошо умеешь отыскивать пропавшие вещи.

Благодарности

Появление этого романа очень многим обязано прекрасной книге Хелен Макфейл «Долгое молчание. Жизнь гражданского населения Северной Франции при германской оккупации 1914–1918 гг.», посвященной менее известным страницам истории Первой мировой войны.

Также я хотела бы поблагодарить Джереми Скотта, партнера фирмы «Липмэн Карас», за консультации по вопросам реституции и за проявленное при этом терпение. Если я искажала некоторые судебные вопросы и процедуры в интересах сюжета, то все ошибки и отклонения от принятой практики лежат целиком на моей совести.

Спасибо моим издателям из «Penguin», в частности Луизе Мур, Мэри Эванс, Клер Баурон, Кати Шипстер, Элизабет Смит, Селин Келли, Вивиан Бассет, Райену Дейвису, Робу Лиланду и Хейзел Орме. Особая благодарность Гаю Сандерсу.

Благодарю всех служащих «Curtis Brown», особенно моего агента Шейлу Краули, а также Джонни Геллера, Кати Макгоун, Талли Гарнер, Сэма Гринвуда, Свена Ван Дама, Элис Лутьенс, Софи Харрис и Ребекку Риччи.

А также, не придерживаясь особого порядка, хочу поблагодарить Стива Догерти, Дрю Хейзелл, Дэмиана Барра, Крис Лакли, моих многочисленных собратьев по перу в Writers-block и талантливых блогеров из Twitter.

Как всегда, особая благодарность Джиму Мойесу, Лиззи и Брайану Сандерс, а также моей семье: Саскии, Гарри и Локи — и еще моему литературному редактору Чарльзу Артуру.

notes

Мальш (фр.). — *Здесь и далее прим. перев.*

Не так ли? (фр.)

Кайзер — дерьмо! (нем.)

Булочная (фр.).

Островерхая каска (*в старой германской армии*) (нем.).

Мясная лавка (фр.).

Тогда (фр.).

Черт возьми! (фр.)

Хлеб (нем.).

Жаль (фр.).

Крестьянский (фр.).

Округ, район (фр.).

Пастис (*фр.*) — алкогольный напиток.

Крестьянский стиль (фр.).

Не смей лапать женщин! (нем.)

Фаршированная капуста, или голубцы (*фр.*).

Ужин в рождественскую ночь (фр.).

«Хроника оккупации» (фр.).

«Бюллетень Лилля» (фр.).

Тихая ночь, святая ночь.

Все спит, уединенно бодрствует только святая пара (*нем.*).

Тихая ночь, святая ночь.

Божий Сын, о как смеется любовь из Твоих божественных уст... *(нем.)*

Христос-Спаситель здесь!
Христос-Спаситель здесь! (нем.)

Цыпленок (фр.).

Военный, то есть эрзац-хлеб (*нем.*).

Эта дверь. Верхний этаж. Зеленая дверь с правой стороны.

Персонаж телевизионного шоу Гарри Энфилда.

Похоронная ритуальная традиция в индуизме, в соответствии с которой вдова подлежит сожжению вместе с ее покойным супругом на специально сооруженном погребальном костре.

Радость жизни (*фр.*).

Разговорное название делового района лондонского Сити, традиционно занимавшего площадь в одну квадратную милю к северу от Темзы между мостом Ватерлоо и Тауэрским мостом.

Песня британского экспедиционного корпуса во Франции времен Второй мировой войны, написанная для поднятия боевого духа.

Месье, к вам посетители (фр.).

Мангейм (*нем.*) — город в Германии, земля Баден-Вюртенберг.

Пуалю (*фр.*), «обросший», — кличка французских солдат во время Первой мировой войны.

В уголовном праве Великобритании и США категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными правонарушениями.

Страстный любитель (*um*).

Письменное заявление, показание, свидетельство, даваемое под присягой лицом, сделавшим заявление, и удостоверяемое нотариусом либо должностным лицом.

Шлюхи! (нем.)

Чистый лист (*лат.*).